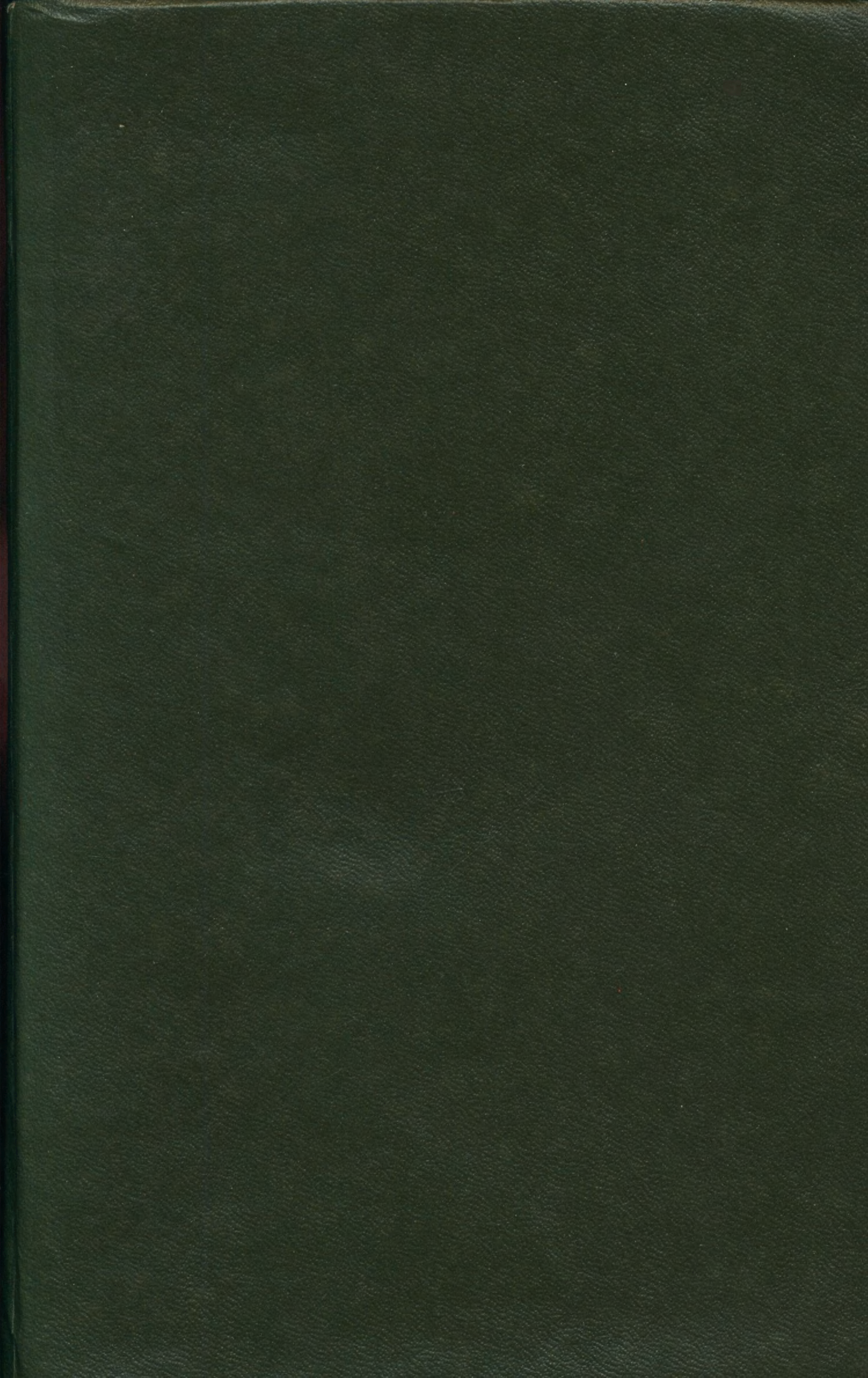
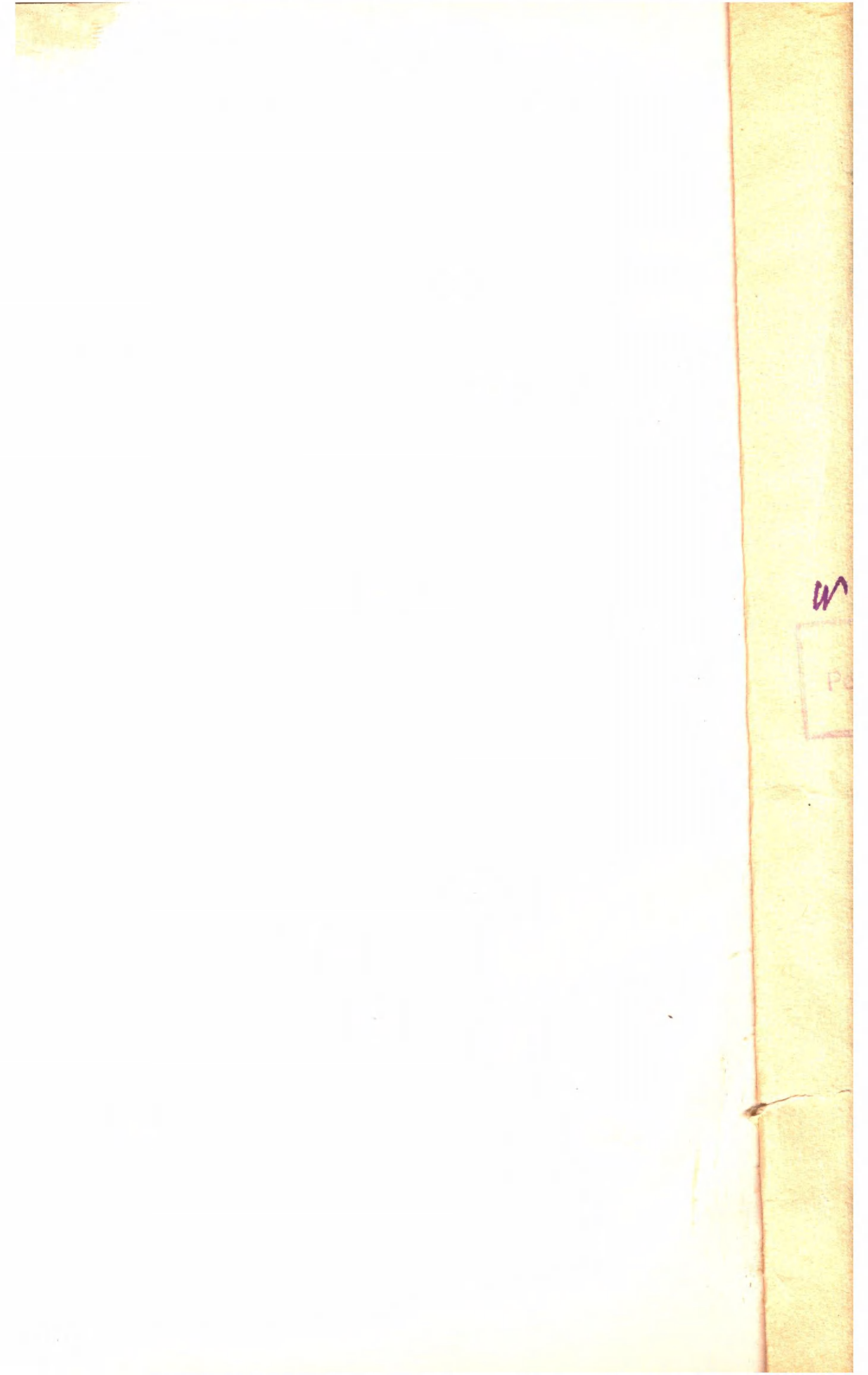
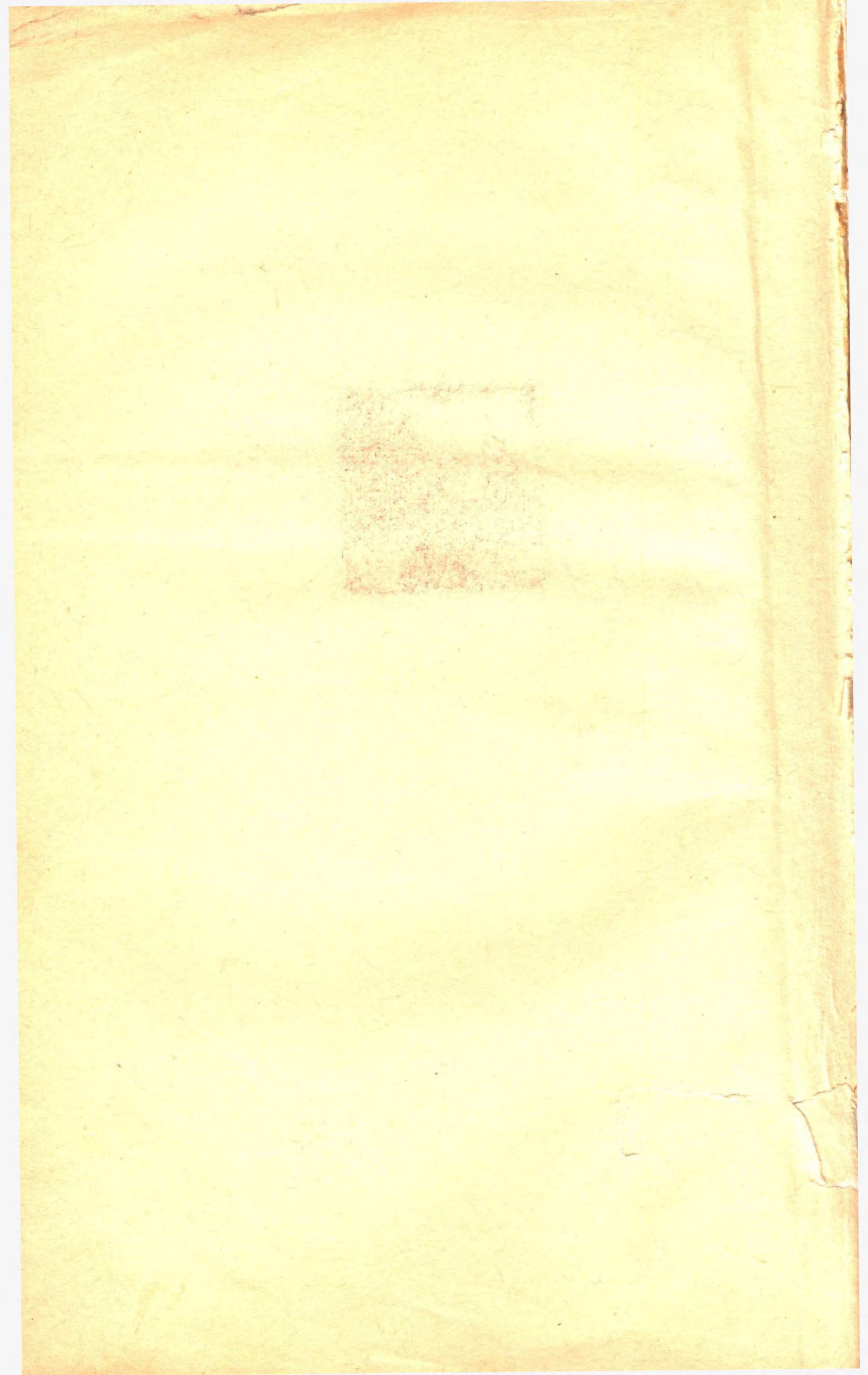




Посіяли гайдамаки
в Україні жито...

Т. Г. Шевченко









Славен козак — Максим Залізняк,
славне наше Запорожжя.

Народная поговорка

Глава первая

КАЗАК ИЗ ЛУГА*

Утро было холодное, безветренное.

Тяжелые, грязновато-сизые тучи неподвижно застыли в небе — казалось, они вмерзли в его ледяную поверхность. Изредка сквозь узкие просветы проглядывало солнце, но оно уже было не в силах разогреть остывшую за ночь землю, и его тепла еле-еле хватало, чтобы растопить иней, который ложился по утрам на пожухлую тырсу. Где-то высоко в небе печально курлыкал запоздалый журавлиный ключ.

По степи ехали всадники. Утомленные дальней дорогой, кони шли мелким шагом, подминая сухую траву. Всадники, покачиваясь в седлах, вели неторопливый разговор, не перебивая друг друга, — видно, немало дней провели они вместе и уже успели обо всем переговорить. Хотя у всех у них при себе

* Слова со звездочкой объяснены в конце книги в словаре, который размещен в порядке алфавита.

были сабли и ружья, они все же не походили ни на запорожцев, ни на казаков степной охраны. Всадник крайний слева не участвовал в разговоре. Он сидел в седле боком, в правой руке держал длинную, с ременной кистью на конце нагайку. Время от времени он резко взмахивал рукой, и высокий куст сухой тырсы, перерезанный пополам, падал наземь.

— Чего молчишь, Максим, словно ворожишь? Кажись, ты не колдун? — обратился к нему всадник, ехавший рядом.

Максим повернул голову, удивленно взглянул на соседа большими серыми глазами и, ничего не сказав, снова взмахнул нагайкой. На высокий лоб его набежали морщины. Максиму было лет двадцать восемь, однако морщины, что глубоко залегли под глазами и двумя длинными бороздами прорезали наискось от прямого носа худощавые щеки, делали его намного старше. Из-под мерлушковой шапки выбивалась прядь волос, и такие же русые усы подковой свисали ниже резко очерченного подбородка. От всей Максимовой фигуры веяло силой, и было видно — человек он смелый, характера твердого, даже несколько сурового. Одет он был в просмоленную сорочку, заправленную в широкие суконные штаны, заплатанные на левом колене, да в кунтуш из телячьей кожи с большими откидными рукавами. Из-под кунтуша выглядывала подвешенная через плечо лента с запасными пулями и порохом. На широком ременном поясе висел кошелек, украшенный медными пуговками, и шило. Сабля и ружье были привязаны к седлу, к нему же приторочена кирея * и туго свернутый бредень.

— Наверное, мы уже не доедем сегодня до редута, — касаясь рукой Максимова локтя, промолвил сосед.

— Ну и надоедливый ты, Роман, — отвел локоть Максим, — сказал — доедем. Вот только через Синюху перескочить, а там всего верст десять останется.

Роман намеревался спросить еще что-то, но, увидев, что Максим не склонен к разговору, махнул рукой и засвистел сквозь зубы веселую песенку. Среди

всадников Роман был самый молодой и самый красивый. Густой черный чуб, подстриженный в кружок, плотно покрывал лоб, и лишь узкая белая полоска оставалась между чубом и прямыми ровными бровями. Большие синие глаза смотрели беззаботно и, казалось, немного хитровато; они беспрестанно смеялись, смеялись даже тогда, когда Роман старался быть серьезным; только тогда они немного прищуривались, но веселые огоньки все равно теплились в них, чтобы спустя мгновение вспыхнуть яркими искрами неудержимого смеха. Когда Роман улыбался, на его чисто выбритых круглых щеках появлялись две ямочки, а большие полные губы расплывались широко, открывая два ряда плотных белых зубов.

Роман поправил на поясе крымскую пороховницу, немного поднялся на стременах и стал всматриваться в даль — не видно ли реки? Но впереди, сколько видел глаз, была только степь, степь, степь. Никогда еще не касалось этой земли чересло, никогда здесь не свистела коса, срезая под корень буйные травы.

Только ветер вольно гулял от края до края, шаловливо ероша высокую тырсу. Да редко-редко коршуном вынесется на степной бугор татарин, натянет поводья, приложит ладонь к островерхой шапке и бросит острый взгляд на степь. Осядет на задних ногах конь, вдавит копытами жирную землю. На миг застынет татарин. Но лишь на миг. А потом отпустит поводья, конь сорвется с места и поскачет по склону в густые травы. И снова стоит одиноким бугор, а в выдавленной копытом ямке весной поселится жаворонок. Никто не потревожит его покоя, и будет он ранними утрами взлетать из своего гнезда высоко-высоко в безграничную голубизну неба, чтобы вся степь услышала его громкую песню.

— Роман, а Роман! Ты же так и не досказал, как ночевал у Одарки, — сказал невысокий толстый всадник по прозвищу Жила.

— Вот то-то же, — встрепенулся Роман. — Задремал я и, словно сквозь сон, слышу, кто-то ощупывает меня. Думаю, Одарка рядно поправляет.

— Что же она, гулящая была? — спросил кто-то. Другие зашикали, и любопытный замолк.

— Вдруг — р-раз, кто-то крякнул, и слышу — меня уже в рядне несут, — продолжал Роман. — Я так и обомлел: Одаркин отец, думаю, вернулся. А он казачина здоровый. Хотел крикнуть — голос отнялся. Куда же, думаю, несет, как не топить? Теперь аминь. А он вынес за ворота, раскачал, два конца рядна пустил, а два в руке придержал. «К чертовой, — говорит, — матери с такими парубками». Я прямо в лужу и шлепнулся тем местом, для которого седло сделано. Перевернулся еще разов несколько, вскочил на ноги, хотел бежать, а потом и думаю: «Как же я так домой прибегу?» «Дядько, — кричу, — вынесите хоть штаны да чеботы». Смотрю, летят через ворота штаны, чеботы и шапка. Сгреб я их в руки, да в огород!

Все громко рассмеялись. По лицу Максима тоже скользнула улыбка.

— Не надоело вам, хлопцы, языки чесать, — отозвался он. — Только и речи, что о бабах. А у Романа небось от брехни уже во рту рябо. Вот пустомеля!

— Какая тебя, Максим, сегодня муха укусила, чего ты такой злой? Целый день ворчишь. О чем же нам еще разговаривать? — сказал Жила. — Про вечерю сытную — только живот раздразнишь. Про заработки наши? Надоело. Целый век, почитай, лишь про них и разговор. А толк какой? Что, нужда от этого уменьшится? Дома жена голову грызла, приеду — опять грызть будет. Вот если бы привез с собой полон кошель золотых... На Сечь заедем? — круто переменил он разговор.

— Там обо мне никто не соскучился.

— Побудем с неделю, варенухи попьем. Братчики угостят. Ты в каком курене ходил, в Уманском?

— В Тимошевском. Да сколько я там ходил! Больше аргатовал *. Не тянет меня на Запорожье. И там как везде: хорошо тому, у кого в мошне звенит. — Максим с минуту молчал, что-то обдумывая, а потом добавил: — Оно, правда, и спешить некуда. Можно заехать. Эх, и тоскливо же на сердце! Напьюсь, как

приедем. — Он звонко хлопнул по шее Романова коня, и тот от неожиданности сбился с шага. — Не сердись, Роман. Ври дальше. Да торопись, к Синюхе подъезжаем. Тут, хлопцы, места уже более людные начинаются. Нужно бродом проскочить, ногайцы частые засады на броду устраивают.

Максим перекинул ногу через шею коня, взял в руки поводья. Кони пошли быстрее. Спустились в овраг, на какое-то время степь скрылась из глаз.

— Где же речка? — спросил Роман, когда они выехали на бугор.

— А вон, — Максим указал нагайкой, — за камышом не видно. Сейчас увидишь. До нее...

— Тр-рр! Хлопцы, смотрите! — крикнул Жила. — Трое!

Максим натянул поводья. Справа, издали похожие на грачей, скакали к речке три всадника.

— Татары?! Не похоже, давай наперерез.

Максим свистнул, отпустил поводья. Конь с места взял галопом. Вытянув шею, прижав уши, он стлался в быстром беге. Максим видел, как те трое съехали в воду и стали переезжать реку.

На отлогом берегу Максим остановил коня и, выхватив пистолет, взвел курок. Трое неизвестных уже были на середине речки.

— Не монахи ли это, гляди, как рясы по воде полощутся? — сказал Роман. — Эй, не бегите, мы казаки! — крикнул он, приложив ладони ко рту.

Но монахи еще поспешнее задергали поводья. Только задний испуганно оглянулся и направил коня влево, откуда было ближе к берегу.

— Слушай! — поднявшись в седле, закричал Максим. — Куда же ты? Правее, правее бери!

Но монах не слушал. Он проехал еще несколько саженей, и вдруг его конь, потеряв под ногами дно, нырнул под воду вместе с всадником.

Два больших круга образовались на том месте. Не успели они разойтись и на десяток саженей, как в центре их забурлила вода. Фыркая и тревожно храпя, конь вынырнул без всадника. Монах выплыл почти

рядом и протянул было руку, но конь, минуя его, быстро плыл к берегу.

— Спасите! — раздался над рекой отчаянный крик и отдался в камышах приглушенным «ите-е!».

«Потонет, — мелькнуло в голове Максима. — Долго не продержится, одежда потянет на дно».

— Выдержим, Орлик? — подвел к воде коня.

Орлик, вздрагивая кожей на холке, переступал с ноги на ногу.

— Эй, держись! — Небольшим острым ножом Максим черкнул по одной, потом по другой подпруге. Оперся о конскую шею и сбросил седло вместе с тороками на землю. — Держись!

Через минуту он плыл к утопающему. Перебирая ушами, Орлик рассекал крепкой грудью охлажденные осенними ветрами волны. Уже несколько раз вода смыкалась над головой монаха, один раз он пробыл под водой так долго, что поднявшаяся над ним волна успела дойти до берега.

«Не выплывет», — подумал Максим, со страхом глядя на круги, которые, покачиваясь на волнах, разбегались по речке. Но в этот самый момент из воды вновь вынырнула мокрая голова. Словно понимая, что нужно делать, Орлик двумя сильными рывками подплыл к утопающему. Максим схватил монаха за плечо, и тот, ощутив опору, отчаянно барахтаясь, уцепился за Максимову руку.

— Что же ты... — начал Максим, но, почувствовав, как конь выскользнул из-под него, не договорил. Он попытался освободить свою левую руку, но монах цепкими, как клешни, пальцами ухватился тогда и за сорочку.

— Пусти... так ведь оба потонем... за плечи берись... — глотнув воды, прохрипел Максим.

Жгучая боль сожаления заполнила Максимово сердце. «Неужели конец, и так по-дурному? Нет, плыть, удержаться на воде».

Жажда жизни охватила его. Максим бешено работал правой рукой и обеими ногами, но чувствовал, что почти не подвигается вперед, только все глубже погружается в воду. Он еще раз рванул левую руку,

и в этот самый миг почти рядом с собой увидел конскую голову. Это был Орлик.

Когда Максим выпустил гриву, конь отплыл недалеко и, сделав небольшой круг, снова подплыл к хозяину. Максим крепко обхватил правой рукой шею коня, а левой подтянул ближе монаха.

Конь выволок их на песчаный берег, где стояли оба монаха. Один из них держал наготове две волчьи шубы. Максим рукой отстранил монаха, который хотел набросить на него шубу, и, подняв за ворот спасенного, поставил на ноги.

— Бегом, скорее бегом, а вы огонь разложите.

Он силой заставил монаха бежать рядом с собой. Тот тяжело дышал, путался в мокрой одежде, несколько раз падал. Но Максим поднимал его.

— Ради бога, пусти... не могу, зачем мучишь меня? — завопил монах.

— Беги, отче, если жить хочешь. Еще немного, вон наши уже огонь развели.

Возле Синюхи пылал большой костер. Весело потрескивал сухой камыш, огонь вылизывал причудливыми языками, похожими на гадючьи жала, песчаную косу. Сизый дым стлался низко над водой, и казалось, будто сама река дымится. Возле костра Максим разделся, насухо вытерся шершавой колючей киреей, отчего тело раскраснелось. Потом переоделся в приготовленную Жилой одежду, выпил две кружки горилки и подвинулся ближе к огню, где уже, зябко щелкая зубами, сидел закутанный по самые уши в волчью доху монах. К Максиму подошел высокий монах в дорогой бархатной рясе, подпоясанной широким поясом.

— Дай благословлю, сыну, святое дело сделал ты, — заговорил он низким голосом. — Мы помолимся за тебя, и господь примет наши молитвы. На Сечи скажу твоему куренному, чтобы награду тебе дал.

Максим покачал головой.

— Не надо мне ничего. За души людские денег не берут. Да и не из Сечи мы.

— Из зимовника? *

— И не из зимовника.

— Разве вы не казаки?

— Званье казачье, а жизнь собачья,— выцеживая в кружку остатки горилки, промолвил Жила. — Мы аргаталы *. Как бы сказать, наемники-поденщики.

— Так это вы с неверными под одной крышей жили?

— Под крышей жить не приходилось. — Максим подставил ближе к огню большие, со стертыми подковами сапоги. — Я пас коней на Дальницком лимане у аги * одного. Потом рыбу ловил по ерикам.

— А чего их бояться? — ответил Жила. — Их аги деньги платят, как и наши паны. Взять с нас нечего. А вот как вы, ваши преподобия, не боитесь по степи ездить? Так одеваться в дорогу тоже бы не следовало. — Жила краем глаза повел на большой в самоцветах крест, что висел поверх рясы высокого монаха. Тот насупил густые, похожие на грачиные крылья брови.

— С нами святая молитва.

«Не только молитва», — подумал Максим.

Под накинутой поверх рясы мантией у монаха виднелись пистолеты и кинжал; а у других монахов, кроме сабель и пистолетов, к седлам было привязано по новому русскому карабину. Максим, на минуту задержав взгляд на карабинах — оружие это он видел впервые, — поднялся.

— Будем трогать, путь предстоит еще немалый.

Высокий монах ехал рядом с Максимом. Некоторое время оба молчали. Наверное, затем, чтобы завязать разговор, монах потянулся из седла, наклонился и потрепал Орлика по еще влажной шее. Тот недовольно прижал уши.

— Хороший конь. Это же он сегодня вас обоих спас.

Максим провел рукой по гриве, легонько почесал Орлика возле уха.

— Этому коню цены нет. Он все мое богатство, все состояние. И сват и побратим верный, как поют в песне. С виду неказистый, да и вылинял немного, переболел. Второй раз уже меня спасает. Когда-то ордынцы за мной гнались, нукеры * ханские. Под ними

не кони — змеи. Как Орлик летел! Говорят, скотина бессловесная, ничего не понимает. Неправда это. К Орлику я тогда и нагайкой не коснулся. Мы убежали от нукеров уже далеко, буераком скакали... Вниз круто было, а я сразу не заметил. На всем скаку задняя подпруга в седле оборвалась, и я вместе с седлом через коня полетел. Он непременно должен был наступить на меня, копыто уже мелькнуло надо мной. И тут Орлик, чтоб не наступить, ногу подогнул, а сам опрокинулся и полетел вниз. Вскочил я, взглянул — Орлик на дне оврага стоит, ржет так жалобно — меня зовет. Убежал я тогда на нем. А когда татары совсем отстали, слез я с него, и так меня за сердце схватило. Я его целую, а он, словно понимает все, в глаза смотрит.

Максим замолк, стал неторопливо набивать трубку.

— Какая могила высокая! — промолвил монах, показывая пальцем. — В степи безлюдной со славой кого-то схоронили.

Максим поднял голову, взглянул на могилу. На лоб его легла глубокая задумчивость.

По всей Украине стоят такие могилы, свидетели казацких побед и поражений, свидетели минувшей славы. Сколько о них песен кобзарями пропето, сколько рассказано удивительных былей! А они стоят, немые, неприветливые, только ветер колышет на них сухой бурьян да временами ночью залетает на могилу сыч, пугая путников своим печальным криком.

— Знатный кто-то лежит в этой могиле, — наконец вымолвил Максим и вынул из кисета кресало и губку. Губка была сырая, и Максим, придержав коня, взял трубку у одного из аргаталов. Отсыпав немного жару, он отдал трубку и догнал монаха.

— Ты откуда же знаешь, кто тут почивает? — поинтересовался монах.

Максим раскурил трубку, выпустил большой клубок дыма.

— Я не знаю, кто именно здесь похоронен. Знатный, говорю, кто-то лежит. Может, полковник или ку-

ренной какой-нибудь. Могила очень высокая. Оно же и после смерти так, как и при жизни. Чем знатнее, богаче, тем выше могилу насыпают. Бедному казаку кто насыплет? Да и сколько пришлось бы насыпать могил тех!

— Не богохульствуй, казак, не поноси святыню, — сурово прервал монах. — Не накликай гнева божьего, не забывай, что мы лишь гости на этом свете. Там, — он указал на небо, — все равны. На земле тоже каждый по себе памятку оставляет — и знатный и незнатный.

— Может, и так, — подумав, согласился Максим. — А есть тут в степи другая могила. Громовой называется. Она еще повыше. Под нею, говорят, кошевой какой-то похоронен. А могила — Громовая оттого, что простой казак часовым на ней стоял, громом его убило. Вот могила и называется так, по казаку тому.

— Верстах в десяти от Мотроновской обители, — начал монах, — есть такое село...

— Вы, батюшка, из Мотроновской обители? А я голову ломаю, где я видел вас.

Максим еще раз пристально посмотрел на монаха. Небольшие проницательные глаза, казалось, глядели на всех несколько презрительно, черные, как вороново крыло, волосы свободно спадали из-под клобука, густые усы, такая же густая борода наполовину закрывали полное лицо. Да, это был игумен Мотроновского монастыря, правитель православных монастырей и церквей на Правобережной Украине — Мелхиседек.

— Ты откуда же будешь, что знаешь меня? — в свою очередь спросил Мелхиседек.

— Из Медведовки.

— Это же возле нашего монастыря. Как звать тебя?

— Максимом. Максим Зализняк. Гончар.

— Зализняк? Не слышал о таком, хотя медведовцев знаю немало. У вас, почитай, полсела гончаров. Отец твой в местечке живет?

— Нет, мне еще восьми лет не исполнилось, как он помер. От побоев, говорят. Мать и сейчас в селе

проживает, сестрина девчушка при ней. Сестру паны в ясыр * продали.

Мелхиседек, дернув повод, спросил:

— Чего же ты так далеко на заработки заехал?

— Понесло, как говорят, за двадцать верст киселя хлебать, — усмехнулся Максим. И продолжал уже без усмешки: — Спроси, отче, куда я не ездил. Одни гутарят, там лучше, другие — вон там... Лучше там, где нас нет. Однако дома едва ли не хуже всего. Там, где мы были, хоть немного свободнее: когда захотел, тогда и ушел от хозяина. А дома — нанялся к пану, к примеру, на пять лет, так все пять лет, как один день, отбудь. Да еще того и гляди из вольного казака крепостным станешь... Что же, отче, нового в нашей стороне? Давно я не был в своем селе.

Мелхиседек сжал полные губы, покачал головой.

— В том и беда наша, что очень плохо, — сказал он хмуро. — Униаты бесчинствуют. Попов православных выгоняют, палками бьют их, бороды в клочья рвут, закрывают церкви святые.

— И много их?

— С войском идут на Подольскую Украину, не признают привилегий, которые когда-то дали православным церквам короли польские. Монастырь наш хотели разорить. Не знаем, откуда и помощи ждать. Тщетна всякая надежда людская. В писании сказано: «Не надейся на князя, на сынов рода человеческого — в них нет спасения. На бога положись».

— А своего ума держись, — бросил сердито Зализняк и, громко крикнув: — Хлопцы, вон фигура * виднеется! — дернул за поводья.

Конь пошел размашистой рысью.

Вскоре уже хорошо можно было разглядеть не только фигуру, но и двух дозорных возле нее. Через всю степь протянулась цепь таких фигур. Дни и ночи караулят возле них дозорные — один внизу с лошадьми, другой на верхушке дерева, — осматривают степь. Заметит казак с дерева орду, подаст знак товарищу; высечет тот огонь, поднесет пук соломы к просмоленной веревке. Все двадцать бочек со смолой вспыхнут сразу, от нижней до верхней. Дозорные

с другой фигуры увидят тот огонь, подожгут свою, затем вспыхнет третья, четвертая... И пускай быстрее ветра скачут татарские кони, однако не обогнать им огня, не убежать им от запорожцев, которые уже мчат из Сечи наперерез.

Максим помахал дозорным шапкой и повернул коня вправо, где в продолговатой долине, окруженной невысоким валом с частоколом, окутанный вечернею мглой, виднелся редут. Зализняк подъехал к воротам и постучал нагайкой. Громко крикнул:

— Пугу! Пугу!

Их уже давно заметили, потому что сразу же с башни над воротами откликнулось на казачий призыв несколько голосов:

— Пугу? Пугу?

— Казак из Луга.

На минуту воцарилось молчание.

Есаул, высунув по самые плечи голову, обвел долгим взглядом оборванных, на плохих конях аргаталов. Он помолчал, словно обдумывая, что делать, для чего-то чмокнул губами и махнул рукой одному казаку:

— Открывай!

Поправив на затылке шапку, он не спеша стал слезать вниз.

— Шляются тут всякие бродяги, голодранцы, — буркнул он недовольно. — Только корми их. Казаки из Луга. А у этого казака в карнавку * после обеда бросить нечего.

Зализняк уже въехал в ворота и хорошо слышал последние слова. Его лицо передернулось, словно от боли, рука крепко сжала нагайку.

— Поганец ты, а не есаул, палками бы тебя, собаку, — негромко сказал он.

— Это кто поганец? — есаул даже подался от неожиданности назад. — Я тебя, сукиного сына, за ворота сейчас выброшу.

— Врешь, не выбросишь, не твой редут. Кроме тебя, тут товариство есть. А на тебя мне начхать.

Рванув из ножен саблю, есаул бросился к Зализ-

няку, но между ними, сложив на животе руки, встал спокойный суровый Мелхиседек.

— Разве для того бог дал язык, чтобы сквернословить? Дан он, чтобы величать бога, воздавать ему хвалу. Вот и не поносите друг друга, разойдитесь с миром. Есаул, куда нам коней поставить?

— Ваше преподобие, казаки сами отведут, а вас милости прошу в дом, — кротко сказал есаул. — Вы прибыли как раз вовремя, мы к ужину готовились. Не погнушайтесь запорожской саламахи отведать. Онысько, засыпь овса их коням!

Поставив коней и положив им сена, аргаталы вошли в крытый камышом курень. В курене было накурено, со всех сторон слышались возгласы, смех, отчего светильники у стен трепетали длинными огненными языками, казалось готовые вот-вот погаснуть.

— Атаман, товариство! Ваши головы! — вразброд поздоровались прибывшие.

— Ваши головы! — за всех ответил еще молодой, слепой на один глаз казак, который был ближе других к двери.

— Просим, пан-молодцы, садиться, — отозвалось еще несколько голосов.

Какое-то время в курене еще стоял шум, потом к есаулу подошел повар:

— Пане атаман, благослови за стол садиться.

— Пускай пан отец благословит, — ответил атаман.

Поправив бороду, Мелхиседек благословил всех на трапезу, перекрестил стол.

Атаман первым полез под иконы. Прервались шутки, казаки чинно усаживались за стол; ближе к двери, потеснившись, примостились аргаталы. На скамье под стеной остался один Зализняк.

— Максим, — хлопнул рядом с собой по скамье Роман, — иди, чего же ты сидишь?

— Не хочу.

— Иди, иди! Видано ли, чтобы человек с дороги есть не хотел, — обернулся к нему одноглазый.

— Говорю же, что не хочу, — глухо промолвил Зализняк.

— Брешешь, как пес шелудивый...

— Не бреши сам, а не то...

— Ну и колючий же ты, человече, — обиженно промолвил одноглазый и повернулся к двери, откуда кашевар вынес полные ваганы * жирных крупных сельдей. Кашевар поставил сельди посреди стола, головами к атаману, а сам снова выбежал в другую половину куреня.

Максим невольно взглянул на стол, глотнул слюну. В не прикрытую кашеваром дверь ворвался вкусный запах тетерки, разошелся по куреню, защекотал ноздри. Максим стремительно поднялся со скамьи и вышел во двор. Какое-то мгновение постоял у порога и пошел в конюшню. В крайнем слева стойле мягко похрустывал сеном Орлик. Узнав по походке хозяина, он перестал хрустеть и, вытянув шею, тихо заржал. Максим похлопал коня по крутой шее, тот ласково ткнулся мордой под руку.

— Ешь, Орлик, ешь, — тихо сказал Зализняк, — у нас еще дальний путь.

Он прошел в угол, где была сложена сбруя, и нащупал мешок с припасами. Сунул в карман несколько пропахших плесенью сухарей, черствых как кремень, зачерпнул пригоршню сушеного проса и пошел к воротам.

— Пусти, я выйду, — сказал он казаку, сидевшему на колоде у ворот.

— Куда ты пойдешь, ночь уже на дворе.

— Я вернусь.

— Да как же я тебя узнаю, ночью не велено впускать никого.

— Как?.. Я назову какое-нибудь слово. Ну... ну, примером, «доля». Или пусть лучше «недоля». Слышишь, «недоля» скажу.

Удивленный казак молча развел руками, отодвинул два деревянных засова.

Зализняк долго бродил по степи. Когда возвращался назад, уже взошел месяц, ясный, большой, немного щербатый, словно надломанный каравай хлеба. В редуте было тихо, только перекликались казаки, стоявшие на часах.

— Славен город Петербург, — слышалось из одного конца редута, и сразу же звучал ответ: «Славен город Переяслав». Потом снова наступала тишина.

На башне у ворот казак тихо мурлыкал песню. Услышав голос Максима, он выглянул в оконце:

— А, недоля пришла. Заходи.

Казак слез вниз. Впустив Максима, широко зевнул, перекрестил рот.

— Ох, и скука! Хоть на месяц бреши. Табачок есть? А то у меня только на одну трубку осталось, да и тот никудышный. Позавчера проезжие купцы закуривать давали. Бакун *, ох, и крепкий да пахучий, словно горилка, настоенная на шафране...

Казак хотел подольше задержать Зализняка, но тот, отсыпав ему на несколько трубок табаку, прошел в курень.

Отыскал свободное место, снял и постелил кунтуш. Неподалеку, из угла, послышался Романов голос:

— ...Зашли мы в садок, сели под яблоней. Яблоня большая, ветвистая...

Максим лег, прикрыв полою голову. Пытался заснуть, но сон не приходил. Под кунтушом стало душно, он сдвинул его с головы, повернулся на спину. До слуха снова долетел Романов рассказ:

— Отец, видно, подсматривал. Потому как калитка сразу — скрип. Я так и обомлел. Садик небольшой, а кругом частокол, колья острые. Куда побежишь? Сам не знаю, как я на яблоне очутился. А старый уже внизу под моей яблоней топчется. «Славный, — говорит, — вечер, дочка. Мне и то спать не хочется». Вытащил трубку, садится на колоду. И повел разговор. Про коня, повредившего ногу о борону, про урожай, про сад. Мне уже показалось, что и утро скоро. Ноги свело, а шевельнуться боюсь. Вовсе не стало мочи терпеть. Думаю, не выдержу, свалюсь сейчас прямо ему на голову. «Не мешало бы, — говорит, — собаку в сад перевести, яблоки созревают. Не привязать ли ее под яблоней?»

Несколько человек фыркнули в кулаки. Кто-то не выдержал, залился громким смехом.

— Поспать не дадут, черти окаянные, дышла бы вам в глотки! — выругался какой-то казак.

Зализняк повернулся на другой бок, подложил под голову руку. Стараясь не слушать, он перенесся мыслями далеко-далеко, в родное село. Оно припомнилось таким, каким он в последний раз покидал его. Это было весной. Вокруг хаты как раз зацвели сливы...

— Максим, — вдруг позвал его кто-то шепотом. — Где ты?

— Тут.

Около него присел Роман.

— На, — еще тише зашептал он. — Тут тараня, хлеб. Вот кусок кавуна * квашеного. Бери же, ну! А какие-то там есаулы... Плюнь ты этому черту в глаза. Это дука * один из тутошнего зимовника.

Роман на четвереньках полез на свое место.

Тарань была совсем свежей, а кисло-сладкий терпкий кавун оставил приятное ощущение. Вспомнились кавуны, которыми всегда угощал малого Максима крестный отец. Бахча, обсаженная лозой, небольшой шалаш. Между ботвой ходит в длинной белой сорочке крестный... Нет, это не крестный, а мать... И Оксана. Они обе идут лугом прямо к нему...

«Дзень-бом, дзень-бом...»

Максим проснулся. Нет, это не сон. Кто-то бьет в котел.

— Вставай! — раздался в курене резкий голос. — Ляхи Степановский зимовник сожгли.

Толкая в темноте друг друга, казаки выскакивали во двор. В конюшне стоял шум, кто-то громко ругался, бил коня, пытаясь вытянуть из-под копыта повод. Казаки хватали седла, бегом выводили коней. Садились за воротами, тут же осматривали оружие, заправляли одежду.

Вскоре небольшой отряд в пятьдесят человек уже был в сборе. Наперед вырвался есаул, осадил коня:

— Трога-ай!

Есаул пустил коня рысью. Следом двинулся весь отряд.

— Откуда тут ляхи взялись? — спросил Максим

соседнего казака, что на ходу выбирал из-под седла конскую гриву.

— Они часто наезды делают. Как бы сказать, в рыцарстве упражняются. Молодые шляхтичи хотят шпоры заслужить. На татар страшно — так они на мирных хозяев набеги делают, в плен берут. Мы на нижней переправе должны их догнать. Хорошо, хоть ночь лунная.

Казак не договорил. Потому что неожиданно над первым рядом низкий сильный голос начал песню:

Засвистали козаченьки
В похід з полуночі,
Заплакала Марусенька
Свої ясні очі.

Ему ответил откуда-то сзади звонкий, молодой:

Не плач, не плач, Марусенько,
Не плач, не журися...

Песню подхватили десятки голосов, и она поплыла над степью.

Отряд вырвался на холм. Слева на горизонте колыхалось зарево. Оно то уменьшалось, припадая к земле, то снова поднималось вверх, окрашивая багрянцем чуть не весь небосвод, пригасив далекие звезды. Максим чувствовал, как его самого все больше увлекала песня. В груди захватывало дух, сердце билось возбужденно и тревожно. Песня падала прямо под ноги лошадям и, вспугнутая стуком копыт, сразу же взмывала ввысь:

Ой, не плачте, не журіться,
В тугу не вдавайтесь,
Заграв кінь мій вороненький,
Назад сподівайтесь.

На мгновение песня затихла и снова взлетела еще сильнее. Она опережала казацких коней, неслась над осенней степью. Руки крепче сжимали копья, ниже пригибались в седлах казаки. Есаул пронзительно свистнул. Песня оборвалась на полуслове. Дальше мертвую степную тишину уже будил лишь глухой топот коней. Так скакали еще четверть часа.

— Вот они! — вдруг выкрикнуло несколько человек.

Максим внимательно всмотрелся вперед. Привычный к ночной степи глаз распознал вдали несколько темных фигур.

Все произошло необычайно быстро. Отряд шляхты, услышав погоню, бросил пленных и что есть духу припустил к речке. Часть успела въехать в воду, хоть и не все из них напали на брод, остальных настигли на берегу. Затрещали выстрелы, заработали сабли, высекая искры. Зализняк еще издали наметил шляхтича на белом коне, который скакал несколько в стороне. Шляхтич тоже увидел, что за ним гонятся. Он понимал — вдоль берега ему не убежать. Взяв круто к речке, направил коня в густые камыши. То ли конь его уже устал, то ли неохотно шел в воду, только Максим с каждой минутой догонял шляхтича. Уже была видна на его голове медная шапка, она холодно поблескивала в лучах месяца. Шляхтич знал — пощады не будет. Он остановил коня, в последний миг тяжело завернул его и, бросив саблю, рванул из седельной кобуры пистолет и взвел курок. Максим едва успел упасть на гриву, пуля просвистела над самой головой. Зализняк подался еще больше вперед, с силою рубанул шляхтича наискось от плеча. Даже крика не послышалось. Белый конь метнулся в сторону, шляхтич наклонился и тяжело упал в воду. Его конь, не останавливаясь, стал выбираться на берег, шлепая по воде, а Орлик стоял на месте, тревожно храпя и принюхиваясь к сухому камышу, тихо шумевшему под ветром.

Зализняк тронул коня и поехал к берегу. Там все было кончено. Только слышался плеск воды, да где-то в камышах жалобно ржал раненый конь. Несколько казаков стреляли с берега по шляхтичам, спрятавшимся в камышах. Но шляхтичам в камышах и так не усидеть. Страх холодил их души, ледяная вода — тело. Некоторые решили попытаться переплыть на ту сторону. Максим подъехал к казаку, который держал на поводу двух коней, и снял ружье. Он заметил, как от камыша отделилась темная фигура и бросилась в речную быстрину. Максим старательно прицелился. Грохнул выстрел.

— Не плохо. Пускай пасет раков на дне, — сказал одобрительно казак.

Услышав знакомый голос, Максим повернул голову и встретился взглядом с есаулом. Тот тоже узнал Зализняка. Его лицо от неожиданности передернулось, но он быстро овладел собой.

— Стреляешь ты умело. За такую стрельбу в Коше * награды дают. Спеши туда, — есаул кивнул головой назад, — коней ловить. Я уже двух заарканил.

Максим крепко, до боли, стиснул зубы, с ненавистью взглянул есаулу в лицо.

— Разве это добыча военная, это ж мужицкие кони из паланки *, — сказал за его спиной какой-то казак.

— На них никто не понаписывал, чьи они, — отъезжая в сторону, бросил есаул.

— Видишь, атаман, если ты их пустишь в свой табун, — задумчиво молвил казак, — то никто не разберет, чьи они. Если же я приведу в редут такого коня, то сразу хозяин найдется. Да и не в том дело. Разве не совестно своих обирать? Правда, казак?

Максим не ответил. Он завернул коня и, стиснув шпорами бока, поскакал по степи в направлении редута.

Глава вторая

ДОЛЯ

Уже вторую неделю на токах пана Калиновского молотили озимые. Глухо, словно пищальные выстрелы, стучали цепы; сквозь огромные, раскрытые настежь ворота риг валила густая пыль. Как будто пожар поднимался над двором.

Микола молотил в новой, только этим летом построенной риге в паре со своим соседом Гаврилой Карым. Карый был уже пожилой человек, небольшого роста, сухощавый, с глубокой, словно ножом прорезанной, морщиной между бровями.

На невысоком лбу Карого густо выступал пот, катился по щекам, по носу, капельки его дрожали на

реденьких, чуть посеребренных сединой усах. Карый бессильно махал цепом.

— Вы бы, дядько Гаврило, отдохнули, — сказал Микола, подгребая вымолоченный сноп, — а я один немножко помолочу.

— Да я словно бы и не устал, только поясницу чего-то ломит...

Микола отвернулся в сторону, выплюнул едкую пыль и бросил на ток тяжелый, туго перевязанный сноп.

— Где там не устали! Вторую копну кончаем сегодня.

Карый вытряхнул остья из бороды, подмостил куль * и опустился на него. А Микола, примяв ногой сноп и поплевав на ладони, взял в руки цеп.

— Хлопцы говорили, эконом обещал за месяц перед рождеством убавить на день панщину *.

— Как бы не так! Он, если б только было можно, добавил бы еще один. Когда перешел я на панщину, то работали только сто пятьдесят дней. А теперь уже целых двести девяносто. И чего не попридумывали иродовы сыны! Ты ж сосчитай, кроме панщины: обжинки, зажинки, — стал загибать на руках пальцы Карый, — закосы, обкосы, мостовое, дорожное; за грибы и ягоды из лесу и то два дня накинул. Боюсь, Микола, не протяну я долго... Взгляну на тебя — зависть берет: молодой, здоровый, а паче всего — не вечный крепостной. Отбудешь срок — и снова вольный.

— Слышал я, будто у вас земля была. Чего ж вы пошли к пану?

— Из-за нее же и пошел. Заложил землю, заплатить в срок не смог, а управляющий закладную на нее заставил дать. И уже не выкарабкался.

Карый поднялся, взял цеп.

— Эх, туда дам, сюда дам, да все долю по зубам!

— Отбыть бы мне срок. Больше никогда не продамся в панщину. Соберу немного денег, земли куплю, — мечтательно заговорил Микола.

— Так и я когда-то думал. Тоже силый был, хоть и слабее тебя. Я видел, как ты колоду через хлев пе-

ребросил... На землю с трудом собрал, тогда, правда, легче было, паны сами предлагали тут селиться. А вот не удержался на земле.

— Я зубами в нее вцеплюсь, мне бы десятинки три для начала. Денег немного есть, да еще приработаю. Вот только на хату выделить придется, — дрожащим голосом поведал о своей заветной мечте Микола.

Карый потряс сноп, скрутил перевясло.

— Зачем тебе новая хата, разве эта совсем падает?

— Надо, — замялся Микола. — Может, жениться буду.

— Думаешь, мельник отдаст за тебя Орысю? Ой, гляди, хлопче...

— Отдаст, наверняка отдаст. Писарь обещал помочь, с мельником переговорить.

— Поменьше верь этому пану и водись с ним поменьше. Нужен ты ему, как архиерею хвост.

— Какой он пан? У него все, как у простых людей.

— Видишь, — задумчиво проговорил Карый, — все, да не все. Он тоже борщ ест, только, как говорят, серебряной ложкой. Сынок писарев с панами учится. Вчера к отцу приехал. Ты не видел? Такой надутый — как на вилах ходит, не идет, а выступает.

— Не говорите так, дядьку Гаврило. Не похож Загнийный на пана. Да хотя бы и был похож, так что из этого? Разве не бывает и среди панов добрых людей?

— Бывает... что и муха чихает. Думаешь, это большое благодеяние, что он дает тебе работу. Только какой не барщинный день — ты уже и у него.

— И завтра пойду. Пан писарь мне за это деньги платит и, кроме меня, никого не хочет брать на поденщину.

— У тебя силы за десятерых, а он... Тсс, — вдруг прервал Карый. — Шевель идет. А с ним сам главный управляющий имениями, тот, что вчера приехал.

Цепы на току загудели еще быстрее. В дверях появился низенький, в розмариновом мундире глав-

ный управляющий. Он сделал несколько шагов вперед, брезгливо помахал перед лицом белой перчаткой и снова отошел от дверей. Из-за его спины, прихрамывая на левую ногу, вышел с гайдуками * Тимош Шевель. Обходя кучи обмолоченных снопов, он шагал от одних молотильщиков к другим, что-то поспешно записывал на ходу, иногда останавливался, щупал рукой солому.

— Чего он роется так долго возле деда Тараса? — прошептал Микола, попадая цепом по концам колосков.

— Это что такое? — вдруг на всю ригу загремел голос Шевеля. — Треть зерна в соломе. И сколько ты сделал? Полторы копны? Да ты у меня таким способом еще семь лет молотить будешь. И это называется молотьба! — кричал он, тыкая пучком соломы в лицо деду Тарасу.

Микола разогнулся.

— Чего он прицепился? Деду Тарасу скоро семьдесят. Ему уже время на печи сидеть... Эй, пан эконом!..

— Тсс, молчи, Микола, — испуганно зашептал Карый, дергая парубка за полу, — на тебе все отольется. Слышишь, молоти же! Ой, горюшко мне с тобою!

Микола с силой ударил по снопу. Не замечая, что он не развязанный, бил до тех пор, пока не лопнуло свясло.

— Никогда не вмешивайся не в свое дело, если не хочешь в какую-нибудь беду попасть, — продолжал шептать Карый, низко нагибаясь над разостланным снопом, — не пробуй меряться с панами чубом: если длинный — подстригут, а короткий — выдернут. Максим пробовал. Где теперь он? Наверное, погиб, как мотыль на огне. Может, теперь ворон глаза выпивает или уже и кости волки по буеракам порастаскали.

— Зализняк никого не боялся. Самого паныча в воду бросил. Он бы и теперь... Взгляните, разве ж можно терпеть такую неправду? — гневно воскликнул Микола.

— А где же ты правду видел? Молчи. Так лучше. Видишь, и ушли.

— Ушли! А ты слышал, как он сказал: «Не засчитывать деду этот день». Чтоб ему, хромому псу, все лихом обернулось.

— Пана ругают — пан толстеет. Тише, а то еще кто-нибудь услышит и донесет. Ну, а нам кончать пора. Пока перелопатим да уберем — ночь застанет. Ох, и поясница ж болит! Недаром говорят, что цеп да коса, то бесова душа.

Пока погребли, перелопатили и перевеяли, уже совсем стемнело. Солнце скрылось за высоким, крытым черепицей панским домом, возвышавшимся над прудом остроконечною башней; по земле пролегли темные тени.

Домой шли вместе; за всю дорогу не перекинулись ни словом. Попрощавшись на улице с Карым, который жил на конце села, Микола открыл покосившиеся ворота. На тыну, возле хлева, висело несколько кувшинов.

«Забыли внести», — подумал он. Поснимал кувшины, ногой толкнул дверь в сени. Мать сидела на скамье возле воткнутой в брусок лучины и что-то чинила. На полу, прикрытые дерюжкой, спали два меньших брата Миколы.

— Мамо, налейте поесть, — бросил с порога Микола.

Набрал в корец воды, умылся над ведром. Вытираясь обтрепанным на концах рушником, выглянул в маленькое, без рамы окно: в хате, где были посиделки, уже зажгли свет.

— Ну и борщ, — сказал Микола после нескольких ложек, — волны так по нему и ходят...

Мать вздохнула.

— Завтра снова думаешь к писарю идти? Праздник престольный, грех работать. В церковь сходил бы, уже и батюшка говорил, что это Микола храма божьего чурается?

— Ладно, разбуди утром, а к Загнийному все равно идти надо, я обещал завтра кончить, — бросил Микола, стаскивая с жерди свитку.

— Куда же ты, не евши? — забеспокоилась мать. — Хоть узвару выпей.

— Поставьте в погреб, я потом, — ответил Микола, уже прикрывая дверь.

На дворе разгулялся ветер. Он вырвал из старой, низко нависшей стрехи пучки почерневшей соломы и разбрасывал их по двору, по дороге, швырял за ворота и катил вдоль улицы.

В небольшой хатке бабы Оришки, где нынче были посиделки, негде было повернуться. Визжала, всхлипывая, скрипка, но никто не танцевал. В предпраздничный вечер прялок с собой девчата не брали, они сбились в углу и о чем-то шептались между собой. Орыся тоже была с ними. Когда Микола вошел в хату, одна из девчат ущипнула ее за руку. Орыся встрепенулась, но, увидев Миколу, опустила черные, цвета спелой смородины, глаза. На ее нежных полных щеках разлился чуть заметный румянец. Сесть было негде. Микола пробрался к лежанке и там встал, опираясь рукой о стену. В хате, кроме своих, было несколько парубков из Тимошевки. Несмотря на уговоры и брань бабы Оришки, они бросали шелуху куда попало; ловя девчат, забирались на настил с ногами, разваливали подушки. Наконец закурили трубки, стали собираться.

— Что, хлопцы, споем на дорогу, — сказал один из парубков. — Чтобы светильник погас!

Он стали полукругом у стола, взялись под руки, дружно начали песню:

Ой, у полі вишня
З-під кореня вийшла.
Не журися, дівчинонько,
Я ще ж не женився.

Огненный язычок над светильником испуганно задрожал, метнулся в сторону, зашипел конопляный фитиль, но Орыся, схватив с чьей-то головы шапку, успела прикрыть светильник.

— Отдай! — пытаясь обнять Орысю, закричал парубок. — Хлопцы, заберем и ее вместе с шапкой.

Орыся завизжала тонким голосом и, бросив шапку, метнулась на печь. Тимошевцы со смехом и шут-

ками, прихватив на дорогу из решета, стоявшего на лежанке, по пригоршне семечек, двинулись к двери.

В хате стало просторнее. Микола сел за стол, где курносый, толстогубый Левко тасовал захватанные карты.

Миколе не везло, уже трижды подряд ему пришлось сдавать. Он так увлекся игрой, что даже не заметил, как в хату вошли еще двое хлопцев. Оба они были одеты одинаково: кунтуши из красного сукна, синие шаровары, новые, будто инеем припорошенные смушковые шапки.

— Кто это? — шепотом спросил через стол Миколин напарник.

Микола поднял голову.

— Тот, что пониже, — Иван, писаря Загнийного сын, а того, с маленькими усиками, впервые вижу. Видно, с Иваном в городе учатся вместе.

Поскрипывая козловыми сапогами, вновь прибывшие прошли к настилу, сели среди девчат. Некоторое время Микола не смотрел в сторону парней, а когда взглянул, то увидел, что Орыся, смущенно улыбаясь, уже сидела между ними. Иван прошептал ей что-то на ухо — Микола видел, как вспыхнула Орыся от тех слов, — и, оставив ее с незнакомым с усиками, подошел к столу. Вынул из кармана колоду новых карт, лениво бросил их на стол:

— Сдай!

Хлопцы некоторое время рассматривали диковинный рисунок на картах. Левко зачем-то даже понюхал их, а потом быстро стал тасовать.

— Кто это? — указал Микола глазами на парубка с усиками.

— Этот со мной! — В загнийченковых глазах зажглись горделивые огоньки. Вместе с тем он почему-то оглянулся, зашептал вкрадчиво: — Самой пани Думковской сын — из Варшавы приехал. Хочет на наши обычаи поглядеть, вот что. Никому об этом ни слова. А смотрите, наша Орыся приглянулась пану Стаху. Глаз у него наметанный.

Микола вздрогнул, нахмурил густые брови.

— Пусть стреляет в какую другую сторону.

— Скажите! — насмешливо скривил губы Иван. — Не тебя ли он должен спрашивать, с кем ему сидеть?

— А может, и меня!

Микола сверху вниз взглянул на Ивана. Он был не только на голову выше его, но и раза в два шире в плечах. Все село знало о его богатырской силе, не одна девушка заглядывалась на его высокий стан, не одной снилось его красивое смуглое лицо.

— Здесь наши парубоцкие порядки! — уже громче сказал Микола.

— А мы заведем свои, — процедил сквозь зубы Иван.

— Хлопцы, чего вы шепчетесь, давайте играть в кольца, — вдруг подбежала к ним одна из девчат. — Иван, пойдем раздавать.

Микола пожал плечами и сел играть в карты.

Иван с девушкой пошли по кругу.

— Кольцо на лицо, — вышел на середину хаты и лихо, по-молодечески повел плечами, хлопнул в ладоши Иван.

С нар поднялись Орыся и Стась.

— Что мы им присудим? — опершись руками в бока и во всем следуя медведовским парням-заводилам, спросил Иван.

— Нищих водить... Ленты отмерять. Мышей гонять... Сорвать ягодку, — неслось со всех сторон. — Ягодку, ягодку...

Иван что-то пошептал на ухо Стасю, а тот, улыбаясь, не то довольно, не то испуганно пододвинул скамью и, схватив еще с одним парубком Орысю, поставил ее на скамью. Два парубка стали рядом со скамьей. Стась, опершись на их плечи, поднялся на руках до уровня Орысиного лица. Орыся хотела отклониться, но кто-то из парубков толкнул ее в спину прямо на Стася.

— Смачно целуются, — захохотал Загнийный.

— Эй, да ты не в ту масть ходишь, — потянул Миколу за рукав Левко. — И карты не показывай.

Микола едва досидел до конца игры. То, что он

снова проиграл, уже не волновало его. Он бросил карты, вылез из-за стола.

— Может, во вдовца сыграем? — обратился к парубкам.

— А как же, сыграем. Садитесь. Всем пары есть? — заговорили хлопцы. — Кто же будет вдовцом?

Троим не хватало пары, и два парубка шутя сели рядом, третий остался «вдовцом». Микола снял широкий ремень, сложил его вдвое. Началась игра.

— Кого хочешь в жены? — спросил Микола белоголового круглолицего «вдовца».

— Ох, и нужна ж мне жена! Некому ни поесть приготовить, ни рубаху выстирать, — приняв жалостливый вид, запричитал парубок. — Мне бы такую жену, как Орыся.

Микола подошел к панычу.

— Отдаешь?

— Нет.

— Сколько? — повернулся Микола к белоголовому. — Один горячий? — И уже Стасю: — Давай руку.

Ремень больно полоснул панычеву ладонь, и тот резко отдернул руку.

Не отдал Стась Орысю и во второй раз, хотя от трех горячих вся ладонь покраснела. В третий раз подставил уже левую руку.

— Отдаешь? — еще раз переспросил Микола.

— Нет, — нетвердым голосом ответил Стась. Его вытянутая вперед рука мелко дрожала.

«Может, сказать, кто я, — подумал он. — На коленях холоп прощения запросит. Нет, неужели я слабее их? Пусть сейчас бьет, потом поплатится за это».

Все затихли, выжидая, что будет. Ремень свистнул раз, второй.

— Он ребром бьет! — вдруг закричал Иван и схватил рукой ремень. — Ему самому нужно десять горячих.

— Врешь, — вскочил парубок, сидевший рядом со Стасем. — Не бил он ребром.

— Бил! Я сам видел! — продолжал кричать Загнийный. — Пусти, пусти, говорю!

Стась тоже схватился за ремень. Микола дернул ремень к себе. Стась разжал пальцы, а Иван, не удержавшись на ногах, с разгона навалился на Миколу, левой рукой ударил его по зубам. Из рассеченной губы брызнула кровь. Микола с силой ударил Ивана в грудь, тот отлетел к двери, опрокинув деревянное ведро.

— А, так! — закричал он и рванул себя за полу. В его правой руке сверкнул длинный узкий нож.

— Я тебе покажу нож! — Микола обеими руками схватил скамью.

Вскрикнули девчата, кто-то потушил свет. Пока высекали огонь и снова зажгли светильник, ни Стася, ни Ивана в хате уже не было. Возле порога стояла лужа воды, в ней валялись разбросанные кочерги.

Девчата стали снимать с жерди свитки.

— Чего бежите, еще гулять будем, — сказал Левко. — Раздевайтесь, все равно никого не выпущу.

Девчата повесили свитки на место, но гулянка не клеилась. Хлопцы собрались возле настила, где уселись девчата, поставили посредине решето с семечками.

— Смотри, Микола, чтобы Загнийный не подпоил трушинских хлопцев да чтобы не подстерегли тебя одного.

— Пусть попробуют, — сказал Микола, а про себя подумал: «Парубки еще ничего. Хуже, если паныч с надворными казаками наскочит. Но нет, — успокаивал он сам себя. — Матери он не скажет, где был. А через день-два, может, совсем уедет. Загнийный, тот попытается отблагодарить. Нужно было нож с собой взять».

Когда стали выходить из хаты, оказалось, что дверь в сени привязана.

— Чертов дука, чтоб тебя покалечило! — выругался Левко.

Подергав еще немного дверь, двое парней вылезли по лестнице на чердак и, прорвав стреху, спрыг-

нули вниз. Потом развязали веревку на дверях, и девчата высыпали на улицу.

Вместе с Миколою и Орысей в сторону Тясмина шли несколько парней и девушек. Возле писаревского двора один парубок остановился.

— Давайте Загнийному на хлев сани втянем. У него они под сараем стоят.

— У писаря две собаки во дворе, — сказал другой. — Лучше снимем ворота и в Тясмин бросим, это быстрее. Пока на собачий лай кто-нибудь выскочит — мы уже на Бродах будем.

Микола взял обоих хлопцев под руки:

— Не надо. На меня все упадет. Так Иван ничего старому не расскажет, а тогда...

— Хорошо, — согласились парни. — Ну, нам, Микола, в улочку. Доброй ночи.

Микола и Орыся остались одни. Они медленно пошли в сторону Тясмина. Под ногами тихо шуршали сухие листья, иногда потрескивала ветка.

Они долго шли по безлюдной улице. Наконец хаты кончились; прошли еще немного; возле трех осокорей Орыся остановилась. Неподалеку плескалась о берег освещенная месяцем река.

— Не надо дальше идти, — тихо промолвила Орыся, — отец может увидеть, он часто выходит из хаты за мельницей присмотреть. Миколка! — Орыся говорила чуть слышно. — Ты не сердишься на меня за сегодняшнее? Я того парубка совсем и не знаю. Чудной он какой-то.

— За что же на тебя сердиться? — Микола легонько привлек Орысю к своей широкой груди. — Хорошая моя!

— Нехорошая я, — Орыся спрятала свою руку в рукав Миколиной свитки. — Не нужно мне было совсем возле того парубка сидеть...

— Нет, хорошая, — не слушая ее, шептал Микола. — Ясочка моя!

Орыся склонила голову ему на плечо. Микола слегка коснулся губами ее холодной щеки. Она не отклонялась, а, крепко прижавшись к плечу, закрыла глаза, сама подставила полные, пьянящие губы для

поцелуя. Потом спрятала голову у парубка на груди, платок сполз на плечи, и Микола гладил ее по голове, как маленькую. Вдруг Орыся оторвала голову, поправила платок.

— Мне пора, Микола, поздно уже.

Микола хотел задержать ее, но Орыся успела отбежать, погрозила ему пальцем и крикнула:

— Приходи завтра, мы раньше уйдем от бабы Оришки! Вдвоем.

Микола возвращался домой по другой улице. В голове мысли одна другой лучше, одна другой светлее. Представлялось, как станет хозяином, построит новую хату и пошлет сватов к Орысе. Нет, пошлет раньше, хату они потом поставят, о четырех окнах. А с молодой нарочно проедут мимо двора Загнийного, и не одними санями, а тремя, а то и четырьмя. Коней резвых достанут, дуги обовьют лентами, а к кольцам — звоночки. На передние сядет он с Орысей. Пускай видит чертов писарчук, какую молодую он, Микола, высватал, пусть кусает от зависти губы.

Мать разбудила Миколу еще до восхода солнца. Во дворах скрипели журавли, где-то ревел скот. Над селом, как и с вечера, гулял ветер, расчесывал взъерошенные крыши селянских хат, раскачивал ветви старой груши, что росла за хлевом, стряхивая с нее желто-красные, словно царские пятаки, листья и мелкие грушки. Одна из них упала на хлев по ту сторону гребня, скатилась по камышовой кровле во двор. Микола поднял грушку, вытер полою свитки и положил в рот. Неторопливо поправил на голове шапку, вышел за ворота. На улице было пусто.

В церкви уже собралось немало народу. Глухо бормотал под нос дьячок, сонно сновал по церкви старенький пономарь, поправляя свечи. Всякий раз, как Микола видел пономаря, он не мог не улыбнуться, вспоминая давний случай. Как-то в воскресенье, когда Микола слушал обедню, пономарь полез на скамеечку поправить свечку перед иконой божьей матери. Икона висела высоко, низенький пономарь никак не мог достать до нее. Он поднялся на цы-

почках, потянулся рукою к свечке. То ли пономарь слишком понатужился, то ли помочи на штанах ослабли, только вдруг шнурок треснул, и полотняные штаны упали на скамейку. Микола поднял голову как раз в тот миг, когда перепуганный насмерть пономарь наклонился за ними. Даже старые бабы не могли удержаться от смеха. А мужики и особенно молодежь опрометью повылетали из церкви и уже там смеялись вволю, до слез.

Заутрени Микола не отстоял. Он незаметно выскользнул за дверь и, не заходя домой, пошел прямо к Загнийному. Возле корчмы должен был прижаться к тыну, переждать — по улице куда-то ехала сотня надворной службы. У пана Калиновского в Медведовском имении было три сотни, да и в других размещалось по столько же, а то и больше. У Калиновских было около тысячи казаков личной охраны. Каждый пан имел свой гарнизон. Чем богаче он был, тем больше набирал казаков для охраны своего имения от непослушных холопов. В сотнях, кроме казаков, служила и мелкая безземельная шляхта, которая не имела ничего, кроме гонора и шляхетского звания. Это про них говаривал дядько Карый: «Все паны да паны, а свиней некому пасти».

Ряд за рядом проезжала надворная охрана, вооруженная словно на бой: на шеях — по-казачьи повешены ружья, у каждого на боку нож на перевязи, на поясах — рог в медной оправе, обтянутый кожей, и сумочка для пуль и кремней. Одеты все одинаково: в желтые жупаны, голубые шаровары, желтые с черными оторочками шапки.

«Сколько же это денег надо, чтобы одеть и прокормить такую ораву?» — подумал Микола, шагая пыльной улицей.

Писарь Евдоким Спиридонович Загнийный поднялся спозаранок. Он стоял посреди двора за спиной поденщика, который, присев на корточки, мазал выкаченный из-под сарая небольшой возок.

— Пришел, — бросил Загнийный на Миколино приветствие и, приглаживая зачесанный набок, как у дворовых гайдуков, чуб, приказал работнику: —

Сеном хорошенько вымости. Да не тем, что в риге, а надергай болотного из стога. В передок много не накладывай, а то всегда раком сидишь. Попону подтяни как следует, а потом к Миколе: — Закончишь корчевать — заберешь пеньки непременно сегодня, пускай не валяются в огороде. Тогда зайдешь ко мне за расчетом. Я после обеда в управе буду.

Микола взял за сараем большую, сделанную кузнецом по его просьбе лопату и через перелаз прыгнул в сад, где рядами чернели кучи земли. Весной Загнийный хотел посадить молодой сад. Чтобы деревья лучше принялись, ямы готовились с осени. Ямы большие, в аршин глубиной, а копались они на месте старого, недавно спиленного сада.

Работа горела в больших Миколиных руках. Редко когда нажимал ногой, больше загонял лопату прямо руками, выворачивая в сторону большие глыбы земли. Присел отдохнуть только раз. Хотелось пить, но, чтобы не встречаться с Иваном, во двор не заходил. Дорыв последнюю яму и сложив в кучу пни, Микола прямо через плетень выпрыгул на улицу, стежкой через гору направился домой. Быстро запряг в телегу маленькую тощую кобылку, которую, наверное, за ее норов называли Морокой, и, погрозив двум младшим братьям, примостившимся было в задке, рысцой поехал к Загнийному. Огромные пни выносил прямо на улицу, не желая проезжать через писарев двор. Возвращаясь назад, поехал шляхом. Напротив управы остановил Мороку, привязал вожжи к возу и, очистив о колеса землю с сапог, пошел в дом. Впереди мелкими нетвердыми шажками проковыляла к двери старушка, неся под рукой что-то завернутое в цветастый платок. Загнийный, как заметил Микола, был навеселе. Сидел за столом красный и что-то быстро писал.

— К вашей милости, Евдоким Спиридонович, — прошамкала старуха. — Горе нам, неграмотным.

— Прошение написать? — не поднимая головы, спросил Загнийный.

— Эге, эге, — закивала старушка, — вы же знаете, какое у меня горе.

— С невесткой?

— С невесткой, — снова кивнула старая. — Так вы не обессудьте, я вот полотна пять локтей принесла.

Она наклонилась к корзине. Писарь молчал, только перо в его руке скрипело тонко и, казалось, сердито. Старушка достала из-за пазухи платочек, зубами развязала узелок.

— И денег полталера. — Она положила на край стола несколько серебряных монет.

Загнийный повел глазом, но продолжал писать. Старушка подождала еще немного и снова порылась в платочке.

— Я и забыла. Еще есть.

Она положила деньги. Писарь бросил в чернильницу перо, откинулся на стуле.

— Что же, можно написать. Придешь, Ефремовна, завтра. Все будет готово: и прошение и позов; не по закону невестка корову присвоила, не по закону. А, и ты тут, — притворился Загнийный, словно только теперь заметил Миколу.

Старушка поплелась к дверям. У порога остановилась, уважительно отступила в сторону, пропуская городового атамана Семена Рудя. Нетвердо держась на ногах, тот прошел через комнату.

— Чего это ты, Евдоким, в праздник сидишь до сих пор, — сказал он, — шел бы к жинке. У тебя ничего нет там? — кивнул на соседнюю дверь.

— Хватит с тебя на сегодня.

— Тебе жалко? — опершись о стул, заговорил Рудь. — На свои ты ее купил? На базаре ты сам все, не платя, берешь...

— Иди, иди пей, если хочешь. Там в сундуке, в углу, початком заткнут. Ключ возьми, — уже в спину бросил Загнийный атаману.

Тот широко взмахнул в воздухе рукой, как слепой, взял ключ. В двух шагах от двери остановился, наклонил голову, протянул руку с ключом. Он ткнулся было вперед, но ключ стукнулся о доску в двух четвертях от отверстия. Атаман снова отступил, минуту подумал — снова повторилось то же самое.

— Подожди, — Загнийный взял из рук атамана ключ. Отпер дверь, толкнул ее ногой.

Атаман, пошатываясь, исчез в темной комнате.

— Евдоким Спиридонович, — начал Микола, — вы велели зайти за деньгами.

— Пеньки забрал?

— Забрал.

— Хорошие пни, гореть будут, как порох, — говорил Загнийный, опуская руку в карман. Он отсчитал на ладони несколько монет, положил на стол. — Я всегда так — расчет сразу. Оттягивать не люблю, на, получай.

Микола взглянул на деньги.

— Евдоким Спиридонович, тут только тридцать копеек. Вы же обещали, кроме пней, по четыре копейки на яму. Тридцать ям — выходит талер.

— Слушай, парень, где ты видел, чтобы кто-нибудь за три дня талер зарабатывал? Выдано вкруговую по сорок копеек на день! А ты и трех дней не работал. Такие деньги за десять дней работы никто не получает.

Микола поправил на голове шапку, проглотил слюну, которая почему-то набежала в рот, и, пытаясь говорить спокойно, сказал:

— Мне нет до этого дела, сколько дней копал бы кто-то другой, пусть хоть месяц. Я хочу, чтобы сполна заплатили за работу.

— Я тебе и так...

— Пан писарь, — не громко, но твердо проговорил Микола, — сейчас пойду позатаптываю — месяц будете ломами колотить.

Писарь невольно поглядел на здоровенные, пудовые Миколины сапоги с порванными голенищами, снова полез в карман, отсчитал еще двадцать копеек.

— Ух, а закусить нечем, — вытираясь рукавом, появился в дверях городовой атаман.

Оба, и Загнийный и Микола, ошалело смотрели на него. От губ, вдоль всей щеки протянулись у атамана синие полосы.

— Ты... не ту бутылку взял, — испуганно заголосил писарь. — Чернила выпил. Ох, и горе мне с тобою,

еще и поразвозил по морде! Пойдем быстрее в сени... Не доведи, господи, до греха.

Писарь взял атамана под руку, на мгновение повернул голову к Миколе.

— А ты не торчи тут, больше ни копейки не дам. Ну, чего ждешь, иди!

— Пускай на тебя теперь собаки работают, — Микола плюнул прямо писарю под ноги и выскочил на улицу.

Там, подогнув ноги, спокойно дремала Морока. Микола резко дернул вожжи. Морока от неожиданности кинула задом и рысцой пошла по дороге.

Еще издали парубок заметил возле шинка большую толпу людей, между ними Ивана и еще нескольких сынков богачей. Не желая проезжать мимо, он дернул левую вожжу, кобыла свернула с колеи. Под колесами мягко зашуршал песок. Морока сгорбилась, через силу тянула воз. Вдруг воз качнулся, как на выбоине, и чуть не по самые оси завяз задними колесами.

— Но, но, — дергал вожжи Микола.

Кобыла загребала ногами, но воз не трогался с места.

— Но, не издохла, понатужиться не хочешь, — ударил Мороку кнутовищем Микола.

Морока испуганно рванула в сторону, возле оглобли перервался веревочный гуж.

— За хвост ее тяни! — крикнул Иван.

«Как же теперь? — в отчаянии подумал Микола. — Стыд какой, и девчата вон смотрят. Все из-за тебя, — он со злостью взглянул на кобылу, выводя ее из оглобель. Потом обошел вокруг воза, оглядел колеса. — Чего я горячусь? — внезапно успокаиваясь, подумал он. — Богачей застеснялся. Пусть насмехаются, черт с ними. Правда, Морока, беги домой».

Он забросил поводья кобыле на шею, шлепнул ее по крестцу. Морока мотнула головой и, прижав уши, помчалась в улочку. Бросив на пни дугу, Микола привязал к оглоблям свернутый вдвое чересседельник, положил его себе на плечи. Поплевал на

руки, взялся за оглобли. Воз заскрипел задними колесами и тяжело пополз по песку. Через полминуты он был уже в улочке, на накатанной колее.

Позади слышалось улюлюканье, свист. Микола не оглядывался. Он широко шагал по дороге, а за ним, подскакивая на выбоинах, катился нагруженный до краев пнями воз.

Глава третья

СЕЧЬ-МАТУШКА

Миновав топкое болото, Мелхиседек с монахами и Зализняк с аргаталами въехали в Сечь. Никто, даже часовой, не спросил их, откуда они и зачем прибыли сюда; он лишь скользнул равнодушным взглядом по всадникам и, перебросив ружье с одного плеча на другое, отступил с дороги. На улице не было видно ни души. Сечь словно вымерла.

— Братчики после обеда отлеживаются, — бросил Жила.

Уже в самом конце Гассан-Баши — сечевого предместья — прибывшие встретили большую толпу людей. Это были похороны. Певчие, состоявшие только из мужчин — преимущественно старых казаков, — пели глухо и негромко, словно нехотя, и казалось, будто все были простужены. Сразу же за гробом шел поп, позади него усатый седой запорожец нес большую чару с горилкой.

— Не будет удачи, — сказал один из аргаталов и снял с головы шапку. — Мертвеца встретили. Братчику, — наклонился он с коня к одному из запорожцев, — кого это хоронят, что так много людей, может куренного?

— Какого там куренного? — ответил запорожец. — Может, знал Василия Окуня из Белоцерковского куреня?

— Не знал. Отчего он помер, не татары ли подстрелили?

— Окунь несколько лет из куреня не выходил. Ему уже, кажись, за восемьдесят было. Захотел в послед-

ний раз верхом проехать. Видно, чуял уже смерть свою. Сел на коня, конь на дыбы, а дед с него. Мы к Окуню — готов. Где уж там было ему удержаться на коне.

Аргатал не стал слушать дальше разговорчивого запорожца и пришпорил коня. Когда он догнал своих, один из монахов, все еще оглядываясь на похороны, спросил:

— Для чего чару за гробом несут?

— Знать, пьющий был казак, — пояснил аргатал. — Разве вы никогда не видели такого, ваше преподобие? Нет? Когда непьющий умирает — хоругвь белую несут за гробом. Однако редко такое приходится видеть.

Мелхиседек хотел что-то сказать, но Зализняк выровнял коня и показал нагайкой на улицу, отходившую в сторону:

— Вам сюда, никуда не сворачивайте, улица прямо к монастырю приведет. Да вон и колокольню видно — церковь рядом с монастырем.

Мелхиседек повернул коня. Узенькая улочка действительно привела их к монастырю. Монахи сошли с коней; ведя их на поводу, вошли в монастырский двор.

Передав поводья монаху и спросив какого-то послушника, где помещаются комнаты игумена, Мелхиседек направился к деревянному домику около ограды. Сечевой игумен встретил Мелхиседека очень приветливо. Расспрашивая о дороге, засуетился, сам собирая на стол; потом угощал чаем со свежими ароматными просфорами, однако, чтобы не показать себя невежливым, о цели приезда не спрашивал. Послушав Мелхиседека, стал говорить сам: о своем монастыре, о татарских набегах, сетовал на соборного старца — начальника церковных служителей на Сечи, рассказал, как попал сюда. Он принадлежал к тем людям, которые больше любят рассказывать, нежели слушать, и наилучшим собеседником считают тех, кто слушает их, не перебивая. Мелхиседек не прерывал; он сидел молча, ощупывая игумена своими колючими глазами.

«Нет, на него положиться нельзя, — наконец решил он про себя, — никчемный человек». И вслух сказал:

— Зело интересные вещи рассказываете. Я еще вечерком зайду к вам, если не возражаете. Кошевого бы мне повидать. Еду я из Петербурга, удостоила меня государыня грамоту передать ему.

— Может, что про наш монастырь? — насторожился игумен.

— Сам того не ведаю, запечатана грамота; только я нахожусь в сомнении, чтобы про монастырь в ней говорилось. Где сейчас кошевой?

— Вряд ли вы застанете его дома. Собирался он сегодня куда-то, будто в зимовник свой. Завтра после утрени отдадите, он будет в церкви.

— Не проспать бы, утомился немного, — зевая и поглядывая на дверь соседней кельи, молвил Мелхиседек.

— Не беспокойтесь, — замахал руками игумен, — я скажу пономарю, он разбудит. Пойдет поднимать кошевого и к вам зайдет. Вы, я вижу, отдохнуть хотите с дороги. Прошу вот сюда, до вечера еще успеете отдохнуть.

...Проснулся Мелхиседек перед заходом солнца. Взял в руки высокий, похожий на меч посох, отправился осматривать Сечь. Сечевой игумен хотел было дать в провожатые кого-нибудь из послушников, но Мелхиседек отказался.

По улицам тут и там слонялись запорожцы. Одни проходили быстро, очевидно спешили по каким-то делам, другие же — а таких было большинство — бродили без дела от куреня к куреню, от одной группы к другой.

Держась рукой за тын, отыскивая места посуше, Мелхиседек добрался по размокшей грязной улице до майдана. На краю майдана стояли в ряд несколько шинков. Приземистые, покосившиеся, они глядели своими подслеповатыми окнами в землю, как будто стыдясь посмотреть в глаза прохожим. Каждый навес поддерживали два трухлявых столба, отчего шинки походили на нищих, которые, опершись на палки,

выстроились возле церковных ворот. Около второго от края шинка Мелхиседек заметил порядочную толпу запорожцев. Они стояли полукругом около завалинки. Посреди толпы сидел слепой кобзарь с сизоватым двойным шрамом на лбу. Около него, поджав под себя ноги, примостился мальчик. Кобзарь качал длинной седой бородой, перебирая сухими руками струны почерневшей от давности кобзы. Кобзы почти не было слышно — ее заглушили сильные казацкие голоса. Мелхиседек прислушался. Чтобы лучше разобрать, о чем поют запорожцы, он обошел лужу и приблизился к толпе. Запорожцы, обнявшись за плечи, притопывали ногами, громко пели:

У нашого отамана
Нема штанів, ні таляра.
Ой, скиньмося по таляру,
Купим штани отаману,
Штани мої ряднянії...

Мелхиседек больше не мог выдержать.

— Если стыда не имеете, хотя бы греха побоялись! — громко крикнул он.

Запорожцы смолкли, удивленно оглянулись назад и расступились, пропуская вперед Мелхиседека.

— А ты, вместо того чтобы бога славить, — продолжал он, обращаясь к кобзарю, — срамные песни поешь.

Кобзарь поднял невидящие глаза и заговорил тихо, по привычке слегка касаясь пальцами струн:

— Не знаю, кто ты, человече божий, однако напрасно мешаешь веселиться. Будь спокоен: бога мы не забываем, не во гневе он на нас и за песни эти. В песне — радость, утешение.

— Разве в таких песнях утешения ищут? — Мелхиседек обвел взглядом запорожцев. — Есть молитвенные, божественные песни: что могли бы мы знать без молитвы? С нею легко крест земной нести.

— Можно несть, — негромко, а все же так, чтобы услышал Мелхиседек, промолвил один из запорожцев, — когда в кармане есть.

Он хотел еще что-то добавить, но Мелхиседек обернулся, взмахом обеих рук сразу остановил его.

— Помолчи лучше! Пока уста сомкнуты, ты еще хозяин своего слова, а отверзлись, вылетело — им уже дьявол владеет. Мы часто не думаем, что говорим, в том и беда наша...

— Батюшка, право же, бога мы славим прежде всего, — спокойно, негромко заговорил один из запорожцев, встав напротив Мелхиседека. — Денно и нощно ему молимся. А сейчас нам не мешай, проповеди читать у нас свой поп есть. Господь веселых людей любит. Эй, кобзарь, метелицу!

Кобзарь ударил по струнам. Запорожец топнул ногой на месте, хлопнул ладонью по голенищу и, раскинув руки, пошел по кругу, часто перебирая ногами. Вдруг он, словно бы обо что-то споткнувшись, подался вперед, присел на правую ногу, выбросив вперед левую. И шагом пошел по кругу вприсядку.

— Нехристи иродовы! — выругался Мелхиседек. — Прости, господи, что согрешил, — шептал он, отходя от запорожцев.

— Ух и пляшет, словно его черт вилами подбрасывает. Мотню не разорви, — донеслись до него голоса.

Мелхиседек не оглядывался. Он не шел, а бежал через площадь. Едва не наткнулся на какую-то телегу — это посреди майдана расположился на ночь обоз с рыбой. Обходя возы, оступился в лужу и, выскочив на сухое, остановился.

«Нужно возвращаться в монастырь», — подумал он.

Однако идти снова мимо шинков не хотелось. Мелхиседек взглядом обвел майдан, раздумывая, по какой улице лучше пойти.

— Ваше преподобие, — внезапно услышал он сбоку, — чего-то вы одни посреди майдана стоите?

Мелхиседек оглянулся. Возле него стоял Züлизняк.

— Просто так, — ответил он нетвердо. — Сечь осматривал, теперь хочу в монастырь попасть.

— Заблудились? Вот так через майдан идите.

— Я уже шел этой дорогой, хотелось бы назад по другой.

— Пойдемте со мною, я провожу вас, — предложил Максим.

Они пошли рядом.

— Не думаешь на Сечи остаться? — после некоторого молчания спросил Мелхиседек и остановился перед лужей, разыскивая глазами место посуше.

Зализняк указал рукой на чуть заметную тропинку между двумя колеями.

— Сюда идите. — И, помолчав, добавил: — Оставаться мне тут не хочется. Да и незачем.

Мелхиседек осторожно двинулся вперед, ощупывая посохом дорогу.

— Куда же ты поедешь, снова к кому-нибудь наниматься?

— Выходит, что так. Куда-нибудь да поеду. Была бы спина, а дубина найдется. Скорее всего, вернусь в родное село.

Мелхиседек вышел на сухое место, немного подождал Максима, пошел рядом. Ему все больше и больше нравился этот аргатал. Нравилось его открытое, смелое лицо, приятная, хотя и скупая улыбка, нравилось и то, как рассудительно он говорил, как внимательно вслушивался в речь собеседника.

— Слушай, а не пойти ли тебе к нам, в монастырь? Там никто не будет измываться над тобой: перед богом — все равны. Поработаешь на монастырском дворе, понравится — в монахи пострижешься. Ты говорил, что не женат. А не захочешь постричься — сможешь пойти, куда сердце влечет, никто тебя задерживать не станет.

Максим задумался.

«Ей-ей, правду говорит игумен, — размышлял он. — Перед богом все равны. А разве нет?»

— О! Максим! — прервал его мысли встречный казак. — Здоровый будь. Откуда? Каким ветром?

— Суховеем, — ответил Зализняк. — После расскажу.

Запорожец, видя, что Максим с монахом, не стал задерживать его.

— Заходи сегодня вечером в наш курень, — пригласил он.

— Ладно, Данило, — кивнул головой Зализняк, — зайду. — И, подойдя к Мелхиседеку, сказал: — Подумаю, ваше преподобие, может и приду. Оно на месте виднее.

— Ты грамотный? — немного погодя спросил Мелхиседек.

Зализняк покачал головой.

— Некому учить было. Отец немного знал грамоту, да где ему было со мною морочиться. Крестный обещался, у него и часослов, и псалтырь были, и еще какая-то книжка, октоих или как-то так. Да вскорости помер.

Они дошли до монастыря. Мелхиседек попрощался и пошел в монастырский двор. Но, вспомнив что-то, остановился у калитки.

— Домой скоро едешь?

— Через неделю, может, немного позже, — не сразу ответил Максим.

— Давай вместе поедем, сподручнее и веселее. Дорога далекая.

— Отчего же, можно, — согласился Максим.

Мелхиседек прикрыл за собой калитку.

Со двора долетел приглушенный бас — Мелхиседек уже с кем-то разговаривал. Зализняк, пристально всматриваясь перед собой — уже были сумерки, — пошел к Тимошевскому куреню, где остановились аргаталы. В курене был один Роман.

— Ты что это так рано спать улегся? — толкнул его Зализняк.

Роман поднял голову, потер рукой открытую грудь.

— А что же больше делать?

— Горилку пить. Пойдем в гости к стебловцам, приятель мой давний, Данило Хрен, там, приглашал.

— В гости я всегда готов. — Роман долго возился в углу, отыскивая шапку. — В шинок будем заходить?

— За горилкой? Не нужно. Все равно одной квартой всех не напоим, да тут так и не заведено. Они сами угостят. Не зря говорят, что на Запорожье бывает два дурня: первый, кто пришел в курень голодный, а второй, кто ушел оттуда не пьяный.

На пороге куреня, старый, немного сгорбленный,

но еще крепкий еврей брил запорожца. Захватив в пригоршню оселедец, он вертел голову запорожца то в одну, то в другую сторону, дергал кверху, задирал назад, а тот, красный, словно из него тянули жилы, кряхтел, сопел и тихонько поминал черта.

В просторном курене, аршин сорок длиной, людей было немного. В противоположном от двери конце, ближе к кухарской половине, горели две свечки, около них на перевернутой вверх дном бадье стояло ведро с медовой варенухой. С десяток запорожцев по очереди черпали ковшом. Закусывали вяленой таранью, лежавшей тут же, на бадье.

— Будь ты неладен, всегда так: когда дома пообедаешь — и тут зовут, — воскликнул после приветствия Роман. — И не просите, не сяду, — он уже сидел, по-татарски поджав под себя ноги. — Что ты припал, как вол к луже? — толкнул Роман высокого запорожца и протянул руку за коряком.

— Ух, матери твоей дуля! — довольно крякнул, хлопнув его по спине, здоровенный носатый запорожец. — Бойкий ты, и говоришь складно.

— Максим, чего стоишь, — сказал Данило Хрен, приглаживая неровные усы. — Садись вот тут, рядом со мной.

— Чего это у тебя левый ус наполовину короче?

— Порохом спалил. Костер раскладывал. Такие были усы!

— Хоть бы подрезал...

— Короткие будут совсем; потерплю, он скоро отрастет.

— Поспеши, Максим, — протянул ему коряк Роман, — а не то сам выпью.

— Этот выпьет, — показывая большие крепкие зубы, засмеялся носатый. — Истинный казак. Знаешь, как когда-то, бывало, в сечевики принимали? Не слышал? — Рассказчик поудобнее уселся, пососал трубку. — В первый день берут казака запорожцы на сенокос. Сами возьмут косы — и на луг. А ему кашу поручают варить. «Крикнешь, — говорят, — с могилы, когда будет готова». Сварит тот кашу, выйдет на могилу и начинает кричать. Запорожцы лежат себе по-

близости в кустах — и ни гугу. А у того каша уже пригорает, он чуть не плачет. Так вот и сгорит каша. Вернутся и прогонят его. А иной зайдет на могилу, позовет раза два, а потом плюнет и вернется к казанку. «Ну вас, — скажет, — ко всем чертям, кабы были голодны, сами бы пришли», за ложку — и садится есть. «О, это наш, — говорят, — этого можно принять, человека по еде видно».

— То когда-то было... — бросил Жила.

— Было. А теперь...

Носатый запорожец махнул рукой.

— Перевелась Сечь. Видно, скоро ее вконец разрушат. Царицыны люди все здесь околачиваются, одни ее указы какие-то возят, другие в пушки заглядывают да челны щупают, а третьи, черт бы их побрал, так те и вовсе не знать зачем толкутся. Не та Сечь, не та. Даже татары не те стали. Не разберешь — мирные они или немирные. Едут к нам с товарами, а мы к ним; до чего дошло — нанимаемся друг к другу.

Максим подержал коряк в руках, вылил варенуху и молча повесил коряк на бадью.

— Почему не пьешь, сам говорил дорогой, что хочешь напиться? — удивленно поднял брови Роман.

— Хотел, да уже расхотел.

— Не разберу я тебя, Максим, — Роман оборвал кусок тарани, пососал и снова положил на цебер. — Чудной ты какой-то. Иной раз привередничаешь, да только не должно бы этого быть. Откуда бы взяться этим прихотям?

— Не приставай! — бросил Зализняк, вынимая из медного кольца на поясе трубку.

— Нет, ты скажи, почему ты такой? — не отступался Роман. — Неужели тебе не хочется выпить?

— Хочется... как голодному по нужде выйти.

Роман приготовился сказать какую-то колючую остроту, но его перебил Хрен:

— В самом деле, отстань! Чего ты прицепился к человеку, как злыдни к нищему. Не хочет, и пускай. Ты, Максим, насовсем в Сечь?

— Через неделю домой поеду.

— Может, в нашем курене останешься? Что тебе дома — злыдни стеречь?

— А что у вас делать? Коней Карасевых пасти? Я их у аги напасся.

— Ого, у Карася есть что пасти. Двести восемьдесят жеребцов, — обронил какой-то запорожец, лежавший в тени за цебром.

— Двести восемьдесят! — даже Роман поднялся. — Больше, Максим, чем у нашего аги было. И вы держите такого в курене?

— Ты, парубок, видно, мало еще горя видал. Помолчи, лучше будет.

— Чего же молчать, — возмутился Роман, — разве и на Запорожье не вольно говорить правду!

Наступило длительное молчание. Только нудно потрескивал фитиль да какой-то запорожец чавкал, обсасывая тарань.

— Видишь, хлопец, — загадочно и не торопясь проговорил Хрен, — вольно-то вольно, а только дурней всегда бьют.

Роман блеснул глазами.

— Смотри, дядько, чтобы я за такие слова по шее не заехал, хоть ты и старше. А то можно и на кирею встать *.

— Не горячись, меня пугать нечего, — спокойно промолвил Хрен. — Я уже, сынок, дважды стрелялся на кирее. Это не бог весть что, было бы только из-за чего. Я тебе плохого не желаю, молодой ты, можешь в беду попасть.

Носатый запорожец протянул коряк:

— Выпейте вдвоем и не нарушайте доброй беседы. А я вам лучше расскажу одну быль. Случилось когда-то мне заночевать у одного валаха...

Разговор повернулся к излюбленной запорожцами теме. Говорили о ведьмах, оборотнях, леших. Носатый запорожец рассказал, как он заснул на возу в чужой клуне и его со свистом и гиканьем возили вокруг сохи черти, как он перепугался и не мог ничего сделать. И только под утро догадался — вывернул сорочку, чертей сразу как водой смыло.

— А ты не пьяный был? — спросил один из слушателей.

— Крест святой, — божился запорожец, — утром еще и след от колес на току видно было.

— Меня когда-то такие черти возили, — вмешался Хрен. — Пришел я раз с крестин. А парубки понамазывали морды сажей да еще и одежу мою под стреху запихнули, вот поискал я ее на другой день. Максим, может, ты и вправду брезгаешь нашей чаркой?

Максим взял коряк и выпил крепкий сладковатый напиток, пахнувший медом и сухими грушами.

— Пускай вам Роман про чертей расскажет, — сказал он, улыбаясь. — Он с ними, как с кумовьями, жил.

— Не надо бы на ночь нечистого поминать, — несмело попросил кто-то.

— Да чего там, с нами крестная сила, — перекрестился носатый. — А ну-ка, ну-ка, хлопче.

— Правда, это не со мною было, — переворачиваясь на живот, начал Роман, — а с соседом. Поехал он однажды в лес...

— Не вертись, как на огне, — прошептал кто-то своему соседу, — слушай.

— Вот, значит, поехал он в лес, а за ним щенок увязался...

Зализняк легонько пожал Хрену руку и встал. Хрен вопросительно поднял на него глаза. Максим прижал ладонь к щеке, показывая, что идет спать, и, ступая тихо, вышел из куреня.

Ежась от утреннего холода, Мелхиседек прошел в распахнутую настежь дверь. В церкви стояла полутьма, свечей горело немного, и в углах было совсем темно. Церковь была почти пустой, только возле аналоя столпились запорожцы — преимущественно старики, седобородые сечевые деды. Поспешно прошли на свои места писарь, есаул и судья. Подпономарь, который ежедневно будил их, сегодня немного опоздал — они были заспанные, с нерасчесанными чупринами. Мелхиседек брезгливо поморщился — возле

аналоя кто-то громко икал. Отыскав глазами главный бокун — отгороженное решеткой место для старшины, игумен увидел, что кошевой уже стоял там. Виднелась только его широкая спина в кирее и бритый затылок. Заутреню сегодня служил сам соборный старец. Постояв немного, Мелхиседек прошел в ризницу. При его появлении дородный лысоголовый поп испуганно встрепенулся и прикрыл что-то подрясником.

«Видно, похмелялся перед молитвой», — подумал Мелхиседек и спросил:

— Почему это в церкви пусто? Где казаки?

Поп поддернул под рясой штаны, завернул какую-то страницу в библии.

— Спят, как кабаны. Крестом же их в церковь не погонишь. Покойный кошевой, царство ему небесное, — поп перекрестился, — перед церковными выборами издал было указ всем заутреню слушать. На другой день пришел, а в церкви — хоть свистни. Он в ближайший курень: одного за чуб, другого. «Чего это вы, сучьи дети, молитву не слушаете?» — «Как не слушаем, — те ему в ответ, — мы нарочно и дьякона выбрали такого, чтобы в куренях его было слышно». А дьякон, не буду врать, бывало, как заведет, верите — потолок звенит. Однако жаловаться на запорожцев нельзя, бога они почитают и на подаяния не скупы.

Мелхиседек вернулся в церковь. Встал в левом крыле перед образом святого Николая, которого какой-то богомаз намалевал с непомерно длинной бородой и запорожскими усами. По окончании службы, когда все вышли из церкви, Мелхиседек подошел к кошевому Запорожской Сечи Петру Калнышевскому. Тому, очевидно, уже кто-то доложил о приезде правителя правобережных церквей, и Калнышевский встретил Мелхиседека без всякого удивления.

— Я должен поговорить с вами, — после приветствия сказал Мелхиседек.

Кошевой расстегнул кирею — после церковной духоты ему было жарко — и кивнул головой в сторону улицы.

— Прошу в мой дом. Там и поговорим.

Размахивая палицей, он двинулся от церкви. Он обходил только большие лужи и шагал так широко, что Мелхиседеку приходилось почти бежать. Иногда, вспомнив об игумене, кошевой замедлял ход, но спустя мгновение забывал и снова начинал выбрасывать палицу далеко вперед. Мелхиседек даже не заметил, как они вышли на майдан.

— А шинков у вас немало, — переведя дух, сказал Мелхиседек. — Видно, запорожцы изрядно бражничают.

— Угу, — согласился кошевой, — пьют, аспиды. Вчера иду я к складу, а один здоровило, пьяный, как чоп, кожух разостлал мехом вниз, сел на нем по-турецки и читает проповедь прохожим. Весь в грязи, словно чудище. Я к нему. «Чего ты, — говорю, — такой-сякой, расселся, точно сучка в челне?» А он мне: «Наставляю добрых людей на путь истинный, призываю хмельного не пить». — «Как же ты можешь других наставлять, когда сам, как свинья, пьян?» — «В том-то и дело, — отвечает. — Пускай на мне видят, какой вред горилка приносит. А то что бы из того было, если бы я им трезвый говорил». Ах вы, дьяволы... — внезапно прервал рассказ кошевой и, не промолвив больше ни слова, рысцой бросился через площадь в сторону торговых рядов.

Грязь брызгала из-под его сапог, полы киреи взлетали, словно крылья подстреленного коршуна, который силится и не может взлететь ввысь. Около хлебных рядов суетились запорожцы, слышался крик, громкая ругань. Мелхиседек видел, как при появлении кошевого часть людей бросилась врассыпную, другие обступили его, что-то доказывали, размахивая руками. Кошевой ходил между рядами лавок, зачем-то долго копался в мешках, потом снова останавливался, окруженный толпой. Он еще некоторое время говорил с сечевиками, что-то щупал, отведывал, потом пригрозил кому-то палицей и вернулся назад.

— Кашевары взбунтовались, — отряхивая забрызганные грязью полы, пояснил он удивленному Мелхиседеку. — Хлеб им показался плохим. Вот они и прибежали все вместе и давай возы с хлебом в грязь

опрокидывать. Чего им, аспидам, нужно, разве калачей? Подумаешь, велики паны. Хлеб как хлеб, я пробовал. С остьями немного — беда невелика. Пойдемте быстрей, нам уже недалеко.

В хате кошевого было уютно и тепло. Калнышевский снял кирею и кафтан и остался в шелковой голубой сорочке и синих, с широким золотым галуном шароварах. Он пригласил игумена завтракать. Блюда подавали два молодых повара. Ели сметану, потом борщ с мягкими пшеничными булками, жареную баранину с гречневой кашей, пироги с творогом и маком. Под конец завтрака кухарь поставил глиняную макотру* грушевого узвара и тарелку медовых пряников.

Вытерев губы концом шленской скатерти, кошевой поднялся из-за стола.

— Немного перекусили, теперь можно и о делах поговорить, — сказал он, — пойдемте, ваше преподобие, в светлицу.

Мелхиседек заметил — лицо кошевого сразу изменилось. Оно, как и раньше, выглядело немного простовато, но глаза посерьезнели — в них светился скрытый ум. Игумену и прежде казалось, что Калнышевский только прикрывается простотой, а в действительности он рассудителен и даже хитер.

— Атаман, — начал Мелхиседек, сев рядом с Калнышевским на скамью, — ты уже, наверное, догадался, что приехал я не с пустяковым делом. За пустяками в такую даль не ездят. Да будет тебе известно: еду я издалека, из самой Варшавы. Вернее, не из Варшавы, а из Петербурга, в Варшаве я проездом был. Послала меня к тебе наша государыня. Ты знаешь, атаман, меч и католическое распятие нависли над нашими православными церквами на правом берегу Днепра, горе и муки падают на головы тех, кто не хочет принимать унии.

Черные колючие глаза Мелхиседека заполыхали неукротимым огнем. Он говорил убедительно, со страстью.

Игумен рассказал, как на протяжении последних лет униаты все дальше и дальше на Правобережной

Украине ткали свою паутину, усиливали гонения на православных. Они уже повсюду, невзирая ни на кого, чинили насилия. Да и некому было их остановить. Внутренние раздоры, борьба за власть до предела расшатали прогнившие основы Речи Посполитой. Казна была пуста, жолнеры поразбредались по домам, местное управление пришло в упадок. Одновременно с этим Польша все больше и больше подпадала под влияние России. Наконец в 1764 году на польский престол был посажен близкий к Екатерине II Станислав Август Понятовский. Однако уже вскоре значительная часть шляхты, недовольная направленной на сближение с Россией политикой Станислава, провела через сейм конституцию, по которой православие на правобережье запрещалось совсем и провозглашался врагом всякий, кто не принимал католической веры. Русское правительство, которое только и искало предлога, чтобы вмешаться во внутренние дела Польши, через своего посла в Варшаве Репнина заявило протест, пригрозив вооруженным вмешательством, и сейм издал новый указ об урегулировании прав католиков и диссидентов *. Тогда крупнейшие польские магнаты объявили, что они не признают постановления сейма, и снарядили посольство в Рим. В Польше, в мрачных дедовских замках потомственных князей, собиралась закоренелая католическая шляхта. Тут плелись коварные заговоры, вызревали черные помыслы. На Подольскую Украину двинулись шляхетские отряды Воронича, Мокрицкого, с благословения папы и частично вооруженные на его счет. Зашевелилось и местное дворянство. Чувствуя свою силу, шляхта начала жестокую расправу над православным духовенством.

Отказавшись выполнять королевские указы, конфедераты чинили повсюду свою волю. Польское правительство, бессильное предпринять что-либо против них, обратилось за помощью к Екатерине II. Тогда с русской стороны на правобережье был послан пехотный корпус генерала Кречетникова.

Обо всем вспомнил игумен, обо всем рассказал кошевому. Только, по-видимому, забыл напомнить,

что вместе с распятием шляхтичи везли с собой длинные узловатые канчуки *, что паны в имениях стали чувствовать себя еще увереннее, что панские нагайки все чаще свистели над все ниже склоненными спинами крестьян.

Калнышевский внимательно вслушивался в речи Мелхиседека. Почти все, что говорил игумен, было известно ему. И теперь он никак не мог уразуметь, к чему ведет Мелхиседек, искал какую-нибудь нить, которая бы связывала речи игумена с ним, кошевым Сечи Запорожской, и не находил ее. Да ее и не нужно было искать. Мелхиседек после недолгой паузы поднялся со скамьи, разгладил бороду, наклонился к Калнышевскому.

— Прибыл я не только по своей воле. Меня послала государыня с грамотой. Запорожцы должны тоже выйти из Сечи, встать с оружием на защиту веры. Вот грамота.

Мелхиседек полез рукой за пазуху, вытащил завернутую в шелк бумагу, стал развязывать ее. Глаза кошевого беспокойно забегали по светлице.

— Тимош, пойди Глобу позови! — крикнул он, приоткрыв дверь, и, возвратившись на место, смущенно пояснил Мелхиседеку: — Глоба — писарь кошевой, он сейчас прибудет; тут недалеко, через одну хату. Не умею я читать.

Однако грамоту взял. Долго разглядывал ее, вглядывался в мелкий красивый почерк. И Мелхиседек никак не мог разобрать, в самом ли деле он не знает грамоты или только прикидывается. Через несколько минут, стуча сапогами, в светлицу вошел писарь Иван Глоба. Кошевой протянул ему бумагу, коротко пояснил, о чем идет речь. Глоба прочитал грамоту сначала про себя, потом, расправив ее на столе, вслух. А дочитав, внимательно посмотрел на подпись.

— И печать с орлом, и писано под указ, а только не настоящая она, атаман, — словно бы про себя промолвил писарь. — На таких грамотах должна бы другая печать быть, на шнурках. Да и рука не государыни. Я руку ее величества хорошо знаю.

Мелхиседек сидел неподвижно. Его лицо было спо-

койно, только ниже упали на глаза длинные ресницы.

— Как не государыни? — тихо спросил он.

— А так, не государыни — и дело с концом! — не поднимая головы, промолвил Глоба. — Я сейчас принесу какой-нибудь указ, сверим, хотя и так видно.

— Не надо, — махнул рукой Калнышевский. — Я вижу — почерк подделан. Подпись государыни и я хорошо помню. И с чего бы это вам поручали ее везти? Гонцов, что ли, нет в сенате? — Кошевой вытянул вперед руку. — Молчите, ваше преподобие. Я все знаю, не берите на душу большего греха, и так вы не малый приняли. Не пойму только, ради чего вы все это затеяли? Может, ради славы? Что, мол, это я поднял всех на оборону веры. В историю попасть! На такое дело подбить хотели! Когда б не сан ваш и не о вере шла речь, приказал бы в колодки забить. Уходите отсюда с миром и не пробуйте запорожцев подговаривать, худо будет.

Третий день шел дождь. Грязные лохматые тучи ползли и ползли по небу без конца и края. Мокрые деревья сбрасывали последнюю листву, она тонула в лужах, смешивалась с грязью размокших сечевых улиц.

В такую погоду выезжать из Сечи было безрассудством. Максим с утра до вечера сидел в Тимошевском курене и либо забавлялся картами — в хлюста, дурачка, в пары, либо латал сечевикам обувь. И хотя он не был разговорчивым, все же вокруг него всегда сидело несколько запорожцев. Рассказывали разные бывалые случаи, шутили, иногда распивали по чарке. Изредка вставлял слово и Зализняк. Больше же молчал. Зажав между колен сапог, он стучал молотком, вгоняя гвоздик за гвоздиком в потертые казацкие подошвы. Однако было в нем что-то такое, что привлекало людей, располагало к откровенности. И наибольшей наградой для того, кто рассказывал что-то смешное, был не громкий хохот кого-либо из запорожцев, а скупая Максимова улыбка, короткий теплый взгляд его серых лучистых глаз.

Романа в курене не было. Он остался у стеблевцев и, как передавал Хрен, связался с пьяной ватагой. Максим решил не трогать его.

«Выедем из Сечи, на том и конец его пьянке, — думал он, — только бы поскорее установилась погода».

В среду с утра погода как будто бы стала улучшаться, но с полудня снова надвинулись тучи. Сидя у двери, где было больше света, Максим пришивал к сапогам старые голенища. Сеял мелкий дождь. В курене, улегшись в круг, негромко пели запорожцы. Зализняк натирал смолой дратву и тоже подтягивал невысоким голосом:

Чорна хмара наступила,
Став дощик іти.
Благослови, отамане,
Намет нап'ясти.

Песня лилась печально, то затихая на миг, то снова звуча с новой силой.

Ой, нап'яли козаченьки
Червоний намет,
Несуть вони вино, пиво
І солодкий мед.
Усі пани, усі дуки
У наметі сіли,
Наше браття, сіромашня,
Та і не посміли,
Взяли кварту меду з жарту,
На дощику сіли.

Вдруг Максим услышал топот на улице. В курень влетел Жила, забрызганный грязью. Он так запыхался, что едва мог говорить.

— Романа довбиш * забрал, судья повелел... на горло... — размазывая по лицу грязь, выпалил он.

Максим вскочил с березового пенька, рассыпав деревянные гвоздики.

— Что ты мелешь, за что?

— С Карасем сцепился. Еще в первый день, как вы вдвоем приходили. А сегодня утром Карась поднял крик, будто Роман у него деньги украл. Кто-то из братчиков вытащил, а на Романе отыгрались. А может, и никто не брал, Карась нарочно все подтасовал.

Роман разозлился, в гневе поднял саблю; Хрен успел подбить руку, и он ударил плашмя, только кожу на Карасевом затылке немного царапнул. Может быть, дубинками все обошлось бы, но куренной — за Карася. Разве не знаешь, «бідний плаче — ніхто не баче, а як богатий скривиться — всяке дивиться». Говорит, мол, сам видел, как Роман около череса Карасева вертелся. Не верю я, что он взял эти деньги! Ни за что хлопца повесят. Куренной давно грозился проучить голытьбу. Только зацепки не было. А теперь возьмут и отыграются на Романе. Правда, уже столько лет на смерть у нас не осуждали. И указ сената запрещающий есть. Но они вынудят дозволение у тутошних московских начальников или теперь, или после казни.

— Мигом к кошевому, он один может запретить казнь, — бросился за шапкой Максим. Забежав на кухарскую половину, он схватил у кухаря два калача.

— Ничего не выйдет, — говорил по дороге Жила, — стеблевский куренной кошевому сватом приходится.

Кошевой, сидя у окна, чистил соломиной люльку. При появлении Зализняка и Жилы взглянул на них, вытер об полу табачную гарь и снова принялся за свое дело. Зализняк и Жила положили на край стола калачи; чтобы очень не наследить, отошли к двери.

— Кланяемся хлебом-солью, — сказал Максим. — Дозволь, пане атаман, слово молвить.

— Говори, — продувая трубку, процедил сквозь зубы Калнышевский.

— Сегодня невинного человека схватили...

— Вы за того шаромыжника пришли просить? — выплюнул под ноги слюну кошевой. — Вы кем же ему доводитесь?

— Побратимы, — неожиданно произнес Жила.

— Воровы побратимы, значит. Забирайте к бесам ваши калачи, нечего тут лясы точить. Повесят одного, и остальным острастка будет.

— Выслушай, пане атаман... — начал Жила.

— Нечего слушать! — крикнул Калнышевский. — Прочь из светлицы!

Максим видел, что спорить бесполезно. Не про-

щаясь, он толкнул каблуком дверь и, повернувшись, пошел через сени.

— Иди в Стеблевский курень, жди меня там, — сказал Жиле, — а я в пушкарню пройду.

Сторожевой запорожец неохотно впустил Максима в пушкарню. Зализняк прикрыл за собой дверь, немного постоял у порога, пока глаза привыкли к темноте. В углу на куче камыша лежал прикованный за ногу к колоде Роман. Максим легонько коснулся его плеча. Роман вздрогнул от неожиданности, оборотился к Зализняку.

— А, это ты, садись, гостем будешь, — усмехнулся.

Максим сел рядом, ломал сухой камыш, не зная, о чем говорить.

— Не печалься, Роман, — тихо проговорил он, — это еще не все, что-нибудь придумаем.

— А я и не печалюсь, — пытался спокойно говорить Роман. — Я свою кашу уже съел.

— Что-то надо сделать...

— Веревку подрежете или девку найдете? Так и ее нет. Рассказывал мой дед, как одного запорожца вешали. Ведут его к дубу, а тут выходит дивчина с платком, опущенным на лицо. Повели их в церковь. Стоят они под венцом, а молодой боится на невесту глаза поднять: у невесты нос что твой кулак, а на подбородке котел можно повесить. И пазуха низко, почти на животе. Молодая ее левой рукой поддерживает. Присмотрелся, а у невесты пальцы аж черные от табака... Чего ты повесил голову? — оборвал рассказ Роман. — Неужели не смешно?

— Смешно, очень смешно, — задумчиво ответил Зализняк и замолк снова.

Было слышно, как где-то в углу пушкарни, тонко попискивая, скребутся мыши.

— Мы выручим тебя, что бы там ни было...

— Скажи же мне хоть на ухо, — скривил в улыбку губы Роман, — как ты это сделаешь?

— Кошевого попросим...

Роман пристально поглядел Зализняку в глаза.

— А то уже не просил? Не прикидывайся, Мак-

сим. Правда? Вот то-то же. Захотел от черта молока, когда он не пасется. — Роман повернул к Зализняку голову, подмигнул по очереди обоими глазами. — Сейчас бы чарку. Да музыку... Завтра выпьешь за помин души...

Но больше Роман не выдержал. Усмешка сползла с губ, рот болезненно перекривился, и он, по-детски всхлипнув, упал головой другу на колени. Его плечи задрожали в глухом рыдании.

— Максим, поверь, не брал я тех денег, не вор я.

— Верю, верю... — шептал Зализняк, а сам еще крепче прижал голову Романа. Жесткой, мозолистой рукой гладил по плечу, по спине, по взлохмаченным волосам.

Постепенно Роман успокоился. Он поднял лицо, вытер ладонью слезы. Порылся в чересе, выгреб пригоршню серебра.

— Отцу передай, это мои, заработанные в Очакове. Поклон ему и матери до самой земли, скажи... Нет, ничего не говори. А теперь иди, я один побуду. Прощаться завтра не подходи, давай сегодня. — Он обнял Максима за плечи, крепко трижды поцеловал в губы. — Иди, не терзай мою душу.

Стиснув в руках шапку, не разбирая дороги, Зализняк шагал по улице.

«Неужели не удастся выручить? — сверлила мозг мысль. — Не может быть... А что же можно сделать?..»

В Стеблевском курене волновались сечевики. Как только Зализняк переступил порог, к нему подошли Данило Хрен и носатый запорожец, которому так понравился Роман.

— О, да ты, я вижу, совсем скис, — сказал носатый. — Ничего, мы еще увидим, кто возьмет верх. Нищий до тех пор слабый, пока собаки не обступят.

— У тебя деньги есть? — спросил Хрен. — Нужно довбишу дать, чтобы завтра коня не держал крепко. Никто не верит в Романову вину. Не такой он хлопец. Ну, стоять нечего. Айда по куреням, наши хлопцы уже разошлись.

Зализняк вынул из череса заработанные в Оча-

кове деньги, свои и Романа, высыпал Хрену на ладонь. Носатый запорожец тоже полез в карман. Один за другим выворачивал он их, но нашел лишь пятак.

— Это остаток, все вчера пропил. Мало будет ваших — у хлопцев достанем. Для такого дела не пожалеют.

Утром следующего дня, несмотря на дождь, из куреней валом повалили запорожцы. Пешие и конные, толпой двигались они за Сечь в сторону Кошеиванцовской могилы, где должна была состояться казнь.

В длинных серых кобеняках *, они походили на измокших грачей. В степи около могилы стоял шум, над головами от люлек редким туманом поднимался дым. Старшины стояли в стороне небольшим кругом. Максим поискал глазами Карася, но его не было, наверное скрывался дома.

— Везут! — вдруг крикнул кто-то.

Максим посмотрел через головы. Дорогой от Сечи ехал запряженный буланым конем воз; за ним, окруженный четырьмя есаулами, шел Роман. Он был без шапки, полы расстегнутого кунтуша развевал ветер. Посиневшими, мокрыми от дождя губами Роман читал канон на исход своей души. За Романом шли поп и дьячок, а уже за ними — большая толпа запорожцев Стеблевского куреня.

Подняв голову, Роман бросил взгляд на шеренгу виселиц около могилы и снова зашептал молитву. Под одной из виселиц довбиш, который был на Сечи одновременно и палачом, остановил коня. Поп быстро, поспешая убежать от дождя, прочитал псалтырь, отпустил грехи. Роман оперся на люшню, вскочил на воз. Возле его головы, колеблемая ветром, раскачивалась мокрая, слегка смазанная смальцем веревка с петлей на конце. Роман должен был сам надеть ее себе на шею. Широко расставив на возу ноги, он бросил взгляд в толпу. В степи стало так тихо, будто ни единого человека не было поблизости.

— Панове запорожцы, — каким-то не своим голосом крикнул Роман, — не поминайте лихом, прощайте, паны молодцы! Знайте — не вор я.

Он медленно поклонился на все стороны, взялся дрожащими руками за петлю.

«Почему молчат, неужели все?» — с ужасом подумал Зализняк. Видя, как Роман расправляет петлю, он подался вперед, хрипло выкрикнул:

— Но!

И в тот же миг майдан взорвался сотнями голосов:

— Но! Но! Но-о-о!

Кто-то пронзительно свистнул, кто-то дернул за полу довбиша, повалил его на толпу. Буланый присел на задних ногах и, задрожав всем телом, сорвался с места.

— Но, но-о! — катилось степью.

Толпа качнулась в обе стороны, давая дорогу ошалелому коню. Максим и Хрен, схватившись один за полудрабок, другой за люшню, изо всех сил старались не отстать от воза.

— Тпр-р! Стой, стой, аспид! — завопил судья и бросился вслед.

Но перед ним бурлила живая стена сечевиков. Судья попытался протиснуться — и отступился: запорожцы становились плечом к плечу, незаметно брались за полы, не давая ему дороги.

Тем временем воз был уже далеко. Около небольшого заросшего озерца Хрен, сидя на возу, натянул вожжи.

— Тпр-р! Омелько, агов!

Из камыша, хлюпая по воде, вышел Жила. Он вел на поводу двух коней.

— А третий где? — спросил Максим. — Или ты на этом поедешь? — показал глазами на буланого.

— Я не еду, — ответил Жила. — Тут остаюсь.

— Садитесь быстрее, — обнимая за плечи Зализняка, сказал Хрен.

— Спасибо, брат, — Максим крепко поцеловал Хрена в щеку.

— Бога благодари, — по-отцовски целуя Романа

в лоб, ответил Хрен. — Счастливого пути, сынку. Тебе тоже, Максим.

Разбрасывая из-под копыт комья мокрой земли, кони помчались за озеро.

Проехав с полверсты, Максим поднялся в стременах и огляделся: возле озера ни Жилы, ни Хрена уже не было. По берегу, пощипывая сухую осеннюю траву, бродил запряженный в воз буланый конь.

Глава четвертая

В СЕЛЕ НАД ТЯСМИНОМ

При въезде в село, на краю Дерновского шляха, стоит почерневший деревянный крест. На кресте — исклеванный птицами и обдерганный ветрами сноп, рядом со снопом на гвоздике — цеп и серп. Иссеченный дождями, покосившийся от непогоды, крест напоминает обвешанного сумами нищего-калеку. От середины креста расходятся шестнадцать дырок с забитыми в них колышками. Это отметки о количестве льготных лет. Идут по правобережью панские приказчики — заходят и на левый берег, а иногда и в самую Польшу и Молдавию; ищут свободных людей, уговаривают наняться к пану. Обещают реки медовые, горы золотые. А прежде всего льготные годы. Целых шестнадцать лет не будет платить крестьянин чиншу. А потом сколотит деньги, уплатит пану за землю — и ходи-гуляй свободный человек. Шестнадцать лет — шестнадцать колышков. Задумается человек. Дома в каждом углу подстерегает его нищета; и гонит нужда из дому. Шестнадцать льготных лет, но ведь дальше же... А вдруг не соберет денег? Да что там! Заработает он. А если и не заработает... За шестнадцать лет много воды утечет, многое может измениться. Будь что будет. Иду!.. И идет.

Проходит время. Но что-то не слышно, чтобы зазвенели в кошельке у крестьянина деньги. Он уже пану не только за землю должен, а и занял у него, чтобы покрыть нехватки. Все меньше становится на кресте колышков: проходит восемь, а за ними еще

восемь лет. Черными впадинами поглядывают на крестьянина, когда он возвращается с поля, пустые дырки на кресте. Со страхом отводит он взгляд, ибо начинает понимать, что уже до смерти не видеть ему воли. Он крепостной. Только разве и утешает немного мысль, что не он же один, а все село...

— Вот, Роман, мы и дома, — придерживая коня, сказал Максим. — Даже не верится.

Он наклонился с коня, взглянул на крест.

— Два колышка осталось. Осенью еще один вытащат. Вот так весь век от креста до креста и ходит человек, пока сам не ляжет под крестом навечно.

Орлик неспокойно бил копытом по грязи, косся глазом на Зализняка. Он словно понимал, что уже закончился долгий путь, и как бы удивлялся, почему это хозяин задерживается в последние минуты. Наконец Максим отпустил повода. Из-под копыт брызнула грязь, ударила в покосившийся крест. Кони помчались по широкой улице.

— Максим, заходи, не забывай! — Роман резко дернул вправо повод.

Максим поскакал дальше. Из-под ворот выскочил бесхвостый пес и некоторое время с лаем бежал рядом с Орликом. Коротким эхом отбился стук копыт по мостику, еще одна улица слева. Только теперь Максим почувствовал беспокойство. Вон под горою, на самом краю села, уже видно хату. Когда-то красивая, с резными ставнями, она теперь низко, по самые окна, осела в землю. За хатой — сливовый сад.

«Где вяз, на котором когда-то с хлопцами качели привязывал? И шелковицы возле колодца не видно. Наверное, срубили на дрова».

Максим соскочил с коня, открыл ворота. В окне мелькнуло испуганное личико, на миг спряталось и уже показалось в другом окне. Потом осторожно скрипнула дверь, из сеней выглянула белокурая детская головка.

— Оля, ты?

Головка опять спряталась и через мгновение появилась снова.

— Оля, неужели не узнала? Выросла как. Я Максим.

Большие детские глаза смотрели на него удивленно и немного испуганно. Вдруг в них мелькнули веселые огоньки. Девочка с громким криком бросилась к нему.

— Дядя Максим! Приехали. Мы так ждали, так ждали. Баба Устя каждый день вас вспоминает.

Зализняк подхватил девочку на руки, улыбаясь, заглянул в глаза.

Вся в мать. Белокурые волосы в колечках кудрей, волнистые косы. И глаза синие-синие, до черноты, как вода в Тясмине перед грозой. Болезненно сжалось сердце, казалось, будто холодный ветер прорвался под кунтуш. Сестра, Мотря! Вспомнилось, как еще ребенком хозяйничала она в хате (мать на поденщине всегда); словно взрослая, стряпая у плиты, пела ему: «Ой, ну, люлю, коточок»; поставив перед ним на стол миску с кашей, складывала по-матерински руки на груди. Еще сама ребенок, вынянчила его.

Где она сейчас, что с нею? Отдавали паны Думковские старшую дочку за князя литовского и в приданое молодой княгине силой взяли Мотрю ко двору. Как сейчас помнит Максим: прискакал на Сечь ее муж, рвал на себе сорочку, рассказывая об этом. Едва не в ногах у кошевого валялся Максим, выпросил сотню казаков. Не жалели братчики коней. Но опоздали. Погнали Мотрю в неволю. На Писарской плотине подстерегли запорожцы свадебный поезд: не многим шляхтичам удалось бежать. Переворачивались в воду гербовые кареты, визжали перепуганные паны, высоко поднималась Максимова сабля, жаждая мести. Однако паны Думковские успели бежать. Перед самыми казацкими конями с грохотом закрылись двери Кончакской крепости.

Неужели так никогда и не удастся отплатить за Мотрины муки? Неужели?!

Максим еще раз поцеловал белокурую головку племянницы.

— Ждали? И ты ждала? А я уже думал, что ты другого дядю нашла, вижу — в сенях прячешься.

— Ой, нет! — Оля обхватила шею Зализняка, прижалась щекой. — Я не узнала вас.

— Где же баба Устя? — заглянул в низенькое окошко Максим.

— Пошла к тетке Карихе просо толочь. Вон она.

— Где?

— Да вон же. Баба Устя! Дядя Максим приехал.

Огородом, раскинув руки, спешила Максимова мать. Платок сполз на плечи, из-под очипка * выбились седые волосы. Подбежала к сыну, припала к его груди, громко всхлипнула.

— Сынку, приехал... — только и смогла вымолвить.

— Приехал, мамо. Теперь с вами буду. Зачем же плакать? — лаская мать, говорил он.

Она вытерла уголком платка глаза.

— Это, сынку, от радости. Видишь, Оля, дождались. Пойдем, пойдем в хату, — засуетилась она.

— Сейчас коня заведу.

В хате словно бы ничего и не изменилось. За перекладиной торчал пучок сон-травы, молодецки выпятили груди прицепленные над столом синие соломенные петухи с красными хвостами. Только на потолке в нескольких местах повыступали рыжие пятна.

«Кровля протекает, нужно завтра починить», — подумал Максим. Снял кунтуш, взял ведро, вышел во двор. Уже в двери услышал, как мать что-то шепнула на ухо Оле. Спуская ведро в колодец, почувствовал, как журавель тянет вниз.

«Как только мать воду достает? Колодка оторвалась, а прибить некому».

— Оля, а ты куда? — заметил он племянницу, выскочившую из двери.

— К тетке Насте.

— Зачем?

Оля повертела головой, таинственно улыбнулась.

— Нужно... баба послала.

— Занять что-нибудь, — догадался Максим. — Никуда ты, Оля, не пойдешь. Возьми лучше корец да слей мне. Только дай я сначала напьюсь.

Вода была холодная, с приятным, знакомым с детства привкусом.

Вымывшись до пояса, Максим напоследок брызнул Оле в лицо и большими прыжками побежал в хату. Оля с визгом и смехом бросилась за ним.

— Зря вы, мама, беспокоитесь, — растирая мускулистую грудь, заговорил Тализняк. — Не нужно никуда посылать Олю.

— Я хотела немножко сала занять, мы отдадим...

— Сало у меня в торбе есть. Если хотите что-нибудь для меня приготовить, то сварите юшки с фасолью. Да луковицу дайте вот такую, — он показал здоровенный кулак. — Есть лук?

— Ого, целых пять венков, — ответила Оля.

— Пять венков я, наверное, за один раз не съем, — засмеялся Максим. — Разве вдвоем с тобою?

Скрипнула дверь. Вытирая на пороге ноги, чтобы не загрязнить чисто вымазанный глиной пол, в хату вошел Карый.

— Здорово, бездомник, — протянул он руку, — живой, крепкий?

— Крепкий, — с силой пожал руку Максим. — Проходите, дядьку Гаврило.

Карый не успел сесть на скамью, как дверь снова скрипнула. Зашел дальний Максимов родственник, Микита Твердохлеб, немного погодя — Микола, за ним еще один сосед, потом еще — и вскоре хата была полна людей. Около двери столпилась куча детворы — Олины друзья.

Максим развязал торбу, вынул несколько пригоршней сушек, высыпал на стол.

— Возьми, Оля, гостинец. Поделись с ними. — Он показал головой на детвору. — А вы, мама, лучше не канительтесь со стряпней. Принесите капусты квашеной, если есть. Есть? Вот и хорошо. Она пригодится к чарке. Вот сало, тарань вяленая.

— Подождите немножко, я все же протоплю. Это недолго, — ответила мать.

Вскоре все сидели за столом. Выпили по чарке, потом по другой.

— Ну, рассказывай, Максим, где был, — накла-

дывая сало на краюху хлеба, попросил Твердохлеб. — Заработки как, небось с червонцами приехал? — подмигнул он. — Был слух, ты ватагу за Буг водил.

— Какую там ватагу? — Максим налил в кружку, протянул Карому. — Еще по одной. Водил ватагу коней аги татарского, аргатовал в Очакове.

Зализняк долго рассказывал про свою жизнь, про татар, про Сечь.

Уже в третий раз подняли чарки.

— Значит, и у неверных паны, как и у нас, — молвил Твердохлеб.

— Где их нет, — кивнул головой Максим. — Разве на том свете! Что же у вас здесь нового?

Микола дожевал соленый огурец, вытер рукавом рот.

— Поп новый, только и всего. Сюда возом привезли, а теперь разжирел — в карете ездит. — Он на мгновение замялся — не знал, как ему называть Зализняка — дядькой, как раньше, или Максимом. — Знаешь, — продолжал он, — кончаются льготные годы. При льготных нет жизни людям, а что же дальше будет?

— Подумать страшно, — поддержал Твердохлеб. — В селе уже вольных людей почти не осталось. Куда только казаки деваются? И мору нет, и войны тоже: а от ревизии до ревизии их все меньше и меньше. Ты, может, тоже в имение пойдешь?

— Не знаю, навряд ли, — ответил Максим.

— Куда же денешься? — покачал головой Карый. — Гнись не гнись, а в оглобли становись. Или на своем хозяйстве осядешь? Деньжат коп * десять все же привез?

Максим промолчал. Взял бутылку, снова налил чарки.

Разговор затянулся до вечера. Незаметно из темных углов выползли лохматые тени, смешались с табачным дымом, окутали хату. Один за другим расходились соседи убрать на ночь скот. Последним вышел Микола. Максим проводил его до перелаза, взял за локоть.

— Оксана где, в имении или дома? — тихо спросил он и отвел глаза в сторону.

— Должна быть дома. Одна. Стариков я встретил утром, куда-то поехали, не на престол ли в Ивковцы, к родичам. — Микола оглянулся, заговорил еще тише: — Ждет она тебя. Не бойся, сходи, все равно в селе все знают, что вы любите друг друга. Она сама меня о тебе расспрашивала. Еще хочу тебе сказать — берегись, Максим! Не ходи на Раковку, на сторону Думковских, докажет кто-нибудь на тебя — схватят Думковские.

— Там, поди, уже забыли все, что я и на свете живу. Да и не так легко взять меня. Паны Думковские с Калиновскими и сейчас враждуют? Это к лучшему. Старый пан, говорили, подох. Давно пора. Не говори никому, что я об Оксане спрашивал. Хорошо?

— Зачем об этом напоминать.

Микола пошел. Максим оперся о камышовый плетень, потер лоб. Незаметно для себя отламывал рукой старые, трухлявые стебли камыша. Чувствовал, что не пойти не сможет. А пойти — накликать людские толки. Но чего стоят эти пересуды? Разве и так не знают, что любят они друг друга еще с детства? Только потом редко приходилось видеть Оксану, подолгу не приезжал Максим домой, слонялся по заработкам, на Сечи. А три года тому назад заболел в степи, подобрали казаки с зимовника. В селе прошел слух, будто помер он. Лишь Оксана не поверила. Два года ждала его, отказывала женихам. Уже и мать стала гневаться. «Не век же тебе в девках сидеть», — говорила она. Больше всех пришелся матери по нраву богатый казак из пикинеров, которые одно время стояли в селе. Насильно обручили с ним Оксану. Пикинер условился с управляющим Калиновских о выкупе Оксаны, сам должен был приехать на маковея и отгулять свадьбу. Но на спас пришло известие, что ранен он на литовской границе, лежит в госпитале и неизвестно когда вернется.

Обо всем этом рассказывали Зализняку на Сечи запорожцы из Медведовки.

Максим поправил в плетне поломанный колышек

и пошел в хату. Засветив лучинку, воткнул ее в дырку возле печи, сел на скамью. Мать рядом. Любовно и печально глядела она на сына.

— Максим, ты и вправду разбойничью ватагу водил? — отважилась спросить она. — Поговаривали тут такое. Загнийный говорил: «Приедет твой сын богачом, если на суку не повесят». Мне же... мне не надо такого богатства, неправдой нажитого.

Зализняк обнял мать, сказал успокаивающе:

— Брехня все это, мамо. Никого я не грабил. Меня грабили: старшины по зимовникам, ага татарский на Черноморье. Дни и ночи я спину гнул.

— Все зарабатывал?

Максим на минуту замолк, отвернулся к печи. Красный огонек от лучины качнулся, вспыхнул ярче, осветив его суровое, мужественное лицо.

— Заработал было. Однако беда стряслась. Напали на Ингуле немирные буджаки, забрали все.

— Ой, горе какое! — встревожилась мать. — Ведь могли и в рабство продать, а то и убить.

— Все могло быть. Выручили сторожевые казаки, потом расскажу. — Он нежно обнял мать, а она прижалась к нему, утирая слезы. — Я, мамо, пойду. Может, запоздаю немного, не беспокойтесь.

Мать не спрашивала, куда он идет. Долго смотрела вслед, шептала что-то сухими губами.

Максим перешел улицу, тропинкой спустился к берегу. Пошел так умышленно, чтобы ни с кем не встретиться. В селе мигали редкие огоньки. Тихо журчала невидимая в темноте небольшая речушка, что сбегала к Тясмину, плескаясь о берег легкой волной. Не доходя до пруда, Максим свернул на вязкую луговину, поднялся на гору. Под сапогами рассыпались мокрые песчаные комья, иногда нога попадала в ямку, наполненную водой. Под горой тянулась улица. Далеко разбросанные одна от другой хаты одиноко жались к горе, словно искали у нее защиты. Зализняк сошел вниз, остановился на краю реденького заброшенного сада. Сквозь яблоневые ветки был хорошо виден слабый огонек в окне хаты. Максим почувствовал, как бешено забилось сердце, будто ему

стало тесно. Он долго стоял неподвижно, чувствуя, как его все больше охватывает волнение. Наконец, медленно ступая, подошел к окну, легонько постучал в стекло. В хате, словно испуганный чем-то, трепыхнулся огонек, скрипнула дверь.

— Кто?

Максим сразу узнал такой знакомый еще с детства голос.

— Оксана, это я, Максим! Открой!

Звякнул засов.

— Ты, неужто ты?.. Заходи в хату, — как-то словно бы равнодушно промолвила Оксана.

Максиму разом показалось, что его ноги налились свинцом, будто он прошел пешком невесть какой длинный путь.

«Неужели не рада? — мелькнула мысль. — Забыла, неправду говорил Микола». Он тяжело переступил порог, вошел в хату.

Оксана вошла следом, забыв прикрыть дверь. И стала у порога, прижав руки к груди. Максиму показалось, что она смотрит на него как-то испуганно.

— Оксана, вечер добрый. Чего молчишь? Может, мне не надо было приходить?

Лицо Оксаны передернулось, как от боли, она только теперь опомнилась, осознала неожиданное счастье, качнулась от двери навстречу протянутым Максимовым рукам.

— Приехал, я знала, что ты приедешь! — Она то целовала его, то, откинув голову назад, заглядывала в глаза. — Любимый мой, дорогой, золотой!

— Счастье мое!

— Если бы счастье, раньше бы приехал, — немного успокаиваясь, проговорила она. — Не сердись, я сама не знаю, что говорю.

— Оксана, твои в Ивковцы поехали? — Максим оглядел хату. — Окна завесь.

Оксана засмеялась.

— Я бы их во всю стену прорубила, пускай все смотрят на мою радость. Не боюсь я ничего.

Однако достала платок и, не переставая говорить, стала завешивать окно.

— Я и тогда не пряталась со своей любовью, тем паче теперь не хочу таиться. Или, может, ты боишься? Нет. Я знаю, ты у меня ничего не боишься.

Прижалась к нему, поцеловала в щеку. Потом взяла другой платок, пошла к угловому окну.

— Правда твоя, следует их позакрывать. Пускай наше счастье не раскрадывают люди. Его и так у нас немного. — Оксана притихла, вглядываясь в окно. — Дождь какой пошел, как из ведра поливает. Вот и конец, завесила. — Она села возле него. — Рассказывай, милый, надолго? Навсегда! Ой, радость какая!

Максим счастливо улыбался, вслушиваясь в ее голос. По Оксаниным щекам разлился широкий румянец. Максим сидел и любовался ею. Радовался ее радостью, чувствовал, что она всей своей женской душой рвется к нему. Как ему хотелось прижать ее к сердцу, целовать эти глаза, сказать что-то нежное-нежное, такое, чтобы сердце замирало от счастья. Но чувствовал — не может. То ли душа очерствела от ежедневной борьбы, или он еще не привык после долгой разлуки. Не поднималась рука, чтобы обнять ее, такую желанную, близкую. Он всматривался в знакомые черты, что снились ему на чужбине в короткие ночи неспокойного бурлацкого сна. Вот над крутой бровью чуть заметная точечка: когда-то давно, детьми, они играли у пруда, и маленькая Оксана упала на пень.

«И улыбка та же. Оксана осталась такой же, как и когда-то, — думал он. — И любит меня так же и верит мне».

Эта вера жила в них обоих на протяжении многих лет. Только она и могла отогнать темные думы, перебороть грусть и боязнь разлуки, не толкнуть в чьи-то чужие объятия. Почему он так верил Оксане, Максим и сам не знал, но жила в нем уверенность, а без такой веры не может быть истинной любви, настоящего счастья.

— Истосковался я по тебе, Оксана, душой. — Он положил в руку ее длинную тугую косу, слегка обнял за плечи.

— Расскажи, где же ты был? Что делал? Вспоминал ли меня?

Тихо лилась беседа, словно нитка хорошей пряжи, тонкая, бесконечная. В сенях на насесте ударил крыльями, прокукарекал петух. Максим прислушался — в окно громко стучал дождь. Было слышно, как, стекая со стрехи, плещется вода, падая в лужу около завалинки.

— Время домой, — промолвил Максим.

Оксана отвернула уголок платка, выглянула в окно.

— Куда же ты пойдешь? Ливень на дворе. Посиди еще немного. А то, может, устал, так ложись, поспи, я потом разбужу.

Не ожидая ответа, она разобрала постель, постелила Максиму на скамье.

— Зачем ты так? — Максим слегка притянул Оксану к себе. — Может, вместе постелешь, Оксана. Все равно люди узнают, что я у тебя был, никто не поверит...

— Не надо, Максим, — тихо вымолвила она. — Разве мы для людей живем? Ложись, спи.

Он был бессилен против этого довода, против этого до беспамятства родного голоса.

Оксана притушила светильник, пошла к постели. Максим долго лежал неподвижно. Старался думать о событиях последних дней, о том, что будет делать дальше. В ближайшие дни, может и завтра, пойдет к управляющему и договорится о женитьбе на Оксане. Сначала надо поговорить с ее отцом. Старик любит его и, конечно, согласится.

Повернулся на другой бок. Мысли летели одна за другой, не давали уснуть, кроме того, преследовал легкий укор: зачем остался, не надо бы людских пересудов. Прислушался к дождю — он не утихал.

— Максим, почему ты не спишь?

— Оксана! Неужели ты думаешь, что я сейчас могу заснуть?

— Недели две тому назад ты мне так плохо приснился. Целый день после того я ходила сама не своя. Что было бы, если бы я тебя снова утратила?

— Теперь мы всегда будем вместе. Я уже никуда не поеду. Наймусь где-нибудь поблизости, заработаю денег.

— Ты обо мне часто думал, Максим? — горячим шепотом спросила Оксана. Ее лица не было видно, но Максим почувствовал, что она мечтательно улыбается.

— Часто, очень часто. Бывало, лежу в траве, кони над лиманом пасутся, а я один-одинешенек. И думаю о тебе.

Оксана вздохнула.

— А все-таки лучше быть вместе, нежели думать друг о друге. Правда, милый?

— Правда. Однако я пойду. Нет, нет... Ты сама понимаешь, я должен быть до утра дома.

*

Ржаные кули * были мелкие, изъеденные мышами, и потому их сначала приходилось развязывать и вытряхивать, а потом перевязывать снова. В хлеву пахло подопрелым сеном и навозом. Все тут было знакомо с детства, каждый уголок, каждая балка. Вон там, наверху, находилось его детское царство. Спрятавшись под сеном, он когда-то просидел там целых два дня. Это было в то время, когда он служил у гончара, помогал продавать горшки. Каждое утро мимо него проходил через базар лавочник Ремез. Губатый, с ехидной усмешкой, он никогда не пропускал случая посмеяться над белоголовым учеником горшечника. Шутки его были не остроумны, но злы. То он предлагал ему идти к нему кормить собак, то ловить раков в Тясмине, а то и просто стучал пальцем сначала по Максимовой голове, а потом по горшку. Хлопец решил любой ценой отплатить ему. Однажды, вымазав смолой края дырявой макотры, Максим дождался, когда Ремез, повернувшись к нему спиной, снял шапку и поздоровался с экономом. В тот же миг макотра очутилась на его голове. Разбросав горшки и слыша позади себя страшную ругань Ремеза и смех людей, хлопец прибежал домой; боясь отцовских побоев, спрятался на чердаке, где и просидел два дня...

Максим набрал обмолотков и полез по лестнице на хату. Осторожно ощупывая старую кровлю, пролез к трубе. Погода стояла на диво хорошая. Это был один из тех редких осенних дней, когда после дождя наступают ясные дни и появляется солнце. На небе, возле горизонта, застыли прозрачные сизоватые облачка. Максим бросил взгляд на Тясмин. Глазам открылся чудесный вид. Далеко-далеко, вплоть до синей полоски леса, волновались высокие камыши, будто густой, непроходимый лес. Напротив села, с острова, устремились ввысь стены Николаевского монастыря, похожего на древнюю крепость. Слева от монастыря над самой водой нависли угловые башни Кончакской крепости. Из бойниц, едва заметных отсюда, мрачно смотрели на Медведовку жерла пушек. Всего села — по городовым книгам оно считалось местечком — разглядеть было невозможно, его улицы прятались в ярах.

На ровном месте протянулись лишь две улицы, в конце одной из них и стояла хата Зализняка. Эта часть называлась Калиновкой. Почти у каждой хаты росло несколько больших кустов калины. Листья уже давно осыпались, на ветках остались только большие гроздья ягод. Освещенные солнцем, они издали походили на красные платки, развешанные в садах возле хат.

Ничего тут не изменилось. Та же речка, те же ободранные хаты, те же люди. Вон по тропке проковылял Гиля, сын арендатора медведовского перевоза, за ним увязалась детвора в запачканных калиной рубашках, крича многоголосо:

— Гиля, ноги не замерзли?

— Гиля, слезай — пробеги!

Когда-то в лютый мороз Гиля добирался до Смелы, подвозил его какой-то дядько. Гиля умостился на санях, и сколько дядько ни говорил, чтобы тот пробежался, он даже не шевельнулся.

— Как? За свои деньги да еще бежать? Пятачок заплатил, а теперь слезать!

А в Смеле Гилю пришлось снимать с саней — у него отмерзли пальцы на обеих ногах.

Давно это было, наверное, лет двадцать тому назад. Сколько Максим помнит Гилю, тот уже шаркал ногами. Когда-то и он, Максим, бегал с мальчиками за Гилей, уклоняясь от его увесистой палки. Ничего не изменилось. Только детвора новая повырастала. И как она быстро растет!

Сложив кули так, чтобы они не скатились вниз, Зализняк стал ощупывать замшелую кровлю, отыскивал дырки, негодные кули. Выбрасывал пучки истлевшей соломы, вместо них вставлял новые, прибивая их лопаткой. Некоторые места приходилось перекрывать заново. До полудня он едва успел подправить меньшую сторону, которая выходила к Тясмину. Только принялся за другую, как со двора прозвучал голос:

— Стреху так далеко не напускай — ведьмы обдергают.

Максим взглянул вниз. Посреди двора, задрав голову, стоял Роман.

— Слезай, перекурим, — сказал он. — Табачок есть.

Зализняк слез на землю, пожал Роману руку, сел на завалинке.

— Ты не на шутку за хозяйство взялся, — сказал Роман, вынимая кисет. — Не успел приехать, и уже на крышу полез.

— Видишь, как распогодилось. Надо спешить.

Раскуривая люльки, перекинулись еще несколькими незначительными словами. Потом Роман подвинулся ближе, положил на колено Зализняку руку.

— Это я, Максим, по пути зашел к тебе. Хочу об одном деле потолковать. Может, и ты присоединишься. Приехал это, значит, я домой, а там давно голодают. Еще только осень, а в хлеб макуху примешивают. — Роман зажег от Максимовой трубки пучок истлевшей соломы, раскурил свою. — Наняться бы куда-нибудь — только кому на зиму поденщик нужен. Да и надоела такая жизнь. Хоть немножко бы по-человечески пожить. Начальник надворной охраны Калиновских новую сотню набирает. Пойдем

в надворные казаки, нас возьмут, у меня там есть один есаул знакомый.

Максим выбил о завалинку люльку, растер пальцем остатки тлеющего табака.

— Думаешь, меня взяли бы? Начальник надворной охраны и до сих пор помнит, как я когда-то трех гайдуков дубиной в пруд загнал.

— Начальник сейчас не тот, новый.

— Да не в этом дело. Про гайдуков я так, между прочим, рассказал. Не пойду я. И тебе не советую. Хочешь на легкий хлеб? Роман, не легкий он, в горле может застрять. Разве не знаешь, для чего дают надворникам ружья, на кого ты должен нагайкой замахиваться?

— Ты вот о чем! Никто не заставит нас делать то, чего мы не захотим. Ты вскоре мог бы и есаулом стать. Разве найдется в селе казак, который не побоялся бы помериться с тобой на саблях.

— Ноги моей там не будет, — твердо сказал Зализняк. — А ты смотри. Не хочу тебя отговаривать, знаю, тяжелый год идет — будешь на меня обиду таить, скажешь — отговорил.

На улице послышались шаги. Мимо двора — видно, к управе — прошли Загнийный с писарчуком. Писарчук, паренек лет восемнадцати, с длинным носом, шагал солидно, важно. Руки заложены в карманы длинного, крытого черкасином кожуха, справленного отцом сыну-грамотею (целых три зимы проучился у дьячка!); смушковая, в пол-локтя, шапка ни перед кем не заламывается. Здороваясь с Максимом и Романом, он едва коснулся ее рукой, и то лишь после того, как краем глаза убедился, что сам писарь взялся за шапку.

— Гляди, такой увалень, а как петушится, — бросил Роман.

Максим, проводив долгим взглядом писаря и писарчука, вздохнул.

— Хоть и недотепа он, а, знаешь, я ему завидую.

— Ему?! — удивился Роман.

— Да. Грамоту человек знает. Все читать может, всякая книжка ему доступна. — И, предупреждая

Романову насмешку, круто переменил разговор. — Брат твой где, дома?

— Из Яблуневки вчера приехал, у шорника ремеслу учится. Попа тамошнего в монастырь подвозил. Приход в селе давно закрыли. Поп тайком крестил, мертвых ночью на огородах хоронил. Пан Яблуновский унию принял и приказал гайдукам изловить попа. Хочет все село в унию перевести. И как это может человек вере своей изменить, скажи, Максим?

— То не человек, то пан. Ему все равно, какому богу молиться. Терпеливый народ наш... Ну, ничего! Недаром говорят: калека не до скончания века, паны не до смерти. — Максим поднялся, взял в руки по кулю. — Подержи лестницу, а то сдвинется, проклятая. Заходи как-нибудь, поговорим на свободе.

Максим лазил по хате до самых сумерек. Давно догорело за Тясмином в багряном зареве солнце, серым туманом поднимались с земли сумерки. Уже трудно стало разглядеть что-нибудь. Тогда Зализняк слез с хаты. Отнес в сени лестницу, помыл у колодца руки и пошел со двора.

— Куда ты? — позвала от погреба мать. — А ужинать?

— Я недолго, скоро вернусь.

Мать и Оля одни не стали ужинать. Долго сидели они, ожидая Максима. Одна за другой сгорали сухие, наколотые из смолистого соснового корня лучинки. Оля так и задремала, склонив белокурую головку бабке на колени. Лучина догорела, но Устя не встала зажечь другую, не хотела тревожить внучку. Уже и ее клонило ко сну, а Максима все не было.

«Не случилось ли что-нибудь?» — тревожно подумала она. Давно стал взрослым сын, своя жизнь у него, а материнское сердце неспокойно. Все ей кажется, что может он попасть в какую-то беду. Сколько она натерпелась страхов, когда Максим был еще ребенком! Хлопец рос буйным, часто приходил домой в разорванной сорочке, с распухшим носом. Однако

почти никогда не плакал. Может, горе и нужда сделали его таким черствым. Что он видел сызмальства! Рано умер отец — простудился, провалившись зимою под лед. На Максима он возлагал большие надежды. Все, бывало, говорил: «Это у меня мастер знаменитый будет, руки у него золотые». И в самом деле, мальчик рос очень понятливым. Ему не было еще восьми, а он уже вырезал из ясеня таких коней и петушков, что хоть и в Чигирин на ярмарку вези. А однажды волов в ярме вырезал, еще и покрасил луковым настоем. Никто не верил, что это Максимова работа. Но после смерти отца бросил резьбу. Никому не было дела до его коней и волов, и самому Максиму это быстро надоело.

Звякнула щеколда. «Максим?» Нет. Это ветер стучит в дверь, завывает под окнами, словно просится в хату. А мысли снуют без конца, без края, всплывают целыми вереницами, цепляются друг за друга, как паутина бабьего лета за корявые ветви дикой груши, одиноко растущей в поле.

Вырастал мальчик, росли и заботы. То паныча в воду бросил, то трубу сотскому заткнул, то дойду * панскую сманил. И та привыкла к нему, никак к пану идти не хотела. Дважды убегала. Это уже люди рассказывали — Максим ничего дома не говорил. Разгневался пан за свою лучшую гончую, послал гайдуков, чтобы поймали этого пакостного мальчишку и привели собаку. Максим как раз на поле за раненой лисицей гонялся. Лисица добежала до норы и спряталась в ней. Сколько ни посылал хлопец гончую, та только доходила до норы и возвращалась назад. Тогда Максим, недолго думая, с ножом в руке полез сам. Когда вылезал назад, тут его окружили гайдуки.

— Разве это собака? — сказал хлопец, вытирая окровавленные руки. — За лисицей боится идти.

Один из гайдуков хотел схватить его, но Максим швырнул в лица гайдуков пригоршню песку, а сам через лозы бросился к Тясмину. Пока гайдуки продирались сквозь чащу, он уже вылезал на противоположном берегу. А потом стал на берегу, взялся

руками за бока и запел. Ни с чем вернулись панские посыльные, сказали пану, что этого хлопца даже звери не берут. Еще хорошо, что никто не выдал тогда, чей это хлопец; да и пан мало интересовался этим, он только очень смеялся, когда ему рассказали, как Максим тянул за хвост лисицу. После этого хлопец несколько дней не возвращался домой.

Не было ему еще и полных шестнадцати лет, когда он совсем оставил дом. Устя была на работе, он собрался без нее, знал: будут слезы, мать не пустит. С соседями передал — на Запорожье едет. Несколько раз приезжал из Запорожья. Привозил немного денег. Только, видно, не сладко ему жилось там. Максим стал еще мрачнее, редко смеялся. А однажды, уже будучи дома, начал пить. Тогда все боялись тронуть его. Одной матери стыдился, каким бы ни был пьяным, а, подходя к хате, старался ступать твердо и как можно тише; в хате сразу шел к постели, пытался ничего не опрокинуть, не разбить. С тихими упреками она поила его квасом. Максим говорил, что он плохой сын, что больше не станет пить, и еще что-то, уже совсем неразборчивое, а она помогала ему раздеться, горячие слезы ее падали на подушку.

Скрипнула дверь. Хотя было совсем темно, Устя сразу узнала Максима.

— Сынку, ты? Раздуй огонь, вечерять будем.

— Не хочу, я поел у Романа. — Он бросил на сундук шапку, кунтуш и, не раздеваясь, лег на постель лицом в ладони.

«Почему так? — билась в голове мысль. — Почему всегда одни неудачи?»

Весь век искал счастья, гонялся за ним. Глядя на свои сильные руки, думал Максим: нет, он все же должен выбиться в люди. Судьба бросала его с одного места на другое, с одних заработков на другие. Иногда ему казалось, что вот-вот он догонит свое счастье. А оно как ветер. Так и теперь. Управляющий отказал отпустить Оксану. Сказал, что она уже обручена, с пикинером договорено про выкуп, разве что сам пикинер отступится или не приедет до весны.

Выкуп за Оксану запрашивал большой, намекнул, что пикинер обещал привезти с похода и ему, управляющему, подарок. В Максимовой груди вспыхнула волна гнева, однако он сдержался. Знал — руганью тут не поможешь. Денег таких он не мог сейчас дать. Еще же придется и попу давать. «Орлик!» — об этом было горько думать, но что ж поделаешь.

«Надо продать такому человеку, чтобы впоследствии можно было выкупить. Только это позже. Сейчас и этих денег недостаточно».

Лежать было неудобно. Зализняк, не поднимаясь, снял нога об ногу сапоги, и они с глухим стуком попадали на пол.

Потом лег немного повыше, подсунув себе под голову подушку. Уже сквозь сон слышал, как мать осторожно укрыла его рядном *.

* * *

Микола никак не мог дождаться вечера. Ему казалось, что солнце опускается невероятно медленно, оно как будто зацепилось за тополь, повисло между ветвями. Сегодня должно решиться все. Три дня тому назад Орыся сказала: можно засылать сватов. Мать все знает и обещала уговорить отца.

«А если мельник не согласится?» — со страхом подумал Микола. Да что там! Согласится. Разве он не знает Миколу? Разве есть в селе парубок сильнее его, к работе привычнее? А дальше еще и не то будет. Он всем покажет, как нужно хозяйничать, горы своротит. Где же это так долго замешкались дядько Карый и дед Мусий? Может, побежать к ним? Вот они идут!

Дед Мусий постучал палкой в окно.

— Микола, ты готов?

— Сейчас, поясом обвяжусь.

Карый и дед Мусий зашли в хату.

— Может, по чарке бы выпили перед дорогой, — одергивая на Миколе свитку, предложила мать.

Дед Мусий взглянул на Карого.

— А что, может, матери его ковинька, для храбрости потянем по одной. В случае, там не дадут.

— Не приведи господь, — охнула мать. — Стыда тогда не оберешься.

Карый толкнул деда Мусия в бок.

— То я, матери его ковинька, в шутку сказал, — поперхнулся чаркой дед Мусий. — Высватаем ту кралю, это уже беспременно.

Они пошли со двора. Возле мостика с острогами в руках и прутьями на шеях с нанизанными на них небольшими рыбками толпилась куча мальчуганов. Заметив сватов, они побросали остроги, зашептались между собой. Самый меньший между ними, пузан в непомерно больших сапогах, подняв любопытные глаза и шмыгнув носом, громко сказал:

— Глядите, дед Мусий свататься идет.

Дед Мусий погладил мальчика по голове, усмехнулся:

— Я, сынку, матери его ковинька, отсватался уже. Вот тебя, шалопута, женить следовало бы, а то некому пузыри под носом вытереть! И откуда эта детвора все знает?

Неширокой дорогой спустились к Тясмину. Проходя мимо трех осокорей, Микола невольно замедлил шаг — тут чуть не каждый вечер простаивали они с Орысей.

— Ты не бойся, — сказал ему во дворе дед Мусий. — Все будет ладно. Пошел прочь, чего тявкаешь? — махнул он палкой на небольшого лохматого пса, что, приседая на передние лапы, с лаем прыгал перед ним. — Хозяин, матери твоей ковинька, злее и тот молчит.

Сваты прошли в хату. Через не прикрытую в сени дверь Миколе было слышно, как они вошли в светлицу, как, откашлявшись, неторопливо начал дед Мусий:

— Дозвольте вам, паны хозяева, поклониться и добрым словом прислужиться. Не погнушайтесь, матери его... Значит, тэе... выслушать нас, а мы затем выслушаем вас.

Дальше дед Мусий медленно повел речь про добрых ловцов-молодцов, молодого князя и куницу — красную девицу.

Миколе казалось, что дедовой речи не будет конца. Он вытащил цветастый платок — подарок Орыси, — вытер со лба пот. Хотел стать еще ближе к сеням, но дорогой от села кто-то ехал к мельнице. Тогда Микола отошел в глубь двора, оперся на перелаз. За садом, сухо поскрипывая, медленно-медленно вертелись колеса водяной мельницы и шумела вода в лотках. Микола сорвал с куста калины, протянувшей свои ветви через тын, несколько ягод и одну за другой побросал в рот. Долго сосал, не выплевывая косточек.

— Микола, — послышался от двери голос Карого, — заходи. — И, понизив голос, Карый закончил: — Обменяли святой хлеб.

Забыв обо всем на свете, Микола бросился в хату. На скамье о чем-то разговаривали перевязанный рушником дед Мусий и мельник. Мельничиха собирала на стол. Около печи стояла Орыся. Смущенно улыбаясь, она подошла к Миколе и повязала ему на руку красный, вытканный шелком платок.

Три соломенные кадки стояли вдоль стены. Одна была совсем порожней: когда Максим наклонил ее на себя и постучал носком сапога, только легонькая мучная пыльца поднялась со дна; в другой было просо — четверти на три, от силы на четыре. И только в третьей — до половины насыпано жита. Зерно мелкое, с лебедовой кашкой вперемешку. Да и что могло уродиться на тех холмах, где земля сухая, как порох, один песок.

Максим выкатил из клети мучную кадку, перевернул над разостланным рядном, стал выбивать ее.

— Бог на помочь, — вдруг послышалось с улицы.

Максим поднял голову. У ворот стоял Загнийный.

— Как житье-бытье? — протянул он поверх ворот руку.

Максим не ответил, хотя руку пожал.

— Никуда не нанялся? Оно, правда, куда же на зиму глядя наймешься. М-да. — Загнийный кашлянул в кулак. — Слышал я — нужда у тебя, деньги нужны. Мать твоя у меня две копы летом взяла. Конечно, я смогу подождать. Оторвав от себя, смог бы, пожалуй, и еще дать. Только вряд ли это поможет тебе.

— Я у вас ничего не прошу.

— Так-то оно так... Но... Видишь, я все знаю. Не выкрутиться тебе без денег. Давай говорить прямо. Зачем тебе конь? Расход один, корма нет. Он уже все лестницы пообгрызал. Конь не очень показной, но я бы дал... — Загнийный наморщил лоб, размышляя, сколько для начала предложить за коня.

— Идите, дядько Евдоким, подальше от греха. Не дразните меня, знаете, я шуток не люблю.

Зализняк резко положил руку на ворота рядом с рукой Загнийного. Писарь испуганно отшатнулся и в замешательстве поправил на голове шапку.

— Разве же я что? Я ж ничего. Без всяких...

— А раз без всяких, так не надо и такой разговор заводить.

Максим круто повернулся и пошел в хлев. Услышав шаги хозяина, Орлик тихо заржал. Максим вошел в стойло. Связка сухой отавы (Максим накосил ее два стожка) была почти вся цела. Орлик, заигрывая, прижал Максима боком к стене, скубнул за рукав. В последние дни Орлик стал худеть. Сначала, отдыхая после долгой дороги, он даже немного поправился, а вот прошла неделя, и конь значительно подался.

— Хотя бы пересыпать чем-нибудь, — Максим взял в руку жесткое, как сухое лыко, сено. — Пойду к Миколе, наберу вязанку, хоть и далече идти.

Миколы во дворе не было. Максим вошел в хату. Навстречу ему поднялась вся в слезах Миколина мать.

— Где же молодой хозяин? — снимая с плеча вожжи и беря их под руку, спросил Максим.

— Нет его, к атаману городовому побежал. Орысю во двор панский забрали. — Женщина снова за-

плакала. — Свадьбу через две недели должны были сыграть. Максим, скажи, может, оно и ничего, эконом говорил — только дней на пять; сказал, еще и заплатят ей. Мол, это милость ей большая. Рукодельница она редкая.

— Конечно, ничего. Не убивайтесь, вернется Орыся, — сказал Максим. Но сам почувствовал, как от этого известия в душе словно холодом повеяло. Кто-кто, а он знал, что такое панские милости.

Глава пятая

МЕЛХИСЕДЕК

Длинноногий рябой петух с загнутым набок гребнем тяжело взлетел на частокол и, ударив крыльями, хрипло закукарекал. Мелхиседек повернул голову к окну.

— Петух после обеда поет, к перемене погоды. — Подумав, добавил: — А мне уже собираться пора.

Сказал «пора», однако не спешил. Каждый день засиживался с отцом Гервасием, переяславским епископом, каждый день говорил эти слова и не уезжал. Так уютно, так спокойно становилось на сердце после разговора с преосвященным, что уходить никак не хотелось.

Почти полтора года прожил Мелхиседек в Переяславе, ежедневно навещая отца Гервасия. Сблизились, подружились за это время, открыли друг другу сердца. В Мотроновский монастырь, игуменом которого он был, Мелхиседек наезжал редко. Много лет прожил он в этом монастыре. В Переяслав переселился после того, как в монастырь однажды ворвались униаты, пытались забрать привилегии, данные когда-то польскими королями монастырям и церквам правобережья. Больше недели прятался тогда игумен с монахами по пещерам в лесу.

Мелхиседек взглянул на стену, где висели часы, — пятый час. В самом деле, пора идти. Преосвященный всегда в это время ложится почивать. Одна-

ко сегодня можно было бы еще посидеть, ведь теперь они встретятся не скоро. Завтра игумен должен выехать на правобережье.

— Будь осторожен, — ковыряя в редких белых зубах костяной зубочисткой, говорил Гервасий, — чтобы не схватили униаты, а то заставят тачкой землю на вал в Радомысле возить. Путь нелегкий твой, все дороги на правый берег Мокрицкий перекрыл. — Гервасий спрятал зубочистку в ящичек, вытер салфеткой руки. — Мокрицкого берегись больше всего, это хитрый и хищный иезуит.

Мелхиседек, который до этого сидел неподвижно, упруго поднялся из старинного кресла и зашагал по комнате. Резко остановился около стола, круто повернулся на невысоких мягких каблуках и, опершись обеими руками на палицу в серебряной оправе, заговорил торопливо, взволнованно, будто боялся, что Гервасий вот-вот оборвет его и не даст договорить до конца:

— Сам ведаешь, твое преосвященство, какие времена настали. Или униаты нас, или мы униатов. Они все большую силу набирают. Наша беда в том, что сидим мы, ждем чего-то. Досидимся до того, что весь народ в унию переведут. Надо нам тоже силы свои собирать. В посполитых все спасение. Народ сильный и послушный, как стадо овечье, куда пастух направит — туда и пойдет.

— Не напрасно ли мы так хлопочем, государыня сама возьмет нас под защиту. Ведь уже послали войско на правый берег.

— Эх, — покачал головой Мелхиседек, — я хорошо насмотрелся в Петербурге на государыню, наслушался о ней при дворе. Она больше играет в защитницу православия, нежели на самом деле печется о вере.

— Тсс-с... Что ты речешь? — схватился за ручки кресла, даже приподнялся епископ.

— Реку то, что есть, — Мелхиседек приблизился к Гервасию. — Разве нас может кто-нибудь услышать? Никто. Чего ж тебе бояться? Давно я хотел откровенно с тобой поговорить. Государыне льстит,

когда ее называют заступницей веры христианской. Она на словах и есть такая. А на деле боится. Войско послать ее уговорил пан посол Репнин, граф Орлов тоже руки приложил к этому делу. При дворе поговаривают, что наступает самое время отобрать от поляков Правобережную Украину. Польша ослабла вконец; знать бы, что другие государства не вмешаются, так можно было бы и сейчас начать. Императрица же, говорят, страшится действий решительных. Боюсь, затянется все. — Мелхиседек передохнул и опустил вниз палицу. — Нам только об одном нужно печалиться — как священников православных от униатских бесчинств уберечь. Ты, владыко, корил меня за то, что за стенами Мотроновской обители нашли себе пристанище гайдамаки и что в лесу возле монастыря ватага гайдамацкая табором стоит. Я же в том не зрю зла, а только пользу одну. Разве не они однажды уже отбили нападение?..

Много лет пылал по правобережью огонь гайдамацких восстаний. Он то разгорался в большое пламя, вздымаясь так высоко, что его видно было из Варшавы, и тогда оттуда посылали большие карательные отряды войска, чтобы погасить его, то трепетал неверными вспышками, то замирал совсем, раскатывался тлеющими угольками по лесам и буеракам. И все же угольки те не угасали. Они покрывались седым пеплом, бледнели и тлели, тлели. Со временем поднимался свежий ветер, сдувал пепел, и снова вспыхивало пламя ярко и сильно. Карательному отряду удавалось развеять гайдамацкую ватагу на Тикиче, но через несколько месяцев появлялись другие — над Росью или в Черном лесу на Ингуле. Ловили одного атамана, через полгода ехали ловить другого. А то их появлялось сразу несколько: Верлан, Грива, Гаркуша, Голый, Бородавка и десятки других атаманов прошли со своими ватагами за последние пятьдесят лет все правобережье. Гайдамацкие ватаги никогда не обходили Мотроновский монастырь, и именно поэтому в монастырь редко наведывались польские военные отряды и конфедератские гарнизоны...

— Это я знаю. Однако... — Гервасий наморщил лоб. — Это же грабители, они разбоем занимаются.

— Это не страшно. Нас они не трогают. Я их вскоре совсем к рукам приберу. Собрать бы несколько вооруженных дружин, поставить на содержание монастырской казны, чтобы были у нас под рукой. Тогда бы не было нужды прятать по оврагам имущество монастырское и самим за жизнь дрожать. — Мелхиседек умолк, ждал, что скажет епископ, но тот молчал.

— Выпьешь чаю? — наконец спросил он.

— Нет, я пойду, — Мелхиседек взял с подоконника лосевые перчатки. — Нужно кое-что в дорогу подготовить.

Епископ не стал задерживать и протянул Мелхиседеку пухлую, изнеженную руку.

Кучер Яков знал — игумен любит быструю езду. Пара вороных, выгибая крутые шеи, легко мчала громоздкую карету по ухабистой дороге, так что повар Иван, который сидел спиной к лошадям, чтобы не упасть, всякий раз хватался за руку послушника Романа Крумченка. Перед каждым крутым склоном Иван боязливо жался к нему, вполголоса, чтобы не услышал игумен, просил кучера:

— Потише, видишь, как я сижу.

На крутом повороте он едва не выпал на дорогу, хорошо, что успел схватиться за дверцу кареты.

— Сядь вниз, на сундучок, — поправляя под боком подушку, бросил в окошко Мелхиседек, — а то еще потеряешься, — и рассмеялся раскатисто, широко.

Больше игумен не отозвался за всю дорогу. Сидел молча и либо дремал, либо смотрел на печальные, напоенные дождями поля. В голове Мелхиседека роились мысли, черные, неспокойные, как вспугнутые грачи над осенними осокорями.

К Днепру, как на то и рассчитывал Мелхиседек, подъехали вечером. Подождав, пока совсем стемнеет, остановились в крайнем дворе села Сокирино. Мелхиседек не захотел вылезать из кареты, кухарь

поставил перед ним маленький складной столик и, порезав, разложил на салфетке мясо и колбасу. Игумен сам достал шкатулку из козлиной кожи, вынул из нее рюмку, нож и вилку. Однако поесть не пришлось. Не успел он приняться за первый кусок телятины, как в дверцу, не спрашивая разрешения, просунулась голова послушника:

— Ваше преподобие, бежим отсюда, дядько из соседнего двора говорит, что час тому назад тут какие-то всадники вертелись, расспрашивали людей, не видели ли кареты. Может, это о нас спрашивали?

Мелхиседек кинул вилку и вытер салфеткой руки.

— Запрягайте и быстрее на переправу, не теряйте времени.

Кони бешено мчались полем, разрывая грудью густую вечернюю темень. Через четверть часа вынеслись на отлогий днепровский берег. Парома не было. На той стороне, над самой водой, горел костер, около него сидели люди, похожие отсюда на сусликов, которые поднимались на задние лапки. Над Днепром всходил молодой месяц.

— Эге-ге-ей, паро-о-ом! — приложил руку ко рту кучер.

«О-ом», — откликнулось где-то эхо.

Кучер подождал минутку и закричал снова.

— Чего орешь, будто режут тебя, — откликнулся кто-то с речки, — плыву же вот.

Стукнувшись о помятые, словно изорванные зубами, доски помоста, паром остановился, слегка закачался на небольших волнах. Кучер взял коней за уздечки, свел их на дощатый настил парома.

— Поплюйте же, хлопцы, на ладони да берите крюки в руки, — сказал один из паромщиков. — Мы вдвоем уже не дотянем.

— Что это за люди возле костра сидят? — спросил из кареты Мелхиседек.

— Люди, и все тут! Мало ли их каждый вечер на берегу ночует. Казаки надворные.

Сонно плескалась под паромом река. Он плыл немного наискось, перерезая надщербленную волнами лунную дорожку. Мелхиседек вылез из кареты и

стал возле перил. Ухая каждый раз, дружно дергали за веревку огромными дубовыми крюками паромщики и кухарь с послушником.

Игумен прошел вперед, где кучер держал под уздцы неспокойных лошадей, и тихо сказал:

— Яков, поедем не дорогой. Сразу же, как съедем с парома, поворачивай влево вдоль Днепра.

Яков кивнул головой. Паромщики уже бросили крюки, и разогнанный паром сам доплыл до мостков. Яков свел лошадей с парома, немного провел их под гору на поводах и только хотел взять в руки вожжи, как откуда-то, словно из-под земли, появилось несколько темных фигур. Мелхиседек, шедший позади кареты, видел, как, вырвав вожжи, двое нападающих схватили под руки кучера, а еще несколько человек бросились к дверце кареты.

«Засада, — молнией промелькнуло в голове игумена. — Бежать!»

Он отступил несколько шагов назад и хотел присесть, чтобы незамеченным броситься в темноту, но рядом прозвучал насмешливый голос:

— Куда же вы в ночь, еще заблудитесь!

Мелхиседек попытался засунуть руку под шубу, но услышал тот же спокойный голос:

— Не успеете, у меня ближе. Пойдемте в дом.

— По какому праву задерживаете? Знаете, кто я? — воскликнул игумен.

— Если бы не знали, не задерживали. А право? Без него обойдемся.

Спорить было бессмысленно. Мелхиседек направился к хате. Она стояла на пригорке около переправы. В хате было грязно, всюду валялась солома, на которой, очевидно, спали днем. В печи горел огонь, два человека в одежде надворных казаков возились около нее. За столом, откинувшись к стене, небольшой человек покручивал пальцами оттопыренные усы. Увидев Мелхиседека, он отдернул руку, зачем-то полез в карман, потом снова принялся закручивать ус. Очевидно, он не знал, как держать себя, и умышленно напустил важность и суровость на свое лицо.

— Как ехалось? — прищурил он левый глаз.

— Почему и кто задержал меня? — не отвечая на вопрос, в свою очередь, спросил Мелхиседек, уже давно догадавшись, с кем имеет дело. — Кто вы?

— Кто мы? Я — инсигатор * Иоахим Левицкий. Почему не пустили ехать дальше — сам увидишь. Гм. Значит, садись, говорить будем.

Мелхиседек сел напротив Левицкого. Но разговора не получалось. Инсигатор, как понял Мелхиседек, сам не знал, о чем говорить с игуменом и для чего было приказано задержать его. Задав несколько ничего не значащих вопросов, почванившись немного, Левицкий поднялся.

— Отсиживаться будем на том свете, поехали.

— Куда? — спросил встревоженный Мелхиседек.

— Там узнаешь.

Мелхиседек тоже встал.

— Может, мне все же скажут, по чьему приказу творится это бесчинство? Кто посмел незаконно задержать слугу христианской церкви, который едет в свою обитель?

— Посмел официал * Мокрицкий, он с тобой... — осекся инсигатор, испугавшись, не сказал ли он чего лишнего, ведь ему было велено ничего не говорить игумену.

В сенях Мелхиседек зацепился рукавом за щеколду, отцепляя, немного задержался, и в тот же миг кто-то больно толкнул его в спину. Мелхиседек прикусил от обиды и боли губу, но, ничего не сказав, поспешил выйти из темных сеней на крыльцо, возле которого стояла карета. Когда закрылась дверца кареты, игумен стал обдумывать свое положение. Сопоставляя все, тревожился все больше и больше. Беспокоило то, что очень уж многочисленная стража охраняла его — человек двадцать (через час после отъезда к ним присоединился еще один отряд), — и то, что обращались с ним очень бесцеремонно, а больше всего то, что везли к Мокрицкому. Игумен долго размышлял, как ему держать себя, что говорить Мокрицкому. Думал и не мог найти способ, как бы дать Гервасию весть о себе.

Ехали всю ночь, лишь перед утром остановились на каком-то хуторе, чтобы дать отдых лошадям. Все разбрелись по хатам. Инсигатор, который очень боялся за Мелхиседека, остался с ним. Даже спать лег в одной с ним комнате, поставив у двери часовых. Оба не спали. Так и пролежали все время, переворачиваясь с боку на бок. Наконец Левицкий не выдержал и, сев на скамье, закурил. Мелхиседек попытался завязать с ним разговор, но тот пробормотал что-то непонятное, не то ругательство, не то угрозу, и приказал снова садиться в карету.

Мелхиседек внимательно смотрел в окошечко и догадался, что они едут в Корсунь. Он не ошибся. Вечером этого же дня они прибыли в Корсунь. Остановились в предместье, возле Роси. Прямо из кареты Мелхиседека повели в какой-то дом. В большой продолговатой светлице за столом сидели трое. Глаза Мелхиседека остановились на том, кто сидел посредине. Это и был Мокрицкий. Большая, с залысинами голова, тоненькие, в ниточку, усы, такие же тоненькие, словно подправленные, брови, нос с горбинкой — все подчеркивало изнеженность и болезненность этого человека. Глаза у него были большие, бесцветные и сердитые. Наклонившись вперед, он уперся глазами в Мелхиседека, словно пытался просверлить его насквозь. Мокрицкий чем-то напоминал голодного, облезлого волка, который перенес трудную зиму. Официал привык, чтобы под его взглядом люди терялись, чувствовали себя неуверенно и с первой же минуты подчинялись его воле. Но игумен стоял спокойно, казалось, будто он прячет в густой бороде усмешку. Его черные глаза смотрели на Мокрицкого без тени страха или хотя бы удивления.

— Значит, встретились, — проговорил Мокрицкий.

— Выходит, что так, — ответил Мелхиседек.

— Войну задумал начинать, поход трубишь?

— Против кого? И о какой войне может идти речь со мной, лицом духовным?

— Вот как, — скривил в усмешке губы официал. — Санкта матер, он овцой прикидывается. Про-

тив кого людей проповедями подстрекаешь, для чего из сундука королевские грамоты повытаскивал и размахиваешь ими?

Мелхиседек поднял голову.

— Чтобы люди знали, что король дал нам равные права с католиками, что сейм указал не притеснять диссидентов. Эти грамоты я читал в своих церквах, а не в ваших.

— Сто дяблов, не тебе указывать, где чьи церкви. Зачем едешь из Переяслава?

— Это допрос? Хочу знать, кто я, узник...

— Гость, долгожданный и дорогой! — захохотал официал. — Вы идите, — кивнул он головой тем двум, что сидели рядом с ним. Когда они оставили комнату, Мокрицкий вышел из-за стола и остановился перед Мелхиседеком.

— Пускай тебе будет известно, что я все знаю. А чего еще не знаю, то могу домыслить. Был ты у царицы, на Сечи был. Ведаю, ездил в Варшаву бить челом на униатов. А теперь скажи мне, помогло это тебе хоть сколько-нибудь?

Мелхиседек не отвечал.

— Молчишь? Я за тебя скажу. Ни черта не помогло. Нам начхать на короля и на большой сейм. Думаешь, король и сейм могут нам что-то сделать? Чей же это король, кто его выбирал? Чьи права должен он уважать? И сейм тоже. Все эти сеймы и указы преходящи, а право вечно. Против этого права король не пойдет. Если хочешь знать, не пойдет и царица, она еще сама поможет защищать его. Или, может, король и императрица за хлопом руку потянут? Хлоп был и будет хлопом, и держать его нужно в покорности. А шляхтич тоже был и будет шляхтичем, хоть назовись он паном, хоть князем, хоть графом. Вера шляхетская тоже одна должна быть.

«Верно сказал про хлопов официал, — подумал Мелхиседек. — А про веру как загнул!» И вслух промолвил:

— Так пусть будет такой верой христианская.

— Одна есть правильная вера — католическая, — возразил ему Мокрицкий. — Она существует испо-

кон веков. Она и есть самая разумная. Но не будем сейчас спорить об этом. Я хочу, чтобы ты уразумел тщетность своей борьбы. Не нам с тобой ссоры заводить. Другие дела есть. Хлопы стали своевольными, а вы их своими словами на еще большее своевольство толкаете.

— Верно, посполитые весьма несмирными стали.

— Вот видишь, як бога кохам, правду молвлю. Кто же их может смирению научить? Только мы. Слушай, игумен, я не желаю тебе зла. — Мокрицкий пристально поглядел Мелхиседеку в глаза и выпалил: — Переходи в унию. Ты должен почитать за великую честь, что тебе молвилось в святом Риме и решено не карать тебя, а обратить в лоно католической церкви.

Мелхиседек силился понять, для чего ведет весь этот разговор Мокрицкий. Если он знает о его поездке в Петербург и на Сечь, то уж он, конечно, не поверит всем его словам об отречении от христианства. Никогда униаты не простят ему того, что он уже сделал. А веру свою он не продаст, крест у него на шее — это часть его самого, его плоти, его духа.

— Никогда и ничто не толкнет меня на предательство, никто не собьет с пути истинного. Готов принять кару во имя господа Иисуса Христа.

— Можешь молиться хоть черту, — Мокрицкий подошел к шкафу, налил из графина бокал и выпил. — Мне только нужны грамоты королевские, вот и все.

— Не имею их, можете обыскать.

Мокрицкий криво усмехнулся, налил снова.

— Были бы они с тобой, был бы я дурнем, чтобы просил. Скажи, куда девал их? Отдашь — можешь сидеть спокойно, никто тебя не тронет. Разойдемся по-честному.

— Значит, все же боитесь их? — улыбнулся игумен. — Это я и раньше знал. Неприятно будет, когда на сейм привезем грамоты.

— Кто боится, мы? Сто ведьм тебе в глотку! Ничто не поможет вам. Даже гайдамаки, которые по лесам за монастырем прячутся.

Они стояли друг против друга, как на поединке. Смотрели друг другу в глаза так долго, что у Мокрицкого от напряжения стала дергаться щека. Он повернулся и пошел к шкафу, бросив через плечо:

— Эй, там!

В светлицу вскочили два жолнера.

— Возьмите его, — кивнул головой на Мелхиседека, — в свинарник бросьте. — Но когда игумен был уже за дверью, позвал жолнера и крикнул: — В замок отведите, в холодную!

Ночью Мелхиседек имел еще одну беседу с Мокрицким, тот приходил в подвал пьяный. Снова предлагал перейти в унию, угрожал, топал ногами, даже толкал под бока ножнами сабли. Но чем больше горячился официал, тем тверже становился игумен.

Утром Мелхиседека снова посадили в карету. Одежду, постель, сервиз, даже занавески с окошечка и дверцы — все забрали. Позади кареты скакали на конях жолнеры. За городом почему-то свернули с дороги и погнали лошадей полем. В одном буераке карета высоко подскочила на ухабе и тяжело упала на правую сторону. Мелхиседека, который, больно ударившись плечом и головой, лежал лицом вниз, поставили на ноги. Он еще не успел прийти в себя, как два жолнера ловко схватили его за рукава и выбросили из шубы.

Потом кто-то сорвал с него дорогую альтембасовую * рясу, затем подрясник.

«Убьют», — мелькнуло в голове Мелхиседека. На мгновение его охватил страх. Игумен искал дрожащей рукой крест на груди и не мог найти.

— Смилуйтесь, сотворите благодеяние, — упал на колени перед инсигатором послушник.

Мелхиседек взглянул на его перепуганное лицо и взял себя в руки.

— Встань, Роман, все в божьей воле, — перекрестился он.

Однако убивать его никто не собирался. Жолнеры со смехом и улюлюканьем натянули на него ксендзовскую одежду, кто-то нацепил на шею черный галстук. Одежда была мала: подрясник трещал на

спине и под рукавами, а выцветшая, когда-то черная, а теперь рыжая сутана едва доходила до колен.

— Взгляните, он на индюка похож! — крикнул молодой безусый жолнер.

Остальные захохотали. Они схватили Мелхиседека и с размаху бросили в открытую дверцу кареты. По дороге до Радомысла карета переворачивалась еще дважды. По приезде игумена пришлось выносить на руках. Возле моста стоял старый каменный погреб. Туда и бросили Мелхиседека. Около входа на часах встал жолнер.

С этого часа дни для Мелхиседека поплыли, как в густом тумане, — один страшнее другого; дни допросов, побоев, пыток. Распухли ноги, в груди пекло так, будто кто-то насыпал туда тлеющих углей. Иногда к нему впускали послушника или кучера. Два раза Крумченку удалось принести бумагу и в яичной скорлупе немного чернил. Игумен написал письмо епископу и митрополиту в Москву.

Однажды, когда Мелхиседек лежал в полузабытьи, ему послышался какой-то шум. Он поднял голову. У входа работали два каменщика. Игумен смотрел и не мог понять, что они делают. А те клали уже второй ряд кирпичей. Через эту еще невысокую загородку переступил послушник и опустился возле Мелхиседека.

— Ваше преподобие... я... — Крумченко не мог говорить, по его щекам текли слезы.

Мелхиседек понял все — замуровывают вход в его каменную темницу. На душе стало как-то пусто и тяжело, но страха почему-то не было. В голове теснились какие-то посторонние мысли: о незаконченном жизнеописании, о монастырском саде.

«Нужно сказать Крумченку, чтобы взял бумаги и передал Гервасию. И почему Крумченко так убивается о нем? Какое добро сделал он для этого человека? Никакого».

Эта преданность растрогала игумена.

— Господи, прости меня, что я не с подобающим терпением переносил те беды, кои твоя любовь посылала для моего очищения, — шептал Мелхиседек.

Надрывал молитвой сердце, звал на последнюю беседу господа. Ему он отдал свою душу, свой разум, во имя его отдавал жизнь.

— Эй ты, вылезай, не то и тебя замуруем! — крикнул от входа жолнер.

— Иди, Роман. Поедешь к переяславскому епископу и скажешь, что грамоты в стене за аптекой. В моей келье, за иконостасом, лежат листы исписанные. Пусть он их возьмет тоже. Благослови тебя господь!.. Ну, иди же!.. Бог все видит.

— Быстрее! — нетерпеливо крикнул жолнер.

Послушник перелез через возводящуюся стену.

Только теперь на игумена напал страх. Каменные стены обступили его со всех сторон, казалось, они сжимают его. Молиться! Но молитва почему-то не приходила на мысль, все спуталось в его голове. Еще лег один ряд кирпичей, еще меньшим стало отверстие. Мелхиседек приподнялся на руках. Даже боль не могла пригасить страшной жажды жизни... Жить! Обычным монахом, послушником, наймитом, узником в темнице.

Его рука поскользнулась на соломе, и он тяжело ударился о стену погреба.

Он уже не слышал, как прискакал Мокрицкий с приказом губернатора отменить казнь. Мелхиседека отмуровали, два жолнера вынесли его на воздух, положили на землю.

— Поднимите его, — велел Мокрицкий.

Один из жолнеров тряхнул игумена за руку, но рука дернулась и безжизненно упала вдоль тела. Жолнер приложил ладонь к груди.

— Готов, — сказал он.

Мокрицкий наклонился и сам поднес ладонь к губам игумена.

— Хм, в самом деле не дышит, сдох от испуга. Заройте его, — бросил жолнерам и вставил ногу в стремя.

— Где же лопату взять? — сказал один жолнер другому, когда Мокрицкий отъехал. — Вот еще морока.

— Пускай сами закапывают, — кивнул тот головой на послушника и кучера. — Пойдем отсюда.

Вслед за жолнерами, минуту постояв над Мелхиседеком, пошли и каменщики. Крумченко и кучер остались одни. Долго молча сидели они на куче кирпича. Уже солнце скрылось за синей лентой соснового бора, уже кусты лозы в долинке легкой дымкой окутала вечерняя мгла. Вдруг кучер, который напряженно всматривался в лицо Мелхиседека, схватил за руку послушника.

— Гляди, веки дрогнули! — Он бросился на колени, припал ухом к груди игумена. — Дышит! Ей-богу, дышит! Воды скорей.

Крумченко зачерпнул прямо из лужи, оставшейся после каменщиков, пригоршню воды и плеснул в лицо игумена. Потом зачерпнул еще. Губы Мелхиседека шевельнулись, он вздохнул, будто просыпаясь ото сна, и открыл глаза.

— Сейчас же нужно забрать его отсюда, — прошептал на ухо кучеру послушник. — И тогда бежать к купцам, что письмо передавали. Они его спрячут. Ваше преподобие, лежите, мы сейчас. Все уехали. Потерпите еще немного. Бери, чего же ты стоишь! — крикнул он на кучера. Они осторожно подняли Мелхиседека и понесли в долинку, густо заросшую лозняком и молодыми сосенками.

Глава шестая

КОГДА ГОРЕ НЕ СПИТ

Красные языки пламени вырывались из горна, лизали серую, потрескавшуюся глину печи. Неживой с размаху засыпал в огонь еще одно ведро березовых углей и полой свиты вытер вспотевшее лицо. На его смуглых щеках протянулись две черные полосы сажи.

— Семен, ты что, оглох? Сюда иди, — донесся из-под сарая голос, — струг возьми в сенях.

Семен поднялся тропинкой с берега во двор и, взяв с полки в сенях длинный гончарный струг, по-

шел к сараю, где с рогом в одной и щеточкой в другой руке стоял Охрим Зозуля.

— Поворачивайся побыстрее, ходишь, будто три дня не ел, — брызгая краской на перевернутый горшок, скороговоркой молвил он. — Что это вы все сникли, как мухи перед зимой?

Семен ничего не ответил на Зозулины упреки. Только поглядел на него сверху вниз серыми прищуренными глазами, засучил рукава и взялся за струг. Рядом с высоким Семеном Зозуля выглядел почти мальчиком. Черный, словно цыган, хозяин с растрепанным длинным чубом, со смешной рыжей, словно облитой помоями, бородой никогда не сидел без работы. Жажда разбогатеть не давала ему покоя ни днем, ни ночью. Даже за столом, дожидаясь, пока подадут обед, он постукивал по столу сухими пальцами с длинными грязными ногтями; даже ночью водил по подушке рукой, будто обмазывал глазурью горшки и кувшины. Истинной мукой для Зозули были пасха и храмовые праздники. Придя из церкви, он не находил себе места. В будни же гончар вгонял в пот не только работников, но и сыновей своих, дочерей и двух зятьев, черных, худых и оборванных, как он сам. Зозуля, кроме гончарни, имел около пятидесяти десятин земли и столько же леса. С утра до вечера мотался он от горна к пьятру *, где сохли готовые горшки; от пьятра к сараю — там два здоровенных парня колотили довбешками * глину, а оттуда уже бежал в поле или на сенокос. Ему все время казалось, что работники его гуляют, что работают не так, как следует. Сердитая брань не сходила с Зозулиных уст. Семен надолго запомнил, как когда-то весной, когда возили навоз, небольшая, заморенная голодом лошаденка никак не могла втащить на гору перегруженный воз. Тогда взбешенный Зозуля бросился на коня и стал кусать его за холку. Неизвестно, чем бы все это кончилось, если бы Семен не схватил хозяина за руки и не оттащил в сторону. Полтора года тому назад от Зозули убежал младший сын Мусий. Сначала гончар грозился, что больше и на порог его не пустит, но когда Мусий посту-

пил в надворные казаки местного пана — смирился и даже рад был: пан всегда мог пригодиться ему, Охриму Зозуле, да еще такой пан, как Лымаренко; к тому же Мусий стал иногда приносить домой деньги. Где он их брал, отец не спрашивал; да это в конце концов его, Мусия, дело, где он их достает.

— Потоньше стружку бери, — почесывая другим концом щеточки в бороде, говорил Зозуля. — Голодранцы чертовы, будьте вы прокляты! — рычал он на работников, которые мяли глину. — Вон какие камни пооставляли, чуть ли не с индюшачье яйцо. Что? Говори громче, — повернул он голову к хате.

На пороге, вытирая фартуком руки, стояла Зозулиха.

— На завтрак что готовить, спрашиваю? — кричала она.

— Похлебку, татарскую похлебку. Гренок насуши.

Семен не мог удержаться, чтобы не усмехнуться про себя. «Татарскую похлебку» — значит, похлебку без сала, чуть забеленную молоком. А в кладовой, оттягивая балку, висят мешки с прошлогодним и даже позапрошлогодним салом, желтым, как захватанный свечной воск. И провисят эти мешки там, пока черви в них не заведутся.

— Тр-р, вишь, разыгрались, удержу на вас нет, — вдруг послышалось у ворот.

Оба, и Семен и Зозуля, посмотрели на улицу, откуда, постукивая кнутовищем по голенищу, к ним направлялся плотный, подпоясанный ремнем приходский звонарь.

— Бог в помочь, — коснулся он рукой шапки. — Вот так кашники *, в таких только манну небесную варить. Семен, — взглянув на Зозулю, сказал он, — сейчас со мною поедешь. Надо на церковь потрудиться, крест поможешь поставить.

— А печь на кого оставить? — задрал кверху бороду гончар.

— Это, Охрим, господне дело; возле печи сам побудешь. Под церковью уже люди ждут, а нам еще на фольварк нужно съездить, лестницу длинную

взять. Мне-то что, а батюшка сказал, чтобы Семен непременно был.

Зозуля больше не перечил. Он тихонько пробубнил что-то себе под нос, еще быстрее замахал щеточкой.

Звонарь и Неживой вышли на улицу, где стоял запряженный парой лошадей возок. Звонарь сел на передке на мешок с сеном, а Семен, поджав длинные ноги в новых березовых постолах, примостился на задней перекладине. Кони шустро бежали вдоль речки по ухабистой дороге. Возок немилосердно трясло, подбрасывало на буграх, и Семену казалось, что у него вот-вот что-нибудь оборвется внутри.

— Не гони так коней, слышишь? Печенки отобьешь, — попросил он.

— Не слышу, что ты говоришь? — наклонился с передка звонарь.

— Коней не гони, внутренности вытрясешь! — крикнул Неживой.

Звонарь попридержал коней, намотал вожжи на кнутовище, подсунул под себя, а сам повернулся вместе с мешком.

— Крест привезли, из самой Могилевки видно будет.

— Где купили?

— Не покупали. Старый пан подарил. Ты сажу вытри, — показал звонарь пальцем Семену на щеку.

Семен послюнил рукав.

— Перед смертью хочет царствие небесное заслужить, — он потер щеку пальцем, — поговаривают, будто совсем помешался. Заснут все в маетке, а он зовет музыкантов и велит играть всю ночь. Видно, скоро черти по его душе заиграют.

— Не так-то скоро, второй год не встает, хворь совсем разбила, — снова взял в руки вожжи звонарь. — Нам надо спешить. Но, — щелкнул он кнутом.

— Только не погоняй коней, ей-богу, душу вытрясешь.

Речка осталась справа. Проехали овраг, кони с разгона дружно вынесли на гору и вдруг испуганно

захрапели, рванули в сторону. Звонарь изо всех сил натянул вожжи, а Семен соскочил с возка и схватил коней под уздцы. Кони беспокойно шевелили ушами, косили глазами — через долину к селу с шумом и свистом бежало несколько гайдуков, ведя на двух толстых поводках огромного медведя. Медведь вертел головой, иногда поднимался на задние лапы, ступал так несколько шагов, а потом кто-то толкал его в спину, и он снова бежал вслед за своими поводырями.

— Сохрани нас бог от этого, — перекрестился звонарь. — Нелюди какие-то. К кому же это они бегут, не к Лейбе ли?

Семен покачал головой, посмотрел в ту сторону, куда бежали гайдуки с медведем. Там, на самом краю села, стояло с десяток еврейских хат. Еще старый пан переманил евреев в Мельниковку, соблазнил арендой, взаймы давал. Но немногие из них смогли выплатить Лымаренку взятые в долг деньги, стать на ноги. И вот теперь каждый месяц повторялась эта страшная потеха. Вскочат гайдуки в хату, отпустят до отказа повод, и медведь с ревом кидается по хате, пытаясь схватить кого-нибудь. С визгом прячутся под печью дети, а хозяин с перекошенным от страха лицом жмется в угол. На следующий день он повезет на базар все, что можно продать, лишь бы пан не присылал гайдуков снова.

— Чего им к Лейбе идти, — промолвил Семен, выводя лошадей на дорогу. — Лейба сам пан. Вишь, они и свернули не туда, к Гершку отправились.

— Что же им взять у Гершка? У него одна корова, и та стара, как смерть. Ох, грехи наши тяжкие! — звонарь снова уселся на передке. — Послал нам господь пана. Зверь какой-то. Всякий раз, как только приходится бывать в имении, я прямо душой болею. Погляжу на столбы под окнами, к которым людей за ноги подвешивают, — мороз продирает по коже.

Семен молча подвязывал постолы. Кони широким шагом спускались с горы.

— Как можно терпеть дальше такое надруга-

тельство, — наконец вымолвил он. — Медведь в неволе и тот ревет, а это же люди живые. Хуже скотины считают, мучают по всякому поводу. Псарь не вовремя собак спустил на зайца — палками его; лошади плохо везли — конюхов палками; мало масла сбили — кнутами коровниц... Попробуй-ка кто хоть слово поперек сказать, запрут туда, откуда уж одна дорога — к господу. Сосед мой Терешко второй месяц хворает — в яму с тлеющими углями бросили. Прямо беда! Старый пан хоть и с причудами, а все же лучше был. И милосерднее и добрее.

— Покойников всегда добром поминают. Батько, бывало, говаривал, что когда пан пришел к нам, тоже вначале другим был. Добрый, хоть к чирю прикладывай. А как уселся покрепче, так и давай день за днем барщину набавлять. Только одно воскресенье людям оставил, да и то, если охоты не затевал, потому что на охоту выгонял всех людей зверя пугать.

Разговор прервался — уже подъехали к имению. Не заезжая во двор, звонарь с Семеном с помощью нескольких дворовых крестьян вынесли и положили на воз две длинные лестницы. Звонарь забыл взять с собой веревку, задок привязали лишь двумя постромками, и потому почти до самой церкви Семену пришлось идти сзади и придерживать лестницы.

У церковной ограды уже собралось порядочно народу. Пока Семен сходил напиться воды, лестницы сняли с воза и поставили: одну внизу, другую к колокольне на крыше церкви. Из окна колокольни ее привязали веревкой, скрученной вдвое. К Неживому подошел здоровенный, толстый человек и, заправляя длинные черные волосы, выбившиеся из-под островерхой шапочки, сказал:

— Тебе, Семен, порешили мы, — он указал на церковного старосту и дьякона, — поручить святой крест на колокольню поднять. Большая честь выпала на твою долю, ты заслужил ее. Радость непомерную почувствуешь; постоянно будешь зреть взнесенный тобою на колокольню крест. А сегодня за труды ты тоже кое-что... словом, награду получишь.

Из церкви вынесли четырехпудовый крест, привязали к нему веревки. Два человека поставили крест стоймя на землю. Семен, сняв свитку, сунул руки в веревочные петли.

Впереди Семена, с завязанным в два полотенца блестящим шаром, поднимался дьячок. Он сам взялся за эту работу, но теперь был не рад ей. Особенно когда начали подниматься на колокольню. Ветер заносил шар в сторону, и дьячок с трудом удерживал его. Семен, хватаясь обеими руками за ступеньки, шаг за шагом поднимался наверх. Лестница гнулась, скрипела, но он не замечал этого. Крест больно давил спину и тянул вниз. Было уже недалеко до верха. Семен чувствовал, что держится из последних сил. На мгновение глянул вниз: хаты показались маленькими и будто перекошенными. Едва не натолкнувшись головой на дьячкову ногу, поднял голову. Дьячок, обхватив рукой лестницу, отдыхал.

— Лезь, не стой на пути, — прохрипел Неживой, — лестницу проломим.

Он через силу долез до верха, где, привязанные веревками, сидели два кузнеца и мастер из города. Облегченно вздохнул, когда несколько рук схватились за крест, подтянули его вверх. Освободив от веревок руки, Семен сразу же слез вниз. Он только теперь почувствовал, как трясутся ноги, как горит, словно обожженная огнем, спина.

— Батюшки! — вскрикнула какая-то женщина. — Кровь на спине, рубаха вся разорвана.

Тяжело дыша, Семен посмотрел наверх, туда, где возились кузнецы и мастер. Потом перекинул через плечо свиту и пошел со двора. Около ворот его догнал дьякон.

— Вот тебе батюшка за труды передал, — сунул он под руку Семена пшеничный каравай.

Семен повертел хлеб, словно это была какая диковина, и зашагал по улице к Зозулину двору.

...Домой вернулся поздно. Не заходя в хату, прошел к хлеву. У будки, положив большую лохматую голову на лапы, лежал Медведь. Услышав шаги

хозяина, пес поднял веки, посмотрел печальными, затуманенными глазами. Уже второй день он ничего не ел.

— Медведь, что с тобой? — Семен сел на корточки возле пса. — Болит что-нибудь?

Медведь смотрел на него большими умными глазами, словно хотел что-то рассказать и не мог. Из уголков глаз у него скатились две слезы. Семен отломил краюху хлеба и положил возле пса. Но Медведь даже не взглянул на хлеб.

«Неужели отравил кто? — думал Неживой. — Такой пес был!» Нестерпимо стало жаль Медведя. Маленьким щенком принес он его домой. Вспомнилось, как, напившись молока, тяжело сопя, щенок залезал в старую, выстланную сеном корзину, и только два черных глаза блестели оттуда. Немного погодя, чтобы не сбежал со двора, Семен стал привязывать его крученой суровой веревкой.

Неживой поднялся, пошел в хату.

— Явдоха, Медведь ничего не ел? — спросил он жену. — Видно, пропадает. Налей воды в миску, я побреюсь. Завтра в Черкассы должен ехать, горшки повезу.

Явдоха засветила лучину, налила в миску воды.

— Так рано темнеет, — пожаловалась она. — Завтра воскресенье, может, голову свиную возьмешь да продашь.

Семен кивнул головой. Он и сам думал об этом. Несколько дней тому назад заколол кабана; имел намерение продать сало и телку, а купить корову.

— Хорошо, если только будет время возиться с нею, — сказал из сеней, поправляя кадку с салом.

Семен наточил бритву, поставил на скамью возле лучины миску с водой и, подвинув скамеечку, стал бриться.

В углу под образами, толкая друг друга, шептались два Семеновых мальчугана — шести и двух лет.

— Ремня захотели! — прикрикнул на них Неживой. — Сидите тихо: воду колеблете, не видно ничего.

— Может, внесем кадку в кладовую, — готовя ужин, отозвалась Явдоха.

— Пускай стоит, будем таскаться с нею. Все равно в среду на базар повезу. Вот и готово, — вытер он об колено бритву, — давай ужинать.

После ужина Семен уже не стал ничего делать. Нужно было пораньше лечь, чтобы не проспать утром. Сон долго не приходил. Семен слышал, как Явдоха мыла посуду, как стучала кочергой, накладывая в печь дрова, чтобы до утра просохли, как ставила тесто.

Проснулся Семен, едва в окнах забрезжил рассвет. Явдоха уже возилась в хате. В печи сердито, словно гневаясь на кого-то, шипели немного подсохшие за ночь, но все еще сырые дрова, на большой, почерневшей сковородке потрескивало свежее сало, и от запаха его приятно щекотало в ноздрях.

Перемешивая в надбитом горшке кулеш, Явдоха со вздохом бросила через плечо:

— Медведь сдох.

— Да ну?

— Скрючился так. Наверное, мучился перед смертью. Где его закопать? За садом? — Явдоха налила кулеш в глиняную миску. — Садись, поешь горячего.

Но Семен уже подпоясывался поверх свиты поясом.

— Я и так запоздал. Зозуля будет ворчать. Положи что-нибудь в торбу.

— Сала сырого? Жареного бы, так потечет с него, еще не остыло. Вот рыбы немного осталось, той, что кума намедни принесла.

— Положи рыбу.

Семен бросил в мешок свиную голову и, взяв из рук Явдохи торбу, вышел из хаты. На дворе было холодно. Ветер раскачивал порожнее ведерко, стучал им по колодцу.

«Еще разобьется».

Семен зацепил ведро за колышек и пошел со двора. На краю неба уже занималась светло-голубая полоса.

— Давно выезжать пора, — зло встретил его возле сарая Зозуля. — Гершку скажи, что воза три

еще будет — и конец. Зима идет, да и печь не годится: пригребица * не сегодня-завтра упадет. Глазури не бери, а окалины пускай побольше даст.

— Веретено надо бы новое, — заметил Семен. — Старое совсем стерлось, верхний круг стал часто спадать.

— Сами сделаем. Тебе лишь бы деньги тратить, сказано — не свои, — ворчал гончар, помогая увязывать сложенные столбиками на возу горшки, крынки, кувшины, макотры. — Сам же и стер веретено, как зубами его сгрыз. Работничек тоже, один убыток. У людей работники как работники, а тут...

Семен молчал, как всегда. Он вообще был неразговорчивым, рос таким сызмальства. К тому же знал, что спорить с Зозулей все равно, что плевать против ветра, — только себя заплюешь. Давно бы он ушел от Зозули, но где еще найдешь работу? Зозуля же Семена только ругал, а кулаки, как другим своим батракам, в лицо не тыкал. Он немного побаивался рассудительного, спокойного работника. Почему — Семен не знал. Может, потому, что он никогда не говорил ничего наперекор, молча слушал хозяина, пряча в уголках тонких, резко очерченных губ чуть заметную усмешку.

Зозуля был бы не прочь избавиться от своего хмурого наймита, да кем заменишь его? Неживой понимает в гончарном деле лучше самого хозяина.

Семен вывел из хлева пару гнедых лошадей, запряг в телегу, поправил в передке сено, щелкнул кнутом в воздухе. Лошади тронулись с места.

— На телегу поглядывай, ворон не лови, — кричал вдогонку Зозуля, закрывая ворота. — На спусках потише, придерживай коней.

Ветер все усиливался и усиливался. Семен свернул на полевую дорогу и, проехав несколько верст полем, выехал снова на большак уже за Ротмистровкой. Теперь ветер дул в спину, стало тише и теплее.

Позади остался колодец со сломанным журавлем, опасный, крутой косогор. В версте впереди маячил молодой дубняк.

«Нужно кнутовище вырезать, — Семен бросил взгляд на лесок. — А кто же там стоит возле куста? Еще оперся на что-то, похоже на ружье?»

Он беспокойно оглянулся на телегу, ища, что бы взять в руки. Но на возу, кроме горшков, ничего не было. Остановить коней? Поздно. «Чего я боюсь, — успокаивал он себя. — Что с меня взять? Разве кирею, так она старая, еще и прожженная около кармана».

Лошади шаг за шагом приближались к дубняку. Теперь Семен уже хорошо видел, что это стоит, опершись на ружье, солдат. Он, видимо, ждал подводу. Когда лошади поравнялись с солдатом, тот закинул за плечо ружье и пошел рядом с телегой.

— Далеко едешь? — оглядывая воз, спросил солдат.

— В Черкассы. Может, по дороге — садись, подвезу, — подвинулся Неживой.

— По дороге. Устал немного. — Солдат вскочил на воз, сел, свесив ноги. Ружье положил на колени. — Из самой Шполы иду. У тебя, землячок, нет табачку?

— Есть, — Семен достал кисет. — Земляк, говоришь; может, из тутошних мест будешь?

— Не совсем отсюда, — усмехнулся солдат. — Но все равно земляк.

— Откуда же ты? По разговору так будто бы с Московщины. Хотя все солдаты одинаково говорят.

— Из-под Мурома. Слыхал про такой город?

— Не слыхал, — признался Семен. — Про Илью Муромца знаю. Далеко этот Муром?

— За Москвой. Я родом с Дона, жил только в Муроме.

— Не понравилось на Дону, или как? Говорят, будто там все казаки в достатках живут.

Солдат поправил ружье.

— Кто как. Есть в достатках, а есть и голодные. Как и везде.

— Вы в Шполе стоите? Скажи мне, не знаю, как тебя звать, зачем вас прислали сюда? Разные слухи в народе ходят.

Солдат, разогревшийся было при ходьбе, начал мерзнуть. Он положил ружье на солому позади себя и, потирая пальцы, прикрыл колени полами шинели. Семен посмотрел на посиневшие от холода руки солдата, подвинулся еще дальше на край.

— Залезай сюда, — откинул он полу киреи. Так будет теплее. Кирея большая, хоть впятером под нею прячься. Только, когда курить будешь, огонь не рассыпь.

Солдат поблагодарил и, перекинув ноги через полудрабок, полез под кирею. Семен снова завернул полу, и теперь из киреи торчало только два лица: одно смуглое, продолговатое, другое круглое, с белыми стрехами бровей, голубыми, как цветки льна, глазами и небольшим, слегка вздернутым носом.

— Ты спрашиваешь, как меня зовут, — дыша Семену на щеку, начал солдат. — Зовут меня Василием. Василий Озеров. А зачем нас прислали сюда — хорошенько и сам не знаю. У нас слух прошел, что против униатов. Знаешь, наверное, что они творят: совсем хотят нашу веру искоренить. Говорят, значит, что послы наши чаще стали в Польшу ездить и польские к нам. Им, униатам, князьям разным, значит, не по нраву это стало, вот они и заварили кашу. Боятся, чтобы и правый берег к России не отошел. Сами чуют: несправедливо он под ляхом. Может, какие-то перемены будут, так между собой солдаты гутарят. Спрашивали офицеров — те не рассказывают ничего.

— В нашем селе тоже такие слухи ходят. Я никак не пойму, как это паны да против панов войско послали. Ведь униаты — та же шляхта. Ну, чего хитришь! — стеганул Неживой коня.

— А вот видишь — и послали. Знать, тутошние паны нашим поперек стали. Это ведь нам с тобой незачем ссориться, делить нечего. Разве панов, — засмеялся Василь, — обменять наших лучших на ваших похуже?

— Если бы и было, что делить, то, думаю, обошлись бы без ссоры, — усмехнулся и Семен. — Дай бог, чтобы против униатов, — продолжал он невысказанную мысль. — Я вот уже размышлял. Паны у нас

все больше хомут на крестьянах засупонивают. Совсем на шею садятся. Кое-где люди в селах начали головами встряхивать, пробуют сбросить. Вот, может, ваши паны и послали солдат, чтобы помочь нашим панам на людских шеях усидеть?

— Этого не будет. Я бы своим штыком! — Василь кивнул назад головой. — В случае чего еще и сам бы помог ссадить вашего пана. Мой отец на панской конюшне богу душу отдал. Сынок моего пана в нашем полку служит. Я и попросил его, чтобы замолвил словечко и хоть на месяц пустили домой. Куда там! — Василь сплюнул на дорогу. — Все они одинаковы.

— Верно, а таким, как мы, тоже надо держаться вместе, — Семен коснулся под киреей Василева локтя. — Вот ты говоришь, а я все понимаю. Не только потому, что речь наша очень схожа. Жизнь наша одинакова, и... — Семен вертел в пальцах кнутовище, не находя нужного слова, — души у нас близкие, вот как, — наконец закончил он, довольный, что сумел так удачно и коротко выразить свою мысль. — А зачем ты в Черкассы идешь, или нельзя сказать?

— Чего там, можно. За лошадьми капитан послал, скупщики наши лошадей для полка подбирают.

Время в беседе летело быстро. И Неживой и Озеров даже удивились, когда с холма на них глянули кривыми ставнями белые хатки Черкасс. Не доезжая до базара, Семен остановил лошадей. Оба слезли с воза.

— Давай еще раз закурим, — протянул Василю кисет Неживой, — да и кому куда положено.

Василь, топая на месте, чтобы размять затекшие ноги, набрал табаку. Семен прикурил трубку, протянул солдату руку:

— Будь здоров, Василь. Будешь в нашем селе — заходи. Спросишь Семена Неживого, скажешь, тот, что около пруда живет, а то у нас полсела Неживых.

Семен въехал в переулок. В самом тупике, за редким из кольев частоколом, виднелся похожий на

огромную конюшню необмазанный Гершков дом. Семен хотел открыть ворота, но в это время из хаты, застегивая на животе лапсердак, выбежал плешивый Гершко.

— Не надо, остановись, — замахал он руками. — Поворачивай назад, прямо к лавке повезешь.

Семен развел руками.

— Где же эта чертова лавка?

— Как, ты не знаешь? Эй, Эвка, — позвал лавочник, — мигом сюда, накинь на себя что-нибудь.

Из сеней, поправляя на плечах платок, выбежала девчонка-батрачка.

— Покажешь ему, где лавка. Передай хлопцам, чтобы без меня не продавали. Горшки-то хороши? — обратился он уже к Неживому. — Прошлый раз было с десяток попорченных. Не гешефт, а одни убытки от такой торговли. Езжай, пока не стемнело.

Семен, подав воз немного назад, завернул лошадей. Гершко несколько шагов прошел за возом, постучал по горшкам пальцами. Лавочник, внешне, казалось бы, совсем не похожий на Зозулю — толстый, неуклюжий, — все же чем-то напоминал Семену хозяина. В чем было это сходство — Семен вряд ли смог бы объяснить, но сходство между ними было, и даже немалое. Может, в том, как они оба гоняли своих батраков, или в жадном и даже хищном блеске глаз, с которым брали в руки засаленные рубли и талеры.

Девочка шла рядом с Семеном. Уже по одной одежде — старая набивная юбка с обтрепанными краями, какие-то лохмотья на худеньких, почти еще детских плечах — Семен понял: девчушке живется нелегко.

— Сирота, наверное? — сочувственно заглянул он ей в глаза.

— Сирота, — тихо ответила она. — Вы, дядя, вон туда езжайте, видите, три лавки рядом. — Девочка показала пальцем и, шлепая большими ботинками, пошла назад.

Семен подъехал к крыльцу, постучал в прикрытые, обитые железом двери с прибитой над ними на

счастье подковой. Из лавки выбежали два приказчика в коротких свитках, стали разгружать воз.

— Не отвел бы ты, хлопчик, лошадей к хозяину во двор, — обратился Семен к одному из приказчиков, — мне на базар надо, день уже кончается.

Приказчик замялся.

— Работы у меня много...

Неживой порылся в кармане, вынул пятак и протянул хлопцу:

— Я не даром. Возьми на крендели.

Приказчик бросил взгляд на Семенову ладонь, потом снова набрал в руки горшков.

— Медные деньги ныне не больно в ходу.

— Каких же ты захотел? Может, червонец за то, что на возу прокатишься?

— Ладно, дядько, я отведу, — сказал от дверей второй хлопец, — денег не надо, я так.

— Спасибо тебе.

Семен закинул за плечи мешок и пошел на базар. Но базар был уже полупустой. Люди еще ходили, но они уже, видно, закупили все нужное и теперь сновали по мелочам. Даже торговки и те бранились как-то лениво, без всякого наслаждения. Семен напрасно стоял возле своего мешка — никто даже на смех не приценился к его товару. На майдане стало совсем уже пусто, в мясном ряду остался только он да какая-то бабка с миской нарезанного кусками жареного сала. Неживой хотел уже идти, как вдруг из-за ятки * вышел пьяный чумак. Помахивая шапкой, он весело напевал, не в такт притопывая ногами:

Постолики — соколики,
А чоботи — черті,
Походивши по вулиці,
Треба їх обтерти.

Остановился около старушки, оперся рукой о стол:

— Сколько за все?

— За все? — растерянно посмотрела старушка. — По гривеннику за кусок... Один, два... — зашамкала она губами. — Рубль.

— Эх, на, бери.

Чумак полез в карман за деньгами, одновременно затянул песню:

> На городі шарварок,
> За городом ярмарок,
> Дід бабу продає —
> Ніхто грошей не дає.

Он отсчитал деньги, выгреб в полу сало и повернулся к Неживому:

— Ты один остался? Что ж, давай и твой товар возьму, сколько просишь?

Семен видел, что человек вконец пьян и что свиная голова ему совсем не нужна: сейчас купит, а завтра протрезвится и будет проклинать и себя и того, кто ему ее продал. Семен положил свиную голову в мешок и пошел через майдан прочь от чумака, который продолжал выкрикивать какие-то непонятные слова.

У Гершка во дворе никого не было. Семен, зайдя в темные сени, старался нащупать, куда бы положить мешок. Под ногами валялись порожние бочонки, корзины, ведра. Неживой только было хотел перевернуть одно из них, чтобы положить в него мешок, как скрипнули почти одновременно двери в сени и в хату. Из сеней с черепком в руках выскочила Эвка, а из хаты, шаркая туфлями, вышел Гершко. Эвка хотела прошмыгнуть под рукой хозяина, но тот, прикрыв ногой дверь, обхватил ее за стан.

— Пустите, чего вы липнете, — чуть не плача, вырывалась девушка.

— Дурная, ботинки новые куплю, юбку, — сопя, зашептал Гершко.

Семен нарочно зацепил ногой какой-то бочонок. Он загремел, покатился по полу. Гершко, отпустив девушку, попятился во двор, едва не споткнувшись о порог. Неживой постоял немного и зашел в кухню. В соседней с кухней комнате горела свеча, и свет ее падал из двери продолговатым пятном. Семен прошел через кухню, остановился у края этого пятна.

Посреди комнаты висела зыбка, около нее, боком к Неживому, стояла Эвка и дергала за веревку.

— Носит тебя, — долетел до Семеновых ушей откуда-то издали, словно из колодца, сварливый женский голос. — Не слышишь — ребенок плачет.

— Я в погреб лазила.

— А что, погреб на другом конце города? Или забыла, как лоза пахнет?

Семен видел, как, вздрагивая, все ниже и ниже опускались Эвкины плечи. Обильные слезы катились по ее щекам и падали в детскую колыбельку. Губы едва слышно шептали колыбельную песню, но рыданья, душившие девушку, прорывались сквозь слова песни.

Неживой неслышно подошел к Эвке, положил руку на голову. Эвка испуганно встрепенулась, посмотрела на него большими, полными слез глазами.

— Не плачь, — тихо промолвил Семен. — Видишь, и ребенок уже спит.

— Я... Я не плачу. Пойдемте отсюда, а то пани Крамарова будет кричать.

Они вышли на кухню. Эвка зажгла свечку, прикрыла дверь и села возле печи рубить капусту. Семен примостился на скамье неподалеку. Он развязал торбу и, вынув краюху хлеба, стал натирать ее чесноком.

— Давно служишь у Гершка? — спросил он, макая чеснок в соль.

— Давно, — не поднимая головы, ответила Эвка.

— Когда родители померли?

— Давно. Мне тогда еще и года не было. Не помню, как и называли они меня.

Семен вытащил завернутую в лоскуток рыбу, откусил хлеб. Терпкий, приятный запах чеснока защекотал ноздри Эвки.

— За сколько же ты служишь?

Эвка глотнула слюну, пальцем закинула прядь волос, свисшую на лоб.

— Пятнадцать рублей да юбка, кожух и чеботы в придачу.

— Не густо! Есть хочешь? — вдруг догадался Не-

живой. Он отломил половину краюхи и кусок рыбы, протянул Эвке. — Бери. Да не стесняйся!

Эвка, немного поколебавшись, вытерла о фартук руки, взяла хлеб и рыбу.

Поужинав, Семен пошел устраивать на ночь коней. На пороге он чуть не столкнулся с Гершком.

— Я уж не поеду сегодня домой, поздно, да и кони устали, — сказал он. — Придется заночевать. Места много я не займу.

— Разве я гоню тебя из хаты? — почесал щеку лавочник. — Положи на кухне куль соломы и спи.

— Еще одно хотел сказать. — Семен наклонился к Гершку. — Девушку не смей обижать, она и так несчастная.

— Кто же ее обижает? — насторожился Гершко. — Да и что тебе за дело, кто ты ей? Ну, чего на меня глаза выпучил?

— Я один раз говорю. Приеду еще раз, и если что услышу — плохо будет. Узнаешь, чем вот это пахнет. — Семен поднес к лицу лавочника огромный, туго сжатый кулак.

Явдоха проснулась от какого-то неясного шума. Осторожно, чтобы не скрипнула доска, села на постели. В сенях снова что-то стукнуло.

— Что это, мамо? — спросил старший мальчик. Он проснулся и дрожал.

— Не знаю, Михась, наверное, кот лазит.

— Кота я с вечера на хату закинул и дверцу прикрыл.

— Соседский мог заскочить, или крысы дырку проели.

Явдоха поднялась, осторожно ступая босыми ногами, прошла к печи. Раздула огонь, зажгла лучину.

— Кто там? — положив руку на щеколду, неуверенным голосом спросила она.

За дверью было тихо. Явдоха оглянулась на Михася, что с топором в руках стоял позади матери, подняла щеколду и толкнула дверь. В сенях никого

не было. Михась присел на пороге, заглянул под ручную мельницу — тоже никого. Тогда они вышли в сени.

— Ой! — громко вскрикнула Явдоха и подалась от неожиданности назад.

Под стеной стояла перевернутая вверх дном кадка, а возле нее валялись старые, разъеденные рассолом круги. Не помня себя, Явдоха кинулась к наружным дверям, отодвинула деревянный засов и дернула за ручку. Дверь не открывалась.

— Мамо, ключ в двери! — испуганно крикнул Михась.

В тот же миг кто-то потянул к себе ключ, и из-за двери прозвучал гортанный, умышленно измененный голос:

— Идите спать, коли жить на свете хочется.

Явдоха и Михась метнулись в хату. Закрывая на обе задвижки дверь в хату, Явдоха испуганно оглядывалась на окно, за которым чернела заплаканная осенняя ночь.

Семен чуть коснулся рукой перелаза, вскочил во двор и бегом метнулся к сараю. Увидев взволнованного батрака, Зозуля беспокойно забегал глазами, поставил на доску рожок с окалиной.

— Где Мусий? — тяжело дыша в лицо Зозуле, спросил Неживой.

— Бегаю я за ним, что ли? Уже две недели не видел, а зачем он тебе? — пытаясь принять равнодушный вид, заговорил гончар.

— Брешешь, как пес. Люди видели, как пьянствовал он с гайдуками в твоей хате. Куда сало девали?

— Свят, свят! — отступил назад Зозуля. — Какое сало? Ты что, пьян?

Семен схватил правой рукой Зозулю за кунтуш, притянул к себе.

— Не прикидывайся. Жена по голосу узнала твоего сына. Все знают, как гоняют они по селам и людей грабят. Теперь у меня... у нищего, торбу

украли. Слушай, Охрим, отдай сало, сам знаешь, как зарабатывали его. Пустую похлебку ели — хотели корову купить. У меня двое малых, капли молока не видят.

— Я сам пустую похлебку ем. А ты что, видел Мусия в своем дворе?

— Не отдаешь? Душу вытрясу. — Семен тряхнул горшечника так, что на нем затрещала рубашка.

— Спасите, убивают! — завопил Зозуля.

На крик выбежало несколько работников, через тын во двор заглядывали соседи.

Семен оттолкнул Зозулю от себя, и тот, раскинув руки, шлепнулся прямо на пьятро, где двумя рядами стояла посуда. Пьятро упало на землю, еще не обожженные горшки и крынки поразлетались на маленькие кусочки.

— Все равно найду на вас управу. Сейчас пойду в фольварк, и сделаем у Мусия обыск.

Неживой толкнул ногой другое пьятро и выбежал на улицу.

— Семен, стой, — схватил его у перелаза один из батраков, который слышал весь разговор, — не ходи на фольварк, собаками затравят. Не накликай беды на свою голову. Когда горе спит, то его еще надо укрыть.

— Пусть травят, мне уже все равно, — махнул рукой Семен. — А горе, оно уже давно не спит, разбудили его.

Семен надвинул на лоб шапку и быстро зашагал по улице к панскому имению.

Глава седьмая

Я ЛИ В ЛУГАХ НЕ КАЛИНКОЙ БЫЛА

Поздняя осень. Давно откурлыкали журавли, опустели широкие плесы на Тясмине, только вороны кружатся низко над землей, садятся на равнодушных осокорях у края дороги и каркают, каркают.

Паныч Стась поглядывал в окно, кусал ногти — стихи никак не выходили. Он перечеркнул в строчке

последнее слово «георгин», к которому не мог подобрать рифмы, и написал вместо него «астра». Но теперь приходилось менять в строчке и другое слово. Да и словечко это «астра» мало подходило. Ведь тогда, когда он прощался с панной Ядзей, у нее в руках были роскошные георгины. Один из них она подарила ему. Стихи должны быть написаны непременно и не позже чем сегодня, иначе курьер не успеет передать ко дню ее именин.

Стась попытался представить себе, какое впечатление произведут стихи. Их прочтут перед вторым тостом. И все поднимут бокалы за именинницу, которой посвящают такие чудные стихи, и за того, кто эти стихи написал. Хотя подписи не будет, все догадаются, кто автор. Стасю не раз говорили, что у него талант. Какое восхищение вызвали на балу его стихи о больной синичке! Пани комиссарова так плакала! А о паненке Ядзе и говорить нечего. Перед взором Стася встало бледное лицо панны Ядзи. Разве можно найти паненку красивее? Однако девушка, которую гайдуки привели во двор, тоже очень красива. Как некстати возвратилась домой мать! Ей, конечно, никакого дела нет до какой-то холопки, однако она боится, чтобы ее мальчик не испортился и не стал похожим на многих панычей из Варшавы и Кракова, которые проигрывают в карты свои имения. Смешная! Она принимает его за маленького. Но как хорошо, что она завтра снова уезжает. За окном послышался слабый крик. Стась досадливо поднял голову. Надо уйти в какую-нибудь дальнюю комнату. Каждую субботу мать устраивает домашний суд. Хотя бы где-нибудь подальше, а то прямо здесь, под его окнами. Стась собрал разбросанные по столу исчерканные листы бумаги и пошел к двери. Проходя мимо окна, он увидел на высокой веранде мать.

Пани Думковская сидела в глубоком плюшевом кресле, накинув на плечи лисью, покрытую тканью шубку. На коленях у нее лежала подушка, на которой мурлыкал большой черный кот. Пани не любила тех барынь, которые держали целые кошачьи вы-

водки. У нее был только один Ягуар, она любила его самозабвенно; она даже не представляла себе, что было бы, если бы Ягуар захворал. Пани не только сама кормила его, но и сама расчесывала большим серебряным гребнем черную блестящую шерсть кота.

Вперив зеленые, немного похожие на ягуаровы глаза в противоположную сторону крепости, которая поднималась прямо из воды, пани гладила кота по мягкой спине. Ее одутловатое, с двойным подбородком лицо было спокойно, почти неподвижно, только когда она поворачивалась, лицо вздрагивало, подобно тому, как вздрагивает в миске застывший студень. За креслом стоял высокий, тонкий как жердь управляющий имением.

Внизу под верандой слышался женский крик. Он то затихал, переходя в тихие стоны, то звучал пронзительно, до звона в ушах.

— Кто это кричит? — не поворачивая головы, спросила пани.

— Марфа, прачка, — почти до пояса изогнулся управляющий.

— Вишь, негодница, как будто режут ее. Разве это бьют! Вот, бывало, при покойном папаше били. Кнутом, кнутом, а потом поднесут сукно и спрашивают: «Какого цвета?» — «Красное», — говорит. Раз узнает — еще ему. Тогда и страх и покорность были.

Пани поднялась, переложила кота вместе с подушкой на кресло и нагнулась над перилами. Под верандой босая, в одной нижней сорочке стояла прачка.

— И дальше так гладить будешь?

— Не буду, пани, ночей недосплю... Сжальтесь!..

— Смотри у меня. Не то в другой раз рогатку прикажу надеть.

Управляющий поднял подушку, барыня села в кресло. Через несколько минут внизу снова послышался свист розог, потом хриплый, смешанный с бранью стон.

— А! Это Микита, птичник. За что его?

— Две утки лиса своровала возле речки. Сорок

пять розог, не так уж и много. Это на сегодня последний.

Барыня поднялась, позвала горничную и, отдав ей кота, пошла осмотреть хозяйство. Она заглянула во все углы, но ее внимательный глаз сегодня не мог ни к чему придраться — везде был порядок. Недаром о Думковской говорили: «Надо учиться у нее хозяйничать». Пройдя по широкому двору, барыня зашла в один из флигелей. В большой светлице в ряд сидели рукодельницы. Увидев барыню, они вскочили и склонились в низком поклоне. Каждая положила шитье перед собой. Однако барыня сегодня не присматривалась к рукоделию. Она прошла вдоль комнаты и уже хотела выходить, как одна из рукодельниц выскочила на середину комнаты и упала барыне в ноги. В ее черных глазах дрожали слезы.

— Пани, отпустите меня! Я... я не рукодельница, не крепостная.

— Что? Кто же ты такая?

Управляющий поспешно вышел вперед, закрыл собой Орысю.

— Это дочка мельника, того, что живет на нашей половине села. Мельник не панский, но за ним недоимка числится. Взяли девку на несколько дней, что же тут такого? Вы поглядите на ее вышиванье. — Управляющий принес вышитый Орысей узор.

Барыня подержала узор и отдала управляющему.

— Хороший, прямо-таки чудесный. Таких мне еще не приходилось видеть. Почему же ты, глупая, плачешь? В темницу тебя посадили, что ли? Иди на свое место.

Думковская повернулась и вышла из светлицы во двор. Вдоль веранды трое гайдуков собирали и складывали на скамью изломанные розги.

Падал первый снег. Маленькие пушистые снежинки весело кружились в воздухе, белой скатеркой устилали землю. Открыв дверь, Роман по-детски

подскочил на одной ноге и, выбежав во двор, растопырил руки, пытаясь поймать в ладони как можно больше снежинок. Потом закинул голову и стал ловить их губами. Сколько их? Тысячи тысяч! Белыми роями вырывались они со вспененного метелицей неба, из сизой снеговой мглы. Еще с вечера земля печалила глаза черными холмами, а сейчас она была вся в праздничной обнове, словно девушка, одетая к венцу.

Роман набрал пригоршню снега и, сжав его, швырнул снежком в горничную Галю, пробегавшую мимо. Снежок попал ей в плечо, обдал лицо девушки холодной снежной пылью. Галя тоже схватила в руки ком снега, провела им по губам Романа и помчалась наверх по ступенькам крыльца. Роман, проводив взглядом ее стройную фигуру, пошел к конюшне. Проходя мимо одного из многочисленных домов, он увидел своего сотника. Тот, сонно почесываясь, стоял на пороге:

— Уже встал? Не уходи никуда, сегодня будешь со мной при барине. Пан на охоту едет.

— Я думал конюшню почистить.

— Почистишь завтра.

— Ехать так ехать. Мне все равно, навоз ли чистить, пана ли сопровождать.

— Верно. Готовь коней. Постой, постой! Что ты болтаешь? — вдруг спохватился сотник.

Роман придал лицу удивленное, несколько глуповатое выражение.

— Я говорю, мне все равно, что ни делать. Только бы не зря панский хлеб есть.

— Ну-ну! Смотри ты у меня, — погрозил пальцем сотник. — Поди скажи в сотне, пусть готовятся.

— Разве пан так рано встанет?

— А и правда, — согласился сотник, — я еще и сам не выспался.

Задав лошадям корм, Роман вышел из конюшни. Около псарни, ступая широко, как на косовице, мел дорогу псарь. Был это пожилой, очень странный человек. Лицо у него было все испещрено морщинами и напоминало плохо намотанный клубок суровых

ниток. Борода тоже росла как-то чудно — двумя клинышками. Даже имя его было необычное — Студораки. Когда Роман спросил, почему у него такое имя, псарь ответил, что отец его был едва ли не беднейшим человеком на селе. Потому и имя такое: тем, кто побогаче, поп лучшие имена давал, а кто победнее, тем — похуже. А в каких святцах выкопал это имя, никто не знал, может, и сам придумал.

Однако хотя и прожил весь свой век дед Студораки в нужде, был он человеком очень веселого нрава. За веселость и Роман ему полюбился. Они часами могли просиживать вдвоем на конюшне, рассказывая друг другу были и небылицы, часто прерывая разговор смехом.

— Доброго утра, диду, — поздоровался Роман. — Зачем подметаете? Все равно снег снова нападает.

— Зачем мету? Собак буду гнать к колодцу, так чтобы не увязли. — И, расправив спину, опираясь на метлу, уже серьезно сказал: — Пан, как только просыпается, сразу на псарню идет.

— Вы с ним каждый день разговариваете. Каким он вам кажется? В самом деле он такой, как про него вчера есаул рассказывал?

— Добрый пан, только в морду дал, слышал такую поговорку?

— Я без шуток.

— Я тоже не шучу. Что и говорить, пан большой руки.

Про пана Калиновского ходило много слухов. Говорили, что он человек мягкого нрава и большой доброты. И что еще удивительнее, будто он простыми людьми не брезгает, хотя и шляхтич потомственный: выслушает и поговорит. Роман за эти дни видел пана раза три, и то издали. Пан Калиновский приехал неделю тому назад. В Медведовское поместье он наезжал почти ежегодно — тут была лучшая охота. Сразу же следом за ним понаехали и гости — едва ли не со всей волости. Не бывали тут только ближайшие соседи — помещики Думковские. И не

только потому, что барыня была уже в летах и ей не подобало присутствовать на таких банкетах. Давнишняя вражда разделяла их семьи. Еще и сейчас помнит пан Калиновский, как его отец организовывал вооруженные наезды на поместья Думковских. Тех спасали только крепостные стены, крепкие и неприступные.

Каждый вечер в имении гремела музыка, звенели кубки, вспыхивали фейерверки. Только под утро разводили лакеи пьяных гостей по флигелям.

— Чем без дела стоять, взял бы другую метлу.

— Некогда, я еще хочу сбегать к Зализняку, он должен домой приехать.

— Зализняк? Максим? Разве он здесь? — снова взялся за метлу Студораки.

— В монастырь Онуфриевский нанялся, уже недели две тому назад. Говорил я ему, чтобы со мною в надворные шел, не захотел.

Дед Студораки покачал головой.

— Этот не пойдет. Золотой человек.

— Выходит, в надворные не люди идут. Неужели псарь выше стоит, чем казак надворной охраны?

Студораки перевернул метлу, постучал черенком о землю.

— Не горячись, еще язык проглотишь. Не будем меряться честью. У обоих у нас работа собачья, у тебя по воле, а у меня — по неволе. Тебе Максима не разгадать. Говоришь, в монастырь пошел. Допекли, видно, нехватки. Передавай ему поклон от меня! — крикнул он уже вдогонку Роману.

Около ворот Зализняка снег лежал непротоптанным. Роман заглянул через плетень, остановился. Напевая тоненьким голоском, березовым веником подметала от порога дорожку Оля. Отступив на несколько шагов, Роман надвинул на лоб желтую с черной окантовкой шапку и, кашлянув так, что в соседнем дворе испуганно закудахтала курица, прыгнул через перелаз. Оля оглянулась, упустила из рук веник и с визгом побежала в хату.

— Оля! — кинулся ей наперерез Роман. — Не беги, это я.

Услышав знакомый голос, девочка остановилась. Исподлобья взглянула на Романа. А тот сбил на затылок шапку, залился громким смехом.

— Испугалась? Неужели я такой страшный?

— А зачем вы так обрядились? — успокаиваясь, проговорила Оля.

— Как? Страшно? А я думал, красиво.

Порывшись в кармане, Роман вытащил медовый пряник. Сдунул с него табачные крошки, подал девочке.

— Дядя Максим дома?

— Нету, он вчера приезжал. Орлику сена привез, а мне ленты в косы. Дед Загнийный уже два раза приходил, на Орлика смотрел. А дядя Максим сказал, чтобы мы его не пускали. Я Орлику гриву заплела, на лестницу стала и заплела. И не боюсь, — рассказывала сразу обо всем Оля.

— Вот так молодец, — Роман похлопал Олю по холодным от мороза щечкам. — Вырастешь — за полковника замуж отдам.

Оля скривила губки.

— Не хочу за полковника. Я за Петрика пойду.

— Какого Петрика?

— Поводыря кобзаревого. Он уже два раза к нам заходил. Еще в прошлом году. Я Петрику и колечко подарила, он обещал зимой снова прийти.

— За поводыря так за поводыря. Ладно, пошел я, надо еще домой забежать.

Когда Роман вернулся в панский двор, доезжачие уже вторично протрубили в рога.

— Где тебя черти носят? — накинулся на него сотник. — Чтобы больше без разрешения за ворота не смел ступить.

Роман вывел коня. Крикливо суетились стремянные, щелкали бичами псари, пытаясь успокоить собак. Те рвались на длинных поводах, лаяли все разом.

Заправляя на ходу под соболью шапку чуб, с крыльца сбежал пан; он помахал всем перчаткой, подошел к коню.

«Красивый пан, — подумал Роман, — только си-

няки под глазами — пьет много и ложится спать поздно».

Отстранив рукой стремянного, Калиновский вскочил в седло. Еще раз приветственно махнул рукой дворовым казакам, подозвал начальника стражи и оглянулся назад. Вдруг его взгляд упал на белоснежный круп коня, и пан поморщился. На крестце справа чернело чуть заметное пятнышко. Калиновский, не говоря ни слова, пожал плечами.

— Влетит теперь конюхам, — прошептал рядом с Романом какой-то казак.

— Неужели будет бить?

— Пан, конечно, не станет, а гайдуки всыплют.

— Он же ничего не говорит.

— Можно и не сказать. Вон сотник уже косит глазом.

Теперь лицо пана не казалось Роману таким приятным. Однако разбираться в своих мыслях было некогда: снова затрубили рога, передние тронулись со двора — нужно было строго держаться своего ряда.

Казалось, будто это выезжают не на охоту, а войско отправляется в бой. Гарцевали, форся друг перед другом, на резвых конях шляхтичи, размеренно покачивались в седлах казаки. Хватаясь за передние луки, низко наклонялись доезжачие, сдерживая собак. Гремели рожки и валторны. За казаками ехали повара, визжали полозьями сани, нагруженные питьем и едой. А позади, набирая на огромные колеса комья липкого снега, катились две арбы с певчими и музыкантами.

Охота началась сразу же по приезде на место. Однако сотню, в которой был Роман, вместо того чтобы сопровождать господ, как утром говорил сотник, поставили в заслон. Некоторое время поле было пустынно. Где-то далеко в лесу стучали в деревянные колотушки крестьяне-загонщики, медленно приближаясь к опушке. Но вот из березняка выскочил заяц. Прижал ушки и что есть мочи помчался через поле. За ним никто не гнался, и, пробежав немного, заяц присел на снегу. Потом выскочило

еще несколько. Роману было плохо видно, и он, опершись о заднюю луку, поднялся в стременах. В этот миг из лесу выбежали два волка. Роман видел, что они выбежали совсем не оттуда, где их ждали охотники. Пытаясь не допустить волков до лесистого оврага, наперерез им кинулись крестьяне, постукивая на бегу в деревянные колотушки. Слева тоже послышался крик. Это из-за молодого сосняка показались паны и доезжачие с собаками. Лошади стлались в быстром беге. Впереди других, размахивая арапником, скакал Калиновский.

— Смотри, — крикнул Роман своему соседу, — пан наш первым доскачет!

Все напряженно следили за скачкой. Но через несколько минут гончие, а за ними и охотники, скрылись за холмом, и до казаков долетал лишь собачий лай, а несколько позже приглушенные выстрелы.

Хотя до дома было не больше восьми верст, обед собирали в лесу. Так велел пан еще с вечера — обед под открытым небом. Гремела музыка, лакеи расставляли под соснами столы, разводили костер. Казаки и дворня нарубили для себя сосновых веток, понабросав их на снег, постлали на них киреи. Повара разливали в деревянные миски горячий кулеш. Роман разостлал свою кирею для двоих — для себя и для деда Студораки. В одном кругу с ними сидели еще два доезжачих — один из них был известный на всю волость охотник — и трое казаков.

— Собаки сегодня словно побесились, — пристроив посредине большую миску, сказал Студораки, — одна повод перервала. Или она его раньше перегрызла...

Старик прервал речь. Просекой прямо к ним шел пан. Все повскакивали, но Калиновский махнул рукой, чтобы продолжали обед. Откинув полу шубы, он присел между Романом и дедом Студораки.

— Налей всем по чарке, кулешу мне дай, — подозвал он одного из поваров. — Я пришел пообедать с настоящими охотниками. — Пан повернул голову к доезжачим. — Отец мой был заядлым охотником, и мне его страсть передалась. В нашем охотничьем

деле не только умение надобно, но и чутье особенное. Вот такое, к примеру, как у тебя, — кивнул он головой на Студораки и, приняв из кухаревых рук рог с горилкой, поднял его. — Выпьем за удачу.

Все выпили, закусили квашеной капустой.

«Вот это так, выпил и не поморщился, — отметил Роман. — Как казак добрый».

— Я с самого начала видел — будет удача. — Калиновский поставил на колени небольшую мисочку с кулешом. — Как только первого волка затравили. Подъехал, взглянул — лежит он на боку и язык прикусил.

— Прикушенный язык — верная примета удачи на охоте, — подтвердил один из доезжачих.

Дальше разговор перешел на сегодняшнюю охоту, вспоминали, какая гончая взяла первого волка, как упал с коня один из панов.

Калиновский кончил есть. Вытер платочком закрученные вверх усы, стряхнул с куртки крошки.

— Хороший кулеш. Кто это такой вкусный приготовил?

— Секлетея, кухарка для застольни, — ответил один из казаков.

— Позовите ее.

Казаки подвели пожилую женщину. Вытирая о фартук руки, она низко поклонилась пану.

— Ты прямо княжью еду приготовила. — Калиновский сунул руку в карман. — Ты всегда такую варишь?

— А как же, паночку, всегда такую подаем.

— На вот тебе рубль. И впредь такую вари.

Роман сидел как зачарованный.

«Правду говорили, пан очень добрый», — думал он. И утренний случай с конем совсем изгладился из памяти.

Вечером в имении снова был банкет. В большой освещенной зале вдоль стен стояли накрытые столы, посреди залы кружились пары. Калиновский любил наблюдать за танцующими, сидя с бокалом ви-

на в руке. По стенам, немного выше канделябров, висели картины в дорогих золоченых рамах: стройные шаловливые нимфы, рядом с ними суровые католические святые, смотревшие на полураздетую Венеру.

Калиновский сидел в дальнем углу залы, заложив ногу на ногу. На левом плече у него покоилась голова жены в белой шляпке. Пани Калиновская на все балы и банкеты одевалась только по-польски.

— Не любит моя жена всякие роброны и помпадуры, — говорил Калиновский своим знакомым. — Уродзона шляхтянка.

Сегодня пани тоже была одета в бархатный кунтуш со шнуровкой из золотой парчи, в белую шляпку с черным пером, на ногах — красные с золотыми подковками сафьяновые сапожки.

Круглые часы с маятником в виде меча показывали двенадцать. В зале затихли звуки менуэта, пары готовились к мазурке. Калиновский поглядел на дверь, откуда на мгновение выглянула какая-то уродливая голова, и взял жену под локоть:

— Тебе пора спать.

— Я не хочу.

— Ты пойдешь спать.

— Всегда так... — но больше она не осмелилась перечить, а поднялась и пошла из залы.

Калиновский дал знак рукой на хоры, и, как только под потолок взлетели бодрые звуки мазурки, широко раскрылись двери, и в залу повалили наряженные в звериные шкуры шляхтичи. Это была преимущественно та мелкопоместная шляхта, которая охотно ездила попить и погулять к щедрым магнатам, а когда нужно, то и повеселить их. Особенный смех вызвал «цыган», который водил старого, облезлого «медведя». Не смеялся только Калиновский. Он ждал чего-то нового — однообразные шутки шляхтичей уже стали надоедать ему. К тому же вдруг разболелась голова.

К Калиновскому подошел Лымаренко.

— Позвольте, ваша мосць, сесть рядом.

Калиновский молча кивнул головой.

— Почему, ваша мосць, скучаете, разве не весело?

— Отчего же, весело, — пожал плечами Калиновский.

Лымаренко пристально поглядел на Калиновского, чувствуя, что тот говорит неправду. Давно уже Лымаренка немало удивляло то, что Калиновский — барин такой руки — мог запросто разговаривать с мужиками, заходить в людскую к дворне, а то и в хаты к крестьянам. Хитрит, прикидывается? Для чего это ему? А может, и есть для чего? Ведь в поместья Калиновского больше всего идет вольных крестьян. С шляхтичами Калиновский тоже умеет себя держать. Не заигрывает с ними, но и не пытается кого-нибудь унизить. Потому и голосов при выборах в сейм имел столько!

Видя, как Калиновский уже вторично зевнул, Лымаренко решил во что бы то ни стало развеселить его.

— Может, послать в Чигирин, пускай баб-танцорок привезут?

— Не надо... Прошлый раз привозили. Без них голова трещит.

— Тогда пойдем во двор. Кстати, там снежная гора еще днем приготовлена, ее перед вечером полили.

— Это уж получше.

Калиновский налил из зеленого в кольцах, с причудливым узором графина вино и выпил.

— Во двор, панове. Не то, клянусь Бахусом, скоро заснем. — Он указал глазами на турецкий диван около выхода, на котором уже спал асессор.

Одевшись, пьяная, шумная ватага вышла из дому. Возле забора белела высокая снеговая гора. На ней поставили столик с бутылкой вина и кубок, в кубок бросили десять золотых. Началось смешное зрелище — восхождение на гору пьяных шляхтичей. Некоторые падали у самого подножья, иные поднимались и, сделав несколько шагов, тоже падали. Выше всех, помогая друг другу, взошли комиссар и

жаботинский полковник. Но и они сорвались и покатились вниз.

— Сани давайте, — закричал Лымаренко.

Разбуженные гайдуки, конюхи привезли сани, втащили их на гору. По сделанным по бокам ступенькам полезли на гору пьяные шляхтичи, повалились в сани. Началось катание с горы. Потом в сани посадили только одного человека — реента* и, словно случайно, толкнули сани назад, где горка круто обрывалась, и реент брякнулся вниз. Он долго не мог вылезти из саней, накрывших его, а когда вылез, был с ног до головы облеплен снегом. Этот низенький, всегда пьяный шляхтич служил всем для потехи. Два дня тому назад комиссар приказал гайдукам отвести реента спать на мельницу. А на рассвете позвали мельника, и тот запустил ветряк. Пустые жернова заскрежетали с таким грохотом, что реент едва не лишился рассудка от испуга.

Конюхи выволокли из снега сани, хотели снова втащить их на горку, но несколько шляхтичей сели в них и пожелали, чтобы их покатали по двору.

— С жиру бесятся, ироды, видано ли такое — на людях ездить, — толкнул Романа немолодой казак.

Сотня, в которой состоял Роман, была поставлена в саду под окнами для салютов. Поначалу тосты шли очень часто, и надворные казаки раз за разом будили громом выстрелов сонное местечко, притихшее в глубоких оврагах. Но через час белый платок перестал показываться в форточке углового окна. То ли о них забыли, то ли уже не провозглашали тостов — стрелять больше никто не приказывал. Однако без разрешения сотня не смела пойти спать.

Паны натешились катанием и снова зашли в дом, а сотня осталась стоять под окнами. Хотя казакам и поднесли с вечера по большой чарке, Роман чувствовал, как холод проникает все дальше под гулуп, добирается до тела. Особенно мерзли ноги. Роман притопывал на месте, стучал по носкам сапог прикладом ружья. Наконец не выдержал, стал шагать взад и вперед. Топали ногами и другие казаки.

— На печь бы сейчас теплую, — промолвил один из казаков, потирая замерзшую щеку.

— Да ноги в просо зарыть, — добавил другой. — Долго они еще будут беситься?

Романа все больше и больше начинали раздражать голоса, долетающие из окон.

«Никто о тебе и не вспомнит, — подумал он. — Никому мы не нужны. Подождите же, я вам такое отмочу». Роман закинул на плечо ружье и, сказав своему соседу, что сейчас вернется, пошел через двор в конюшню.

— У тебя нет обрезков с конского хвоста или гривы? — спросил он у знакомого конюха. — И нож дай.

— Для чего?

— Нужно. Дай, если есть.

— Этого добра у нас полно, там на конюшне, в загородке, где светильник горит. Ножа нет, секач для свеклы стоит за бочкой.

Через четверть часа Роман вышел из конюшни с полными карманами посеченного конского волоса. Казаки продолжали топтаться на месте, и он присоединился к ним. Они простояли еще около часа, пока их не позвал кто-то от крыльца.

— Эй, стража, помогать панов разносить, быстро!

Роману и еще двум казакам выпало нести здоровенного, толстого шляхтича.

«Подожди же, боров, ты у меня поспишь эту ночь», — думал Роман по дороге к флигелю.

Перед тем как положить асессора, Роман вынул немного волоса и насыпал в кровать. Потом понасыпал в две свободные кровати, куда не успели еще приволочь пьяных шляхтичей. В коридорах флигеля было темно, тут и там суетились казаки и гайдуки, они вносили и вводили панов. Не замеченный никем в этой суете, Роман прошел почти по всем комнатам и набросал в кровати конского волоса.

«Вертитесь и почесывайтесь теперь до утра, хоть струпья себе поначесывайте», — подумал, выходя во двор.

О том, что может поплатиться он или кто-либо другой из казаков, Роман не боялся. Все подумают, что сделал это какой-нибудь вертопрах из шляхтичей, — ведь не проходит почти ни одного вечера, чтобы кто-нибудь из них чего-либо не выдумал.

Вечером, когда вышивать было трудно — при таком освещении можно было испортить рукоделие, — девчата пряли. Часто засиживались до первых петухов. За филипповку, мясоед и большой пост каждая должна была напрясть по семьдесят мотков пряжи.

Тихо гудут прялки, тянут тонкую нитку, и нет ей ни конца, ни края. Правду, наверное, говорила баба Настя: если бы расправить эту нитку в длину, так хватило бы через синее море перекинуть. Шуршат прялки, однообразно, тихо льется печальная девичья песня. А в песне той и тоска о покинутой старенькой матери и сетованье на свою горькую долю: не придут с рушниками к бедной крепостной девушке сваты, ведь тонкая пряжа ложится белыми свитками полотна в панские сундуки, а девичий сундук порожний стоит. Гниет кованная железом дубовая крышка, точит тесовые доски шашель, вянет девичья краса.

— Счастливая ты, Орыся, — промолвила одна из девчат, связывая разорванную нитку, — вернешься домой, а там ждет твой Микола. Ох, и парубок же!

Орыся смущенно улыбнулась.

— Что значит вольная, — продолжала девушка. — И приданое, наверное, собрала не малое. Ты одна у отца?

— Немного собрала. Наткала кое-что, да и пряжи меток десять есть. Плахты две приобрела: одна в клеточку, другая мелкоузорчатая, три запаски... * Да чур ему; что об этом говорить. Давайте, девчата, лучше споем. Какую? Калину?

Чи я в лузі не калина була?
Чи я в лузі не зелена була?

За песней не услышали, как в комнату вошел эконом. Он тихонько остановился у двери и молча слушал, как поют девчата. Когда они кончили песню, эконом стукнул дверью, будто только что зашел, и обратился к Орысе:

— Положи гребень, девушка, и иди за мной.

Орыся свернула куделю, положила на нее гребень и вышла за дверь. Эконом уже был около дома. Орыся быстренько перебежала двор, нагнала его только на ступеньках.

— Возьми этот ковер, — указал эконом, когда они зашли в круглую замковую залу, — и неси за мной.

— Разве горничных нет? — удивилась Орыся. — Почему это мне, я же отродясь в хоромах не бывала, не знаю, как оно там.

— За тобой ходить тоже не мое дело, а хожу ведь. Руки у тебя поотсыхают? Отпустили всех горничных сегодня, завтра у них работа спозаранку.

Орыся взяла свернутый ковер и пошла за экономом. Они поднялись по узкой лестнице, прошли полутемный, освещенный одной свечой коридор.

— Первая дверь направо, туда неси,— почему-то отвернулся эконом. — Покроешь им диван и можешь идти.

Эконом шагнул куда-то в сторону. Орыся толкнула коленом дверь, вошла в комнату. От неожиданности выронила на пол ковер: около окна с книжкой в руке сидел Стась.

С того времени, как они встретились на посиделках, Орыся дважды встречалась с паничем во дворе, но Стась проходил мимо с таким видом, словно и не знал ее; Орыся была этому очень рада.

— Чего ты испугалась? — закрыл книжку Стась. — Ковер вот с этого дивана.

Паныч указал пальцем на выгнутый венецианский диван. Орыся ощутила, как испуганно заколотилось в груди сердце. Чтобы не выдать волнения, она быстренько подняла ковер и стала расправлять его на диване.

— Не так, поперек надо, — Стась поднялся. —

А край чтобы свисал немного. Этот ковер с детства в моей комнате лежит, его мне дед подарил.

Поправляя левой рукой ковер, паныч правой слегка обнял Орысю.

Орыся резко выпрямилась, уклоняясь от объятий, и ступила шаг к двери. Но Стась успел преградить ей дорогу. Прикрыв дверь, он повернул ключ и положил его в карман.

— А я не выпущу, — он скривил губы в глупой улыбке, ощупывая Орысю бесстыжими, зелеными, как у матери, глазами.

Видя, что он намеревается подойти к ней, Орыся вытянула перед собой руки.

— Панычу, не подходите! А не то закричу.

— Думаешь, кто-нибудь прибежит? Кричи, хоть лопни, — уже без усмешки ответил Стась.

Он подался вперед, оттолкнул стул, обхватил Орысю. Девушка рванулась, вцепилась в его руку, пытаясь вырваться. Но Стась держал руки крепко, ломая девушку в поясе. Орыся не кричала, не плакала. Поняв, что плачем горю не пособишь, она, собрав все свои силы, оборонялась молча. Упираясь в его грудь левой рукой, она правой била его по выхоленному лицу, царапала щеки и, наконец, изо всех сил ударила в подбородок. Стась пошатнулся, на минуту ослабил руки, и Орыся, вырвавшись из объятий, отбежала на несколько шагов.

— Ты так! — прохрипел он.

Теперь он был страшен. В разорванной на груди сорочке, с окровавленной щекой, широко расставив руки, он снова кинулся на девушку. Орыся, не помня себя, вскочила на стол, схватила большую медную статую Аполлона, ударила ею по раме и прыгнула в окно. Падая на землю, ощутила боль в раненной о стекло левой руке. Девушка упала в сугроб под окном, и в то же мгновение, как она вскочила на ноги, в десяти шагах от нее раздался перепуганный голос часового гайдука.

— Стой! Ни с места! Стой!

Этот возглас словно толкнул Орысю. Не разбирая дороги, она бросилась через кусты.

— Стой! — еще раз прозвучало позади, и вдруг за спиною прогремел выстрел.

Орыся сделала еще несколько шагов и остановилась, обеими руками ухватившись за яблоньку. С яблоньки большими клочками посыпался снег. В голове Орыси подсознательно стучала одна мысль: бежать.

Хотела двинуться с места — и не могла. Прижимая к груди ствол яблоньки, она медленно опустилась на колени и, раскинув руки, упала на белый пушистый снег.

Печально гудят колокола. Начинает один, чуть слышно за ним другой, немного сильнее третий, четвертый, и, наконец, все вместе. Заливаясь слезами, грустно поют свадебные песни дружки. Ветер треплет на их спинах ленты, развевает хоругви, ерошит седую бороду деда Мусия. Дед Мусий и Карый, перевязанные накрест рушниками, идут рядом. Карый держит высоко над головой хоругвь, его руки посинели от холода, и на них выступили большие жилы.

— Думал ли ты, Гаврило, что сватом на похоронах придется быть? — не поднимая головы, говорит дед Мусий. — Мне это уже второй раз на моем веку. Ох, грехи наши тяжкие! — вздохнул он. — Гаврило, надо бы за Миколой приглядеть, чтобы чего с собой не сделал. Прямо чудной какой-то стал. Видел, как для души вместо воды горшок с ладаном на окно ставил? Почернел весь. А из глаз — ни слезинки.

Микола и в самом деле не плакал. Зажав в кулаке снятый с руки свадебный платок, низко склонив голову, он молча шел за гробом. Если бы кто-нибудь поглядел на него со стороны, то ему могло бы показаться, что Микола обдумывает какое-то важное дело. Но парубок ни о чем не думал. В голове было пусто, только тупо болели виски, будто после тяжелого похмелья. Он не заметил, как пришли на кладбище, к свежевырытой могиле. И толь-

ко тут он, наконец, опомнился. Носилки уже поставили на землю. Страшно закричала Орысина мать, порываясь к дочке. Микола подошел к гробу, опустился на колени. В последний раз взглянул на свою нареченную. Орысино лицо, обрамленное венком из бумажных цветов и красных гроздей калины, было спокойным, ясным. Как будто не пуля вынудила ее веки смежиться, а ровный, глубокий сон. Казалось, устала она за день, готовясь к свадьбе, и, примеряя с вечера свадебный убор, заснула. Вот сейчас мать возьмет ее за руку, скажет:

— Вставай, доченька, ой, как ты разоспалась!

И она вскочит на ноги, протрет кулачками глаза.

— И впрямь разоспалась, что же вы, мамо, не разбудили раньше...

Но уже никогда не встанет Орыся, не зальется звонким смехом.

Микола трижды поцеловал Орысю в холодные губы и поднялся с колен. Карый и дед Мусий сняли с крышки высокий каравай, накрыли гроб. А еще через несколько минут разбился первый ком земли о крышку гроба.

Один за другим расходились с кладбища люди. Силой увели Орысину мать; тяжело сгорбившись, поддерживаемый под руки, пошел мельник.

— Микола, пойдем, — тихо тронул парубка за руку Карый.

— Куда? — не поняв, спросил Микола.

— Домой.

— Домой я уже не пойду. Нет мне туда возврата. — Микола наклонился, взял с могилы комочек земли и, поглядев вдаль, твердо сказал: — Никогда, Орыся, я не прощу твоей смерти. Клянусь, я отомщу за тебя.

— Опомнись, Микола, что ты можешь поделать? — испуганно заговорил дед Мусий. — Стража там, башни до неба достают.

— Не помогут им те башни, не остановить им моей мести. Не убежит паныч от моих рук, и не только этот паныч. Всех их резать надо. Не бойтесь, диду, я сейчас не в крепость иду.

— Куда же ты, Микола? — встревожился дед Мусий.

Микола показал рукой в противоположную от Тясмина сторону:

— Туда, в лес. В гайдамаки.

Глава восьмая

ЗА МОНАСТЫРСКИМИ СТЕНАМИ

Зализняк сидел на высоком грушевом пеньке возле потрескавшейся лежанки с зажатым между колен старым потертым хомутом. Сырые ольховые дрова шипели в лежанке, стреляя на пол искрами. Хоть и топилось с самого утра, в хате было холодно. Только одно окошко напротив лежанки наполовину оттаяло, и сквозь него было видно, как кружатся около хаты в бешеном танце снежные рои. Третий день лютовала метель. Холодные ветры бешено мчались полями, проникали в глубокие овраги, врывались с разбегу в леса и, покружившись, обессиленные падали в чащах глубокими снегами. Глухо стонали кряжистые дубы, отряхивая со своих желтых, похожих на дубленые тулупы крон хлопья снега.

В такую погоду не хотелось оставлять теплую лежанку и выходить из хаты. Однако выходить случалось часто: управиться со скотом, нарубить и наносить в кельи дров, в погреба слазить, обрубить лед возле колодцев.

И только покончив со всем этим, батраки шли в хаты и усаживались поближе к огню, плели корзины, шили и чинили упряжь, плотничали.

«Не случилось ли чего с Оксаной?» — вешая на вбитый в стену гвоздь дратву, думал Зализняк. Вспомнил, как плохо она ему снилась минувшей ночью. Будто бежала она по льду, а за нею гнались несколько гайдуков. Она кричала, звала на помощь, но Максима отделяла от нее широкая полынья. Впрочем, что может случиться с Оксаной? Она дома у родителей. И все же... Орыся была

вольной казачкой, и то... Бедная девушка! А Микола! Навеки разбили его сердце. Нет. Когда они будут вместе с Оксаной, никому он не позволит ее обидеть. Сейчас она, наверное, сидит около лежанки и что-то шьет или прядет. Максимовы мысли прервал скрип двери.

— Скорее, помогите лошадей выпрячь, вся упряжь льдом покрылась! — крикнул из сеней монастырский сторож. — Какой-то гость знатный приехал, кучер его один не управится.

— И какой дурень в такую погоду в гости ездит. Как только они добрались? — снимая с колышка тулуп, проворчал конюх.

«Кто бы в такую непогодь гулять выбрался, тут без риска для жизни не проедешь», — подумал Зализняк и вышел из хаты.

Уже на пороге ветер швырнул ему в лицо горсть снега. Прикрываясь рукавом, Максим подошел к саням. Около лошадей суетились двое монахов и кучер. За санями стоял кто-то в длинной, до пят, медвежьей шубе, облепленный до самого воротника снегом. Он повернулся спиной к ветру и стряхивал с рукава снег. Зализняк узнал игумена Мотроновского монастыря Мелхиседека.

— Узнаешь? Я узнал тебя сразу, аргатал очаковский, — усмехнулся тот как-то устало. — Послушал меня, в монастырь пошел. Почему же не в Мотроновский?

— Там не захотели взять, своих послушников полно. А мне сюда и ближе, — ответил Максим, разглядывая Мелхиседека.

Игумен очень изменился. Исхудал, постарел, осунулся. Максим слышал россказни о том, что Мелхиседек, схваченный иезуитами, был брошен в темницу; поздней осенью дошли слухи, будто его уже умертвили, только одни говорили: живьем закопали в землю, иные — замуровали в темнице.

— Возьми этот узел и иди за мной, — Мелхиседек указал рукой на сани.

Максим вытащил из саней кожаный мешок, закинул его на плечи и пошел рядом с Мелхиседеком.

— Как тебе живется ныне? — спросил игумен, отворачивая от ветра лицо.

— Ничего, благодарение богу.

— Значит, хорошо, раз ничего. Ты в какой хате живешь? В той? Ладно, поговорим попозже. У меня от холода зуб на зуб не попадает.

Игумен через силу открыл заметенную снегом дверь. Он ничего не сказал об узле — наверное, забыл о нем — и исчез в темноте коридора. Максим, передав мешок одному из монахов, вернулся в хату.

Мелхиседека Зализняк увидел только через два дня. Игумен не позвал его, а пришел сам. Стояла капель, и с окон по стене бежали грязные ручейки. В хате, кроме Максима, не было никого. Он сидел, как и прежде, на пеньке и обшивал войлоком хомут.

— Я хорошо запомнил, как ты спас жизнь моему послушнику, — спускаясь на скамью, начал Мелхиседек.

— Не нужно об этом, ваше преподобие, — сказал Максим. — Киш, куда ты! — махнул он рукой на курицу, взлетевшую ему на колено. Она приморозила гребень, и конюхи взяли ее в хату. — Совсем обнаглела. Иди на двор, уже тепло.

— Ты женат? Постой, я и забыл, ты ведь говорил, что нет. — Мелхиседек смял в кулаке бороду. — Совсем память потерял.

«Зачем он пришел? К чему ведет речь?» — пытался отгадать Максим. Внезапно в его голове возникла давнишняя мысль. Он отложил хомут, поднял на Мелхиседека глаза.

— Ваше преподобие! Я тогда всего не сказал вам. Есть в местечке одна девушка. Мы с нею с детства любим друг друга, я не мог ее взять за себя когда-то. Теперь вот... Собрал немного денег, крепостная она — выкупить хотел. А управляющий такую цену заломил, прямо ужас. По всему видно — не хочет он отпускать ее. Слышал я, будто управляющий знакомый вашей милости. Не смогли бы вы что-нибудь сделать?

Мелхиседек повертел в пальцах набалдашник золоченой палицы.

— Видишь, это мирское дело. Однако поговорить можно. Сейчас я не могу побывать в Медведовке. Весной там буду; если управляющий до весны не согласится, я что-нибудь сделаю. До той поры ты еще приработаешь. Я бы советовал идти в наш монастырь. Он ненамного дальше от местечка, нежели Онуфриевский, версты на три, не больше. Сколько ты тут имеешь?

— Двадцать пять рублей на год, две сорочки, штаны и чеботы.

— Мы дадим тридцать.

Максим не колебался. Ему самому нравился больше Мотроновский монастырь. Кроме того, думал, что он будет ближе к Мелхиседеку и весной напомнит ему про его обещание.

— Ваше преподобие! Я еще об одном хотел попросить. Вы моего коня когда-то хвалили, помните? Хотел я его сюда забрать, игумен не позволил. Дома за ним ходить некому. Нельзя ли мне его с собой взять? За харчи пускай высчитывают, или он сам за себя отработает. То есть я с ним.

— Не перечу, бери и его. Собирайся в дорогу, сегодня и поедем.

— Мне собираться нечего. Все мое имущество в одну торбу влезет.

В этот же день Мелхиседек и Зализняк выехали в Мотроновский монастырь. Мотроновский Троицкий монастырь был расположен на высокой горе, среди дремучих лесов и скорее походил на крепость, нежели на святую обитель. Со всех сторон его окружали очень глубокие, заросшие столетними дубами и кленами яры. Они тянулись далеко на юг, расходились в несколько сторон сразу, перекрещивались и, наконец, терялись в болотах. Место было безлюдное, дикое. И тем величественнее и красивее среди этой глуши казался обнесенный со всех сторон высоким валом монастырь. За стеной стояли две церкви, несколько кирпичных домиков для монахов, трапезная и еще множество других мелких строений.

«Сколько ладоней тут мозолями покрылось», —ду-

мал Максим. Он не впервые был здесь и всякий раз задавал себе этот вопрос.

— И зачем было в такой глуши монастырь ставить? — вслух сказал Relationship Зализняк, когда они въехали в кирпичные ворота.

Мелхиседек стянул перчатку, откинул воротник.

— Ничто здесь не тревожит душу, которая стремится к богу, потому и место такое.

«И монахов, которые стремятся к спокойной жизни», — хотел сказать Максим, но промолчал.

Встречать игумена выбежала вся монастырская братия. Монахи уже раньше узнали, что Мелхиседеку удалось освободиться и что он где-то скрывается, до времени опасаясь вернуться в монастырь. Особенно обрадовался наместник монастыря иеромонах Гаврило. Раньше он сам стремился к власти, пытался всякими способами пробраться выше, стать настоятелем. Долгим и тяжелым был его путь, приходилось притворяться, напускать на себя вид смиренника, пока не был рукоположен в иеромонашеский сан. Вот уже вскоре исполнится два года с того времени, как Мелхиседек переселился в Переяслав, и непосвященным настоятелем был он, Гаврило. Это и приятно, но вместе с тем и страшно. Место настоятеля пришло к нему в трудные годы. Вещий сон когда-то приснился ему. Будто вылез он на вершину тонкой сосны, тут бы сесть поудобнее, оглядеться вокруг, ан верхушка качается; он уцепился за ветки и боится шевельнуться, чтобы они не сломались совсем. Вниз тоже страшно слезать; а рядом стоят другие сосны, толстые, высокие, вот с такой можно бы оглядеть весь край, только, видимо, не суждено ему на них взобраться. Так и эта власть.

Разве не приходилось за эти два года выставлять в лесу дозоры из монахов или по нескольку дней прятаться по таким буеракам и пещерам, в которые даже волки боялись залезть? Не монастырь, а Сечь Запорожская! Сколько хлопот, сколько страха! Но вот теперь возвращается игумен. Отныне пускай он отвечает перед богом и митрополитом за жизнь монахов и за монастырское имущество.

Однако очень скоро пришлось Гавриле глубоко разочароваться. Через дза дня, когда они начали разговор о делах, Мелхиседек сообщил, что не задержится тут больше чем на полмесяца.

— Имею надобность снова выехать в Переяслав, мне, как правителю церквей правобережья, удобнее быть там, — говорил Мелхиседек, переставляя в шкафу пузыречки, какие-то ступки, пузатые банки. — Аптеку, если дорога позволит, тоже возьму.

Аптекарство было любимым делом игумена. Эта любовь доходила до чудачества. Он мог по нескольку часов простаивать над мраморным столиком: переливал какую-то жидкость в склянках, деревянной ложечкой что-то перемешивал в банках. Монахи в кельях удивлялись, а некоторые поговаривали, что игумен хочет сделать из воды и камня золото.

— Как же дальше быть? — теребя в руках реденькую рыжую бороду, заговорил Гаврило. — В яру Холодном стан гайдамацкий, ежедневно сюда ходят, как в свою хату, в госпитале два раненых гайдамака лежат. Из-за них и монахи страх перед господом теряют. Беглый монах, тот, которого при вас приняли, в мир похаживая, блудом занимался, в Ивкивцах его поймали на греховном. Я приказал на цепь посадить.

— Не страх божий теряют, а любовь к господу. Недобрые слухи о монастыре идут. Хоть бери да выкладывай монастырские стены еще выше, чтобы миряне не видели, какие дела за ними творятся. Доходы как?

— Не очень велики. Вот они все списаны.

Мелхиседек взял бумагу, поводил пальцем по столбикам цифр, просмотрел прибыли: свечные, карнавочные *, молебные, просфорные, церковные.

— Расходы на трех остальных листах, — показал Гаврило. — Три западные кельи приделали, ворота новые поставили, два колокола по шесть пудов купили, перекрыли крышу на церкви божьей матери. На нее еще много расходов будет. Совсем обветшала, царские врата надо заменить, некрасивые они, без

резьбы, и позолота совсем облезла; кресты непрестольные серебряные приобрести надо.

Мелхиседек отдал назад бумаги, собрал все со стола, положил в ящик, подвинул кресло и сел напротив.

— Слушай, брат мой, со вниманием. Говорил ты о гайдамаках. Знаю, как плохо, что у нас под боком живут разбойники. Однако, со всех сторон следует поразмыслить. Не лучше ли все-таки они, нежели униатские вооруженные хоругви? Лучше, наверное. Гайдамаки нам беды большой не приносят. В случае чего, можно их и проклятием застращать. Нам нужно прибрать их к рукам. — Мелхиседек откашлялся и, разглядывая свои запачканные чем-то синие пальцы, продолжал: — Еще одна мысль есть у меня. Нам надо иметь таких своих людей, чтобы оружие в руках держать умели. Из послушников, наемных работников. Я привез одного с собой. Весьма хорошо знает военное дело. Ему бы можно поручить собрать что-то наподобие хоругви оружной. Оружие закупить надо. И вообще об оружном спокойствии следует позаботиться. Я имею на мысли сделать вот что: созвать духовный совет. Монахов высших из монастырей окрестных, священников некоторых и панов тех, которые нам пожертвования делают.

Гаврило молча перебирал кисти на поясе. Мелхиседек подвинул чернильницу и вынул из ящика лист бумаги.

— Теперь давай обмозгуем, кого звать на совет.

Зализняк, чтобы сократить путь, прошел по занесенному снегом огороду вдоль горы и перелез через тын во двор. Мать как раз кормила на пороге кур. Увидев сына, она как-то испуганно сжалась и едва ответила на приветствие. Максим сразу заметил, что дома не все в порядке.

— Мамо, случилось что-то?

— Сынок, не могла я ничего поделать... Забрал Загнийный Орлика. — Мать всхлипнула. — На десять рублей мы ему должны были. Стал требовать, а где

же я их возьму? Он и забрал коня. Еще пятерку на стол бросил.

Максим глубоко, всей грудью, вдохнул воздух. Вспомнились доверчивые, похожие на спелые, очищенные каштаны глаза Орлика. Бывало, когда смотришь в них, кажется, будто конь все понимает. А может, кое-что и понимал. Как-то давно, лет пять тому назад, в зимнюю вьюгу Максим добирался из Сечи к зимовнику. Холод колючими иглами пронизывал тело, казалось, доставал до самого сердца. Чтобы хоть немного согреться, Максим слез с коня, опустил поводья, пошел следом за ним. Орлик сам выбирал дорогу. Наконец Максим немного согрелся, но понимал, что на лошадь садиться нельзя. А идти дальше тоже не мог. Хотелось упасть в снег, хоть на минуту смежить веки. Знал, что и этого делать не следует, но так хотелось хотя бы немножко передохнуть. Только минутку, лишь одно мгновение...

Вот и буерак, значит, Орлик правильно идет. Еще версты три — и зимовник. Под кривой обгорелой вербой Максим остановился. Вытащил бутылку. В ней еще оставалось глотка два горилки. Когда уже второй глоток был во рту, Максим вспомнил о лошади. Вылил горилку изо рта на рукавицу и протер лошади ноздри, заснеженную грудь. «Сейчас тронемся, — думал он. — Не надо было выезжать из Сечи. Хлопцы, наверное, сидят у огня. Хрен рассказывает разные случаи. А кухарь уже и еду подает. Только почему он так смешно одет?..» Вдруг Максим открыл глаза от какого-то толчка. Орлик наклонил голову и толкал его мордой в плечо...

Из хаты выбежала Оля, а с нею какой-то незнакомый Максиму белоголовый мальчик.

— Дядя пришел. А это Петрик, я вам говорила про него. И дидусь у нас.

Максим погладил детей по белокурым головкам и взял их за плечи.

— Бегом в хату, еще простынете. Мама, я скоро вернусь. Вы не убивайтесь так сильно.

Зализняк вышел на улицу.

«Не убивайтесь». А жгучая горечь схватила за сердце. Казалось, будто потерял близкого.

«Куда идти? В управу? Там и атаман городовой. Может, он бы помог, когда-то атаман был неплохим человеком».

Из управы, громко разговаривая, выходили несколько человек. Они поздоровались с Максимом и, не задерживаясь, пошли дальше.

— С кем это он так? — спросил один из них.

— Известно, с кем, — ответил другой. — С крамарем и монопольщиком. Каждый божий день хлещут.

— Отчего им не пить, когда их доля спит, — вставил еще кто-то.

«Не про атамана ли городового?» — подумал Зализняк. Он знал, что атаман чуть ли не каждый день находит утешение в горилке.

Год тому назад утонул в Тясмине его единственный сын. Больная атаманова жена после такого несчастья жила недолго, ее он схоронил через несколько недель после смерти сына. Городовой атаман, когда-то заботливый хозяин, забросил хозяйство и стал пить. Поили горилкой атамана дуки, а за его спиной вершили свои дела.

Когда Максим зашел в управу, городовой атаман сидел за столом и, подперев голову руками, монотонно тянул:

Давив, давив — не тече,
Коло серця пече.

— Семен Гнатович, — коснулся плеча атамана Максим.

Тот посмотрел мутными, непонимающими глазами и затянул снова:

Давив, давив — не тече...

— Семен! — Из соседних дверей высунулась голова Загнийного. — Ты не...

Увидев Максима, Загнийный мигом исчез. Зализняк толкнул двери, пошел вслед за ним. При его появлении писарь, который, наклонившись, рылся в столе, выпрямился.

— Чего, по какому делу? Я уже сейчас ухожу, — забормотал он и начал складывать бумаги.

— Знаешь хорошо, писарь, по какому я делу пришел.

— Я по закону. С сотским приходил. Коня все равно уже нет у меня. Не подходи! — настороженно крикнул Загнийный, шаря глазами в ящике.

Вдруг Максим молниеносно прыгнул вперед, толкнул стол так, что он опрокинулся, и схватил писаря за грудь.

— За коня хотел пулей отплатить? — Он кивнул головой на перевернутый стол, из которого вместе с бумагами выпал и валялся около ножки пистолет. — Крыса беззубая. — Он с разгона ударил писаря головой об стену. — Цыц! Посмей только пикнуть!

Но Загнийный и так не кричал. В его хмельных глазах застыл ужас, рот был широко открыт, и в нем что-то клокотало, словно в заслюнявленной трубке. Перед ним был тот Максим, которого боялись трогать не только они, сынки медведовских богатеев, но и гайдуки с панского фольварка. Навсегда запомнил писарь, как когда-то давно Максим, будучи моложе его лет на десять, бил Загнийного посреди улицы за то, что тот сказал, кто выпустил из попова пруда в речку рыбу.

— Еще пять рублей дам, дай вытащить из кармана, — наконец пролепетал Загнийный.

— Конь где? — еще сильнее прижал его Максим.

— Нету сейчас, у Ивана, в городе.

Максим ударил писаря в подбородок дважды подряд, встряхнул его в руках так, что у того голова дернулась, как привязанная, и бросил его на стул. Стул не выдержал, и писарь полетел на пол. Максим хотел уже идти, но его взгляд упал на пистолет. Чтобы Загнийный не выстрелил в спину, он поднял с пола пистолет и, согнув пополам, швырнул его в писаря, а сам быстро пошел к двери. В соседней комнате городовой атаман так же протяжно гудел одни и те же слова:

Давив, давив — не тече...
Коло серця пече...

Дома Максим кинул на сундук шапку и, не раздеваясь, сел на скамью. Подошла Оля, склонилась к нему на колени, глянув большими серыми глазами, и глубоко вздохнула. Видя, как девочка изо всех сил старается выразить ему свое сочувствие, Максим не мог не улыбнуться.

— Чего ты, Оля, вздыхаешь, будто последнее испекла?

— Дядько такой опечаленный. И с дидусем не здоровается.

Только теперь Зализняк увидел в углу на лежанке слепого деда. Двойной сизоватый шрам на лбу сразу напомнил ему, где он его встречал — на Запорожье.

— Доброго здоровья, диду Сумный, — поднялся со скамьи Максим. — Какими судьбами это вы сюда пожаловали?

— Здорово, здорово, сынок. Я везде брожу. Ты, знать, хозяином этой хаты будешь?

— Бабушка Устя — мама дяди Максима. А я его племянница, — пояснила Оля. — Дедушка, правду Петрик говорит, что у вас шрам от сабли турецкой? Вы гетманшу из ясыра выручали?

— Правда, внученька.

— Я тебе, Оля, петушка принес, — вспомнил вдруг Максим.

Он хотел его достать, но, взглянув на руки, которыми только что бил писаря по лицу, отвернул полу кожуха и подставил карман. — Возьми, разделите его с Петриком.

Управившись с петушком, Оля и Петрик еще немного повертелись в хате, а потом оделись и побежали кататься на санках. Кобзарь слез с лежанки и пересел на скамью.

— Мать говорила, ты к писарю пошел. Был у него?

— Был.

— И что же?

— Ничего. Раза два дал ему в морду.

Максим снял тулуп.

— О какой гетманше вы говорили?

— Это про шрам? Какая там гетманша! Это Петрик всем говорит, будто я саблей раненный. Сам-то он знает, от чего увечье. Петрик — умный хлопчик. Как бы это сказать? — дед Сумный усмехнулся. — Цену мне набивает. В самом же деле пан меня с хоров спустил. В панских музыкантах был я, на скрипке играл. Уперся однажды пьяный пан, чтобы мы экосез какой-то играли. А из нас никто не знал, что это такое...

— Дядя, помогите нам Бушуя запрячь, — вбежала в хату Оля.

— Не боишься, уже забыла, как он тебя на конюшню завез? Ну идем, ладно.

Огромный белолобый Бушуй стоял за кучей навоза и махал хвостом. Пес был не их, а дядьки Карого, соседа.

— Бушуй, иди сюда, — позвал Максим.

Хитрый пес еще льстивее замахал хвостом, однако с места не сдвинулся.

— Знаете, что он хочет сказать? — спросил Максим Олю и Петрика. — «Ищите кого поглупее». Он уже санки приметил. Давайте хоть я вас прокачу.

Дети радостно повалились на салазки. Зализняк сначала провез их по садику, потом в конец огорода, откуда уже начинался спуск к Тясмину. Разогнал санки и сам вскочил на них.

Ударил в лицо ветер, обдал снежной пылью. Уже почти на берегу санки наскочили на бугорок и опрокинулись. Перекатываясь друг через друга, Максим, Оля и Петрик попадали в снег. Дети еще не успели опомниться, как Максим схватил санки и стал подниматься в гору. Петрик и Оля бросились следом. Максим дал догнать себя уже на горе. Он еще раз провез детей по саду, подвез ко двору и опрокинул в сугроб. Петрик и Оля гнались за ним до самых дверей, целясь в его широкую спину снежками. Максим обмел в сенях ноги, но в хату заходить не спешил. Прислонился к дверному косяку, задумался... Сегодня он должен был снова возвращаться в монастырь.

«Уйти, не повидавшись с Оксаной? А зайдешь — у них может кто-нибудь быть».

Однако Максим чувствовал, что не пойти не сможет. Так и не решив окончательно, как быть, он, не заходя в хату, вышел на улицу. Пошел не берегом, а через гору, чтобы пройти мимо Оксаниного двора, будто возвращаясь откуда-то. Чем дальше, тем больше замедлял шаги Максим. Хотя было еще рано, в Оксаниной хате уже светилось. Максим на мгновение остановился около ворот.

«А если там кто-нибудь чужой? Что я скажу, зачем пришел...»

Максим пошел тропинкой к берегу. Около колодца остановился, достал обледеневшим, на длинной жерди корцем воды, выпил несколько глотков.

— Доброго здоровья, пивши.

Максим сразу узнал голос Оксаны.

— Чернявую любивши.

Оксана сняла с руки ведро, поставила за колодцем.

— Наверное, не очень любивши. Две недели не виделись, а ему безразлично. Хорошо, что я в окно увидела. Пойдем к нам, тут неловко стоять. Будто нам по пятнадцать лет.

— У вас есть кто-нибудь?

— Дядина * с хлопцем. А ты чего испугался?

— Не пойду я. Проводи меня немного.

Когда дошли до верб, обступивших стежку, Максим круто повернулся. Оксана от неожиданности натолкнулась на него, ступила в снег, но Максим поднял ее под руки и, словно ребенка, поставил на стежку. Она прижалась к нему, спрятала свою руку в его рукаве.

— Какие у тебя пальцы холодные, давай и другую, — проговорил Максим. — Снова нам приходится любовь красть.

— Разве красть, Максимочку? Она наша. Правда? Ты соскучился обо мне, ну, скажи же!

Максим молчал.

— Не хочешь сказать. Ты всегда так.—Оксана вы-

тащила руки, обняла за шею. — Всегда какой-то нахмуренный, будто на меня сердишься.

— За что же мне на тебя сердиться?

— А я не знаю. У тебя никогда для меня нет ласкового слова. Или не любишь?

Максим так сжал Оксану, что она невольно крикнула:

— Ой, задушишь!

— Люблю, разве не видишь, — говорил он, продолжая крепко, хотя и несколько слабее, сжимать Оксану, целуя ее в полные губы.

— Вижу, вижу, пусти только. Силы накопил... Монах!

Оба засмеялись.

— Ты когда снова придешь?

— Не знаю, может, через неделю.

— Приходи прямо домой. А сейчас иди, вон кто-то с горы спускается, идет тропинкой.

Оксана поцеловала Максима и побежала к колодцу.

Дома у Зализняка была полная хата людей. На лежанке, с кобзой в руках, сидел дед Сумный. При появлении Максима он настороженно смолк, на скрип двери повел слепыми глазами.

— Пой, это свои, — сказал дед Мусий.

Кобзарь почему-то вздохнул и расслабленной рукой ударил по струнам. Максим, чтобы не мешать, разделся около двери и, повесив кожух под посудной полкой, присел на пороге. Грустно звучала кобза, печально пел кобзарь. В песне говорилось, как варил казак пиво, и кто только не приходил то пиво пить. Был и турок, был и татарин, заходил шляхтич. Все они лежат мертвые с тяжкого похмелья. А казацкая сабля покрылась от крови ржавчиной, висит она в кладовой, некому вынуть ее из ножен и вычистить закаленную сталь.

Затихла песня. Некоторое время все сидели молча.

— Дайте кто-нибудь табаку. Чего-то под сердцем засосало, — положил рядом с собой кобзу Сумный.

Дед Мусий подал ему свою люльку и оглянулся на Максима.

— То в песне поется, а как ты, матери его ковинька, вытянешь ее из ножен? Не успеешь за рукоять ухватиться, как тебе руку по самое плечо отсекут.

— Одному отсекут, другой подхватит, — бросил от окна молодой парубок. — Давно пора, допекло людей. Подождите, развернется весной лист, пойдем все на свист.

Карый достал кисет, развязал его зубами.

— Кнутом обуха не перешибешь, лбом крепостную стену не развалишь. Да еще когда на стенах пушки стоят. Не успеешь в камору за саблей зайти, как тебе руки скрутят.

— Времена настали, — вздохнул дед Мусий. — Куда там заходить! Теперь вон как: залезь в погреб да что-нибудь подумай — завтра гайдуки за тобой придут.

— А вы, диду, так смело в хате говорите! — улыбнувшись, бросил Зализняк.

Дед Мусий испуганно огляделся, как будто в самом деле кто-то подслушивает их.

— Разве я ж что? Говорю то, что и все. — Потом еще раз взглянул на Максима и стукнул кулаком по столу. — Мне, матери его ковинька, уже все равно. Как говорят, смерть так смерть, лишь бы в живых остаться. Только доколе ж это будет, скажи, Максим, еще половины зимы не прошло, а люди в хлеб макуху * мешают. Что делать дальше? Не знаешь? И ты не знаешь? — обернулся он к кобзарю. — Хоть и поешь всякие песни, а не знаешь. Когда-то славилась наша Медведовка казаками на Сечи. А теперь нищими славится. Да еще панами. О, паны у нас знатные!

Теперь заговорили все вместе. Спорили между собой Карый и дед Мусий, около окна, что-то доказывая, размахивал руками молодой парубок. Вперив невидящие глаза в стену, кобзарь медленно перебирал струны. Тихо лилась мелодия; время от времени он покачивал головой, шевелил губами. Но вот он ударил по струнам так, что все от неожиданности замолкли, и, повернув лицо к свету, запел во весь голос:

Славна наша Медведівка
Всіма сторонами,
Та не можна у ній жити
За тими панами.

Замер посреди хаты с поднятой рукой дед Мусий, судорожно мял в руках кисет Карый. Максим поднялся с порога, напряженно вслушиваясь в песню, она волновала и тревожила знакомой правдой, западала в душу, и он вдруг почувствовал, что уже никогда не забудет ее, она навсегда врезалась в его сердце.

* * *

Совет подходил к концу. Много говорили о глумлении и издевательствах иезуитов, о притеснениях ими православных, об угрозе конфедерации, созданной униатами в городе Баре. Не признавали конфедераты указ сейма об управлении прав униатов и диссидентов, глумились над универсалами * короля Станислава Понятовского, над его политикой сближения с Россией. Огнем и мечом поклялись они искоренить на правобережье православную веру. Во все стороны рассыпались по Украине конфедераты, набирая жолнеров в свои гарнизоны. Шляхта волынская выставила восемьсот человек. Две тысячи вооруженных шляхтичей ждали сигнала в Баре. Вскоре конфедераты насчитывали в своих отрядах уже около двадцати тысяч шляхтичей, вооруженных первоклассным оружием, исполненных злобы, благословленных папой. Встревоженный действиями конфедератов, бессильный что-либо сделать сам, сенатус консилиум * решил прибегнуть к помощи русских войск. Из Варшавы в Москву поскакали гонцы. Военная коллегия, подкрепив армию генерала Кречетникова донскими казаками и несколькими карабинерными полками, предписала генералу начать военные действия. Конфедераты тоже усилили свою деятельность. Все дальше и дальше расходились их отряды, захватывали все новые волости. Напуганные залпами русской полевой артиллерии, бессильные перед регулярными воинскими частями, ошалевшие

конфедераты вымещали свою злобу на беззащитных крестьянах, на православном духовенстве.

Мало кто из присутствующих на раде догадывался, для чего их позвали, чего от них хочет Мелхиседек. Сам наместник настоятеля монастыря Гаврило был в душе твердо убежден, что правитель церквей созвал их для того, чтобы создать видимость какой-то деятельности и обеспечить себе спокойное место в Переяславе. Панов на раде было четверо. Они сидели в стороне и перешептывались о том, что если тут дело будет клониться к чему-либо опасному, то им ни во что вмешиваться не следует. Наконец заговорил Мелхиседек. Он сидел в углу возле камина, и его лицо почти совсем скрывалось в тени.

— Возлюбленная братия, — начал он. — Я вам говорил в самом начале, что мы должны сегодня решить весьма значительное дело. Нам непременно надо знать, как быть дальше. Ведь только мы можем спасти веру, только мы можем защитить православие. — Игумен обвел взглядом присутствующих и, положив руку на раскрытое евангелие, продолжал: — Тут говорилось многое. Говорили, что от комендантов пограничных крепостей должны требовать свободного въезда на тот берег, говорили, что следует вписать в городские книги протест... Все это истина. Однако мы этим не спасем веру. Меч, только он один может пресечь путь супостату.

Паны, пораженные словами игумена, переглянулись. Мелхиседек поднялся и, выступив на свет, еще раз обведя всех долгим, пронизывающим взглядом, заговорил горячо, отчеканивая каждое слово:

— Оружие закупить надлежит... Тайно создать вооруженные отряды... Чтобы по всем монастырям были такие и прежде всего в Мотроновском... На все это нужны не малые деньги. Людей смелых найти нужно, таких, как атаман гайдамацкой ватаги из Холодного яра и есаул; я еще одного такого с собою привез, они должны собрать первый отряд. Все это будет началом богоугодного похода за веру.

Игумен повернулся к столику, отодвинул полу-

устав и, поправив наброшенную на плечи шубу, продолжал:

— Сейчас на трапезу, а вечером все соберемся. И пусть каждый поразмыслит, что он может сделать для общего дела.

Максим с двумя послушниками выгружали из саней под амбар ясеневые колоды. Колоды были сырые, и послушники через силу поднимали вдвоем один конец.

— Тебя тоже выгнали в лес? Что легче — пятки Элпидифору чесать или колоды носить? — проходя мимо, обратился к одному из монахов дед Корней.

Послушник не ответил, еще ниже склонил голову.

— Какие пятки? — спросил Максим.

Другой монах оглянулся и прошептал:

— Такие, какие у людей бывают. Ему, — показал он глазами на своего напарника, — послушенство выпало у иеромонаха — не приведи господь! Такому, как Элпидифор, прислуживать — лучше сразу в прорубь броситься... Да что это такое?

Монах дергал зажатую колодой рукавицу, пытаясь освободить ее. Максим отстранил монаха и, приподняв колоду топором, вынул рукавицу, а тот, надев ее, продолжал:

— За день выспится, вылежится, а ночью начинает привередничать. То вина ему подай, то за яблоками квашеными полезай в погреб, то садись сказки рассказывать. А на минуту вздремнул — нагайкой. И пятки чесать тоже заставляет.

— Я бы их с ногами повыдергивал, — зло отозвался Зализняк.

— Легко сказать, — вздохнул монах и приподнял дрюком последнюю колоду, — а куда денешься?

Выгрузив дрова, Максим хотел снова ехать в лес, но пришел посыльный монах и сказал, чтобы Зализняк шел к игумену.

Мелхиседек, как всегда, сидел в своей келье возле камина. Последнее время его все знобило, и он не разлучался с теплой медвежьей шубой.

— Как живется на новом месте, никто не обижает? — беря в руки полено (Мелхиседек любил топить сам), спросил он Максима.

— А кто меня может обидеть?

Мелхиседек пошевелил в камине кочергой, немного отстранился от огня и заговорил медленно, словно взвешивая свои слова:

— Знаю, не настолько уж тебе хорошо живется. Трудно в мире найти спокойствие душевное. Нужда и голод людей угнетают, толкают их на смертельные поступки. Послушай мои душеспасительные наставления — прими послушничество. В том будет твое спасение. Я вижу: твою душу терзает какое-то беспокойство. Что тебя держит в мире? Любовь? Суетна она и пагубна для души. Одна есть праведная любовь — любовь к богу.

— Не только мирская любовь держит меня там, — поглядывая на огонь, ответил Зализняк. — Не по мне монастырские стены. Вы говорили — за ними правда.

— А разве нет? Послушай меня. Я прошел все послушенство, начиная с трапезной. А сейчас, видишь, достиг сана игуменского. Только здесь бог посылает полное спокойствие. Ты бы мог начать прямо с послушничества.

Зализняк покачал головой.

— Не хочу я никакого. Степь, ваше преподобие, мне снится, степь и воля.

— Я от тебя ее не отбираю. Воля и здесь есть... Подумай, поразмысли. Служение богу — наивысшее служение. А наипаче сейчас, когда настало время защищать веру, защищать правду. Вера и правда только здесь, за этими стенами.

Зализняк оторвал взгляд от пламени, повернул голову к Мелхиседеку. Игумен, в свою очередь, посмотрел на него. На гладенькой, зеркальной поверхности одного из изразцов качнулся огонь и, вспыхнув, заиграл странным румянцем на обветренной, мужественной щеке Максима.

— Недолго я в монастыре, а вижу: нет и за этими стенами правды. Верно говорят: где большие окна — много света, а правды — нету. Думается мне, что не

тут она ищет защиты. Вы говорили про защиту веры. Это справедливо. Топчут ее униаты, глумятся над православным человеком. Кто же на защиту ее встанет? Вы за панами монахов посылаете, просите их. Деньги от них принимаете. А о том забыли, что паны ради жизни сытой отрекаются от креста, первыми унию принимают. У мужика крест только с душой можно отнять, иначе он не отречется от него. Кто же защитит крепостного от кнута шляхетского, от голодной смерти спасет?.. Про правду я только в сказках слышал, а видеть ее еще не видел. Но увижу!

— Прими послушничество — увидишь.

— Для чего принимать? Пятки Элпидифору чесать некому? Или за водкой некого на базар посылать?

— Замолчи! — гневно стукнул о пол палицей Мелхиседек. — Иди прочь с моих глаз!

Зализняк взял со стула шапку и пошел из кельи. В дверях на мгновение остановился, повернул голову:

— Совсем идти из монастыря?

Ответа не было. Надел шапку и ступил через порог. Уже за дверью настиг его голос игумена:

— Как знаешь.

Максим прошел несколько шагов по протоптанной к церкви дорожке и остановился у дикой груши. На дворе трещал мороз, но Максиму казалось, что удушье сжимает грудь. Он расстегнул кожух, набрал с ветки пригоршню сухого снега.

«Может, не нужно было так говорить игумену, — подумал он. — Нет, надо, только немного не так. Игумен человек справедливый, но и он, поди, не все сказывает».

Зализняк, задумавшись, брал с веток хлопья снега и, сжимая их в комочки, бросал в рот.

Вот уже сколько времени прошло, как вернулся он из степей. Думал найти покой, но так и не нашел его. Напротив, чем дальше, тем теснее роились в голове тяжкие думы. Видел нищенскую жизнь земляков своих, гневом и жалостью переполнялось сердце. А тут еще слухи про истязания униатами людей

православных. И вера и барщина — все перепуталось. Куда же в самом деле податься людям, как разобраться во всем? Кто им искренне хочет помочь? Игумен? У него есть какие-то замыслы. Может, и правда, Мелхиседек хочет помочь бедным людям? Но как, чем он думает помочь, почему не скажет? И почему в самом монастыре так глумятся над наймитами и послушниками? Где же та сила, которая встала бы на пути шляхте и униатам? Максим не находил ответа. Лучше ни о чем не думать. Он вольный человек, казак. Но почему в памяти всплыли слова Хрена: «Нынче мужик волен только на том свете». Нет, он не мог не думать, не болеть душой.

Снег таял в руке, стекал за рукав. Зализняк почувствовал, как мороз больно ущипнул его за пальцы. Он растер в ладонях остатки снега и, спрятав покрасневшие руки в карманы кожуха, пошел к сараю, куда уже снова подъезжали послушники с дровами.

Глава девятая

В ХОЛОДНОМ ЯРУ

— Снова у тебя лишние карты остались, — хитро прищурил глаза дед Студораки. — Не везет тебе, Роман, в карты.

— Кому в карты не везет... — улыбнулась Галя.

Роман кинул быстрый взгляд на девушку, густо покраснев, стал собирать карты. Ему в самом деле не везло сегодня. И не только сегодня. Всегда, когда приходилось играть с дедом Студораки и Галей, Роман чаще всего оставался в дураках. Эту девушку прямо невозможно было обыграть; она словно знала, с какими картами остается Роман, и часто, наверное, нарочно доигрывала с ним один на один. И, конечно, обыгрывала его. Роман злился, давал себе слово впредь внимательно следить за картами, но снова сдавать приходилось ему. На этот раз он бы, может, и выиграл, но не хотелось оставлять в дураках деда, хотелось непременно обыграть Галю.

— Еще раз сыграем? — предложил Роман.

— Надоело уже, да мне и идти пора, — пряча в карман карты, поднялся Студораки.

Галя накинула на плечи платок и пошла к двери вслед за дедом.

— Галя! Я хотел тебе что-то сказать, — остановил ее Роман.

— О картах?

— Ты вечером, как управишься, выйдешь в сад, туда, к груше?

Галя повела плечами.

— Не знаю, может, и выйду.

— Я буду ждать! — крикнул Роман ей вдогонку. «Нет, сегодня я ей все скажу, что будет, то и будет», — решил он.

Он минуту постоял и, вспомнив что-то, вынул спрятанный под скамью мешок.

На дворе уже начинало смеркаться. Роман вышел за сарай и за скирдами свернул к флигелю, который стоял за прудом далеко от панского дома. В этом флигеле жил управляющий. Зная, что он поехал в Чигирин и возвратится только ночью, Роман смело перелез через низенький штакетник и направился за флигель. Выглянул из-за угла — около крыльца никого. Пес спал в будке, цепь змеей извивалась на снегу от дома до угла флигеля. Этого пса боялась вся дворня, особенно ночью, когда управляющий спускал его с цепи. Делал он это не столько для того, чтобы пес пробегался, сколько для того, чтобы дворня не ходила по усадьбе.

Роману уже пришлось однажды влезть на дерево и довольно долго просидеть там, так как пес сидел внизу и никуда не отходил.

Держа в правой руке жердь, которой дворовые казаки выдергивали из стога сено, Роман начал осторожно подкрадываться к будке. Мягкий, пушистый снег не скрипел под сапогами. Около будки парубок вдруг расправил мешок, наставил его над отверстием и ударил сапогом сбоку по будке. Пес от неожиданности как-то странно фыркнул и, загремев цепью,

с разгона вскочил в мешок, так что Роман едва не выпустил его из рук.

— Попался, чтоб ты сдох! — Роман сгреб руками гузырь *. — Будешь теперь на людей бросаться?

Ногой он ударил по мешку. Перепуганный пес только тихо тявкнул. Роман толкнул еще раз, потом еще. Торопясь, он бил то носком сапога, то жердью. Пес поначалу ворчал, потом стал испуганно скулить. Наконец Роман поднял мешок и ударил им об землю. Потом схватил руками хвост, торчавший из мешка, вытащил пса и, раскачав его, отпустил руки. Пес метнулся в сторону, но добежал на длину цепи и опрокинулся на спину; вскочив на ноги, он изо всех сил помчался к будке. Не попал в дырку и завертелся на месте.

Роман тем временем уже бежал к скирдам. Запыхавшийся, вытирая руки об снег, он пробежал на псарню, где дед Студораки закрывал на ночь дверь.

— Чего бежишь, словно дурень с горы? — спросил он Романа.

Тот, смеясь, показал на мешок, рассказал деду, где был.

— Смотри, Роман, узнает кто-нибудь — влетит тебе.

— Хоть и увидел бы кто, все равно не сказал бы. Разве «мосци-паны». Так они сейчас спят все, — говорил Роман, шагая вслед за псарем.

«Мосци-панами» называли при дворе с десяток шляхтичей, которые служили в надворной охране.

Не имея ничего за душой, кроме заносчивости и шляхетского звания, бродили такие шляхтичи от имения к имению, в поисках легкого хлеба. Не мог же шляхтич стать где-нибудь на работу, урожденному шляхтичу стыдно было работать. Если бы он стал работать, то утерял бы все шляхетские прерогативы. Держались они отдельно от казаков; платили им больше, нежели другим надворным; им же поручал пан самые ответственные дела.

— Ох, и проказник ты! — закрывая последнюю дверь, сказал дед. — Как ты не побоялся к будке лезть?

— Мне это не в первый раз, — засмеялся Роман. — Я, диду, может, когда-то волка ловил.

— Как волка?

Они остановились за псарней. Роман прислонился к стене. Студораки остался стоять напротив, держа под рукой большой деревянный ключ.

— Ей-ей! Это в Ивкивцах было. Идем мы как-то с посиделок с одним ивковским хлопцем, вдруг слышим — в чьей-то овчарне овцы блеют. А надо сказать, шли мы пьяные, как чопы. Этот мой браток к одной дивчине стежку топтал. Хлопцы его бить собирались, так я ему, как бы сказать, на подмогу ходил. Бутылка мокрухи в кармане. Девчата в тот вечер не сошлись, так мы ее на улице под амбаром и выпили. И вот слышим — овцы блеют. Видим — в тыну дыра. Волк там. Онысько мне и говорит: «Я у дыры встану, а ты иди пошумишь со двора». Не знаю, о чем тогда думали, потому что когда я пошел, то и он стал соображать, что он волку сделает, когда тот выскочит. И смекнул. Снял штаны и над дыркой наставил. Когда я тюкнул со двора, волк и вскочил в штаны. Надо бы бежать, а Онысько штаны держит. Саженей двадцать тянул его волк за собой, и тогда Онысько штаны выпустил. Я прибежал, лежит он ни жив ни мертв. Хмелю — как не бывало. И не разговаривает. Дня три после того ничего не говорил. А волк тоже недалеко забежал — сдох с перепугу.

— Ну и выдумщик ты, Роман, — махнул рукой дед Студораки. — А брешешь складно. Если б не знал тебя, поверил бы.

— И вовсе не вру. Вы всегда мне не верили.

И они пошли по дороге. Студораки вертел в руках ключ, словно пытался что-то разглядеть на нем. Потом положил Роману руку на плечо и заговорил каким-то дребезжащим голосом.

— Хотел я с тобой, Роман, об одном деле поговорить. Оно будто бы и не касается меня. — Дед снял с Романовых плеч руку и снова взялся за ключ. — Про Галю хочу тебе сказать. Она хорошая девушка, сирота, крепостная. А ты казак вольный. Грех было бы ее обидеть. Я не знаю, что там между вами.

Она бедовая дивчина, однако и ты не промах. Знаешь, сколько уже девчат по приказу управляющего с рогаткой на шее в дегте и перьях по селу водили.

Роман почувствовал, как его бросало то в холод, то в жар. Было и приятно, что все думают, будто Галя близка ему, и вместе с тем оскорбительно, стыдно.

— Что вы, диду? Как могли такое подумать? Галя... правда, она нравится мне, не очень, а так, немного.

— Я пока еще ничего и не думаю. Экономка намекала. Галя же будто дочка мне. Одна она меня, старого, жалеет... Ну, я пошел.

Студораки склонил голову и широко зашагал через двор. Роман поглядел ему вслед и тоже пошел в хату к своей сотне.

Долго ждал он в этот вечер под грушей Галю. Одно за другим освещались в панском доме окна, во дворе стихал гомон.

«Не придет», — думал Роман, расхаживая вокруг груши. Вытоптанный на снегу круг становился все больше и больше. Роман напряженно вглядывался в темноту. Остановился и, прислонившись спиной к стволу, застыл. «Подожди же, будешь знать, как смеяться», — грыз он рукавицу.

Но в тот же миг за черешнями мелькнула фигура.

— Ты уже тут, а я думала, что не пришел.

Роман понял: удивление ее деланное. Но почему-то сказать об этом не мог.

— Давно жду. Я больше не могу так и сегодня все скажу. — Роман отломил от груши кусок коры, стал ломать его на меньшие кусочки. — Помнишь, как мы стояли в четверг около погреба, и я сказал, что это я не просто ради шутки снял кольцо с твоей руки.

— Откуда же мне знать, для чего.

— Все, что я сказал тогда, правда.

Роман чувствовал — высказать «все прямо», как думал, он снова не может, и все же продолжал говорить. Он говорил путано, далекими намеками, а Галя

пожимала плечами, делая вид, будто не понимает. Подобные разговоры уже велись между ними не раз. Больше всего возмущало Романа то, что Галя держала себя с ним так же, как и с другими хлопцами. Он тоже старался показать, что равнодушен, заставлял себя при Гале шутить с другими девчатами, но это плохо выходило, а когда оставался один, все больше думал о Гале. То представлялось ему, как, рискуя жизнью, он спасает ее от опасности, то будто бы умирал от ран, и Галя, упав ему на грудь, горько плакала. А иногда приходили мысли проще, ближе: ему удалось раздобыть денег, и он выкупил ее у пана, и вот он ведет ее в родную хату и говорит родителям: «Вот моя жена».

— Дед Студораки сказки рассказывает в застольной, — не дослушав до конца путаную речь Романа, отозвалась Галя.

— Значит, тебе интереснее слушать дедовы сказки?

— Нежели твои, — со смехом закончила Галя.

— Тогда... тогда нам не о чем говорить. Знаю, почему ты не хочешь меня слушать. Ты вообще такая.

— Какая?

— А такая, — Роман неуверенно щелкнул пальцами.

— Тогда мне тоже не о чем говорить с тобой.

— И хорошо, я пойду.

Галя ничего не сказала. Только наклонила голову, глубоко надвинула на глаза платок.

— Я пошел...

Роман повернулся и медленно сделал шаг от груши, второй, третий. Он ждал, что Галя позовет, остановит его. Однако она не отзывалась. Роман шел, и ему казалось, вот-вот что-то оборвется в груди. Превозмогая это ощущение и заставляя себя даже не оглянуться, он ускорил шаг. Около забора снова замедлил шаги. «Вернуться? — И тут же подумал: — Для чего, чтобы снова смеялась? Она рада, что я ушел». Он перескочил через забор и почти побежал через двор.

...Всю ночь на псарне выли собаки. Где-то побли-

зости ходил волк. Разгневанный тем, что ему мешали спать, пан велел утром отвести на конюшню деда Студораки. Роман вместе с другими казаками в это время резал в амбаре овсяную солому на сечку. Когда ему сказали, что деда Студораки повели на конюшню, он кинул наземь ржавую косу и бросился туда. Один гайдук вытаскивал скамью, двое других держали старого псаря, хотя он и так не упирался. Сбоку, с коротенькой трубкой в зубах, стоял надутый есаул.

— Чего прешь сюда! — набросился он на Романа.

— За что деда?.. Чем он провинился?

— Роман, уходи отсюда, — тихо промолвил Студораки. Голос его срывался, в глазах дрожали слезы. Старик не боялся канчуков, его душила обида.

— Подождите, я к пану пойду, — обратился Роман к есаулу.

— Пошел бы ты ко всем чертям! — показывая выщербленные зубы, выругался есаул. — Станет пан тебя слушать, а я ждать. Хочешь, так и тебе еще всыплем, за компанию.

— Мне... мне... — Роман больше не находил слов.

— Ну, тебе же, иди прочь! — толкнул его есаул.

— Ах ты ж, пес щербатый! — схватив стоявшую возле двери толстую дубовую мешалку, замахнулся Роман.

Есаул успел отклониться, и удар пришелся по трубке. Она хрустнула в есауловых зубах, отлетела в сторону и упала на кучу мешков с просяной мякиной.

Испуганно вскрикнув, есаул, пригнувшись, бросился к двери. Мешалка догнала его уже в дверях, зацепила по ногам, и есаул вывалился из конюшни в заслеженный ногами снег. Гайдуки вспугнутым табунком отступили к дверям, один выхватил из ножен саблю. Роман уже не помнил себя: схватив в углу тройные вилы, он двинулся на гайдуков, выкрикивая слова угрозы. Гайдуки, тесня спинами друг друга, пятясь, выскочили из конюшни и кинулись вслед за есаулом, который уже очутился на противоположной стороне двора.

— Роман, остановись, что ты делаешь? — дрожащим голосом заговорил дед Студораки.

Роман еще полностью не осознал всего, что произошло. Он посмотрел на вилы, откинул их в сторону и, подняв потерянную в горячке шапку, стал зачем-то вытряхивать ее.

— Пропал ты, беги быстрее. Садом в лес, там не догонят.

Роман опомнился. Он понял — ему не простят этого. Того, кто избил шляхтича, по законам Речи Посполитой карали «строго горлом» *. Роман огляделся вокруг, надел шапку. Он обнял деда, который толкал его в плечо, торопя к бегству.

— Увидите Галю...

— Все скажу.

— Да нет, ей до меня и дела нет.

— Горе мне, беги! Любит она тебя, я знаю.

— За образами платок, в Чигирине купил для нее, возьмите и отдайте, — кинул Роман уже на бегу.

Утром из Холодного яра в монастырь приехали на двух санях гайдамаки. Между ними Максим увидел и Миколу. После смерти Орыси он встретился ему впервые. Неразговорчивый от природы, Микола стал еще молчаливее. Он равнодушно пожал Максимову руку, будто они только вчера разошлись, и молча потянулся к кисету.

— Ты не курил раньше, — сказал Зализняк.

— Научили, — кивнул Микола на гайдамаков, которые выносили из амбара мешки. Все они походили больше на обыкновенных крестьян, чем на страшных «разбойников», о которых распускали небылицы окрестные паны. Одетые в свиты и кожухи, без оружия, они деловито, по-хозяйски нагрузили одни сани, подобрали солому и подогнали вторые.

— Что-то я тебя никогда не видел, другие часто бывают в монастыре, — больше, чтобы нарушить молчание, спросил Зализняк. — Что вы сейчас делаете?

— Галушки варим и едим. А атаманы еще и горилку пьют.

— Подожди, Микола, весна не за горами, найдется дело.

К ним подошли еще несколько гайдамаков.

Высокий рыжий гайдамак махнул рукой.

— Дело? Возы на дорогах останавливать да перетряхивать?

Мимо них от колодца гнал волов дед Корней. Волы ступали медленно, осторожно, боясь поскользнуться на ледяной дорожке. Поравнявшись с гайдамаками, Корней махнул на волов налыгачем *, направляя их к воловне, и остановился около группы гайдамаков.

— Останавливайте, хлопцы. Только не шляхетские, те страшно, с теми всегда гарнизон скачет. Мужицкие, что с базара идут. — Воловник плюнул вперед себя и растер плевок ногой. — Вот я и говорю, шляхтичей страшно, конфедератов еще больше. С теми сохрани бог связываться. Вон под Вильшаной целое войско конфедератов стоит. А вчера сын мой из села приезжал. Титаря одного в Вильшане замучили конфедераты, набрехали, будто из святой чаши горилку пил. Смолою его, сердечного, облили и подожгли, ни за понюшку табаку пропал человек.

Воцарилось молчание.

— Это так. Ишь, иродовы души! То голову кому отрубят, то живьем сожгут, — первым отозвался рыжий гайдамак. — Давно бы под Вильшану надо выступить, так разве ж...

— Вы чего тут торчите? — вдруг послышался за спинами хриплый голос. Все оглянулись. От келий медленно, вперевалку приближался гайдамак в красном дубленом кожухе, подпоясанном дорогим китайчатым поясом, и в красноверхой, сбитой на ухо шапке. Зализняк уже раз видел этого человека, это был старший гайдамацкий атаман Иосип Шелест. Он уже успел пропустить с честными отцами несколько чарок пенной, и его маленькие глазки блестели задиристо, будто смоченные маслом горошинки.

— Чего столпились? — показывая два ряда больших зубов под стриженными стрехой усами, уже громче крикнул он.

— Слушаем вот человека, — ответил старый гайдамак в заплатанном кожухе. — Конфедераты снова людей мучат. Титаря из Вильшаны замордовали. А наша ватага из лесу носа не показывает.

— А ты-то тут при чем? — широко расставив ноги, взялся обеими руками за пояс Шелест. — Есть тебе дают? Дают. Так и сиди молча. Не наш конь, не наш воз, не нам его и смазывать. Ну, чего стали, носите быстрее.

Кое-кто из гайдамаков стал выбивать люльки, отходить к саням.

— Покурить дай людям, атаман, — негромко сказал Зализняк.

Атаман крутнулся на каблуках.

— Твое какое собачье дело? Гляди, не то еще самого приневолю сани нагружать.

Максим усмехнулся, выпустил кольцо дыма. Ему не хотелось ссориться, но к атаману возникла какая-то неприязнь. Он пытался подавить ее и не мог.

— Убирайся ко всем чертям! — сквозь зубы процедил атаман.

Максим услышал это, и в его глазах заиграли гневные огоньки.

— Куда прикажешь мне идти?

Шелест взмахнул нагайкой. Зализняк наклонился, и нагайка, свистнув в воздухе, сбила с крыши несколько ледяных сосулек. Максим левой рукой схватил нагайку. Атаман дернул ее к себе, но поскользнулся и едва не упал; он дернул второй раз, третий. Максим, держа нагайку возле ременной кисти, даже не шевельнулся.

— Ты что?.. С кем так? Эй, хлопцы, что смотрите! — крикнул атаман, выпуская нагайку и хватаясь за саблю.

Но гайдамаки, окружив их кольцом, хмуро молчали.

— Оставь саблю, — подступил впритык к самому атаману дед в заплатанном кожухе. — Не то он тебя той сосулькой в коровий помет расшибет, — показал он на Максима, который, оторвав от низенькой крыши

огромную ледяную глыбу, держал ее в руке. — А мы не вступимся.

Атаман блеснул глазами, хищно, по-волчьи ощерил зубы и бегом побежал к забору, возле которого стоял его конь.

— Я тебе это припомню, — пригрозил он и вскочил в седло.

Дед покачал головой.

— Как мальчишка, избитый на улице, похваляется.

Максим криво усмехнулся на атамановы угрозы и пошел напрямик к хате. Снег уже глубоко оседал под ногами, в следах сразу же выступала вода. Длиннющие, словно бороды престарелых дедов, сосульки на крытой под железо церкви оплакивали зиму крупными слезами. На яблоне, по-весеннему весело, о чем-то щебетали между собой две синицы. Шли последние дни марта.

Весна была дружная. Недаром петух напился воды на сретенье. Снег таял быстро. Звонкими ручейками он стекал по оврагам в Тясмин, и тот бурлил, с грохотом сорвав с себя ледяной панцирь, подмял под себя высокий камыш, лозы, дохнул широкой волной, разлился до синей полоски дубового леса. Уплыли в Днепр льдины, на склонах заклубилась паром земля. На холмах уже можно было сеять. Но не спешили медведовцы в поле, не радовали их погожие дни. В местечке был голод. Муку мешали с березовой корой, мякиной, желудями, употребляли все, что могли разжевать слабые челюсти. Максиму не раз приходилось встречать в лесу крестьян, которые искали под гнилыми прошлогодними листьями полуистлевшие или проросшие желуди. А в панских амбарах каждое утро открывались двери, и крепостные перелопачивали горы золотой пшеницы и туго слежавшейся ржи, которая начинала подопревать снизу. Паны не спешили продавать хлеб, да и в Варшаве только и разговоров было о том, что вот-вот снова наладится торговля через Северное море, и тогда за эту пшени-

цу англичане заплатят в Гданьске настоящие деньги. А то, что хлопцы голодают и стали очень неспокойными, — не страшно. Надворные войска хорошо вооружены, а им на помощь идут конфедераты.

Конфедераты же из Бара, словно чума, расползались по Украине все дальше и дальше. Хищная рука папы сыпала из Рима золотые, они катились через Правобережную Украину к берегам Днепра, а за ними мчались на конях шляхтичи с красиво нашитыми на мундиры крестами. В Черкассах силой оружия заставляли людей принимать унию, в Жаботин прибыло и встало на постой конфедератское войско; такой же гарнизон, снаряженный Мокрицким, направлялся было в Медведовку, но полковник чигиринских казаков Квасневский, боясь восстания, не пустил его в местечко. Видя это, русское войско усилило свой натиск на конфедератов. В Баре конфедератский гарнизон оборонялся изо всех сил. Еще большее сопротивление оказали униаты в Бердичеве. Несколько дней русское войско метало в крепость ядра из разных пушек: двадцатифунтовых, шестифунтовых, огромных единорогов — пулкортанов, пока не обвалились в нескольких местах крепкие стены крепости. Тогда в проломы ворвались карабинеры и в коротком бою сломили сопротивление осажденных. Но взятие перворазрядной Бердичевской крепости не остановило конфедератов. Они рассыпались небольшими отрядами и, избегая прямых столкновений с русскими войсками, стали собирать основные силы в отдаленных местах воеводств.

Максим в местечке бывал редко. Когда же приходил, то видел, как по склонам оврагов люди таскали на себе бороны, как забрасывали сети в плесы около Тясмина, надеясь поймать занесенную половодьем быструю щуку или исхудавшего весеннего карася. Тогда хотелось скорее убежать прочь отсюда, за мрачные монастырские стены. Особенно поразила его смерть дядьки Нечипора. После длительного голодания Нечипор продал Загнийному амбар, купил на базаре хлеба и селедок и, наевшись, умер под вечер. Сельди привозили в местечко запорожцы. Они приво-

зили рыбу, соль, икру, а сами покупали сукно, порох, пули. Продавали сечевики крестьянам сельди недорого, и скоро они совсем упали в цене. Именно это и спасло многих от голодной смерти.

Приезжали запорожцы и в монастырь, но знакомых сечевиков Максим не встречал.

Надо было начинать сеять и на своей ниве, да где взять зерно? Не только Максим, а все медведовцы поначалу думали, что весной паны откроют амбары и хоть дорого, а все же станут продавать хлеб. Но растаял снег, растаяли и надежды. Паны амбаров не открыли — они выжидали. Селянские нивки стояли невспаханными, земля пересыхала, особенно на Горбах, где был и Максимов клочок. Возвращаясь на рассвете из дому в монастырь, Максим свернул на Горбы, поглядел, и сердце защемило от боли — там чернела лишь одна полоска, да на другой возился дядько Карый.

Максим прошел межой под степную вишню, где стоял воз, поздоровался с Карым. Тот как раз насыпал из мешка зерно в коробку.

— Как, дядьку, земля не пересохла?

— Начинает пересыхать. Дождик на посев не помешал бы. — Карый размял в ладони комок земли, поднес ее к Максимову лицу. Потом отвел ладонь в сторону, подул несколько раз.

— У меня пониже, так будто бы еще ничего. — Вытер ладонь пучком сена, потом полою старой, опрятно заплатанной свиты.

Максим погрузил руку в коробку с зерном, пошевелил пальцами.

— Пшеничка так себе. Своя?

— Какая там пшеничка! Мышеед один. Купил в воскресенье в Чигирине на базаре. Мало, не хватит на всю полосу. Я гречки придержал немного. Да погода стоит ветреная, неурожай будет на гречку.

— А ну, дайте я попробую. — Зализняк снял пояс, перекинул его через плечо. Легко поднял с воза лукошко, обхватил его поясом.

— Не забыл? — спросил Карый.

— Не бойтесь, не забыл.

Максим поправил пояс, стал на краю нивки. Первый взмах — и золотые зерна широким веером брызнули на черную землю. И снова, как и всегда при первом шаге по вспаханной ниве, Максиму вспомнился дед. Он учил Максима сеять. Высокий, худой, он неторопливо шагал по ниве, размахивая правой рукой с закатанным до локтя рукавом. Левая неподвижно лежала в коробке. Первый заход дед начинал без шапки, его длинные седые усы шевелил ветер, и от этого казалось, будто они живые. Дед торжественно поглядывал на внука и в такт взмахам руки приговаривал: «Под правую, под правую, под правую». Максим широко ступал рядом с ним и тоже сеял. Только не зерно, а перемятую землю.

Земля мягко расступалась под сапогами, ноги погружались по самые щиколотки. Золотые брызги сливались с землей, тонули в ней, казалось, она втягивает в себя зерно — труд и пот крестьянина, его радости и страдания, волнения и надежду. Максим обошел нивку дважды и, когда рука заскребла по дну, подошел к возу. На его лице блуждала теплая улыбка.

— Земля как пахнет. Давно не сеял. Жаль — в монастырь пора. Мы тоже выезжаем на днях, монастырские земли в долине, еще не совсем протряхли.

— А свою когда будешь сеять?

Максим задумчиво смотрел на бледно-розовую полосу над лесом, с красным маленьким ободочком внизу. Ободок на глазах рос, увеличивался, и вдруг на землю упали косые пучки лучей. Чистая, словно слезы младенца, роса, что дрожала на молодой траве по обочине, вспыхнула, заиграла всеми красками, и казалось, будто это блестят не капельки росы, а золотые мониста.

Максим отвел взгляд.

— Не знаю. Буду просить зерна в монастыре. Если дадут — послезавтра и засею.

Он попрощался и пошел вдоль межи, чтобы не потоптать золотые бусинки, растерянные в траве утренним солнцем.

Весной стало больше работы. Только после захода солнца возвращались батраки и послушники с поля. Однако очень часто, поужинав, кое-кто еще шел к Холодному яру. В воскресенье сюда сходилась едва не вся монастырская челядь. На высоком холме около яра было гульбище, там собирались гайдамаки. Играли в карты, пели или просто слушали рассказы бывалых людей. Сам лагерь — гайдамацкая сечь — скрывался на дне яра в сизоватой туманной мгле, что исчезала только в солнечные дни. По склону яра, переплетаясь ветвями, стояли столетние дубы и бересты; казалось, будто они взялись за руки и, поддерживая друг друга, заглядывают с любопытством в ужасающую глубину яра. От большого яра расходились во все стороны десятки более мелких, а те, в свою очередь, делились на множество маленьких овражков. Лагерь с трех сторон защищали рвы, а с четвертой гайдамаки сделали лесные засеки и поставили дубовые рогатки и башню.

Максим часто засиживался допоздна на холме возле костра, смотрел, как переливается белым светом Мамаева дорога, как гаснут далеко в долине огни Жаботина. Вспоминались Запорожье, ночи, проведенные в степи, луг, на котором он с мальчуганами пас панских коней. На тот луг часто прибегала Оксана.

Наступил апрель, и все тревожнее становилось на сердце у Максима. Что на этот раз скажет ему управляющий? Максим подсчитал, сколько у него собралось денег, но выходило не больше ста рублей. Придется взять у настоятеля на отработку да еще распродать дорогое дедовское оружие. А нет, будь что будет. Заберет Оксану, и убегут они на сечевые, а то и на татарские земли. Жаль, не видно никого из знакомых запорожцев из паланок, у кого можно было бы хоть поначалу оставить Оксану.

Однако вскоре случилось нечто такое, что совсем изменило все мысли и планы Максима. Пришли события, которые перевернули всю жизнь, взбудоражили до дна спокойную гладь ежедневных забот и мечтаний. Как-то за неделю до троицы Максим с несколь-

кими послушниками и запорожцами, приехавшими в монастырь, спускались тропой к Холодному яру. Еще издали услышали они глухой шум голосов, выкрики, топот ног.

— Не иначе, как что-то стряслось. Ну-ка, пойдемте быстрее, — сказал один из запорожцев.

Они ускорили шаг. Голоса все приближались. Вскоре они увидели большую толпу гайдамаков, которые шли прямо через лес к яру. Впереди, придерживая на плечах кирею, шагал есаул Бурка. Максим знал Бурку еще по Запорожью, а потом часто встречал его в монастыре — есаул бывал у игумена едва ли не каждую неделю.

— Максим, пойдем с нами, — бросил на ходу Бурка, — это и тебя касается.

— А что такое? — устремляясь за ним, спросил Максим.

— Конфедераты в Медведовку вот-вот из Черкасс должны прийти. Пани Думковская вызвала их.

Хотя Зализняк уже не раз думал, что такое может случиться, все же это известие поразило его. Пани Думковская! Сколько горя причинили эти паны людям! Нет, нельзя допустить конфедератов, чего бы это ни стоило, нельзя дать им ворваться в Медведовку.

— Так они скоро и в наш монастырь придут, — стараясь идти в ногу с Максимом и Буркой, заговорил низенький, широконосый татарин по прозвищу «Товмач» — монастырский послушник.

— Этому не бывать, достаточно, что уже раз пустили, — сказал кто-то сзади.

Они спустились в овраг Бойкова луга, где висел казан и куда собирались на раду гайдамаки.

— Куда мы идем? — спросил Максим.

— К атаману всех созывать будем.

— Почему же мы направляемся к землянкам? Радное место тут. — Зализняк остановился. — Возьми палицу, ударь в казан, — обратился он к Товмачу.

Товмач взял дубовую палку, еще раз взглянул на Зализняка.

— Бей! — махнул рукой Бурка.

Услышав удары в казан, из землянок, из лесу стали выбегать гайдамаки, присоединяясь к толпе. Атамана долго не было. Кто-то побежал в атамановский курень, но он был пуст. Шелест прибыл несколько позже. Он пришел из лесу. Держась рукой за куст, спустился в овраг и, умышленно не торопясь, подошел к толпе. Остановился возле первого же гайдамака, расспросил, что случилось.

— Что за спешка, почему без меня в казан ударили? — подходя к Бурке, мрачно спросил он. Вдруг увидел Зализняка, еще пуще нахмурил брови. — Тебе чего здесь нужно?

Максим пытался говорить спокойно.

— То же, что и всем. Я сам из Медведовки. Не время, атаман, сейчас ссоры разводить.

— Так иди в свою Медведовку и не пускай конфедератов. А в наши дела нос не суй. Убирайся отсюда.

— Зачем ты, атаман, человека гонишь? Лес не твой, и мы кого хотим, того и приводим! — крикнул кто-то из толпы.

Шелест словно не слышал этих слов. Он расправил плечи, молодецки сбил на ухо шапку, встал на пень.

— Пан-молодцы, гоните этого лайдака *. Я получил важные известия. Через неделю возле Чигирина остановится караван купеческий. Восемь суден сукном московским гружены. А конфедераты не к нам идут.

Толпа зашевелилась, загудела. Послышались выкрики возмущения, кто-то громко, крепко выругался. Какая-то внутренняя, доныне не ведомая сила толкнула Максима, и он тоже встал на пенек.

— Врет он, околпачивает вас. Не слушайте его, хлопцы! Неужто мы не встанем на защиту крестьян, на защиту своих матерей и сестер? Неужто дадим шляхте убивать людей, приневоливать их в унию?

— Довольно дрожать за свою шкуру, довольно терпеть! — крикнул Микола.

Шелест на мгновение растерялся. Опомнившись,

он хотел толкнуть Зализняка, но тот уже сам соскочил с пенька.

— Не нужно нам такого атамана. В шею его, прочь! — внезапно взорвался громким криком овраг.

Кто-то дернул Шелеста за полу, и он упал прямо в толпу.

— Бурку в атаманы.

— Лусконога, тяните Лусконога! — слышалось то тут, то там над толпой.

— Зализняка! — донеслось слева.

Максим удивленно оглянулся, но Микола схватил его под руки и поставил на пень.

— Зализняка атаманом, Зализняка! — выкрикнул он, перекричав все голоса.

— Зализняка! — поддержал Роман, а за ним еще несколько человек. — Он славный казак.

— Какой из меня атаман, — пытался отказаться Зализняк.

— А ты кланяйся, сучий сыну, — толкнул его палкой под бок какой-то старик, — и не отказывайся от чести.

— Зализняка! — звучало уже по всему буераку. — Он сотню водил на Запорожье.

— Зализняка! — гремело вокруг. — Зализняка!

Кто-то дернул его за ноги, еще кто-то поддержал за пояс, и Максима усадили на пень. Старик с палкой сорвал с него шапку, и Зализняку на голову посыпались прошлогодние листья, земля, даже конский помет. Так всегда делали на Сечи с атаманами, чтобы не задирал нос, чтобы помнил, кому обязан своею властью.

Наконец мусор перестал сыпаться на голову, и Зализняк поднялся.

— Слово говори! — крикнул кто-то.

Максим обвел взглядом сотни устремленных на него глаз, возбужденных, выжидающих. В них он прочитал не просьбу, а приказ. Зализняк хотел говорить и чувствовал, что не может. То ли от того, что ему никогда не приходилось стоять перед таким количеством людей, то ли не знал, что именно надо сказать, но слова не находились.

«Да и нужны ли слова? — думал Зализняк. — Имеет ли он право вести людей на такое великое дело, сможет ли справиться с ними? И разве только с ними? С этой сотней мало что сделаешь».

— Не пустить шляхту в Медведовку — это же только начало, — последние слова он проговорил вслух. — Одних не пустим — другие придут. А тех же тоже надо будет гнать, и так до тех пор, пока не отобьем у конфедератов охоту к таким наездам. Сами подумайте, на что идем.

— Знаем, говори, что делать будем? — закричали со всех сторон.

— Говори!

— Слушаем!

Максим задумался. Он еще не успел привыкнуть к своему новому положению, а от него уже ждали ответа.

— Что делать будем? Шляхту будем бить! Понесем из Холодного яра огонь мести за обездоленных, искалеченных людей, и жарко станет тому, на кого дохнет этот огонь. — Максим замолк, а потом нерешительно промолвил: — А с чего будем начинать — еще сам не ведаю. Не думал я об этом, сами знаете — я и в гайдамаках не был. — Он усмехнулся и, поправляя пояс, добавил: — Теперь видите, какой из меня атаман. Да ничего. Выбирали вместе, давайте же вместе и совет держать. Время не ждет.

Глава десятая

ПОД КОЛОКОЛЬНЫЙ ЗВОН

Зализняк наклонился, чтобы не стукнуться головой о притолоку, и вошел в есаулову землянку. Бурка сидел на полу, подогнув по-татарски ноги, и большой ложкой хлебал из казана тузулук *. Завидев Зализняка, он облизал ложку и отставил казанок немного в сторону.

— Садись, вон ложка на полке.

— Не хочу, я ел.

Бурка снова подставил к себе казанок, вытерев усы, зачерпнул гущу со дна.

На голове у Бурки торчал маленький невзрачный оселедец, а усы были большие, пышные, и потому казалось, будто они не настоящие и вот-вот должны отпасть.

Есаул накрошил в тузулук сухарей и помешал ложкой. Ждал, когда атаман начнет разговор. Он еще чувствовал обиду на Зализняка, и не столько на Зализняка, сколько на гайдамаков. Прогнав Шелеста, товариство должно было его выбрать атаманом. Однако к Максиму есаул проникся уважением с первого же дня и становиться ему на пути и в мыслях не имел. Поразмыслив, он был даже несколько рад, что так сложилось, так как чувствовал, что вряд ли смог бы справиться со столькими людьми, тем паче теперь, когда дело так сильно разгорается, и кто знает, чем все это может кончиться. Лично он не боялся ничего, но быть в ответе за стольких людей все-таки страшно.

— Я думаю сегодня двинуться на Медведовку, — примостился на обрубке колоды Зализняк.

— Сегодня? Не рано?

Максим покачал головой.

— Ты не так понял меня. Я и сам знаю — рано. Будем ждать до троицы, как на раде условились. От этого нам большая польза будет. Монастырь — Троицкий, на храм много людей съедется. Да и Нечипор от запорожцев из Медведовки еще не вернулся. Я хочу поехать к чигиринскому коменданту Квасневскому. Он сейчас в Медведовке. Из того, что я о нем слышал, не похож он на шляхтича. Может, с ним о чем-нибудь сговоримся. Войско в Медведовке не тревожит меня, нечисленно оно, да и комендант медведовский слабоумный человек.

Бурка молчал. Он размышлял, как бы лучше ответить. «Посоветуй не ехать, а вдруг удастся — скажет: «недалеко смотришь», а ехать — тоже сомнительное дело», — подумал он и промолвил вслух:

— Как знаешь. Я тоже одно дело надумал: на

троицу молебен отслужим, с попами, меня они послушают, а нет — так и пригрозить можно.

Максим поразмыслил и одобрил предложение есаула.

— Верно, это и слабодушным сил придаст. А вокруг добрая молва пойдет, соберет к нам людей. — Зализняк наклонился, положил руки на колени. — Тех, которые сейчас ходят еще не вписанные в курени, впиши в четвертый.

— Такого же нет.

— Пусть будет. Это пока. Видишь, я сам еще не знаю, какого нам порядка держаться. По-моему — курени плохо. Это не Сечь. Тут села, поля. — Устремив взгляд в пол, Максим наморщил лоб. — Отряды создать нужно, как у татар. Но об этом потом. — Он поднялся, оглядел землянку, словно только теперь заметил, как в ней грязно.

— Грязища у тебя, хоть лопатой выгребай. И все, на вас, атаманов, глядя, такое же позаводили. Я сказал, хлопцы уже чистят повсюду. Мне, наверное, к тебе переселиться придется, если не станешь перечить. А то там тесно. Приеду — начну чистить.

Бурка покраснел, потер рукой переносицу.

— Добре, уберу. Сам мусора не люблю, это при Шелесте завели.

Максим вышел из землянки. Теплый весенний ветер, напоенный запахом молодых листьев и первых цветов, приятно защекотал ноздри. Мимо землянки с кувшином березового сока в руке прошел незнакомый гайдамак. Увидев атамана, он почтительно кивнул головой и взялся руками за шапку. Зализняк сморщился. Хотел вернуть гайдамака, пристыдить, но тот был уже далеко, и не хотелось кричать на весь яр.

«Видно, что недавно челядником при дворе где-то был. После сам поймет».

До вечера было далеко, и Максим раздумывал, чем заняться сейчас. Долго стоял неподвижно. Обрывал и мял в руке вербовые котики, следил глазами, как парит над лесом сокол-бориветер. На душе было тревожно, как и в первые дни. Но тогда он

думал, что это от непривычки, пройдет немного времени, привыкнет и успокоится. Однако спокойствие не приходило.

От молодой поросли ольшаника, что рос возле криницы, долетела песня. Зализняк пошел туда. Сначала слов нельзя было разобрать, но когда он повернул за куст лещины, в ушах громко зазвенела шуточная песенка:

...Баба з води вирне,
То дід києм пирне.
— Отут, бабо, кайся,
Отут покупайся,
Отут вода бігучая,
Отут бабо лаючая,
Отут назвичайся.

— Сумный, и ты тут? — удивился Зализняк.

— Атаман, — шепнул кто-то сбоку.

Старик настороженно повернул голову, очевидно еще не узнавая по голосу того, кто говорил.

— Тебе бы надо прозвище переменить — не Сумный, а как-нибудь по-другому. К примеру, Веселый или Смешной. Или Всевидящий.

— А разве худо, что я людей развлекаю?

— Отчего же, совсем не худо. Хорошо бы было, если бы ты нам почаще пел, людей веселил. Песня дух поднимает.

Лицо кобзаря прояснилось:

— Может, и буду, коли понравится. Я тебя, атаман, помню. Ты Максим из Медведовки. Мне хлопцы сказали, что у них новый атаман. Выходит, я тебя хорошо знаю, в твоей хате гостить доводилось.

Петрик, что лежал на молодой траве за спиной у деда, вскочил:

— Дядь, это вы? А Оля где?

— Это я, — Максим привлек к себе мальчика. — Оля дома, скоро увидишь ее. Жених моей племянницы, — улыбнулся гайдамак. — Как, хлопцы, пойдем к Петрику в шаферы?

Лица гайдамаков засветились улыбками. Петрик спрятал голову за ольховую ветку. Прослушав не-

сколько песен, Максим пошел от толпы. На душе стало немного спокойнее.

«С людьми всегда вернее», — подумал он и пошел к Значку, где паслись кони.

В Медведовку Максим приехал, когда в хатах еще только-только зажглись первые огни. С собой он взял Миколу. Полковник чигиринских казаков Квасневский проживал в доме медведовского коменданта Белявского. Зализняк остановил коня возле хаты деда Мусия, что жил неподалеку, и сказал Миколе:

— Зайдем расспросим, что и как. Ружье поставь где-нибудь в углу, пусть не маячит за плечами.

Наружная дверь была не заперта.

— Гляди, кто пришел! — поднялся дед Мусий на Максимово приветствие. — О, и ты, Миколо! Одарко, занавесь чем-нибудь окно, — оглянулся он немного испуганно.

— Хлеб-соль, диду. Чего ты так удивился, будто мы с того света явились?

Дед засуетился. Смел рукавом со стола крошки, отвернул заплатанную, но чистую скатерку.

— Присаживайтесь к столу.

Максим и Микола попробовали было отказаться, тогда старик, таинственно подмигнув, достал с полки бутылку, в которой плескалась горилка.

— Зять сегодня в гости приходил, — сказал он.

Закусили луком, затем баба поставила в большой миске борщ.

— Что нового, диду? — прихлебывая борщ, спросил Максим.

— Ничего, кроме слухов всяких. Гомонят, будто вот-вот конфедераты в местечко прибудут, отменят, у кого и остались, льготные годы. Ты-то как живешь?

Максим вытащил из борща что-то черное, взял в пальцы, стал разглядывать.

— Этого мяса и твои зубы не возьмут. — Старик хмыкнул не то со смешком, не то со вздохом. — Кусок корца из-под соли. Борщ солить нечем. Запорожцы привезли, да только три дня продавали, откупщики у них всю оптом купили. Ты про Квасневского спрашивал? Уже недели две сидит. Уехал было,

а позавчера снова вернулся. У нашего коменданта живет.

Старуха возилась у печи, прислушиваясь к разговору. Максим мигнул Миколе, однако тот не понял. Тогда Зализняк наступил ему на ногу и снова показал глазами. Микола поднялся и подошел к старухе:

— Как дочки поживают? Зятья? Слыхал, будто Охрим коня обменял?

Максим наклонился к старику.

— В какой комнате комендант живет? Часовой где?

— Зачем это вам? Худое что-то задумал ты, Максим. Еще когда б кого-нибудь другого, так леший с ним.

— Ничего худого, поговорить хотим, вот крест святой, — Максим быстро перекрестился.

— В светлице от колодца, если он не в гостях. А охраны никакой не ставят. Можно пройти из сада через кухню.

— Все, ладно. Кони пусть у тебя побудут, не выходи из хаты, чтобы тебя с нами никто не видел. Скоро в гости жди, диду. Спасибо за хлеб-соль.

— Пойдешь через сад — ступай тихо. Покарауль в кустах, в случае чего — свистнешь дважды, — сказал Зализняк Миколе на улице. — Сначала давай в окно поглядим.

...Увидев перед собой незнакомого человека, полковник Квасневский испуганно вскочил с кровати и выпустил из рук книжку. Лишь одно мгновение размышлял он: пистолеты висели на стене, а незнакомец стоял у порога, держа руку под кунтушом. Думать о защите было поздно. Да, может, он пришел без злого умысла, только почему же так поздно и без разрешения?

— Не бойся, полковник. У меня нет злых намерений. А что пришел так, непрошеный, — Максим усмехнулся, — прости.

Квасневский снова сел на кровать.

— Я от гайдамаков. Полковник, нам точно извест-

но, что в Медведовку должны прибыть конфедераты. Мы все дали обещание, что не пустим их. Медведовцы хорошо помнят, как вы уже однажды не пустили униатов сюда. — Зализняк замолк, разглядывая Квасневского.

Тот заморгал глазами, выдерживая взгляд.

— Я не понимаю, чего вы хотите?

— Неужели не понимаете? С вами больше восьми сот казаков.

Квасневский опустил глаза. Взяв с подушки книгу, поставил ее ребром себе на колени.

— Тогда были иные времена.

— А теперь? Мы знаем вас как человека честного.

— Никогда не обижал я мирных обывателей. Воин я.

— Мало не обижать, надо защищать их. Конфедераты сами подрывают мощь Речи Посполитой. Недаром из Варшавы позвали против них русское войско, слышали уже, крепость Бердическую взяли.

Квасневский выпустил книгу и сжал руки так, что пальцы хрустнули в суставах. Да, один раз он, как комендант, запретил униатам въезжать в село. Он исполнял постановление сейма. То были ксендзы с небольшим количеством жолнеров. А сейчас? Разве не то же, разве сейм и король не указали, что конфедераты являются врагами Речи Посполитой? Но как пойти против них? Против шляхтичей, таких же, как он сам? Фольварк Мокрицкого находится по соседству с его фольварком. Что это? Санкта Матер, что ему делать?

— Я жду ответа, пане полковник.

— Не знаю, — чуть слышно промолвил Квасневский.

Зализняк постоял еще какое-то мгновение и взялся за ручку двери.

— В таком случае, пане полковник, советую вам не становиться нам на пути. Вас никто не тронет, можете сидеть спокойно.

Уже за три дня до троицы в Мотроновский Троицкий монастырь стали съезжаться окрестные крестьяне. Места на монастырском заезжем дворе хватило не многим, спали в клунях, конюшнях и даже — а таких было большинство — в саду под открытым небом. Между людьми ходили разные слухи. Говорили, что где-то в лесу собралось большое войско, что скоро выгонят конфедератов и шляхту, что в воскресенье будет молебен и всех силой позаписывают в гайдамаки. Некоторые крестьяне ждали этого дня с нетерпением, иные со страхом, другие с любопытством, а были и такие, что тихонько запрягали лошадей, или, вешая торбу на палку, отправлялись домой. В субботу из лесу вышла часть гайдамаков и смешалась с прихожанами. Гайдамаки разговаривали громко, не таясь, бранили панов, звали крестьян к себе.

В воскресенье с утра погода стояла ясная, солнечная. Над монастырем, поблескивая на солнце крыльями, кружилась стая снежно-белых голубей. На церковном дворе шумела огромная толпа. Маленькая деревянная церквушка тоже была переполнена. От дыхания сотен людей, от смрада фитилей, густого запаха дегтя в церкви стояла тяжелая духота. Монотонно читал евангелие протоиерей, качая в такт словам продолговатой, словно у лошади, головой.

Роман, который стоял напротив царских врат за спиной Бурки, почувствовал, как его все больше клонит ко сну. Сначала он вслушивался в речь протоиерея, ожидая, когда тот скажет что-то такое, что бы касалось тех событий, которые должны были произойти; но слыша, что протоиерей читает какую-то длинную и нудную молитву, стал думать о чем-то своем. Неприятный запах растаявшего воска и ладана кружил голову. Гайдамак, который стоял позади, задремав, прислонил свечку чуть не к самой стриженной «под макотру» Романовой голове. Роман локтем толкнул его в живот и прошептал:

— Патлы спалишь. Чем тогда мне девчат завлекать?

Наконец на колокольне зазвучали колокола, и при чтении пятого псалма начался крестный ход. Впереди шли протоиерей с чудотворной иконой и наместник настоятеля иеромонах Гаврило. Мелхиседека не было, он выехал, не пробыв даже трех недель, но Максиму все время казалось, что он тоже шагает впереди всех. За ними Зализняк и Бурка, гайдамаки, крестьяне, монахи. Когда обошли вокруг церкви и остановились около паперти, Бурка осторожно взял за локоть наместника:

— Отче, становись, скажи людям слово напутственное.

Гаврило испуганно моргнул глазами, скрестил руки на выпуклом животе.

— Что могу сказать я? Я могу лишь величать бога...

Но Бурка взял его под руку и помог встать на ступеньки.

Толпа остановилась, умолкли разговоры, все насторожились.

— Возлюбленные! Ныне у нас праздник великий. Сошлись мы сегодня в седьмой день недели, чтобы совершить благое и святое дело. Помните, кто сотворит благое дело в седьмой день, тот вознесется на небеса, райские врата всегда будут открыты перед ним. Миряне, таинства униатов нечестивы. Покойники, схороненные ими, не встанут в день страшного суда...

Иеромонах кашлянул и неожиданно замолк. Он оглянулся, словно ожидая поддержки, кашлянул еще раз. Его приложенный ко рту кулак мелко дрожал, на лбу повыступали капельки пота.

Бурка тревожно посмотрел на Зализняка, который от волнения никак не мог расстегнуть верхние крючки кунтуша. Гаврило шептал что-то про себя, потом поглядел под ноги, чтобы сойти вниз. В толпе послышался глухой шум. Зализняк рванул воротник, два верхних крючка оторвались, и в то же мгновение он ступил на паперть.

— Люди добрые, братья мои по неволе! — прозвучал над толпой его сильный голос. — Да, братья по неволе. Потому что паны совсем озверели, хуже не-

верных из нас невольников делают. Кому сегодня не надели хомут, наденут завтра. Недаром же сейчас и поговорка такая пошла: «На волі — плачу доволі». Нет мочи дальше терпеть такое надругательство. — Максим передохнул. Он сам не знал, откуда брались слова, но они лились свободно, как будто он целую ночь обдумывал их. — Коли мы сами сейчас не защитим себя, то кто же защитит нас? Настало время выбиться из неволи, разбить ярмо, которое терпим от шляхты, оборонить веру от кровавых рук конфедератов. Только когда уничтожим змеиное кубло панов своих, что сосут нашу кровь, тогда и будем свободны. Встанем же все на бой против наших обидчиков, поклянемся, что всех панов выгоним с нашей земли!

Максим выхватил саблю из ножен. Рассыпав на солнце серебряные брызги, блеснули сабли и ножи в руках гайдамаков, на мгновение застыли в вытянутых руках и вслед за атамановой медленно опустились к земле. Бурка махнул рукой, с колокольни прозвучал пушечный выстрел. Певчие запели тропарь, иеромонах принял из рук дьякона чашу и кропило, стал освящать склоненные сабли и ножи. Несколько гайдамаков вывезли на руках из сада два воза оружия. Иеромонах подошел к возам и, шепча молитву, покропил оружие.

— Берите же, в чьей душе еще тлеет отвага, эти сабли и пищали дедовские! — крикнул Зализняк. — Отходите вон туда в сад и становитесь в две линии.

Минуту, долгую минуту тянулось молчание. Потом к возу подошли два парубка, очень схожие между собой, видно братья, и, не говоря ни слова, протянули руки. Роман подал им две сабли и два ружья.

— У меня своя есть, — ударил рукой по боку пожилой запорожец, пробираясь через толпу к саду.

Толпа продолжала стоять, словно завороженная. И вдруг встрепенулась, загремела сотнями голосов. Крестьяне, обгоняя друг друга, ринулись к возам, на которых стояли гайдамаки. Столпились все около возов. А позади, путаясь ногами в длинных полах и боясь, что ему может не хватить оружия, отчаянно

пробивался низкорослый татарин Товмач, силясь просунуться под руками.

— Мне кривая сабля оставьте, янычарку мне! — кричал он, хотя никто в общем шуме не слышал его слов.

Последующая неделя промелькнула, как один день. Зализняк упорядочивал сотни, выпрашивал у настоятеля коней, снаряжал лазутчиков в Чигиринский и Смилянский городовые полки, наведывался в кузницу, где ковались ножи и наконечники для копий. Его стройную фигуру в туго подпоясанном кунтуше видели то в землянках, то в саду у обоза, то около наместниковой кельи. Вот и в этот день, когда уже совсем стемнело, он вернулся в хату, в которой жил, когда был еще батраком. Есть не хотелось, и Максим, не раздеваясь, лег на скамью. В голове вертелись обрывки каких-то мыслей, тяжелых и неуловимых.

Зализняк еще и сейчас сам хорошенько не знал, когда они выступят и в какую сторону. Конфедераты в Медведовке не появлялись, они остановились на полдороге. Однако Максиму было ясно, что не сегодня-завтра они придут; он понимал, что надо использовать время для того, чтобы собрать как можно больше людей и вооружить их.

«На Сечь пошлем гонцов, — думал он, прикрывая ладонью глаза. — Хрен и Жила соберут хлопцев».

Двое гайдамаков лежали на полу и шепотом разговаривали. Увидев, что Зализняк открыл глаза, и подумав, что они мешают ему отдыхать, умолкли.

«Выставил ли Бурка охрану со стороны Жаботина, он как будто говорил мне, что да?» — старался вспомнить Максим. Он уже хотел подняться и пойти спросить, как в хату в сопровождении гайдамака вошел какой-то старик с мальчиком. Максим узнал кобзаря. Сумный, словно видя, где лежит атаман, отстранил гайдамака и подошел к скамье.

— Ты тут, атаман?

— Тут, — Максим сел на скамью. — Садись, диду.

— Из Медведовки я сегодня, — опускаясь рядом, сказал кобзарь.



— Из Медведовки! — поднялся Зализняк и сразу вспомнил, что до сих пор еще не возвратились посланные туда два разведчика. «Может, схватили их?» — подумал он и сказал вслух:

— Как там?

— Тебя ждут. — Сумный повернул голову, и теперь двойной шрам напоминал две глубокие борозды. — В Кончакской крепости собирается шляхта, все медведовские паны уже там, и часть из надворного



гарнизона Калиновских туда же перебралась, шляхта голопузая вся в Калиновской крепости осталась.

— А остальное надворное войско? — спросил один из гайдамаков.

— Остальные в имении. Стоят и не знают, что им делать. Они с тобой пойдут, Максим.

— Где чигиринский комендант со своим гарнизоном? — спросил Зализняк.

— Квасневского в крепости нет. Удрал из местеч-

ка, а с ним и его сотни ушли. — Кобзарь помолчал и, опустив голову, добавил: — Всех, о ком знают, что из его семейства кто-нибудь в гайдамаках, забрали и заперли в сарай.

Оба гайдамака вскочили с пола.

«Мать и Оля тоже там, — промелькнуло в голове у Максима. Он хотел спросить о них, но сдержался. — Конечно, там, только об этом не следует спрашивать. Скажут, вишь какой, как узнал, что его семью забрали, так сразу повел сотни на местечко».

Он сидел, стиснув зубы. «Вскочить бы на коня... Но...» — и еще ниже он поник головой. Это впервые атаманская власть легла такой тяжестью на плечи, не пускает его к родным, любимым.

Однако надо было что-то решать; Максим вздохнул и, взяв со стола кисет и кресало, спрятал в карман.

— Диду, а бабуся и Оля, наверное, на Тясмине спрятались? — сказал Петрик.

Кобзарь отрицательно покачал головой.

— Скорее у кого-нибудь из соседей.

— Ступайте, хлопцы, и позовите Бурку да атаманов всех, — приказал Зализняк гайдамакам. — Будем наступать.

Этот первый бой окрылил всех. Все сложилось как нельзя лучше. В полночь Зализняк привел три сотни гайдамаков в Медведовку. Еще в монастыре, посоветовавшись с сотниками, решили брать крепость не с берега, а с воды, откуда меньше всего ждала их шляхта. Гайдамаки собрали все челны, какие только были у берега, а одна сотня, захватив с собой приготовленные веревки и длинные палки с крюками на концах, поплыла камышом к крепости.

Штурм начался перед рассветом, когда густой туман окутал речку. Нападение было до того неожиданным, что стража, увидев на стенах гайдамаков, бросилась бежать, не сделав ни единого выстрела. Часовые опомнились только позже, когда гайдамаки перелезли уже через стену.

Зализняк с двумя сотнями стоял неподалеку от ворот. Оттуда слышно было стрельбу, потом наступи-

ла тишина. Уже думали, что сотню сбросили в воду. Максим хотел было приказать бить дубовой колодой дверь крепости, как вдруг прозвучало с десяток разрозненных выстрелов и двери раскрылись. В усадьбе пылало какое-то строение, в хлевах ревела потревоженная скотина. В предутренней мгле можно было разглядеть, как вспыхивали огоньки выстрелов в окнах замка, рычали, словно звери, пушки, выплевывая в раскрасневшиеся лица гайдамаков картечь. Но уже то тут, то там содрогались гулкие коридоры от радостных восклицаний атакующих, слепо бились под высоким сводом летучие мыши, напуганные сабельным звоном. Максим, не останавливаясь, побежал вверх по ступенькам. Еще в самом начале кто-то высек огонь и зажег воткнутую в нишу плошку. Максим взял плошку в левую руку и нес ее, держа высоко над головой.

Они вбежали в одну залу, потом в другую, перебежали через какую-то круглую комнату — везде было пусто. Гайдамаки, рассыпавшиеся по другим комнатам, тоже не нашли никого. Тогда Зализняк бросился по ступенькам вниз. Бой уже угасал, в залах, коридорах с плошками, свечами, а то и просто с намоченными в смоле пылающими тряпками, вздетыми на сабли, сновали повстанцы. Возле небольшой комнаты, в конце узкого коридора, столпились гайдамаки.

— Что тут такое? — спросил Максим, осветив плошкой чье-то лицо.

— Шляхтичи сюда попрятались, — щурясь от света, ответил гайдамак, — все, которые успели.

Зализняк протиснулся в комнату. В ней, неподалеку от двери, виднелось что-то похожее на погреб, туда вели ступеньки. Возле ступенек, подогнув под себя ногу, будто продолжая бежать, лежал один из медведовских шляхтичей, пан Броварский.

— Что же вы за ними не бросились? — всматриваясь в темень, спросил Зализняк.

— Попытались было, да двое сразу же сорвались в какую-то яму, вот и ждали света.

Максим наклонил плошку и спустился в отверстие.

В нос ударило запахом плесени, застоявшегося воздуха. Саженях в двадцати впереди себя он увидел колодец. Дорожка вела в обход слева. Проходя по ней, Максим посветил и заглянул вниз — по спине от страха пробежал холодок. Дна не было видно.

«Куда же ведет этот ход?» — попытался догадаться Зализняк. Только под землей разобрать было трудно. Миновали еще два колодца. Вокруг одного был обход, через другой лежали широкие мостки. Проверив ногой крепость досок, Максим направился дальше. Через полсотни саженей ход раздваивался. Максим, не задумываясь, повернул направо. Завернул за угол, стало как будто несколько светлее. И вдруг произошло нечто неожиданное. Впереди, где именно, он не мог разобрать, раздался страшный крик, похожий на завывание. Утроенный эхом подземелья, он разбивался на тысячи звуков. Гайдамаки, которые шли за Максимом, толкая друг друга, кинулись назад. Зализняк поднял плошку, она стукнулась о потолок, выскользнула из рук, затрещала под ногами. В то же мгновение что-то метнулось Зализняку под ноги, больно укусило ниже колена. Над Максимовой головой чуб встал дыбом. Максим молниеносно нагнулся над плошкой и, почувствовав второй укус, схватил и сжал руками какое-то животное. Оно дико заворчало, рванулось всем телом, но Зализняк еще крепче сжал руки. Послышался тихий визг, похожий на стон. Только теперь Максим разобрал, что это была небольшая собачонка. Она тихо скулила, словно прося прощения за то, что сделала. Держа собачку левой рукой, Максим поднял плошку, которая, задымив, вспыхнула ярким пламенем, и пошел вперед. В нескольких шагах был еще один поворот, сбоку пробивался бледный утренний свет. Теперь ход, очевидно, был проложен под склоном яра, какое-то дерево пробило корнями размытый дождями слой земли, и она немного осыпалась, образовав небольшой лаз. Через него пробивался пучок лучей, который падал на железные, поросшие мохом двери. В углу под дверью было гнездо, и в нем пищало трое крошечных, еще слепых щенят. Собачонка лизнула руку, словно

прося отпустить ее. Максим опустил ее на землю и улыбнулся.

— Оказывается, ты тут не одна, а с семейством. А напугала меня здорово.

Он пошарил в карманах, не завалялся ли там какой-нибудь кусок хлеба, но ничего не нашел. Присел на корточки и погладил дрожавшую от испуга собаку по короткой блестящей шерсти.

Через минуту Зализняк поднялся и еще раз огляделся вокруг. Этой дорогой беглецы не проходили. Значит, они свернули налево, и теперь их не догонишь. Княгине Думковской и шляхте удалось бежать.

Однако когда Максим вернулся в крепость, то узнал, что бежала только Думковская и незначительная часть шляхтичей. Большинство же их вместе с комендантом крепости полковником Скаржинским отступило во время боя к флигелю и заперлось в нем. Под градом пуль, перебегая от дерева к дереву, туда пробрались гайдамаки. Шляхтичи ожесточенно оборонялись; их вытаскивали по одному из дому и на крыльце отрубали головы.

После восхода солнца из лесу прибыли все сотни, и гайдамаки вступили в Медведовку. Небольшую Калиновскую крепость облили смолой и подожгли с двух сторон. Деревянные строения вспыхнули, как факелы, и горели целый день, пока не взошла вечерняя звезда. Гарнизон сложил оружие, как только вспыхнула первая башня, лишь комендант местечка Белявский с двумя сотниками, воспользовавшись густой завесой дыма, выскочили через северную стену и спрятались в плавнях около Николаевского монастыря.

Сотни надворной стражи пана Калиновского и других панов с самого начала перешли на сторону Зализняка. Возле церкви они приносили присягу на верность Украине. Каждая сотня получила свою хоругвь.

В селе стоял веселый гомон, словно на празднике. По улицам в цветастых платках, взявшись за руки,

ходили девчата, около ворот кучками толпились молодицы и пожилые крестьяне, облокотившись на тыны, стояли старики. Образовав круг, в середине которого мелко выбивали каблуками двое казаков, через Калиновку прошли к шинку запорожцы. Вслед за ними проехало на лошадях еще несколько сечевиков. На перекрестке они встретили гурьбу девчат, преградили им дорогу, со смехом и шутками потеснили лошадьми к тыну.

В это время подошли Роман, Микола и дед Мусий.

— Девчата, прячьтесь ко мне под полы, — расстегивая кунтуш, крикнул Роман. — Лучшая возле сердца укрытие найдет.

— Куда ты, Мусий, так вырядился? — выкрикнул от ворот остробородый старичок. — Сидел бы на печи, пока баба есть дает. Ты же все кости растрясешь.

— За правое дело не страшно и растрясти, — сурово ответил дед Мусий. — Я еще, матери его ковинька... — И старик с важностью повел плечами.

Хотя его вид и вызывал у Романа улыбку, однако он сдержался. Дед был одет в старый, гранатового цвета жупан, синие шаровары и сморщенные, густо смазанные смальцем сапоги. На боку у него была сабля, за плечами торчало источенное шашелем копье, едва ли еще не прадедовское. Роман вспомнил, что им когда-то баба мяла сорочки в жлукте *.

Все трое свернули во двор Карого.

— Дядько Гаврило, эй, где вы, почему не откликаетесь? — заглянул в порожнюю хату Роман. — Нет, может, в хлеву. А, вот вы где!

Увидев Романа, Карый схватил жгут соломы и кинул на мешок, стоявший около присыпанной мякиной кадки.

— Хлебец пересыпаешь? Хороша пшеничка, — запустив руку в кадку, сказал дед Мусий. — Сразу видно, не с бугров, а с Черного поля.

Карый испуганно заморгал глазами.

— С какого там Черного поля, моя собственная.

— Рассказывай, будто я ее не молотил. Чего ты боишься? Ох, и пугливый ты, Гаврило! Люди коней,

скот брали, и то не боятся. Я коня привел. Роман пару волов. Наше оно, потом кровавым полито.

Карый завязал мешок и кинул на него охапку соломы.

— Оно так. Все село брало пшеницу из панских амбаров. И опять же... Роман сел на коня, да и был таков. А мы с тобой тут остаемся. Поздороваемся в лесу на суку. Ну, пойдем в хату. Там поговорим.

— Нам некогда. Вы, тетка, идите, а мы с дядьком поговорим, — обратился к Карихе Микола.

Ничего не сказав, женщина вышла из хлева.

— Дядько, разве вы не идете со всеми? — спросил Микола после ее ухода.

Карый развел руками.

— Куда я пойду, стар стал.

Дед Мусий плюнул в сердцах.

— Ты старый? Я и то иду. Семьдесят мне скоро.

— Может, ты здоровее, крепче, — неуверенно проговорил Карый.

Роман подошел к Карому.

— Заячьи на тебе штаны, дядько Гаврило. Видно, мало тебе паны шкуру дубили.

— Мне мало? Кому ж тогда больше?

— Все идут, один ты за женину юбку держишься. Боишься, как бы паны не вернулись? Не вернутся они, нет им больше дороги в наше село. Что ж, сиди дома, без тебя волю добывать будем. Кто добудет, того она и будет. Знал бы Максим, какой у него сосед.

— Я бы пошел. Так ведь у меня и оружия-то нет никакого.

— Нож острый есть? Вот и хорошо, а там добудем. Идем, ставь магарыч, — хлопнул его по плечу дед Мусий.

— Магарыч-то бы можно, да нет и гроша ломаного за душой.

— У меня тоже, — бросил Микола.

— Нюхателей, выходит, много, а табаку нисколечко, — улыбнулся Роман. — Пойдем в корчму, у меня найдется, — и выгреб из череса пригоршню медяков.

Зализняк думал забежать домой только на минутку. Но, увидев осунувшееся лицо матери, полное безысходной скорби, задержался дольше. Мать не плакала, не упрекала его, только грустно смотрела на сына, подперев щеку маленькой сухой рукой.

— Чего вы, мамо, так на меня смотрите? — сказал Зализняк, усаживая на колени Олю.

— Наглядываюсь. Береги себя, сынок, один ты у меня, и надежда и опора вся. Говорят, ты за старшего там у них. Правда? — Мать утерла концом платка глаза.

— Не плачьте, мамо. Знаю, сколько нагоревались вы из-за меня. Теперь вот снова по чужим людям пришлось скрываться. Недолго уже терпеть осталось, вернусь — и заживем по-новому.

— Дай бог! Не разбираюсь я, что к чему, а все же верю, что ты только за правое дело встанешь. Сызмальства не любил неправды, нрав уж у тебя такой. А паны, они ж людей в скотину превратили, — вздохнула мать. — Сынок, я и позабыла сказать. Орлик прибежал. Сегодня на заре вышла я из хаты, а он в огороде стоит.

Максим радостно поднялся.

— О, это хорошо! Выпустил разбойник, испугался.

Он вышел из хаты и направился в сад. В лицо повеяло опьяняющим ароматом черемухи, смешанным с запахом меда.

Под окном кудрявился нежно-голубой барвинок, словно стрелы торчали вверх петушки. Максим сорвал несколько стеблей с большими желтыми цветами, подул, и с них посыпалась желтая пыльца.

Вон под тем кустом смородины, где гнездятся куры, он нашел когда-то самопал. Что это была за радость! Целый день чистил его с хлопцами, а вечером побежали к Тясмину испробовать его в стрельбе. То ли пороху набили много, то ли ствол разъело где-то внутри от давности и дождей, только разорвался он возле самой ручки. Максиму раскроило надвое большой палец и опалило чуб. Палец не зарастал

долго, а когда зажил, остался приплюснутым и коротким.

«Может, никогда не придется больше увидеть свой садик», — подумал он. Но сразу же отогнал это недоброе предчувствие. Орлик пасся на привязи. Максим подошел к лошади, и Орлик, узнав хозяина, заржал на весь двор, крутнул хвостом и слегка схватил зубами Максима за плечо, как делал всегда, когда хотел проявить свою радость.

— Я еще вечером наведаюсь, — сказал Максим, перекладывая на Орлика седло с серого в яблоках жеребца, на котором приехал.

У встречных гайдамаков Зализняк спросил, не видели ли они Бурку, и узнав, что тот в корчме, поехал туда. Он едва протиснулся в дверь, столько людей столпилось там. Максим поискал глазами Бурку — тот сидел неподалеку от стойки. Только он хотел окликнуть есаула, как его самого кто-то позвал:

— Атаман, выпей с нами чарку.

Зализняк оглянулся. Около стены с чаркой в руке стоял дед Мусий.

— Или, может, уже брезгаешь? — он хитро прищурил глаза. — Так знай, что в корчме и в бане все равные паны.

Зализняк взял из дедовой руки чарку, выпил и закусил луковицей. Гайдамаки немного притихли, поглядывая на атамана, особенно те, кто его еще мало знал. Это были в большинстве своем казаки надворной стражи, которые присоединились к гайдамакам.

Дед Мусий налил еще одну чарку, потеснил кого-то на скамье.

— Садись, Максим, а то тебя теперь только издали видишь. А я бы поговорить хотел. Слухи идут, будто ты от коша грамоту имеешь. Правда ли?

Зная, какие разговоры ходят между казаками, Зализняк уже давно обдумал, что скажет, когда его спросят об этом.

Он посмотрел на деда Мусия и громко, так, чтобы слышали все, ответил:

— Правда, запорожцы тоже с нами.

— А от царицы? — спросил кто-то из угла.

— Имеем и от царицы грамоту. В ней все сказано. Царица повелела бить униатов и шляхтичей, — подходя к Зализняку, крикнул Бурка.

— Где же она? — послышалось из того же угла.

— Лежит та грамота в укрытии, не дозволено ее читать сейчас, — важно ответил есаул. — Настанет время — всем огласим.

Зализняк тем временем подошел к шинкарю.

— У тебя место есть, где бы можно было отдельно посидеть?

— Есть, прошу в камору, — закивал лысой головой шинкарь и приотворил дверь за стойкой.

В небольшую комнату, заставленную бочками, Зализняк позвал Бурку и еще двух сотников, что были в корчме.

— Что изволите пить? — почтительно склонил голову шинкарь.

— Ничего. Хотя нет, пиво будете пить, хлопцы? Три кружки пива. И оставь нас одних.

На столе мигом появилось три кружки пива и связка тарани на чистой тарелке.

— Вот что, панове атаманы. Надо думу думать, что делать дальше.

— Что нам думать, — воскликнул молодой сотник, — теперь пускай паны Думковские и Калиновские думают, им нужно пристанище искать, а не нам. Гулять будем.

— Будешь гулять, пока шляхта из Черкасс придет да даст тебе под зад? — промолвил сотник Микита Швачка. Это был низенький, лет сорока человек с равнодушным на первый взгляд выражением лица. Только маленькие темно-серые глаза, которые быстро перескакивали с одного предмета на другой, выдавали его неспокойный характер.

Максим уже знал, что Швачка был нрава резкого, придирчивого и не упускал случая уколоть, а то и посмеяться над кем-нибудь.

— Верно, сидеть нельзя. Надо идти на Черкассы. Там самое большое логово. А позади себя следует

место надежное подготовить, куда можно лишнее оружие спрятать и казну. Такое место, где в случае неудачи и самим отсидеться можно.

— У нас же есть место, яр Холодный, — отхлебнул пива Бурка.

— Видишь, оно было хорошим, пока мы прятались там, и вся сила наша там была. Ты думаешь, куда шляхта отправилась? В лес, наверное. Наш же лес против нас самих и обернется. Я думаю, самым лучшим местом был бы Николаевский монастырь. Он на острове, сам как крепость.

Сотники задумались.

— Верно, место удобное, — отозвался немного погодя и Швачка.

Бурка тоже не возражал.

— Тогда, Микита, сейчас езжай и договорись с игуменом, — обратился к Швачке Зализняк. — А мы еще одно дело сделаем. Нужно посланцев в Сечь снарядить, а заодно и в ближние волости. Пускай всем рассказывают, что совершилось здесь, пускай поднимают крепостных. Шляхта сильна. Войско у нее, пушки. Но это не страшно. Одолеть ее можно. Коршун тоже силен, а ласточки его гонят. В единении наша сила.

— Воззвание бы написать, — молвил Бурка, отодвигая кружку.

— Напишем, зови писаря.

— Он пьяный лежит.

— Я буду писать, — сказал молодой сотник, — были бы перо да бумага.

Позвали шинкаря, велели достать бумагу, чернила и перо.

Шинкарь поспешно принес. Сотник взял перо, старательно макнул его в чернильницу и подложил бумагу. Он наморщил лоб, водя другим концом пера у себя по подбородку.

Максим напряженно думал. Он закусил по привычке нижнюю губу, стучал по столу пальцами.

— Пиши: «Коронные обыватели, слушайте нас...» Нет, не так, замарай. — Зализняк отпил из Буркиной кружки и зашагал по комнате.

«Что же писать? Может, позвать кого-нибудь из грамотных людей?» — подумал он. Вдруг вспомнились слова, которые он говорил около монастыря.

— Пиши: «Порабощенные браты наши, жители панских и церковных поместий. Наступила пора выбиться из неволи, освободиться от ярма и бремени, которые вы терпели от своих панов...»

Перо быстро забегало по бумаге. Сотник только на миг остановился, чтобы снять с него соринку, и продолжал дальше. А Максим говорил:

— «...И станете вы вольными, без панов и управляющих, счастливыми людьми...»

Сотник едва успевал записывать. Он сам удивлялся, откуда берутся у их атамана такие слова, ласковые, как весеннее солнце, острые, как сабли, колючие, словно татарские стрелы.

— Все, — наконец остановился Зализняк. — Прочитай.

Сотник медленно прочитал написанное и снова макнул перо:

— Подпиши, атаман.

Максим подошел к столу и стал за спиной сотника.

— Подпиши сам.

— Как подписывать?

Максим взял кружку и пожал плечами.

— Разве не все равно, подпиши, как знаешь.

— Конечно же, не все равно. — Сотник поднял голову. — Титул какой-то нужно. Если мы сотники, а ты над нами старший, так ты должен быть, ну, к примеру, полковником.

И уже не дожидаясь согласия, сотник черкнул: «по-к Зализняк с войском».

Максим вышел во двор не через корчму, а через комнату, в которой жил корчмарь. Возле поломанного тына стояли Микола, дед Мусий, Карый и Роман.

— Вот так-так, повел в корчму, матери его ковинька, — показывая Максиму на Романа, бранился дед Мусий. — Заказал, а сам сбежал. Говорит, я сейчас. Ждем-пождем, а его, висельника, как вода смыла. Хоть штаны в заклад отдавай.

— Я же пришел, — оправдывался Роман.

— Ты пришел!.. Запорожцы выручили, заплатили. К крале своей бегал. Нужен ты ей. За ней Иван Загнийный ухаживает. Недаром же тебя так быстро Галя и прогнала сегодня.

Роман стоял, заложив руки в карманы, и смущенно улыбался.

— И совсем не прогнала. Если хотите знать, так вот. — Он вынул из кармана кисет и расправил его на ладони. — Взгляните, что вышито: «Оце тому козаченьку, що вірно любила».

Дед Мусий протянул руку, но Роман спрятал кисет в карман. Он хотел пошутить и вдруг густо покраснел, зачем-то стал застегивать кунтуш.

— Так и женился бы, — будто в сердцах сказал дед Мусий. — Болтается лоботряс такой, наверно уже двадцать пять стукнуло. А вот и еще один кавалер старый, хоть и атаман. Разве не придется потанцевать на твоей свадьбе, Максим?

Зализняк улыбнулся.

— Потанцуешь, диду, придет время. А вы, хлопцы, — обратился он к Миколе и Роману, — собирайтесь в дорогу, поедете с грамотой. Не вы одни, многие поедут. Зайдите к Бурке, он даст. Сейчас писать будут.

Зализняк рассказал, куда и зачем они поедут. Роман согласился с радостью, Микола же — с видимой неохотой.

Максим поглядел на солнце — оно клонилось к горизонту. Швачка должен бы уже вернуться. Ожидая его, Максим пошел вдоль улицы, по которой тот должен был ехать. Но сотника не встретил.

Возвратился Швачка только вечером и рассказал, что игумен наотрез отказался пустить гайдамаков в монастырь. Когда он, Швачка, попробовал сказать слово наперекор, то игумен велел выпроводить его прочь. В гневе он бросил игумену несколько оскорбительных слов, и монахи хотели схватить его. Гайдамаки не дались им в руки, выскочили и засели в лозняках. Хорошо, что на берегу было с полсотни запорожцев на лошадях. Их Швачка прихватил с со-

бой на всякий случай. Увидев своего сотника в затруднительном положении, они бросились вплавь к острову.

— Мы монахов немножко поучили уму-разуму, — усмехнулся под конец Швачка. — Игумена потом в бане нашли, прятался. Хлопцы там тряпья немного привезли да деньжат торбу. Да еще книжек два челна на ружейные пыжи. А монахи целы все. Когда будем перебираться?

Зализняк посуровел. Не следовало трогать монахов. Могут пойти разные нехорошие слухи между крестьянами.

— Не нужно было этого делать. Теперь нам туда ходу нет. В крепости Кончакской оставим гарнизон. Езжай к своим. На заре выезжаем отсюда. Тарану Ивану скажи, пусть едет в крепость. И это золото ему передай, он останется с полусотней.

Зализняк легко вскочил на коня и рысью поехал к крепости. Там он пробыл весь вечер.

Уже пропели первые петухи, когда он подъехал к Оксаниному двору. Оксана, должно быть, и не ложилась в этот вечер. Как только он соскочил с коня и стукнул воротами, она тотчас появилась на пороге и спросила шепотом:

— Это ты, Максим? А я дожидаюсь. Неужели, думаю, не приедет.

— Как бы это я не приехал?

Оксана взяла из Максимовых рук поводья.

— Пойдем отсюда, тут все видно.

Ночь была лунная. Большие звезды, словно слезы, дрожали высоко-высоко в небе.

Максим и Оксана вошли в клуню. Она привязала коня к возу, стоявшему посредине тока, и положила охапку сена. Они сели на бревно под копной прошлогодних обмолоченных снопов. Только теперь Максим почувствовал, как тяжелая усталость разливается по его телу. Оксана словно угадала это.

— Устал?

— Немного устал.

— Полежи на сене, тут дерюжка есть.



— Я хочу с тобой посидеть.

— Я же рядом сижу.

Максим лег на сено, с наслаждением раскинулся на нем. Оксана сняла с его головы шапку и подложила под голову.

— Боюсь я, Максим. Страшно все это и непонятно мне. А страшнее всего то, что ты опять уедешь.

— Ты уже знаешь? Теперь ненадолго, Оксана. Ты

ж умеешь ждать, правда? И понимаешь все? Ох, и заживем, когда приеду! — Он взял ее руку и крепко сжал в своей. — Иди сюда... ко мне.

— Не надо, — чуть слышно прошептала она. — Максим, ты будешь беречь себя для меня, будешь? Обещай.

— Обещать? Этого не могу, Оксана. Я же атаман, на меня все смотрят. Хотя зря свою голову я никогда не подставлю. А ты себя береги. Всякие люди есть. Ты ведь моя невеста, это все знают. Чуть что — иди в крепость к сотнику Тарану, я ему сказал о тебе. Я буду вести о себе присылать, сам, когда можно, буду наведываться.

— Любимый мой! Без тебя я жить на свете не смогу! Твоя любовь — единственная моя отрада, единственное утешение!

Голос Оксаны понизился до неразборчивого шепота. Она поправила под головой Максима шапку и легла рядом с ним.

Глава одиннадцатая
БЕГЛЕЦЫ

Уже поздний вечер, а Ян не приходил. Это начинало беспокоить Василя. Он сидел на опрокинутом челне на берегу Лососны и, вырезывая на палочке крестики, тревожно поглядывал на дорогу. Ведь Ян приходил всегда после десяти, и они вместе шли домой. Так было каждый день уже полгода — на протяжении того времени, как они прибыли на Гродненские мануфактуры. Мануфактуры были не в самом Гродно, а в Гроднице, предместье Гродно, в бывших конюшнях гвардии короля Августа III. Мануфактуры различные: прядильная, суконная, каретная, полотняная и много-много других.

Василь снова взглянул на дорогу, которая петляла вдоль берега Лососны, — никого не было видно. Только табун гусей, громко гогоча, шествовал по ее обочине. Тревога еще сильнее охватила хлопца.

«Мало ли что могло его задержать, — успокаивал сам себя Василь. — Чего бояться, все, наверное, уже забыли, что мы и на свете живем».

Но какой-то внутренний голос, вопреки всем доводам, твердил, что о них не забыли, и можно ожидать всяких неожиданностей. Снова, будто вспугнутые птицы, нахлынули воспоминания. Родное село вблизи Люблина. Мать. Отец. Вот стоит отец, закованный в колодку между двумя столбами. А они с Яном гонят на базар трех овец, чтобы заплатить в фольварк восемьдесят злотых оброка. Тяжко было его выплачивать, но еще более тяжкое наказание ждало того, кто не выплачивал в срок. И во сто крат страшнее было то, что оброк вскоре отменили и снова, как в давние времена, ввели барщину. Крестьяне выслушали приказ о барщине молча и молча разошлись по домам. Так было, пока не уехали с фольварка жолнеры. Вот тогда и начали крестьяне собираться вечерами по хатам, бранили пана, кое-кто угрожал. Чаще всего сходились к ним, Веснёвским. Однажды дед Збышко принес грамоту. Он достал ее на ярмарке, где-то аж на Волыни. Бумага была исписана с двух сторон, с одной — по-польски, с другой — по-украински. Эта грамота осталась у них, и Василь много раз перечитывал ее; большую половину даже знал наизусть. Чтобы развлечь себя, хлопец стал припоминать места из грамоты.

«...Настало уже время подняться из рабского состояния, которого не терпят наши братья в наследственных монархиях и даже в оттоманских владениях. А если бы какое село или выселок уклонились от этих действий, то они первые узнают нашу суровость, как и милость почувствуют сначала ближние».

И как грозно звучало в конце напоминание панам о временах Хмельницкого и Костки Наперского. А внизу подпись стояла: «Крестьяне Короны, что объединились за веру и волю». А потом... Что было потом, Василь долго сам не понимал. Однажды утром их разбудил отец. Был вторник, а в костеле звонили, как на праздник. К фольварку с вилами, косами бе-

жали крестьяне. По улице мимо их двора очумело промчался белокопытный конь с панского выезда, и трое крестьян на углу улицы перерезали ему путь. Отец с Яном привели домой корову и кобылу-двухлетку. Радовалась и боязливо вздыхала мать, возвращаясь с подойником в хату. И снова... Страшная грозовая ночь. Словно нарочно выбрали солдаты ландмилиции такую. Молнии пронизывали тяжелые, свинцовые тучи, тысячами пушечных выстрелов раздавался над головой гром. И в перерывах между его ударами — тяжелый стук прикладов в дверь. Отца не было дома. Ян открыл дверь и, увидев прямо перед собой ландмилиционера с пистолетом в руке, в одно мгновение закрыл ее. Они с Яном выскочили в окно, и Василь столкнулся лицом к лицу с ландмилиционером. Он рванулся в сторону, и сразу треснул выстрел. Василю показалось, что около самого его затылка. «Стой, пшеклентый хлоп, сто копанок дяблов тебе в глотку». Василь не помнит, долго ли они бежали; Ян держал его, как маленького, за руку и успокаивал на бегу. Обессиленные, они упали в канаву за селом, не зная, что делать, куда податься дальше. Гроза утихала. И когда наступил рассвет, Василь увидел, что залегли они у самой дороги, и по той дороге возвращается из села ландмилиция. Хлопцы притаились в полыни у дороги, а над ними стучали копыта и, покачиваясь в седлах, напевали веселенькую песенку ландмилиционеры. Василь лежал боком, подогнув от страха ноги, и сквозь бурьян видел, что запевал ее тот самый ландмилиционер, который стрелял в него. Эта песенка навсегда осталась в Василевой памяти:

В час свободный, после службы,
Мы берем с собою ружья:
Чем не божья благодать,
Кур по селам воровать?

— ...Ты не заснул тутай? — вдруг услышал Василь сзади. Возле него, подбирая длинные ноги, присел Ян.

— Мог и заснуть. Сам же обещал, что сегодня пойдем в город. Ты откуда, почему не дорогой?

— Оттуда. — Ян неопределенно показал рукой. — Слушай, Василь, мы уже не пойдем в город. Ни сегодня, ни завтра, никогда. Мы сейчас должны бежать.

— Как бежать? Ведь нас никто не трогает? — испуганно задрожал Василь.

— Не трогали пока что, — расправил узкие брови Ян. — На сапожной мануфактуре бумаги у всех проверяли. Комиссары понаехали. Не сегодня-завтра на мою или на твою придут.

Василь почувствовал, как в груди у него похолодело. До этого времени их никто не тревожил. Они бежали из села и добрались сюда; им просто повезло в дороге. А может, не столько везло, сколько умел все устроить Ян. О, какой он умный, Ян! Он всегда хорошо знал, к кому можно зайти переночевать, у кого попросить краюху хлеба. Недаром и тут Яна уже через неделю взяли на лучшую мануфактуру — шелковую. В Гроднице у них никто не спрашивал никаких бумаг. Ян сказал цехмистру, что они вольные хлопы, выкупились за четыреста злотых у своего пана. Цехмистру было все равно — правду или неправду говорит этот хлоп. Он знал, что директор мануфактуры сам охотно берет пришлых хлопов. Их можно по нескольку лет держать в подручных, выплачивая по четыре злотых в месяц. Кому они пожалуются? С ними вообще легче. Можно побить, лишить платы. А не покорится — приковать к колодникам, которые работают в каретной мануфактуре, и пусть потом звенит хлоп кандалами.

— Куда же мы отправимся? — упавшим голосом спросил Василь.

— На Украину, Василь, убежим. Мы не одни, много подмастерьев бросают мануфактуру. На Украине посполитые панов стали бить. Нам другого пути нет, как только к ним.

Василь широко раскрыл глаза.

— Так те ж посполитые — украинцы. Они могут нас убить.

Ян положил руку Василю на плечо.

— То бедные люди, Василь, такие, как и мы. Они шляхту бьют. Я тебя не хотел тревожить. Позавчера на мануфактуру бумагу завезли обозники.

Ян вынул из кармана измятый лист, расправил на колене и указал тонким, со сломанным ногтем пальцем на первую строку. «Универсал к крестьянам, чтобы к восставшим гайдамакам присоединялись», — по складам прочитал Василь.

— Смотри сюда, — снова указал Ян. — Тут вот написано: «Братья наши счастливо начали на Украине освобождаться из-под ярма. Призовите бога в спасенье и переходите на помощь». Теперь понимаешь, — Ян свернул листок и спрятал под шапку, — бояться нечего. Только бы добраться удалось. А это вот нам на дорогу.

Ян засунул руку за пазуху и вытащил широкий красивый пояс.

— Где ты взял, зачем? — спросил Василь.

— Этот пояс стоит триста злотых. Он выткан золотом. Мы его обменяем на деньги, я его две недели ткал.

— Так ты украл? — спросил Василь.

Ян усмехнулся.

— Выдумал — украл. У кого украл? У панов? Разве они его делали? Я взял, чтобы было на что в дороге прокормиться. Довольно сидеть. Нужно идти не мешкая. Когда утром кинутся искать, мы уже будем далеко.

Ян обнял брата и нежно погладил его по плечу.

— Не бойся, братик, все будет хорошо. Счастье само не идет в руки. Его завоевывать нужно.

Хотя Василю было семнадцать лет, а Яну только на два года больше, Василь чувствовал себя спокойно только тогда, когда находился вот так рядом с Яном, ощущал прикосновение его руки, слушал его рассудительную речь. Какой умный и храбрый Ян. И как хорошо иметь такого брата!

Роман разобиделся. Он ехал сбоку и, отвернув голову, насвистывал песенку. Всех их ехало человек

тридцать. Они должны были добраться вместе до Смелы и уже оттуда группами по три-четыре человека разъехаться по селам. В каждой такой группе имелся один грамотный человек, он должен был читать крестьянам универсал. Гайдамаки были одеты в форму надворной стражи. И хотя старшим над ними Зализняк назначил атамана Шилу, Роман попросил, чтобы сотником надворной стражи одели его. Шило, спокойный, степенный человек, согласился с радостью. «Лучше я буду играть малую комедию, чем большую», — сказал он. Но Роман, себе и другим на забаву, скоро стал злоупотреблять своим положением. Когда они проезжали через какое-нибудь село, он вел себя на людях надменно и высокомерно, как будто и в самом деле был сотником отряда, требуя от переодетых гайдамаков почтительного отношения к себе. Гайдамаков распирало от смеха, когда он в одном селе погнал в корчму за горилкой самого Шилу. Разгневанный сотник, как только они выехали за село, остановил коней, приказал Роману снять с себя сотницкую одежду и отдать ему.

Роман перестал насвистывать и с любопытством уставился на нескольких запорожцев из гайдамацкого отряда, которые затеяли игру. Каждый из них по очереди разгонял коня и, кинув шапку, на скаку ловил ее. Кто же не успевал поймать, должен был в первой же корчме угостить за свои деньги товарищей. Долго никто из них не проигрывал. Только на третьем заходе один из запорожцев неудачно перехватил поводья, и шапка, скользнув по локтю, упала на землю. Вокруг раздались довольные выкрики.

Гайдамаки выехали на бугор и пустили лошадей шагом. В долине виднелось село. Впереди них к селу ехала подвода. Роман пришпорил коня и поскакал вперед. Вскоре он был уже возле подводы. Небольшая брюхатая лошаденка, лениво помахивая хвостом, дремала на ходу. На возу, подложив под щеку обе руки, сладко спал здоровенный, краснощекий поп. Большая зеленая муха лазила у него под носом, но поп не ощущал этого и сладко чмокал во сне губами.

— Батюшка, ау! — позвал Роман.

Поп даже не шевельнулся.

«Пьян», — догадался Роман.

Разглядывая попа, он думал: что бы ему сделать? Повернуть коня, и пусть он едет туда, откуда выехал? Но позади гайдамаки, они остановят воз. Роман посмотрел в сторону, и вдруг по его лицу расплылась улыбка. Он слез со своего коня и, оставив его на дороге, взял попову лошадь за уздечку. Справа блестело болото, и к нему тянулись в траве две колеи, проложенные, видимо, еще с осени, когда сюда возили мочить коноплю. Роман повернул лошадь на колеи, провел немного и пошел назад. Он сел в седло, выжидая, что будет дальше. Лошадь, наверное, захотела пить, дошла до пруда и стала понемногу заходить в воду. Высоко подтянутый чересседельник не давал ей дотянуться мордой до воды, и она брела все дальше и дальше, таща за собой воз. Вода уже была выше колес. Вдруг поп испуганно вскочил. Он протер глаза и сразу завизжал тонким голосом, который никак не шел к его дородной фигуре:

— Спасите! Тону! Господи, спаси, грешен есмь!

Роман видел, что конь спокойно пьет воду и что болото неглубокое. Свистнув сквозь пальцы, он стегнул коня нагайкой и отпустил поводья. Гайдамаки нагнали его уже при въезде в село.

— Я тебе посмеюсь над святым отцом, — показал кулак Шило. — Совести у тебя нет. Крест святой носит, а сам помогает черту вертеть его мельницу. Недаром батюшка думал, что это дьявол его в воду уволок. Как есть дьявол. Тьфу на твою голову!

— На свою плюй, — усмехнулся Роман. — Говорите, поп подумал, что это дьявол его в воду завел?

— Здорово же он перепугался. А как в рясе в воду соскочил! — хохотали гайдамаки, покачиваясь от смеха в седлах.

Роману с Миколой и запорожцем-грамотеем выпало ехать в Мельниковку.

— Леший его знает, откудова начинать, — говорил запорожец, когда они выехали на Смелу. — Того и гляди наскочишь на какого-нибудь пройдоху, и он продаст со всеми потрохами.

— Да кто нас слушать станет? Еще и оделись, как поповна на смотрины, — кинул Микола, оглядывая поля. — Рожь буйно растет. Глядите, как поднялась дружно.

В Мельниковку приехали под вечер.

— Давайте искать самую бедную хату, и там остановимся, — предложил запорожец.

— Ничего не выйдет, нужно в самый богатый двор ехать, — не согласился Роман. — Ты послушай! — остановил он отрицательный жест Миколы. — Там мы увидим, к кому лучше идти. И ехать далеко не надо, сворачиваем прямо в этот двор. Гляди, горшки, словно лысины на солнце, блестят, видно гончар живет.

Роман слез с коня. Через двор, задрав кверху свою рыжую бороду, бежал Зозуля.

— Дай, боже, вечер добрый, — поздоровался Роман. — Хозяин, у тебя найдется место переночевать проезжим казакам?

— Хата у меня невелика, а семейство большое. Ну да ничего, потеснимся. Заводите коней.

Пока гайдамаки задавали коням корм, Зозулина жена готовила ужин. Зозуля сам пригласил их к столу.

— Садитесь, угощайтесь чем бог послал, — говорил он, нарезая тоненькими ломтиками хлеб.

Роман бросил взгляд — на столе дымился постный борщ.

— У этого не разживешься, хозяин не слишком щедрый, — шепнул запорожец Роману. — Придется свою доставать.

Он отстегнул от пояса рог и потряс около уха.

— Найди, хозяин, во что налить.

— Сейчас. Ну-ка, подай нам капусты, — велел Зозуля жене, вылезая из-за стола.

Выпили по чарке, потом еще по одной. Слово за слово между Романом и Зозулей завязался разго-

вор, к нему присоединились и остальные. Сначала говорили про посевы, про погоду. Зозуля жаловался на убытки, которые ему принесли дожди.

— Вы издалека едете? — осторожно спросил он немного погодя.

— Из Чигирина, — отвечал Роман и набрал пальцами капусты.

— Что же там нового? Слухи идут, будто гайдамаки Медведовку разорили.

— Начисто. Всех, кто побогаче, по ветру пустили. Целые улицы вырезали. — Роман взял ложку. — У моего брата от усадьбы пожарище осталось, сам чуть живой выбрался. Вот и едем с грамотой чигиринского коменданта. Они вот-вот и до Чигирина доберутся, надо упредить их. За помощью едем.

— Верно! Сразу их в кулак надо. — Зозуля поднял над столом свой небольшой грязный кулак с зажатой в нем ложкой. — Всем из-за них покоя нет. Знаю я этих лайдаков *. У нас в селе тоже...

— А что у вас? — будто равнодушно спросил Роман.

— Неспокойный народ, своевольством дышит. Не весь, правда. Однако есть такие голодранцы. Я уже говорил пану: схватить бы того-то и того-то да в яму бросить. Безопаснее было бы.

Роман не перебивал. Он взял у запорожца рог, налил еще по чарке.

— Людей туманят, слухи всякие возмущающие распускают, — крякнув, продолжал Зозуля. — Батрак мой бывший в селе живет, Неживой Семен. Он меня давно убить намеревался. К пану с поклепом на меня бегал. Там ему сто с гаком отмерили — с месяц чесался. Съел бы меня, будь бы его воля. Но я ему скоро руки укорочу. Дай только узнать что-нибудь достоверно. — Зозуля наклонился и зашептал: — Вчера шел, заглянул в окно, а у него в хате человек десять сидят. Все один в один — бечевкой хлеб режут. Думаете, добро замышляют? Знаю. Сын мой у пана так, как и вы вот, в сотне сторожевой. Завтра должен приехать, все ему расскажу.

Гайдамаки поддакивали Зозуле, изредка вставляли какое-нибудь слово. После ужина Роман сказал, будто хочет посмотреть село, и вышел на улицу. Поблизости от Зозулиного двора, спиной к Роману, стояла с ведрами какая-то молодица. Она наклонилась, чтобы зацепить ведра коромыслом, но Роман взял ведра в руки и, взглянув на нее, спросил:

— Куда нести?

Молодица растерянно посмотрела на казака, развела руками:

— Домой, вон моя хата.

Роман пошел рядом с женщиной.

— Муж мне чуба не намнет? — сказал он, поставив ведра у ворот. — Его еще с поля нет? Это хорошо. Не сердись, я шучу. Скажи лучше, где тут Неживой Семен проживает?

— Тот, что Явдоху держит?

— Не знаю, кого он держит, у гончара он раньше работал.

— Вот там, возле пруда. Вторая хата с того конца.

Роман поблагодарил и пошел от ворот. Через несколько шагов его догнал Микола.

— Чего ты идешь? — обернулся к нему Роман. — Возвращайся назад. Не то гончар, чего доброго, заподозрит еще. А я к этому Неживому сам наведаюсь.

Микола не возражал. Он немного постоял на улице, поглядел, как медленно, беззаботно поглядывая на все стороны, пошагал Роман, и вернулся во двор. Некоторое время ходил около сарая, разглядывал гончарный станок, а когда надоело, пошел в кухню, где уже спал запорожец. Микола лег рядом. Сон не приходил, и Микола лежал с открытыми глазами, заложив руки за голову. О сегодняшних событиях не думал, они его мало волновали. Не по душе была ему эта поездка с грамотой; Миколе казалось, что это лишнее дело. Да и не ему этим заниматься, тут нужен человек ловкий. Вот если бы поскорее за сабли взяться, там он себя покажет! А над этим пускай Роман мудрует.

Роман пришел не скоро. Он сел на сене, стал неторопливо разуваться.

— Ну как? — спросил Микола.

— Лучшее разве только наснится. Этот Неживой разумный хлопец. У них уже все договорено. Хотели сами посылать кого-нибудь в Медведовку, узнать, правда ли то, что им рассказывали. У него и в соседних селах знакомые батраки есть. Завтра он сход созывает. — Роман всунул в сапог онучи и, подкладывая под голову кунтуш, еще раз повторил:

— Хлопец весьма разумный.

Неделя, проведенная в Мельниковке, пролетела необыкновенно быстро. На второй день был сход. Прямо оттуда люди двинулись в панское поместье. Небольшой отряд надворной стражи не сделал ни единого выстрела. Часть казаков присоединилась к крестьянам, тех же, которые сопротивлялись, обезоружили. Атаманом крестьяне выбрали Семена Неживого. Роман удивлялся его деловитости и рассудительности. Неживой с отрядом прошел по соседним селам, а в другие послал своих людей. Каждый день к нему прибывали толпы крестьян. Семен умел все растолковать, всем находил нужное место. Он не суетился, не бегал, а распоряжался спокойно, обдумав каждое дело заранее; все выходило у него так умело, будто он весь век прослужил в войске. Через несколько дней уже все было готово к выступлению.

Однажды Роман с Неживым и несколькими гайдамаками возвращались из соседнего села и заехали на хутор попить воды. Встретил их старик пасечник. Когда он узнал, кто у него в гостях, то вынес не воды, а ведро настоенного на ячмене кленового сока. Гайдамаки уселись на колоде около ворот и, похваливая напиток, расспрашивали у старика о житье-бытье. Дед говорил неохотно и все время почему-то поглядывал на Неживого, словно испытывал его. Когда тот, поблагодарив за угощение, взялся за повод, дед остановил его:

— Постой-ка, дело к тебе есть. Был бы ты не

мельниковский, не признался бы и тебе. Только гляди, не подведи меня на старости лет. Даешь обещание сделать то, что я попрошу?

— Обещанного три года ждут... Ты не обижайся, диду, это я в шутку сказал. Не знаю, какая твоя просьба...

— Ты ее сможешь выполнить. Кладешь крест? А то не скажу.

— Ладно, кладу, — усмехнулся Семен. — Говори быстрее, нам ехать надо.

— Перекрестись!

— На духу я, что ли? Ну, вот тебе крест, — начинал уже сердиться Неживой.

Дед еще раз почему-то оглянулся и, наклонившись к Семену, заговорил:

— У меня в клуне шестеро людей скрываются. Поляки, из самого Гродно бегут. Они хотят к Зализняку попасть. Помоги им добраться туда.

— Может, они лазутчики какие, — засомневался Микола, который внимательно прислушивался к разговору.

— Эх, несешь ты невесть что, — оскорбился дед. — Неужто я бы лазутчиков не распознал? Самая что ни на есть беднота.

— Веди их. Мы завтра отсюда едем и их с собой возьмем, если они, конечно, стоят того.

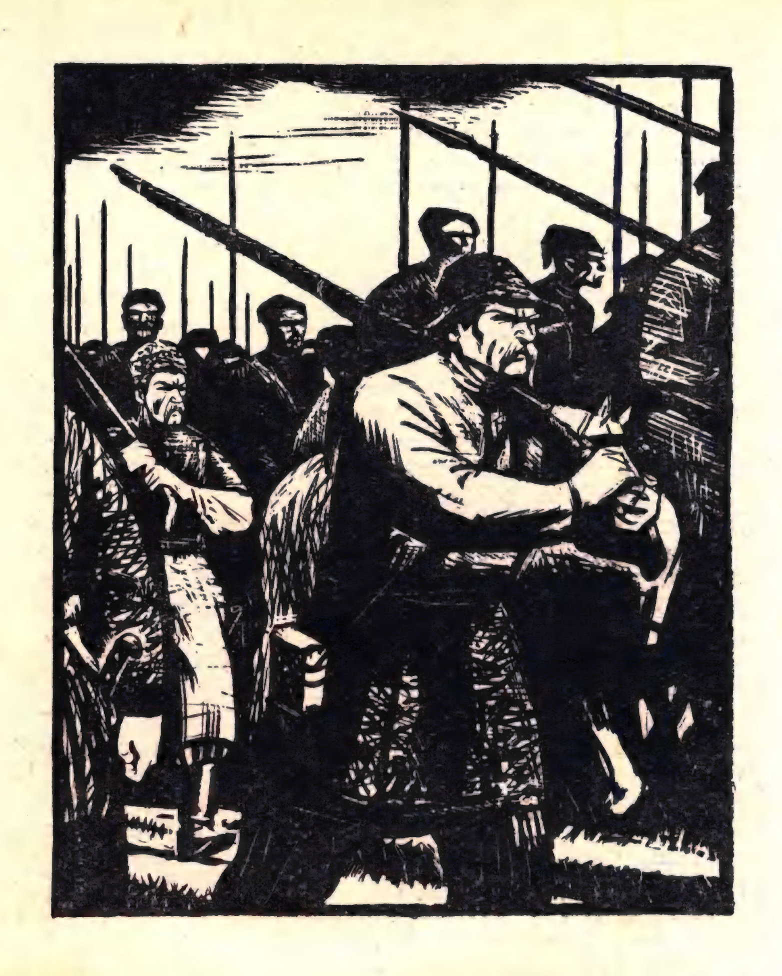
Старик пошел в хлев, за ним отправились несколько любопытных гайдамаков. Пасечник откинул в одном месте несколько вымолоченных снопов, отгреб солому и поднял дверцу.

— Вылезайте, хлопцы, тут свои.

Из погреба один за другим вылезло шестеро исхудавших парней. Самый высокий из них, обеспокоенно поглядывая на гайдамаков, снял шапку. Остальные сделали то же самое.

— Мы, вашмосць, хлопы из Польши, — считая за главного Романа и обращаясь к нему, сказал высокий длинноногий поляк. — Хотим в гайдамаки.

«Что скажет Зализняк, когда приведем с собой поляков? — подумал Неживой. — Может, будет не-



доволен? Но они же не паны, а вон какие голодранцы. Руки большие, рабочие. Только у длинноногого будто немного не такие».

Роман тоже смотрел на руки длинноногого.

— Что это у тебя пальцы, как у музыканта, белые? А ну, ладонь покажи.

Цыбатый сразу догадался, почему гайдамаки разглядывают его руки.

— Я на шелковой мануфактуре работал, — поспешно начал он рассказывать. — Поясы пшеткал злотом, на чистой работе был. Это брат мой Василь, а меня Яном зовут. Брат на прядильной был. А сами мы хлопы, от пана бежали.

— А мне откуда знать, хлоп ли ты? — спросил сурово Неживой.

Ян растерянно посмотрел на него.

— Что это такое? — полушутя, полусерьезно спросил какой-то гайдамак, показывая на опрокинутую зубьями вверх борону.

— То есть брона, — метнулся к бороне Ян. — Давайте волов, я сейчас запрягу.

— Не нужно, и так видим, идите в Мельниковку, — остановил его Неживой. — Диду, покажи хлопцам дорогу. Вы не бойтесь, идите смело, тут на пятнадцать верст панами уже и не пахнет.

...В субботу Неживой вывел свой отряд из Мельниковки. Часть людей была на лошадях, большинство же шло пешком. Оружие тоже у всех разное: сабли, ружья, копья, ятаганы, ножи, преимущественно насаженные на палки, у двух или трех на шее висели даже татарские луки. Несколько повстанцев вместо копий несли на плечах длинные колья, закопченные на концах. Позади отряда ехало с десяток возов. На одном из них сидела с детьми Явдоха, жена Неживого. Семен побоялся оставить ее в Мельниковке, и, хоть Явдоха (она была на сносях) долго отказывалась бросить родной очаг, он все же уговорил ее.

Ян, Василь и остальные поляки шли в конце отряда перед возами.

«Вот они какие, гайдамаки», — думал Василь, шагая рядом с братом. Он прислушивался к разговорам, но понимал не все. Василь уже знал, что они идут в войско атамана Зализняка. Это имя он слышал не раз по дороге из Гданьска. Хлопцу несколько раз виделся атаман, но всякий раз по-новому. То он представлялся ему старым дедом с широкими косматыми бровями, то молодым, высоким, похожим на этого Неживого, то широкоплечим, с длинным, за са-

мое ухо оселедцем, как у того запорожца, который, наклонившись с коня, разговаривает с кем-то на возу. Хотя Ян все время и успокаивал его, Василь видел, что брат сам не уверен во встрече с атаманом. Какая-то она будет?

Атамана Василь увидел через два дня. Их повели к нему, как только прибыли в лес, к монастырю. Когда они вошли, Зализняк уже кончал беседу с Неживым. Максиму Неживой понравился с первого взгляда. В нем было что-то такое, что привлекало к себе, располагало к искреннему, теплому разговору. В серых с ласковой искоркой глазах Неживого светились ум, спокойная отвага.

Увидев польских беглецов, Зализняк прервал разговор с Неживым и подошел к ним. Он долго вглядывался в их лица и, обращаясь ко всем вместе, сказал:

— Чего вы столпились у порога? Проходите, садитесь вон на скамью.

— Дзенькуем бардзо, — учтиво ответил за всех Ян, — мы постоим, невелики паны.

— Как хотите, — махнул рукой Зализняк. — А что паны невелики, это видно. Говорите же, зачем пришли ко мне?

— Атаман всех, кто приходит к нему, спрашивает об этом? — сказал Ян, выходя вперед.

Максим встретился с ним взглядом и, переводя глаза на Василя, ответил не сразу.

— Когда толпой приходят — всех не спрашиваю. Это я так поинтересовался, чтобы удостовериться. Знаю, зачем пришли. Вместе будем волю добывать. Куда бы вас определить?

— Этого в скороходы, — широко усмехнулся Роман. — Вишь, ноги какие длинные. Его и на лошади не догонишь.

Ян обиженно обернулся к Роману.

— Не скаль зубы, не посчитаю. Тутай про дело говорится, а ты смешки строишь.

— Чего ты сердишься? — удивился Роман.

— Не болтай языком, когда не следует. Хорошо, парень, ты его обрезал. А то тут такие молодцы,

что и на голову сядут. Не будь никогда сладким, не то разлижут, — сказал Швачка.

— Я же в шутку сказал. Ты не принимай близко мои слова, — Роман хлопнул Яна по плечу. — Пойдем к нам в сотню.

Швачка вылез из-за стола и подошел к Яну.

— Парень ты, я вижу, бойкий. Я давно хотел такого найти. Мне джура * нужен. Знаешь, кто такой джура?

— Знаю, почти гайдук, — ответил Ян.

— Почти, да не совсем. Это у шляхтичей гайдуки. А ты у меня как бы за помощника будешь.

Ян радостно посмотрел на Швачку, но вдруг на его лицо набежала тень.

«Как же Василь будет, он такой беззащитный? Лучше бы его в джуры», — подумал Ян. Его радость померкла.

— Пускай пан возьмет вместо меня в джуры моего брата. Он сметливый хлопец, — быстро заговорил он.

Швачка почесал затылок, вынул из кармана кисет.

— Не знаю, как и быть. Двоих мне не надо, — ответил он, набивая в нос крепкий табак. — Ты же мне очень по нраву пришелся, хотя и твой брат, вижу, неплохой хлопец. Апчхи! — громко чихнул он. — Максим, у тебя тоже джуры нет. Может, возьмешь хлопца?

— Зачем мне джура? — развел руками Максим. — Умываться я сам могу, одеться тоже еще сумею. Лет через сорок, пожалуй, и пригодится.

— При чем тут одеванье да умыванье. Послать ли за кем-нибудь нужно или за конем приглядеть. Ты же полковник, вот и не годится тебе без джуры.

Зализняк махнул рукой, подошел к полякам.

— Ладно, оставайся со мной. А вы идите в другую сотню. Роман, проводи хлопцев к себе.

Когда они вышли, Зализняк снова подсел к Неживому. Но поговорить так и не удалось. Вдруг за окном послышался шум, прозвучало несколько выстрелов. Все, кто был в хате, вскочили, только Швач-

ка, не поднимаясь, нагнулся к окну, протер рукавом грязное стекло, посмотрел во двор.

— Ничего не разберу, — молвил он.

Зализняк кинулся к дверям, но навстречу ему уже заходили несколько гайдамаков.

— Запорожцы, атаман! — закричал один из них, прижимаясь к дверному косяку, чтобы пропустить тех, которые шли за ним.

— Истинно, запорожцы. Принимаешь, атаман?

— Омелько!

— Как видишь, я.

Зализняк обнял Жилу, расцеловались трижды.

— Довольно, обслюнявишь совсем, мне противно и целоваться будет, — отстранил Жилу Данило Хрен. — Или, может, теперь мной побрезгаешь? Как же, атаман на всю губу! С Жилой еще целоваться можно, он тоже в старших ходит, — говорил Хрен, уже обнимая Зализняка. — Видишь, у меня уже и ус отрос... Пришли помогать тебе... коржи есть. — Он бросил на скамью шапку. — Жаль, не все выступили... Там на Сечи такая каша заварилась. Калнышевский и старшины под страхом смерти запретили идти к вам. Как видишь, кое-кому и смерть не страшна. Куреней на полтора, а то и более набралось, чуть не с боем выходили из Сечи.

Зализняк несказанно обрадовался прибытию запорожцев. Это была не только значительная воинская сила, это было одобрением запорожцами их восстания, это означало, что рядом становились еще несколько верных, храбрых друзей. И от этого сердце застучало быстрее, а на душе стало радостно.

Это настроение не оставляло Максима целый день. Зализняк ходил улыбающийся, не отпуская от себя сечевых побратимов, пока Хрен не пнул кулаком под бок Жилу:

— Чего это он на нас поглядывает, как на девок засватанных? Еще сглазит. Отпускай нас, Максим, мы спать пойдем.

Василь сидел возле вала и глядел на костер, что, весело потрескивая, вылизывал быстрыми языками

траву вокруг себя. Ему вспомнилось село, долина, в которой он, бывало, пас отару, костер под вербами. Впечатлительный и любознательный, хлопец мог часами лежать в траве и смотреть, как облака сплетаются в причудливые клубки. Иногда они напоминали ему горы или дома, но проходили минуты, и облака расползались, меняли очертания, даже жаль было, что исчезает это видение. Сколько мыслей приходило в такие часы! Василь любил оставаться наедине. А вот сейчас одиночество угнетало. Василю казалось, что он тут совсем одинок, никому не нужен. Никто на него не обращает внимания, все заняты своими делами. Вон, сцепившись накрест, борются, словно медведи, двое гайдамаков, а толпа зрителей потешается над этим зрелищем. Каждому любопытно увидеть, кому же достанется карбованец *, который лежит сбоку на шапке. Всем весело... Почему же нельзя сделать так, чтобы они были с Яном вместе?

Василь вздрогнул от неожиданности — чья-то рука легла на его плечо. Он повернулся всем телом и увидел Зализняка.

— Скучно одному? Не грусти, найдутся вскорости и друзья и побратимы. Дома, верно, мать оставил, может, и дивчину?

И большая рука нежно погладила Василя по плечу, совсем так, как это делал Ян. Василю сразу сделалось как-то тепло, спокойно, и он невольно прижался к плечу Зализняка.

— Где Ян, он скоро вернется? — спросил, доверчиво заглядывая атаману в глаза.

— Не знаю, когда управятся. Не жди его, пойдем спать, они могут и задержаться.

...Ян вернулся перед утром. Утомленные, голодные кони дергали с веток вяза листья — всадники не спешили поснимать с них седла и отвести на поляну.

В эту ночь Швачка делал наезд на Жаботин, расположенный в яру по дороге на Смелу и Черкассы. В нем стоял большой отряд конфедератов и гарнизон надворной охраны. Ян не принимал участия в бою. Он вообще мало разбирался в событиях этой ночи. Гайдамаки выехали вечером, скакали какими-то яра-

ми, потом поднялись на пригорок и еще немного проехали лесом. Часть гайдамаков спешилась и, связав по нескольку лошадей, двинулась куда-то в ночь. Их повел Швачка. Другая часть на конях отъехала влево, в яр. Ян остался на поляне с коноводами. Он слышал далекие выстрелы, потом на горе, как факел, вспыхнул замок, осветив притихшее в яру местечко. Вскоре стрельба затихла, и только из местечка доносилось завывание собак да звон колоколов Швачки долго не было.

— Что же там такое? — спросил Ян коноводов, но те и сами ничего не знали.

Некоторые из них оглядывались на лес, боясь, что из чащи вот-вот выскочат жолнеры. Яна тоже начал пронимать страх.

— Может, их отбили, так почему же замок горит?

— Пуг-у-у! — вдруг прозвучало где-то сбоку.

Ян испуганно присел, но один из коноводов приложил руку ко рту и засвистел в ответ. Во тьме заржали кони, им ответили те, которых стерегли коноводы. Из Жаботина возвращались гайдамаки.

— Все. Еще одно кубло разорили, — тяжело переведя дух, сказал Швачка. Он взял из Яновых рук повод. — Дорога свободна.

Швачка поставил ногу в стремя, но, вспомнив что-то, выдернул ее.

— На вот, для тебя добыл. — И он подал Яну широкую, на ременной перевязи саблю.

Глава двенадцатая

РАДУГА ЗОВЕТ В ПОХОД

Над полем звучала песня. Роман ехал перед сотнями, сидя на лошади задом наперед и, пытаясь петь в такт со всеми, хотя это у него получалось плохо, размахивал нагайкой:

А отаман тільки свисне,
Всі козаки в луку дзвонять,
А як коня в ногах стисне,
То всі вітри перегонять.

Зализняк оперся о седло, оглянулся, поднялся в стременах, пристальным взором окинул сотни. На целую версту растянулось гайдамацкое войско. Да, это войско. Пусть оно не пышно убрано, не играют перед сотнями литавры, не ласкают взор подобранные под одну масть кони, как в сотнях надворных войск. Не слышно шуток, не хохочут беззаботно всадники, забавляясь повешенными на шеи ружьями. Это собрались уярмленные и поруганные, кое-кто из них, может быть, впервые взял в руки заржавленный дедов самопал, но не выпустит его из рук, не попросит в бою пощады, пойдет туда, куда поведет их он, Зализняк. Максим почувствовал в груди что-то похожее на гордость. Ему, наймиту-поденщику, сотни людей вверили свою жизнь, свои надежды и чаяния.

Впереди ехали конные сотни. Это в большинстве своем были запорожцы и бывшие казаки надворной стражи, при полном вооружении, на добрых конях. Несколько дней тому назад к восставшим одна за другой присоединились почти все чигиринские и смелянские сотни. Над сотнями трепетали на ветру привязанные к копьям разноцветные флажки. Сзади них ехали несколько конных сотен, собранных из крестьян, и только вслед за ними, не придерживаясь никакого строя, хотя они и были разбиты по сотням, немного поотстав, чтобы не глотать поднятую конскими копытами пыль, шли пешие гайдамаки. У многих из них вместо оружия была все та же коса, с которой прошли они не одну десятину на панских сенокосах, или вилы, которыми перекидали неисчислимое количество снопов на панских токах. В самом конце катилось десятка два возов и шла батовня — вьючные кони.

У самой дороги, опираясь на косы, застыло с полдесятка косцов. Максим посмотрел на них, потом его взгляд упал дальше, туда, где между копнами травы бежал к лесу какой-то человек.

— Здорово, косари! — Зализняк съехал с дороги, придержал Орлика.

— Доброго здоровья, — нестройно ответили ему.

— Травы хорошие выдались?

Лысый старик, вытирая травой косу, кивнул головой на покос.

— Нечего бога гневить, неплохие, едва косу таскаешь. Говорил хозяин наш, что под лесом еще лучше.

— А где же ваш хозяин? Не он ли там за копнами побежал?

— А какой же еще леший.

Максим отпустил повод, и Орлик, которого он никогда не зануздывал, потянулся к траве.

— А вы чего же не бежали?

— А чего нам бежать? — ответил один из косцов. Сидя на покосе, он перевязывал на постолах волоку *. — Мокрый дождя не боится. Что с нас взять? Да и то сказать, разве вы не такие же люди, как мы? Может, и из нас кое-кто в гайдамаки думает пойти.

— Что-то долго думает. Скажите лучше, не проходил тут кобзарь слепой с хлопцем? — спросил Максим.

— Проходил еще на рассвете. Вот там не он ли идет?

Зализняк обернулся и выехал на дорогу, где, постукивая палкой, шагал Сумный с Петриком.

Увидев Зализняка, Петрик сказал об этом деду, и они сели на обочине дороги. Максим подъехал к ним, слез с коня. Дед рассказывал недолго. Он подтвердил все, о чем говорили другие лазутчики, которые вернулись утром: в городе войска немного, все оно стоит в замке. Конфедераты почти все выехали из Черкасс. О том, что гайдамаки вышли из лесу, никто не знает.

Зализняк поскакал к гайдамакам. Он отделил конные сотни от пеших (последним наказал ускорить шаг и двигаться следом), повел их на Черкассы. Через полчаса были уже в городе. Завидев вооруженных всадников, люди попрятались в хаты, улицы опустели, и только собаки заливались по дворам да иногда из-под копыт с кудахтаньем кидалась перепуганная курица.

Промчались предместьем, широкой улицей вы-

ехали на торговый майдан. День был базарный, и при появлении гайдамаков на майдане поднялось что-то страшное. Все бросились врассыпную. Ревела оставленная на произвол скотина, трещала под ногами опрокинутая наземь с прилавков посуда, визжали женщины, разбегаясь по дворам.

Максим остановил коня, удивленно смотрел на все это. Неподалеку от него крестьянин лупил кнутовищем по ребрам коня. Он пытался въехать в улочку, но его воз, крепко зацепившись колесом за соседний, запряженный волами, не мог сдвинуться с места. Максим поехал туда. Увидев Зализняка, крестьянин швырнул кнут и кинулся под воз, чтобы хоть самому проскочить в улочку, но с перепугу попал не туда и вылез возле заднего колеса, перед самой головой Орлика.

— Стой! — крикнул Зализняк. — Стой, говорю!

Крестьянин прижался к забору, подняв для защиты руки.

— Чего бежишь? — спросил Максим, наклоняясь с седла.

— Все бегут, и я тоже. Гайдамаки...

— Так что же, что гайдамаки?

— Резать всех будут...

— Кто это тебе сказал? — Максим едва сдерживал гнев.

Крестьянин отвел руки и только теперь взглянул на Зализняка.

— Атаман городовой на сходке.

— Атаман? Тот скажет. А у вас у самих ума нет? Поворачивай коня и не бойся ничего. Торгуй себе на здоровье да не будь дурнем.

— Мы сами не верили. Люди передавали, что никого не трогают. Но атаман...

Зализняк повернул коня и поехал назад. Сотни стояли на улице. Никто не отъезжал в сторону, не сходил с коня. Тем временем на базаре немного утихло. Часть торгующих убежала, те же, что превозмогли страх и остались на майдане, видя, что их никто не трогает, возились около своих возов, поглядывая искоса на гайдамаков.

Что-то нехорошее шевельнулось в сердце Максима: было и оскорбительно и больно, что крестьяне при появлении гайдамаков бросились врассыпную.

Он понимал: недобрые слухи распускают богатеи, и успокаивал себя тем, что со временем люди узнают правду о повстанцах.

Зализняк взглянул на суровые лица гайдамаков и, не говоря ни слова, ударил коня нагайкой. Орлик, не привыкший к этому, от неожиданности взял с места галопом, но Максим натянул поводья, сдержал его. Ничего не понимая, конь покосился глазом на хозяина и, потоптавшись на месте, пошел широкой рысью.

Максим не оглядывался. Он слышал за спиной неровный стук копыт и бряцанье оружия. Промчавшись через узкий мост, кони взяли под гору. На горе виднелся замок с дубовым частоколом и рвом вокруг. При приближении гайдамаков над высокими, под циркуль, воротами открылись бойницы. Такие же бойницы открылись и на двух угловых башнях. Не доезжая на пушечный выстрел, Зализняк остановил коня. Он поглядел на замок — штурм должен быть нелегким. Тогда, когда он слушал донесения лазутчиков, все казалось очень простым. Напуганный гарнизон при появлении такого войска сам откроет ворота. Как неразумно было полагаться на это! Максим ощутил на себе сотни взглядов, понял: решать надо быстро. Неприятный холодок защекотал в груди.

«Нужно было подготовиться к штурму», — промелькнуло в голове.

Максим обернулся к сотням:

— С коней, копья в козлы!

Сошел с коня и отдал Василю повод.

«Неужели гарнизон будет стрелять?» — подумал про себя. И, превозмогая какую-то внутреннюю дрожь, направился к воротам.

— Максим, куда ты? Стой! — крикнул Швачка.

Но Зализняк не отвечал, продолжая идти. Становилось немного жутко под неподвижными темны-

ми взглядами бойниц, казалось, вот-вот какая-нибудь из них хищно блеснет пламенем прямо ему в лицо. На холмике, перед воротами, Максим остановился.

— Казаки, выйдите кто-нибудь за ворота, переговорим! — подняв голову вверх, крикнул он.

Над воротами открылось маленькое оконце, и оттуда послышался глухой старческий голос:

— Мы с бунтовщиками не разговариваем. Для них у нас давно пули приготовлены.

— Попробуйте сделать хоть один выстрел — мышь живой не выскочит отсюда, — ответил Швачка, который вместе с Яном подошел и стал сзади Зализняка. — Ты кто такой там будешь?

— Не твое дело, кто я, — послышалось сверху. — Казак.

— В кого же стрелять собираешься? В казака? Боитесь сами выйти — впустите меня. Или тоже страшно?

Окошечко не закрывалось, но оттуда уже никто не отвечал. Подождав немного, Швачка постучал нагайкой в ворота.

— Сейчас, словно в свои стучишь, — послышалось из-за ворот, и одна половинка их немного приоткрылась.

Максим, Швачка и Ян прошли в них. Ворота сразу же закрылись, звякнул пудовый засов. Зализняк осмотрелся вокруг. Около ворот столпилось до сотни казаков, другие посвешивались со стен, с любопытством поглядывая на Зализняка.

— Пойдем, — указал на кирпичный дом с деревянной башней за ним тот, что открывал ворота. По одежде было видно, что это сотник. — Комендант ждет.

— Не спеши, дай оглядеться. — Максим поправил серую смушковую шапку, продолжая разглядывать городовых казаков.

— Впервые видишь, что ли? — упершись руками в бока, спросил один из них.

— Таких, как вы, впервые. Не все за панское добро свои лбы подставляют.

— Где же ты других видел? — снова бросил тот же самый казак.

— Везде. С нами восемь сотен казаков надворной стражи. В Медведовке, в Жаботине все перешли к нам. Есть казаки из Чигирина, Смелы.

— Пойдем-ка, — дернул его за рукав сотник.

Но Зализняк уже не обращал на него внимания.

— Потому что им надоело стеречь панов и есть объедки с панского стола. Кто вы? Разве не такие же христиане, как и мы? Разве богаче стало в ваших хатах, когда вы надели эту одежу? Говорят, что казацкому роду нет переводу. Нет, переводятся уже рыцари.

Казаки склоняли головы, но не отходили. Но в это время, не дождавшись парламентеров, выбежал сам комендант.

— Чего рты поразевали?! — загремел он на казаков. — А вы идите за мной!

— Можно и тут поговорить, — сказал Зализняк. — Зачем, комендант, хочешь затворяться от своих людей?

Между казаками пробежал легкий шепот.

— Ты еще разглагольствуешь! В яме заговоришь. Возьмите его!

Никто из казаков не шевельнулся. Сотник подступил было к Максиму, но Швачка поглядел ему в лицо так, что тот отступил назад, за спину коменданта.

— Мы предлагаем сдаться, у нас нет никакой охоты стрелять в своих, — сказал Зализняк казакам.

— А нам ничего не будет? — спросил кто-то со стены.

— Ничего. У вас никто и оружия не заберет. Кто хочет — переходите к нам, будем вместе шляхту бить.

Максим снова обернулся к коменданту. Тот, поняв, что гарнизон не на его стороне, хотел броситься к дому, но ему преградил путь Швачка.

— Постой! Мы же не договорились, что к чему.

— Стреляйте в них! — бледнея от страха, завизжал комендант и схватился за саблю.

Никто не видел, как сквозь низенький частокол около домика просунулось ружье. Оно качнулось дважды и черным дулом нацелилось на Зализняка, который стоял к нему спиной. Случайно оглянувшись, Ян заметил его.

— Атаман, берегись. — Он дернул Зализняка за руку, и тот, потеряв равновесие, упал на Яна. Они вместе покатились по земле. В тот же миг грянул выстрел. Казак, что стоял напротив Зализняка, схватился за грудь, крутнулся на месте и, словно подкошенный, упал головой вперед. Воспользовавшись минутным замешательством, комендант вскочил в дом и закрыл дверь.

— Братцы, Митька убили! Это же в нас стреляют! — крикнул молодой чубатый казак, пытаясь поднять мертвого. — За что? Митько, Митько, встань!

— Открывай ворота, — послышались голоса.

Несколько человек кинулись к воротам. Из дома прозвучали три выстрела. Один из казаков, бежавших к воротам, присел к земле, схватился руками за живот. Однако ворота были уже открыты, в них вбегали гайдамаки. Теперь почти изо всех окон второго этажа загремели выстрелы. Одна пуля просвистела над самым Максимовым ухом, другая попала в руку казака рядом с ним. Кое-кто направился к воротам, но Швачка выхватил пистолет и метнулся вперед.

— Под стены, там пули не достанут.

А еще через несколько минут гайдамаки уже лезли в окно дома, откуда отстреливались комендант и старшины.

От крепости гайдамацкая лавина плеснула на город. Словно камешек в бурном потоке воды, мчал в этой лавине Неживой.

Помнил он, как прыгнул с конем через плетень, как рубанул бегущего всадника, и вот гайдамацкий поток выбросил его на берег.

Бурно раздувал бока конь, всхрапывал коротко.

Неживой огляделся. Он очутился в конце какой-то незнакомой улицы: шинок, две лавчонки...

«Где сейчас Гершко, Зозулин напарник?» — вдруг вспомнил он лавочника, к которому всегда возил горшки.

Подгоняемый любопытством, Неживой дернул поводья и пустил коня вскачь. Около переулка, в котором жил Гершко, из-под тына выскочили двое гайдамаков.

— Остановись, нельзя туда! — крикнул один из них.

— А что там? — спросил Неживой, слезая с коня.

Один из гайдамаков показал рукой. Неживой прислонился к тыну. Возле хлева, зацепившись свитой за колышек, висел гайдамак. Его руки свисали, как две палки, голова упала на грудь. Семену показалось, будто гайдамак шевельнул ногой, пытаясь достать землю.

— Он еще живой, — Семен приготовился прыгнуть через тын, но один из гайдамаков удержал его за полу:

— Сядь, убьют!

Неживой хотел вырваться, и в тот же миг над головой тонко, словно оборванная струна, просвистела пуля. Семен сам не помнил, как очутился на земле, прижимаясь к тыну. Оба гайдамака лежали рядом.

— Ты не рвись, он не живой, две пули в голову всажены ему, — сказал один из них. — С чердака кто-то стреляет.

Семен выглянул в дырку — окна в доме были закрыты ставнями. Он понимал, что выскакивать напротив окон опасно — за ними мог стоять невидимый враг и выстрелить в щель.

— Вы от груши не пробовали зайти, там вон другая дверь?

— Крепка. Стучали, стучали, а он сквозь нее бабахнул и мне свиту пробил, — показал гайдамак продырявленную полу.

Вдруг в хате что-то стукнуло, послышался тонкий крик.

— Это уже второй раз, слушайте, слушайте! — крикнул гайдамак.

Из хаты донесся крик громче первого. Потом что-то загрохотало, задняя дверь распахнулась настежь, и из нее выскочил юноша с взлохмаченными волосами, в разорванной сорочке. Он сделал несколько шагов и упал. Из двери выглянула голова, к задвижке потянулась рука. Это был Гершко. Но не успел он прикрыть дверь. Один из гайдамаков, почти не целясь, выстрелил из ружья, лавочник, словно готовясь к танцу, выставил одну ногу вперед и упал через порог. Неживой и гайдамаки бросились к хате. Гайдамаки вскочили в хату, а Неживой, присев на корточки, склонился над юношей. В нем он узнал того хлопца, который отводил ему коней.

Хлопец лежал, подобрав под себя руки; из ножевой раны в боку текла кровь. Семен перевернул юношу на спину, припал ухом к груди — он дышал. Из хаты, вытирая пот, вышел гайдамак.

— Еще один там был, на чердаке в сенях сидел. А чердак не закрыт. Вижу — сено сыплется.

— Найди что-нибудь чистое, рушник или платок какой.

Неживой взял хлопца на руки и понес в хату. Он положил его на кровать, разрезал ножом сорочку, наскоро перевязал рушником рану.

— Беги позови бабу, такую, чтобы в лекарствах толк знала, — сказал Семен, убирая задвижку от ставней. Ставни упали за окном, и в окна хлынул широкий сноп света. Он протянулся через всю хату вплоть до самых сеней. Около дверей, как бы заглядывая в хату, лежал какой-то человек.

— Это тот другой, что на чердаке сидел, — сказал гайдамак.

Неживой подошел к убитому, взглянул в лицо.

— О, да это же Зозуля, земляк мой! Вот куда он из села убежал. Давно по нем веревка плакала.

— Пить, — тихо попросил хлопец.

Семен кинулся к ведру, но гайдамак уже нес в кувшине воду.

— Попьешь — оно и полегче станет. Потом баба придет с травами, — говорил он, поднося кружку. — Молодец хлопчик, это ж он нам дверь открыл.

В Черкассах стоял гомон. Уже вошли пешие сотни и рассыпались по улицам. Город издавна славился своим богатством. Где еще найдешь такой конный завод, как тут, а завод селитровый, а лавки да заезжие дворы, что выстроились в ряд на Казбете! На том же Казбете, словно красуясь друг перед другом, поблескивали крытыми железом крышами богатые купеческие и шляхетские дома. Из года в год наживалось это богатство, по медному грошу выбирались деньги из дырявых крестьянских карманов и, обмененные на золото, ложились в сундуки сверкающими червонцами, поднимались просторными домами с большими окнами, катились размалеванными каретами. И вот теперь пришли мужики, чтобы снова разобрать по карманам эти гроши. Да разве их заберешь все? Сколько их вкусными заморскими лакомствами спряталось в толстых панских животах, дорогими нарядами износилось на круглых плечах паненок... Пускай же в огне сгорят хоромы, пусть с дымом развеются горы дорогой одежды, пусть испепелятся панские бумаги, в которых писано, что мужик — это немое быдло, которое должно весь век ходить в ярме, что земля дана панам от бога и закреплена подписью короля, что суд и управа — это только для мужика! Пусть этот дым летит по Украине, и, почуяв его, пусть задрожат паны, ожидая кары! И гайдамаки карали. Пылали на Казбете дома, по Криваловке носились выпущенные из конюшен панские кони, шипела в огне селитра, рассыпая в стороны огненные брызги.

Роман шел, словно среди фейерверка. Сабли уже в ножнах. Пистолет за поясом. Возле шинка остановился, прислонился к столбу. Ему показалось, что он слышит, как наливает тело усталость. Капля за каплей. Он остыл так же быстро, как и загорелся, и,

беги теперь мимо него шляхтич или корчмарь — не погнался бы. Злоба вытекла из сердца.

Мимо него, взявшись за руки, гурьбой прошли парубки. Последний день гуляли они в родном городе, уже не жалея, пропивали, у кого какой завалялся шеляг *.

Роман лениво вынул из кармана большие, похожие на луковицу серебряные часы и, подбросив их на руке, довольно усмехнулся. А потом прижал к уху и, слушая, как размеренно стучит механизм, улыбнулся еще раз.

Гайдамаков в замке было мало. За воротами возле стены стояло в ряд пять небольших пушек, три чугунные и две медные. Около одной из них с паклей в руках возился Зализняк. Заскорузлые Максимовы руки, давно соскучившиеся по работе, ловко бегали возле дула, натирая до блеска медный ободок. Около соседней пушки суетились еще несколько человек и между ними дед Мусий.

— Бог посылает праздник, а черт работу, — сказал Роман, подходя к Зализняку. — А по-моему, надо так, чтобы через день — воскресенье, через неделю — свадьба, а в будни чтобы дождь шел. И зачем их тереть? Не все равно, из ясных стрелять или тусклых? Я вот штуковину достал. — Роман вытащил из кармана часы. — На, Максим, ты ж у нас атаман, тебе эта забава больше всего и подойдет. Может, с какими панами выпадет разговор, вытащишь часы эти, крышкой щелкнешь, — Роман надул щеки: — «Мне на покой пора, почивать время».

Зализняк, не вытирая рук, взял часы, повертел их на ладони, для чего-то постучал по крышке ногтем.

— Где ты взял их? — спросил он, немного помолчав.

— У купца одного. Мы с ним полюбовно договорились.

Зализняк размахнулся и швырнул часы далеко от себя. Часы жалобно звякнули и упали на землю

сплющенные. Роман удивленно посмотрел на часы, потом на Зализняка.

— Зачем? Изъян в них какой?

— В тебе самом, Роман, изъян этот. — Максим присел возле пушки. — Грабежом занялся. Эх, ты!

В этом «Эх, ты!» слышалось такое презрение, такой укор, что Роман поморщился, как от боли.

— Каким грабежом? Часы одни взял, и те для тебя. На, посмотри, ничего нет. — Роман стал выворачивать карманы. — Кресало — мое, кисет — тоже. Другие шапками деньги загребают...

— Не выворачивай, вижу и сам. Грести можно, знать только нужно, зачем. Ты же сам понимаешь, хлопцы деньги в один котел ссыпают. Это деньги мирские. Паны их себе награбили, а мы теперь назад возвращаем. Они на оружие пойдут, на еду, бедным людям на житье. Правда, есть и такие, что о себе только заботятся, думают набить золотом пояса и домой улепетнуть. Разве ради этого мы из Холодного яра вышли, разве для своей корысти под пули идем?

— Лучше в латаном, чем в хапаном. А без грабежей не обойдется, — отозвался дед Мусий. — С этим опосля разберемся. Хорошо ты, Максим, сказал: «Разве для своей корысти идем?» Сребро и злато тянут человека в болото, вот оно как. Не за него мы бьемся — за волю, за правду.

Дед Мусий оперся о пушку, смотрел куда-то далеко. Впервые Роман видел лицо старика таким мечтательным и взволнованным.

— Поднять бы всех посполитых * да вместе по панам ударить. Чтобы по всему свету, чтобы до самого океан-моря ни единого пана не осталось. Страшной была бы эта война, зато последней. А такое будет когда-нибудь, — добавил дед Мусий.

— Чудит дед, — засмеялся кто-то из гайдамаков.

— Почему чудит? — вспыхнул старик. — Вот выгоним панов, и баста.

— Другие придут.

— И тех выгоним.

— Свои паны появятся, — не утихал тот же самый гайдук.

— Как же без попа?

— Плетешь ты дурное! — рассердился дед Мусий. Он взял в руки палку с намотанной на конец паклей, присел на корточки и со злостью стал толкать ее в дуло. — Роман, приподними возле колеса, криво что-то она стоит, ямка там.

Некоторое время работали молча. Потом дед Мусий передал Роману палку, сел верхом на пушку.

— Максим, отчего ты оселедец себе не заведешь? — спросил он.

— Какая от него польза? Ума не прибавит. Был аргаталом и стригся так, зачем же теперь под кого-то подделываться? Ну, кончайте без меня.

Максим вытер руки и поднялся. Нужно было идти созывать на совет старшин. Сделал несколько шагов, как вдруг кто-то осторожно тронул его за локоть. Оглянулся. Перед ним стоял Роман.

— Максим... Не знал я. Никогда больше. Веришь?

Сурово поглядел Максим Роману в глаза. Словно в душу заглянул. И положил на плечо руку:

— Верю.

Проходя мимо обломанного куста жасмина, Зализняк остановился. Под кустом сидели двое голых до пояса гайдамаков. Один из них, седоусый, с резко выступающим вперед подбородком, мешал что-то в котелке длинной деревянной ложкой. Максим заглянул в миску с водой, что стояла в стороне, — в ней на дне лежало с десяток пуль.

Зализняк присел на корточки. Второй гайдамак выворачивал по одному на разостланную попону какие-то ящички, перебирал что-то руками. Максим взял с попоны несколько причудливых крючков, разложил на ладони.

— Что это? — спросил он седоусого.

Гайдамак налил в формочку свинца и, покрутив формочку в руке, ответил:

— Шифр, книги им печатаются. Свинец очень хо-

роший. Этот человек печатником был когда-то, — кивнул он головой на другого гайдамака.

Зализняк пристально всматривался в буквы, разложенные на его шершавой ладони. Вот она, удивительная, таинственная грамота, которую ему так и не удалось узнать. А как хотелось! В этих причудливых закорючках прячется мудрость тысяч людей, мудрость, недоступная им, мужикам. Взять бы все книги, сесть с понимающим человеком, попрочитывать. Может, в них что и говорится про волю, про то, как ее легче добыть? Только нет. Ведь книги те панами писаны, и о своей воле паны заботились. А все же, как бы хорошо было иметь эти штуки, чтобы и гайдамаки могли напечатать книги про свою мужицкую волю, разослать воззвания ко всем людям. О земле написать. А им сейчас вместо того, чтобы печатать книги, приходится перетапливать эти буквы на пули. И то хорошо. Служил этот свинец панам, теперь пускай послужит казацкому делу.

Зализняк вздохнул, высыпал на попону буквы, поднялся. Гайдамаки удивленно переглянулись между собой и снова взялись за свое дело.

...Атаманы собрались в большой круглой зале комендантского дома. Перекидывались словами, попыхивали люльками. Под потолком плавали сизоватые облачка дыма. Даже Швачка не нюхал табак, а взял у кого-то люльку и неумело затянулся крепким дымом.

Убедившись, что собрались все, Зализняк поднялся. Напротив него в стене было вставлено круглое зеркало. Максим взглянул в него и, словно стесняясь, отступил в сторону.

— Друзья-атаманы, — сказал он, берясь руками за спинку кресла, — давайте думать, что будем дальше делать. У меня самого уже голова трещит от этих дум.

— Что там размышлять! — кинул Бурка. — У нас замок, укрепим его...

— Думаешь, долго в нем просидишь? — молвил Неживой, подбирая под кресло длинные ноги. —

Не держаться, а гарнизон оставить. А самим в лес отойти.

Неживой выбил трубку прямо на пол и снова набил ее.

— Для чего же тогда было все зачинать? Выступать надо.

— Куда? Подальше от своей хаты? Уж если помирать, так возле своего жилья, — бросил сотник Шило.

Неживой поднялся в кресле и заговорил быстро, обращаясь по очереди ко всем атаманам:

— Войска у нас мало. Будем сидеть — как цыплят передушат. Зажгли огни, раздувать их следует. Пойдем на Корсунь, Богуслав, Канев. Люди к нам валом валят, ждут нас повсюду. Знаю, сами мы вряд ли доведем дело до конца. Нам русские помогут. Если мы попросимся, чтобы к левому берегу нас присоединили, нас должны будут присоединить. Разрознили паны людей. Разорвали на куски Украину: Гетманщина, Слобожанщина, Запорожье. «Польская Украина?» Какая она польская? Наша Украина, была и будет.

Неживой замолк. Все взоры обратились на Зализняка. Максим докуривал трубку. Выбив пепел о холодный камин, подошел к окну. По ветвистой черешне шумел теплый летний дождь. В зале было тихо, только огромные стенные часы неутомимо тикали в напряженной тишине.

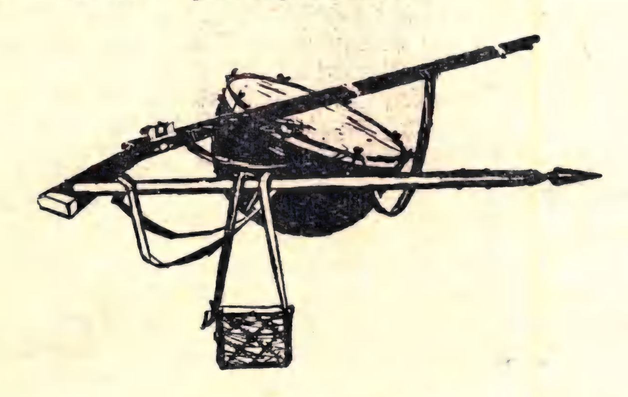
— Возвращаться нам нечего. Верно говорит Неживой — договариваться нам нужно с войском русским. Выгоним панов, установим нашу казацкую власть, тогда и соединиться легче будет. — Максим задумчиво открыл окно. Шум дождя теперь стал слышнее. — Хотя, думается мне, не простое это дело. Народ русский, он такой же, как и мы. А паны тоже такие, как и наши. Видано ли, чтобы пан за пана не вступился? Боюсь я этого. Эх, верно дед Мусий говорил, загнать бы их, да так далеко, чтобы и тут, на левом берегу, и в России как и звать-то их позабыли. Может, и будет такое. А пока что будем гнать польскую шляхту, откуда только можно. Попила она

нашей крови. Мы тоже ихней кровушки не пожалеем. Мы Украине волю добудем! Завтра выступаем.

— Куда? — спросил какой-то сотник.

— На Корсунь.

Максим показал рукой. Все невольно посмотрели в окно, туда, где далеко на горизонте от города к лесу упала радуга. Она сияла разными красками и походила на дугу, старательно раскрашенную хозяином во всякие цвета, убранную в красивые свадебные ленты. Радуга переливалась сиянием, влекла к себе. Казалось, будто она указывает путь, зовет в поход. А где-то за нею догорал зажженный гайдамаками панский фольварк.









Глава первая

УМАНСКИЙ СОТНИК



Наступила обеденная пора, и жизнь на улицах шумного города стала затихать. Дружно застучали железными засовами лавочники, запирая деревянные лавки, выстроившиеся в два ряда посреди площади; из открытых настежь дверей базилианской школы выбегали школяры и, развевая длинными полами черных плащей, крикливыми табунками разбегались по переулкам. Они напоминали стайки суетливых скворцов. По середине улицы, мимо обнесенных изгородью и валом лавок, которые вместе с другими домами образовывали цитадель с каменной башней и двумя обитыми железом воротами, заложив руки в карманы белого суконного кунтуша, шагал Иван Гонта, старший сотник уманских городовых казаков, или, как они назывались по-новому, милиции. Завидев его высокую фигуру, лавочники оставляли засовы и замки, снимали шапки, склонялись в почтительном поклоне. Сотник кивал в ответ и

ускорял шаг, пытаясь поскорее избавиться от заискивающих взглядов и льстивых улыбок. Наконец он миновал последнюю лавку и вышел за ворота, около которых стояла рогатка. Ею запирались на ночь ворота. Дальше улица тянулась между двумя рядами новых двухэтажных домов, поставленных панами из окрестных имений. В последнее время крестьяне стали очень неспокойными, и шляхтичи сочли за благо переселиться под защиту крепких стен и надежной охраны. Охрана состояла из двух тысяч казаков, шестисот человек пешего отряда, в котором были преимущественно молодые шляхтичи, и отряда гусар. Только здесь, за высокими стенами, паны были спокойны, ничто не угрожало их жизни. Граф Селезий Потоцкий — воевода, которому принадлежала Умань, выполняя наказ короля и сената, хорошо позаботился о защите крепости: ведь она стояла на пересечении дорог из Польши, Гетманщины, Запорожья и даже далеких Кавказа и Крыма. Город был окружен валом, рвом и надежно укреплен.

— Пане сотник, подожди, — вдруг послышалось со стороны.

Гонта оглянулся. С крыльца ратуши, громыхая по ступенькам тяжелыми сапогами, быстро сошел начальник уманских городовых казаков полковник Обух.

— Слышал новость? — забыв поздороваться, заговорил он. — Гайдамаки уже под Корсунем. Поначалу я так считал: собралось там с десяток лиходеев, пограбят пару сел — и назад в лес, а оно, смотри, как поворачивается. Только что паныч приехал из села... дай бог память... — Обух постучал ладонью по плоскому лбу, пытаясь припомнить название села, — забыл, как оно называется. Одна гайдамацкая ватага встретилась в лесу под тем селом с конфедератами. Эти с карабинами были, шли в шеренгах, как реестровое войско, но разбойники накрыли их таким огнем, что шеренги сразу расстроились и отошли к болоту. Капитан, начальник когорты, дважды выстраивал конфедератов в ряды и водил их в контратаку. В третий раз солдаты побросали карабины и

побежали к болоту. Капитан кричал-кричал, а потом видит, что и ему несдобровать, взял да и бросился с конем в болото. Конь увяз, а его самого пулей убило. Ну, что ты на это скажешь?

— А что тут говорить? — пожал плечами Гонта.

После такого ответа Обух не стал продолжать разговор. Он вытер платочком вспотевшую шею и после некоторого молчания спросил:

— Ты куда идешь?

— Домой. — Гонта смотрел куда-то в сторону, поверх головы полковника. Его большие глаза были, как всегда, задумчивы и словно бы смотрели с удивлением. От этого казалось, что сотник все время к чему-то прислушивается.

Обух собрался идти к губернатору, чтобы рассказать ему об услышанном и узнать, не сказал ли чего взятый два дня тому назад в плен запорожец из гайдамацкого дозора. Гонта согласился пойти с ним. Они перешли с середины улицы к забору, где было меньше песку, и ускорили шаг. Неожиданно из покосившихся ворот выскочили трое мальчуганов с луками наперевес. Выкрикнув пронзительными голосами воинственное татарское «алла», они запустили в голубое небо камышовые стрелы. Это было так неожиданно, что Обух даже отшатнулся.

— Холеры на вас нет! — плюнул он под ноги. — У тебя тоже такие разбойники?

— У меня девочки — четыре, только один хлопец. Что ты бранишься, видишь, какие бравые казаки растут.

— Скорее гайдамаки, — хмуро обронил Обух.

— А разве гайдамаки не казаки?

Они уже подошли к усадьбе губернатора Младановича. Самого замка не было видно, он прятался в тени густого парка, над деревьями виднелись только четыре башни с флагами на шпилях.

Младановича нашли в тенистой беседке за послеобеденным кофе. Тут же сидели его жена, мать — восьмидесятилетняя старуха, старшая дочь Вероника, а также начальник гарнизона поручик Ленарт и

землемер Шафранский, присланный в Уманскую волость для нарезания панских угодий.

Завидев Гонту и Обуха, губернатор отставил чашку и вытер салфеткой губы.

— А я как раз хотел за вами посылать, прошу к столу.

Он пожал руку Гонты и подошел к Обуху. Еще когда Младанович здоровался с сотником, Обух стал искать в кармане платочек; не найдя его, он вытер вспотевшую ладонь о карман и поспешно протянул ее. Младанович указал на стулья и, садясь на свое место, незаметно концом скатерти вытер руку, к которой прикасался Обух. Гонта, доглядев это, скрыл усмешку в уголках глаз.

— По воле или по неволе? — обратился к Обуху Шафранский, который считал себя большим знатоком «хлопского» языка, поговорок и обычаев.

— По неволе, шляхтич из-под Корсуня привез недобрую весть. — И Обух передал все то, что рассказал Гонте.

За столом все всполошились. Только старуха продолжала держать перед собой газету, выискивая места, где писалось о приездах и отъездах знакомых господ из столицы, о свадьбах и похоронах. Ее уже мало волновало все остальное, да и нужно ли обращать внимание на каких-то хлопов, которые взбунтовались невесть почему. Сколько таких бунтов помнит она на своем веку, и всегда хлопу указывали на его место.

— Иезус-Мария, они могут и до Умани дойти? — встревожилась госпожа Младанович.

Ленарт громко засмеялся. Его смех подхватили все присутствующие, за исключением Гонты и Шафранского. Обух тоже не находил в словах пани губернаторши ничего смешного, но изо всех сил морщил свои толстые губы в веселую улыбку. Наконец Ленарт, поправив перевязь, красиво охватывающую его тонкий стан, сказал:

— Что вы, пани! Достаточно роты хороших жолнеров, чтобы разогнать это быдло по их свинюшни-

кам. Эти хамы храбры, когда перед ними безоружные.

— Конфедераты не были безоружными, — заметил Гонта.

Младанович перебил его.

— Бой происходил в лесу, и силы, верно, были неравны. Ни о какой серьезной опасности не стоит и думать. Однако эти хамы могут разрушить немало имений и погубить шляхтичей. Нужно как можно скорее прибрать их к рукам. Они до сих пор не встретили хорошего гарнизона. А конфедераты неразумно вступают в бой маленькими отрядами, им надо соединиться... — Поняв, что зашел слишком далеко, Младанович запнулся и нарочито сосредоточенно стал дуть на уже остывший кофе.

— Вы, сотник, так говорите о разбойниках, словно боитесь их, — Шафранский пытливо прищурил на Гонту глаза.

Поймав этот взгляд, Гонта ничего не ответил. Он хорошо знал, как недолюбливают его все шляхтичи, как мало доверяют ему. А наипаче губернатор ключа *, подстолий Рафаил Деспот Младанович. Он не только недолюбливал Гонту, но и побаивался его. Особенно с того времени, когда сотник во главе трехсот казаков возвратился с Червонной Руси *, куда ездил воздать почет от города покровителю его — воеводе графу Потоцкому. Потоцкий выхлопотал Гонте нобилитацию в дворянство и подарил два села — Россошки и Орадовку. Хитрый воевода сделал так, не доверяя полностью Младановичу. Гонта должен был доносить графу о всех действиях губернатора, а паче всего о его сношениях с конфедератами. Воевода Потоцкий, как и Младанович, тоже сочувствовал им, но, побаиваясь короля, держался от них подальше. И когда в октябре 1757 года конфедераты стали требовать от Умани выдать им тридцать тысяч злотых и выставить три тысячи жолнеров, Младанович доложил об этом киевскому губернатору и попросил его взять город под свою защиту. То, что уманский губернатор сочувствует конфедератам, Гонта знал наверное. О том же, что он имеет связи

с ними, лишь догадывался. В губернском городе часто происходили какие-то тайные собрания, по ночам в город ввозили оружие и седла. Младанович говорил, будто бы он делает это для защиты от гайдамаков. Губернатор взимал с населения города неумеренные подати, к тому же каждые три двора должны были содержать городового казака. Не раз и не два, выходя из дому, Гонта встречал в своем дворе крестьян с шапками в руках: они приходили просить старшего сотника похлопотать перед губернатором, чтобы тот хоть немножечко уменьшил бы подати. Несколько раз Гонта ходил к Младановичу, но тот неизменно отказывал ему и просил не вмешиваться в государственные дела.

— Как же их не бояться, этих гайдамаков, они такие страшные, — поправляя бант на кошке, сказала Вероника.

— За них еще не взялись как следует, — Ленарт поймал кошку, которая убежала от Вероники, и посадил ее снова к ней на колени, — но будьте покойны — все они получат свое. Есть слух, что скоро должны назначить главным региментарием коронного обозного пана Стемпковского. Я пана обозного немного знаю. Он не будет цацкаться с бунтовщиками. У него железная рука и твердое сердце.

— Вы ни к чему не притронулись, — обратилась пани Младанович к Гонте. — Берите торт миндальный или жеремис. Дайте, я вам положу.

— Благодарю, я не люблю сладкого.

Чаепитие закончилось.

Младанович закурил коротенькую трубку и, пригласив взглядом Гонту и Обуха следовать за ним, вышел из беседки.

— Имею кое-что сказать вам, — заговорил он, шагая по аллее. — Я в самом деле хотел посылать за вами. Получена весть, что много надворных казаков, забыв страх перед богом, перешли на сторону гайдамаков. Я уверен в наших уманских казаках, но все же... нужно привести всех под присягу. Откладывать не будем, я уже назначил день — в воскресенье.

— Много казаков в разъездах по волости, — осторожно заметил Обух.

— Их нужно собрать к воскресенью. Сегодня же пошлите за ними. — Младанович остановился и выбил трубку о яблоньку. — Сейчас я хочу посетить кордегардию, может, что-то вытянули из того проклятого запорожца. Хотите, пойдемте со мною?

— Охотно, не правда ли, пане сотнику? — обратился Обух к Гонте.

Гонта молча кивнул головой.

Они пошли к кордегардии — небольшой тюрьме, которая разместилась вблизи монастыря. За высокими железными воротами их встретил начальник кордегардии и двое его помощников.

— Сказал что-нибудь? — вопросительно кивнул головой на тюрьму Младанович.

Начальник кордегардии, небольшой горбатый человек, испуганно заморгал глазами и развел руками.

— Нет. И железо раскаленное прикладывали и к журавлю подвешивали, еле дышит, а молчит.

— Приведите его сюда, — приказал Младанович.

Палач и два его помощника метнулись к тюрьме. Через минуту они появились, ведя под руки измученного, в окровавленной одежде запорожца. При его появлении Гонта нервным движением вытащил из кармана трубку и набил ее.

Запорожец отстранил руками тюремщиков и, пошатываясь, остановился.

Щурясь, приложил ладонь ко лбу и посмотрел на солнце. Гонте почему-то показалось, что он сейчас улыбнется. Запорожец действительно улыбнулся. Но улыбка его была мимолетной, она еле-еле коснулась его потрескавшихся, запекшихся губ. Запорожец опустил руку и перевел взгляд на Младановича, Обуха и Гонту. Глаза его снова стали холодными. Внезапно они встретились с глазами Гонты, и в них заиграли едва заметные огоньки.

— Проведать приятеля пришли? Соскучился я без вас, братчики. Сабли на вас казачьи и одежа тож... — начал запорожец.

Младанович оборвал его речь.

— И на тебе такая же висеть будет. Напрасно муки принимаешь. Скажи правду, и я сегодня же отпущу тебя на волю. Мы и так знаем все про гайдамаков. Кто тебя послал? Зализняк? — Наступило длительное молчание. — Ну, говори же! А нет — прикажу поднять на дыбу, и будешь там висеть, пока не сдохнешь.

— Не вели поднимать очень высоко, а то не достанешь целовать в то место, откуда ноги растут, — с усмешкой ответил запорожец. И вдруг взгляд его погас, теперь в глазах отразилась страшная усталость и мука. Запорожец покачнулся и тоскливо, безнадежно прошептал:

— Закурить бы... хоть разок затянуться...

Гонта через силу глотнул слюну, она показалась ему густой, тягучей, как непропеченный хлеб. Неожиданно даже для самого себя выхватил изо рта трубку и, ткнув ее запорожцу, зашагал мимо оторопевших Младановича и Обуха к воротам.

Протяжно гудели рожки, соревнуясь с тысячеголосым гомоном огромной толпы: уманский гарнизон приносил присягу на верность польской короне. Прозвучал первый выстрел из пушки — войско стало строиться в две линии. После третьего выстрела из команды — комнаты, в которой хранились воинские клейноды *, — вышел Младанович в сопровождении двух казаков. Они несли его саблю и перевязь. За ними парами шли хорунжие с хоругвями да атаманы и есаулы с флагами, на каждом из них красовались вышитые золотыми нитками патриарший герб и герб Потоцких.

Младанович остановился посреди майдана и подал рукой знак: рожки и литавры разом умолкли, только толпа еще некоторое время гудела возбужденно и глухо. Губернатор медленно обвел взглядом войско. Гонте показалось, что этот взгляд задержался на нем дольше, нежели на других. Сотник стоял на правом фланге казацкого полка. Впереди казаков выстроились кирасиры: суровые, молчаливые, затя-

нутые в леопардовые и волчьи шкуры, они походили на два ряда статуй. Гонта поискал глазами Ленарта, но в это время Младанович начал говорить, обращаясь к войску. Сотник напряженно вслушивался в его речь и почему-то не мог ничего понять. Ему даже показалось, будто не все слова долетают до него, а разбиваются о плотную стену гусар и теряются где-то между ними.

— ...Несколько дней тому назад мы поймали одного гайдамака...

«Младанович говорит о том несчастном человеке», — подумал Гонта и вздрогнул. Только теперь он понял, почему не долетали до него слова губернатора. Сотник все время думал о пленном запорожце.

После церемониала присяги в губернаторском замке начался бал. Столы разместили в саду, в тени ветвистых яблонь и груш. Младанович пытался придерживаться в доме своем старинных обычаев и порядков. Данцигские, обитые позолоченным сафьяном кресла, турецкие золотые кубки, французские серебряные сервизы — все было старинное, дорогое, все подчеркивало знатность и древность шляхетского рода Младановичей. Пили также по старинному обычаю — слуги каждый раз приносили кубки вдвое большие. Кубки брали с подносов гайдуки, одетые в простые бешметы, и подносили гостям. Дамы сидели отдельно на увитой виноградом веранде. После нескольких кубков начались разные игры, принесли карточные столы. Какой-то шляхтич сел на коня и под одобрительные восклицания въехал по ступенькам на веранду, принял из рук губернаторской дочки кубок с шампанским.

Гонта сидел около куста сирени, время от времени потягивая из кубка густой напиток. К нему подошел и сел рядом главный уманский кассир — седой шляхтич.

— Весело, не правда ли, пан Гонта? А все же не так, как бывало в старину. Ни тебе той пышности, ни того достатка, ни того великолепия...

Гонта не слушал кассира. Постукивая пальцем по кубку, он смотрел на аллею, где кружились па-

ры. Ближе всех к нему танцевал Ленарт с госпожой Младанович. Поручик, как всегда, самодовольно улыбался, прижимая к себе губернаторшу ближе дозволенного. Но ее это, видимо, нисколько не смущало, она не отталкивала поручика, а даже улыбалась ему ободряюще. Ленарт, сделав еще несколько кругов, встретился взглядом с Гонтой. Сотник усмехнулся, и поручик, поняв эту усмешку, сразу сник, сбился с ритма. Гонта не стал больше смотреть на него и повернулся к кассиру, который продолжал свой рассказ:

— Мой дед имел несколько фольварков возле Бердичева. Приехал как-то туда поохотиться с гостями — до этого он никогда не был в тех своих фольварках, — и оказалось, что там совсем негде охотиться. Он поговорил с главным управляющим, и что вы думаете — согнали тысячу подвод и за три дня сделали зверинец. Зайцев туда напустили, лисиц...

Не желая дальше слушать надоедливого пана и воспользовавшись тем, что тот приложился к кружке, Гонта выбрался из-за стола. Дойдя до ворот, сотник заметил губернатора, тот сворачивал с аллеи на дорогу. Гонта хотел пройти мимо, но Младанович позвал его:

— К казакам? Я тоже туда. Посмотрю, как они веселятся.

На майдане гулянье было в полном разгаре. Часть казаков сидели за длиннющими, наспех сколоченными столами, другие ходили от кучки к кучке, горланя песни, кому какая пришлась по нраву: чумацкие, молитвенные, запорожские, даже гайдамацкие. Дождей давно не было, и перетертый песок поднимался из-под сотен ног едкой пылью.

Младанович остановился около какой-то лавки поглядеть на смешное зрелище. Троих казаков со всех сторон окружила толпа мальчуганов, время от времени какой-нибудь из них приближался к пьяному на безопасное расстояние и громко кричал:

— Дядько, а Васько вам в спину дули * тычет!

— Мне? Да я ему... — казак неуклюже поворачи-

вался, порывался вперед, и мальчуганы вспугнутым табунком бросались врассыпную.

Через несколько минут все повторялось сначала.

Губернатор продолжал обход. На его самодовольном лице блуждала усмешка.

— Странные люди эти казаки... — наконец промолвил губернатор, но не закончил и настороженно прислушался. Вдруг его лицо передернулось, брови подскочили вверх, и хотя усмешка еще не исчезла, теперь она была столь бессмысленной, что походила на кривлянье безумца.

Гонта тоже остановился, он еще раньше уловил рокот бандуры.

— Как смели, хлопы, пся крев! Я вас научу, какие песни петь! — неестественным голосом завизжал Младанович. — Про схизмата Хмеля! Растопленным оловом залью глотки за эти разбойничьи песни!

Взбешенный, он был смешон. Схватив со стола тарелку, он швырнул ее в кобзаря, затопал ногами, вырывая из его рук кобзу.

Гонта не видел, что было дальше. Он бегом выбрался из толпы и зашагал по улице. Встречные казаки удивленно оглядывались на старшего сотника, провожали его долгими взглядами. Гонта не замечал, куда идет. Он сам удивился, когда увидел перед собой покосившиеся хаты предместья Бабанки. Но не повернул назад, только замедлил шаг и свернул с дороги на тропинку, что вела через яр.

Какое-то неприятное чувство сжимало грудь. Оно не уменьшалось, а все возрастало.

Почему не остановил? Как мог спокойно смотреть на такое?

Страшный стыд жег мозг. Хотелось круто повернуть и побежать на майдан, но он сам понимал — поздно. И от этого становилось еще обиднее. Эта песня — первое, что запомнилось ему с детства. Ее любил петь его отец, выучил играть и его, маленького Ивана.

«Странные люди эти казаки...»

А он, Иван? Кто он сейчас, с кем он? Где тот берег, к которому плыл всю жизнь? Тут, где шляхта?

А на том остались товарищи, односельчане, родичи. Дядько Опанас, дед Василь, материна и отцова могилы тоже там. Что бы они сказали, когда б увидели его сегодня? Не было бы ему прощения. В их маленькой хатке кобзарь всегда сидел на самом почетном месте — в красном углу под образами.

Разве не замечает он, как посмеиваются паны над его хлопской речью, манерами, над песней его?

Гонта остановился. Перед ним протянулось широкое поле. Далеко на горизонте возвышалась могила, а немного правее — еще одна, поменьше.

Украина! Земля любимая! Сколько пота горького пролито крестьянами на твоих нивах! Сколько крови протекло по росе чистой! И все это во славу твою, чтобы пышно цвела ты, как роза по весне. И снова... Сколько жита буйного вытоптано вражескими лошадьми, гончими панскими!.. Сколько могил высоких одиноко возвышаются в степи! Лежат в тех могилах рыцари славные, что защищали волю родного края. То предки твои. Разве не тебе завещали они в песнях встать за правду, за землю родную, за народ подневольный?!

Сотник вздохнул и тяжело опустился на холм. Над головой в светлой голубизне вился жаворонок. Казалось, он застыл на месте, только крылышки трепетали часто-часто, поднимая его все выше и выше.

Гонте снова вспомнилось детство. Какая радость — услышать первого жаворонка в поле. Выезжая на маленькую арендованную у пана ниву с одинокой грушкой на меже, отец часто брал его с собой. И всегда над их нивой заливался звонкой песней жаворонок. Маленькому Иванку казалось, что жаворонок звенит над их нивкой всегда один и тот же. Он его так и называл «наш жаворонок». Однажды он нашел на меже и гнездо, а в нем было четыре птенца. И неведомо, кто больше любил эту нивку с одинокой грушкой: жаворонок или он, Иванко. Ему в отчем дому теснее, чем жаворонятам в гнезде. Он, малый, понимал: вырастут они, выпорхнут из гнезда в лазурное небо, в мягкие травы, а куда выпорхнет он? Жили они у деда; кроме его отца, в избе три отцовых

брата, все они женатые, Иванко подчас путал своих двоюродных братьев и сестер. Затем сход выделил отцу на пустыре клок земли под хату. Отец выплел из лозы стены, мать облепила их глиной. Когда отец зимой вносил в хату и собирал ткацкий верстак, он и братья спать залезали под печь — в избе больше места не было.

Поэтому с первыми ручьями и бежал он так радостно на нивку. Наибольшей мечтой отца было купить эту нивку у пана. Об этом же они шептались с матерью ночью. Об этом, случалось, отец говорил с улыбкой Иванку: «Погоди, сын, будет эта нивка нашей, купим ее вместе с жаворонком. Сейчас он пану поет, а уж тогда только нам запоет».

И в тот миг жаворонок обрывал песню. Видно, прислушивался. Он, как понимал Иванко, ничего не имел против, чтобы его купил Иванков отец. Ведь это он весной, вспахивая нивку, делает крюк, бережливо обходя гнездо, оставляет ему клочок дорогой земли; ведь это он засевает для него густой рожью ниву, прячет гнездо от дурного глаза.

Но жаворонок так никогда и не запел его отцу.

Теперь над Гонтиными полями поет с дюжину жаворонков. Но теперь Гонте кажется, что поют они не ему, а тем посполитым, которые пашут его поля. Обманулся он мальчиком в жаворонке, жаворонок не продает свою песню. Все это было так давно. Теперь он сам пан, у него два села. И Гонту грызет мысль, что сказал бы отец, увидев его сейчас. Возрадовался бы или закручинился? Скорее, закручинился бы.

И почему-то впервые подумалось: сколько таких нивок, как арендовал его отец, уместится на его поле, скольким счастливым пахарям могли бы запеть жаворонки?

Над полем тяжело, словно вздыхая, подул ветер. Гонта снял шапку, расстегнул кунтуш. Ветер тряхнул длинные, немного закрученные вверх усы сотника, рванул оселедец, выдернув его из-за уха. Гонта заправил оселедец на место, но ветер снова выдул оселедец на лицо, поиграл рукавом кунтуша, шуганул по житу. Оно зашуршало, плеснуло упругой волной.

Опять налетел ветер, и по житу одна за другой побежали волны: зелено-синие, завихренные на гребнях, такие, какие бывают на море, когда оно ждет бури.

Глава вторая

ГУСАРЫ

Два месяца прошло с тех пор, как солдат Каргопольского карабинерного полка Василь Озеров был переведен в 3-й Донской гусарский полк, которым командовал поручик Кологривов. Из гусарского полка для усиления штабной охраны были взяты два эскадрона, потому и возникла необходимость в его пополнении. Василя, как бывшего донского казака, вместе с несколькими другими однополчанами определили в гусары. Служба в Донском полку не понравилась Озерову с первых же дней. Тут были богатые казаки с верховьев Дона, все они, начиная от вахмистра и кончая командиром полка, с нескрываемым презрением смотрели на низовиков * и таких вот случайных в полку людей, как Василь. К тому же командир полка попался на диво злой и тяжелый на руку, как говорили про него казаки. Наказывал немилосердно и за провинности и без всякой провинности, а так, «для острастки».

Особенно трудными были первые дни. Словно в тумане жил тогда Василь. В тумане тяжелом, беспросветном. Несколько раз даже появлялась мысль бросить все и бежать куда-нибудь в Причерноморье. Но выдержал. Почти каждый вечер, возвращаясь с бегового поля, они с соседом садились у окна и мазали свежим салом спины, исполосованные длинной плеткой вахмистра.

Была суббота. В гусарском полку проходили занятия по изучению частей и порядка сборки карабина.

Капрал, который проводил в полуэскадроне учения, стоял под навесом, казаков же выстроил в две шеренги, поставив прямо под дождем.

Прошло больше часа. Болели ноги, ныла поясница, но никто даже и шевельнуться не решался. Эти

стояния были еще одной мукой из числа тех, которые выдумывал для новичков изобретательный капрал, прозванный солдатами за свой тонкий голос и придирчивый нрав «Щенком». Монотонно, словно длинную, надоевшую молитву, повторяли гусары вслед за капралом непонятные названия частей карабина, которого новички еще и в глаза не видели: «дуло калибровое со штыком», «курок иголочный со скобой и язычком». При каждом новом наименовании капрал загибал на левой руке сразу по два пальца. Когда занятия уже подходили к концу, позади строя, на дорожке, ведущей к штабу, появилась высокая фигура в синем плаще. Узнав в ней командира полка поручика Кологривова, капрал выскочил из-под навеса и забежал во фланг, чтобы подать команду «налево кругом», но поручик движением руки остановил его и пошел дальше. Он уже поравнялся с последним гусаром полуэскадрона, как вдруг остановился. Капрал повернул строй и, браво, по-казачьи звякнув шпорами, отрапортовал ему. Не слушая рапорта, Кологривов придирчивым взглядом окинул неподвижную стену синих доломанов.

— Это новые?

— Так точно, второй полуэскадрон пятого эскадрона. Солдаты в большинстве старые, но гусарская служба для них суть новая. Десяток человек есть из рекрутов.

Кологривов подошел вплотную к строю и остановился напротив Озерова.

— Из какого полка?

— Каргопольского карабинерского полка их высокоблагородия полковника Гурьева, — не моргнув глазом, ответил Василь.

— Командиром роты кто был?

— Их благородие капитан Станкевич.

— Увидим сейчас, чему вы научились в карабинерном полку. Всем внимать! Порядок заряжения карабина после первого залпа?

— Взять карабин к ноге, наклонить дулом к себе, скусить патрон, насыпать порох на полку, закрыть полку... — четко выпалил Василь.

— Кто командир корпуса?

Хотя поручик бросил этот вопрос через плечо, уже шагая вдоль строя, Василь понял, что он спрашивает его.

— Кавалер ордена Белого Орла, их превосходительство генерал-лейтенант Кречетников.

Кологривов насупился: казалось, он был недоволен быстрыми и точными ответами солдата. Он замедлил шаг, остановился на правом фланге перед широкоплечим гусаром с толстыми, по-детски оттопыренными губами и наивными голубыми глазами. Тот ел глазами начальство, пытаясь сдержать нервную дрожь. Это был донской казак из новоприбывших. Тупой от природы, за эти две недели он окончательно утратил всякий здравый смысл.

Капрал совершенно сбил его с толку. Началось это с того, что на третий день по прибытии, когда капрал проводил занятия по словесности, на его вопрос: «Кто является врагами государства Российского?» — наученный каким-то гусаром новобранец в конце перечисления после «турок и конфедератов» добавил еще одного: «капрал Щенок». С тех пор не проходило дня, чтобы капрал не оставлял нескольких синяков на лице бедняги гусара.

— Карабин знаешь? — резко спросил Кологривов.

Гусар мотнул головой, будто хотел удержаться от икоты, и дрожащими губами залепетал:

— З-знаю. — Он смотрел на капрала, а тот, побаиваясь не меньше его, грозил ему глазами и загибал по два пальца на левой руке.

Гусар растерялся еще больше и зашевелил толстыми, посиневшими от страха губами, повторяя что-то про себя.

Кологривов поправил плащ и обратился к гусару:

— Как титулуется государыня императрица?

Казак моргнул сразу обоими глазами и рявкнул одним духом:

— Курок иголочный со скобкой и язычком.

На какое-то мгновение все оторопели. И вдруг страшный удар в челюсть свалил гусара на вторую шеренгу.

— Он новобранец, два месяца... — но дальше Василь не успел ничего сказать.

Его сосед, веснушчатый пучеглазый казак Кирила, прикрыл Василю рукой рот и со страшной силой стиснул локоть.

— Дурень... запорют, — зашептал он.

На счастье Василя, Кологривов не услышал его слов. Приказав капралу доложить командиру эскадрона о наложении на «нерадивого болвана гусара» десяти суток ареста со стоянием в полной выкладке около стены по два часа ежедневно и пяти суток ареста на капрала, Кологривов не спеша пошел по дорожке. А капрал, ругаясь на все заставки и грозя спустить с новобранца «семь шкур», повел гусар.

Возвращаясь из березовой рощи, куда вместе с другими гусарами они каждый вечер ходили за сушняком, Василь встретил бывшего командира, в роте которого служил раньше. Капитан был невысокий, лысоватый мужчина с задумчивыми светло-голубыми глазами и короткими, всегда аккуратно подстриженными усиками. Станкевича солдаты любили. Он никогда не кричал на них, никогда не наказывал невиновных, а уж если случалось посадить кого-нибудь на один-два дня под арест, то только за какой-то значительный проступок. Тогда он хмурил брови, но без гнева, а как-то болезненно опускал глаза. Еще о нем рассказывали, что у него очень много книг. По словам денщика, он возил их повсюду с собой, и все свободное от службы время проводил на походной койке с книжкой в руках. На офицерские вечеринки ходил редко, а когда шел, возвращался рано. Однако, как рассказывал денщик, к рюмке прикладывался, и походный бочонок всегда трясся в капитанском возке вместе с книжками.

— Служба как, Озеров? — пощипывая усики, спросил Станкевич.

— Да так, ваше благородие...

Станкевич пристально посмотрел на солдата.

— Исхудал ты очень. Нелегко, видно?

Озеров вздохнул, кивнул головой.

— Трудно, ваше благородие. Поначалу думал — с непривычки, втянусь со временем. А теперь... — Василь поднял глаза. Они горели болезненным огнем. — Рукоприкладство, карцер... Мочи нет. Солдата одного из петли вынули. Из новобранцев он; вахмистр донимал, а сегодня еще и полковой...

Капитан ничего не сказал Озерову. Только ниже опустил голову, чаще закрутил усики. Василь понял: ничего он не может сказать, разве что пожалеет. А для чего солдатскому сердцу жалость? Ведь и так немало в нем незаживших ран, тревог и сомнений...

Вечерами на квартире у Кречетникова собирались офицеры. Генерал любил эти собрания. Сам охотно подсаживался к ломберному столу перекинуться в фараона, сыграть в банк; к услугам молодежи был танцевальный зал, столы с хорошим выбором вин. Сегодня генерал не пошел к ломберным столам, а остался в танцевальном зале в окружении офицеров. Среди них был и поручик Кологривов. Рассказывали разные смешные истории, анекдоты, которые старый генерал очень любил.

Как Кологривов ни напрягал память, он не мог припомнить ни одного. Да и не умел он рассказывать анекдоты. Сын богатого донского атамана, сам бывший казацкий есаул, он выбился в командиры гусарского донского полка своим упорством, храбростью и преданной службой императорскому дому. Армейские офицеры за глаза смеялись над ним, а в душе завидовали. В двадцать шесть лет командир полка! Было чему позавидовать.

— Я расскажу случай, который произошел сегодня со мной. Господа, он походит на выдумку, однако это правда. Несколько часов тому назад я проверял понимание словесности и разных воинских артикулов солдатами, которыми раньше командовал капитан Станкевич...

И Кологривов рассказал о том, что случилось в пятом эскадроне, кое-что изменив и добавив от себя.

— Странный он, этот Станкевич, — отозвался по-

жилой премьер-майор. — Знавал я его батюшку, достойный и умный был дворянин. Не вышел в него сын. Все какие-то книжки, немецкие, французские. Видел я среди них и сочинения Вольтера, Руссо.

— Что там Руссо! У него есть более пикантные книги, — вставил Кологривов.

Офицеры с улыбками переглянулись. Кологривов, поняв, что сказал невпопад, стушевался и отошел в сторону.

Кречетников уселся поудобнее в кресле и, разглядывая носки своих сапог, заговорил старческим голосом:

— Непохвально, господа офицеры. Книжки всякие, идеи... Это не приводит к добру. Станкевич человек ученый. А на службу, видите ли, сквозь пальцы смотрит. — Генерал пожевал губами и негромко чихнул (офицеры при этом хором пожелали ему доброго здоровья). — Нам нужно отправить кого-нибудь из офицеров вербовать людей в солдаты. Пришел рескрипт создать еще два пикинерских полка на этом берегу Днепра. Андрей Петрович, — обратился он к полковнику Гурьеву, — отдайте распоряжение.

— А куда посылать? — спросили генерала.

— Куда-то в направлении Чигирина, Черкасс.

— Там же разбойники, эти, как их?.. — воскликнул кто-то из офицеров.

— Гайдамаки, — подсказал премьер-майор.

Молоденький подпоручик в тесном мундире с короткими рукавами пожал плечами:

— Гайдамаки тоже воюют с конфедератами.

— Мало ли с кем они воюют, — усмехнулся Гурьев. — Попробовали бы вы попасть им в руки, они бы с вами рассчитались не хуже, чем с конфедератами. Это обыкновеннейшие разбойники.

— Нет, не разбойники, — возразил премьер-майор. — Однако я согласен с Андреем Петровичем — в руки к ним попадать не следует. Эти люди пострашнее простых разбойников. Они убивают не всех, а дворян и других богатых людей.

К офицерам молча подошел Станкевич. Остановился за спинами, слушая спор. Гурьев одними гла-

зами ответил на его поклон, но, возражая премьер-майору, смотрел почему-то на Станкевича.

— Вы считаете, что им присущи какие-то идеи? Они просто обыкновеннейшие скоты. К ним даже не стоит применять оружие, а только плети. Не правда ли, Василий Павлович? — щуря левый глаз, обратился он к Станкевичу.

— Вы о ком? — спросил тот.

— О гайдамаках. Как по-вашему, они имеют какие-то идеи, планы? И что бы они сделали, если бы схватили кого-нибудь из нас, дворян?

— Я слышал о них много непохвального из уст наших офицеров. Однако, мне кажется, никто не задумывался над тем, что привело их к бунту. Насколько мне известно, им просто невозможно было жить. А что касается того, «если бы они схватили кого-либо из нас...» Не знаю. Но разве вам никто не говорил, как гайдамаки ждут русское войско? В надежде на его помощь они, видимо, и подняли бунт.

— Они ждут нашего мужика с дубинкой, а не нас, — сурово произнес Гурьев.

— Наш поселянин смирный душой и преданный своей императрице, — осторожно заметил толстый, как бочка, секунд-майор. — Он не станет бунтовать.

— Вы не дали мне, господа, договорить до конца, — сказал Станкевич. — Я тоже не знаю, какая судьба постигла бы того из нас, кто попал бы в руки к гайдамакам. Все же гайдамаки видят в нас просто русских, которых они ждут и которым верят, а не дворян.

— Почему в ставке не укажут помешать им? — не слушая Станкевича, обратился к Кречетникову премьер-майор.

Кречетников пожевал губами и, опираясь на ручки кресла, поднялся:

— Пойдемте, господа офицеры, снимем пробу с французского. Его мне прислал один старый знакомый. Что же касается гайдамаков... Вчера я получил письмо от князя Репнина; он пишет: «Не способствовать этому новому огню, а погасить...» Хотя гасить

пока что советует словами. Не знаю, как с ними можно говорить. Андрей Петрович справедливо заметил...

Кречетников в окружении офицеров направился в соседнюю комнату. Станкевич тоже хотел идти, но Гурьев задержал его.

— Василий Павлович, присядьте здесь, — указал он на кресло рядом. Полковник постучал пальцами по крышке маленькой серебряной табакерки и, делая вид, что продолжает внимательно следить за танцами, сказал вполголоса: — Я знаю, вам скучно тут, в Бердичеве. Вы любите путешествовать, знакомиться с новыми местами... И как раз выпал случай: получен рескрипт создать два полка пикинеров. Для вербовки нужно послать одного офицера, на которого можно положиться. Хлопот никаких, все будут делать капрал и солдаты. — Гурьев не договорил, завидев вошедшего в комнату лакея.

— Что тебе?

— Там солдат с пакетом, спрашивает ваше высокоблагородие.

— Пусть войдет.

Лакей вышел и через минуту вернулся с высоким гусаром в запыленном мундире. Отпечатывая шаг, гусар подошел к полковнику, отрапортовал и подал пакет. Гурьев скользнул взглядом по адресу, сломал сургуч и кинул гусару:

— Ступай.

Тот отдал честь и четко, по всем правилам артикула, повернулся кругом. На навощенном полу остались две кривые линии.

— Болван! — процедил сквозь зубы Гурьев. — Стой! Не поворачивайся! Десять суток ареста!

Солдат стоял неподвижно, только испуганно, словно ожидая удара в спину, втянул голову в плечи.

— Марш отсюда! — процедил полковник, и уже к Станкевичу: — А некоторые берутся утверждать, будто бы у этих скотов есть что-то в голове.

— Сапоги на нем еще с турецкой войны, с шипами, горного полка, — тихо заметил Станкевич. — Какие будут распоряжения? Когда выезжать?

— Завтра или послезавтра. Деньги и все необходимое получите у генерала Исакова; напишете ему рапорт.

— Хорошо, я выеду завтра. Мне можно идти?

Полковник кивнул головой. Станкевич поклонился и пошел к двери. Но, сделав несколько шагов, что-то вспомнил и возвратился назад.

— Андрей Петрович, у меня к вам просьба. Хотел бы взять с собой одного бывшего моего солдата, который теперь находится в полку Кологривова. Привык я к нему...

Гурьев пожал плечами.

— Хорошо, я поговорю с поручиком. Думаю, он удовлетворит вашу просьбу.

Глава третья

БРАТЬЯ

В последней сотне, где-то совсем с краю, идет Гаврило Карый. Черный, запыленный, заросший рыжей щетиной, шагает, глотая пыль, поднятую сотнями ног. Идет пешком — пожалел взять из дому коня, а когда разбирали в своем селе панских — побоялся. В голове серые и томительные, словно тучи пыли на дороге, мысли. Страх и тоска сжимают его сердце. Давно бы оставил он гайдамацкое войско, да все никак не выберет удобного момента. И еще сдерживает его надежда раздобыть коней и въехать в свой двор на собственной паре. Впереди Карого без всякого порядка шла толпа пеших гайдамаков. Тут собралась беспросветная голь. Мало кто имел саблю или ружье, в большинстве косы на рукоятках, а то и просто огромные, обожженные на концах колья.

По обочине дороги, нацепив сапоги на дубовую палку, к которой был прикреплен бич с железной, покрытой острыми шипами булавой, шел Микола. Роман уже дважды доставал для него коня, но Микола, который не любил ездить верхом, оба раза отказывался. Миновав пруд, разделенный плотиной, сотни стали сворачивать с тракта на глухой полевой про-

селок, терявшийся среди хлебов далеко у леса. Зализняк остановился у перекрестка, пропуская мимо себя сотню. Устало опершись о седло, он смотрел вдаль. Теплый ветер нес с собой душистый аромат гречихи и навевал воспоминания о проведенном в поле детстве. Максим с наслаждением вдыхал пьянящий запах. Когда поравнялись группы последней сотни, он кинул повод Орлику на шею и подошел к Миколе.

— Что это ты в хвосте плетешься?

— Ногу натер, сапоги очень тесные.

— Поменялся бы с кем-нибудь.

— Пробовал уже. Один казак как будто и не малого роста, а надел мои — не подходят. Скажи, Максим, зачем мы со шляха свернули?

— Отдохнем в ближнем селе. Да и безопаснее идти по глухим дорогам. Но далеко уклоняться в сторону не будем. Ты оставайся тут и, когда подойдет обоз, скажешь, чтобы сворачивали на эту дорогу. И сам подъедешь, нога немного отойдет.

— Что-то неохота мне тут сидеть, — почесал затылок Микола.

— Чтобы не скучно было, возьми еще кого-нибудь. Вон Карого.

Зализняк подозвал Карого и, приказав ему остаться с Миколой, поехал за войском.

Микола и Карый примостились неподалеку от дороги. Микола лежал на животе, отыскивал в траве молоденькие листики щавеля, собирал по нескольку и клал в рот. Щавель оставлял терпкий, горьковато-кислый привкус.

Припекало солнце. Вблизи дороги там, где был хутор, дремали разомлевшие от жары тополя.

— Пойдем в холодок, — предложил Микола. — Оттуда дорогу тоже видно.

Они перешли под тополя и сели в тени. Микола снова принялся за щавель, а Карый, сняв свиту и положив ее к себе на колени, принялся подшивать оторванный рукав. Свита была почти новой, Карый не раз ругал себя, зачем взял ее из дому. Он и сам не помнил, как это случилось. Все в тот день ходили

в праздничной одежде, и он тоже, а потом и выехал так.

— Что-то лень напала, ко сну клонит, — проговорил Микола и потер глаза.

— Спи, я постерегу.

— А не заснете? Еще прозеваем обоз. Максим говорил, чтобы глядели хорошенько, где-то тут поблизости шляхетская ватага бродит.

— Он, может, нас припугнуть хотел.

Микола подложил под щеку шапку, и через минуту раздался громкий храп. Карый склонился над свитой, изредка поглядывая на дорогу. Закончив пришивать рукав, он расправил свиту, повертел ее перед собой и, осторожно свернув, положил на траву. Потом поднялся и пошел бродить по пустырю. Не нашел ничего интересного, снова сел возле Миколы. Его одолевала зевота. По зеленой траве, прорываясь сквозь лиственный шатер, прыгали солнечные зайчики. От них рябило в глазах, и дремота наседала еще больше. Зевнув еще раз, Карый снял сапоги и, прикрыв их свитой, подсунул себе под голову.

«Будут ехать — услышу, колеса загремят», — решил он.

Спали долго. Не слышали, как к перекрестку подъехал обоз, как обозники остановили лошадей и стража долго совещалась, куда ехать. Следы сворачивали направо, но почему атаман ничего не сказал им с утра или не оставил кого-нибудь? Хотя бы метку положил на дороге. Видно, гайдамаки пошли в обход, а им нужно ехать прямо. Рассудив так, обозники двинулись шляхом в прежнем направлении.

Солнце уже повернуло с юга, и тень передвинулась далеко вправо. Микола сквозь сон почувствовал на своей щеке лучи, перевернулся на другой бок. Становилось жарко. На лице выступили капельки пота. Микола смахнул их ладонью и проснулся. Он сел на траву, протирая заспанные глаза. Карый спокойно спал под тополем. Микола взглянул на тень и испуганно вскочил.

— Дядько Гаврило, вставайте.

В эту минуту на дороге послышался топот и голоса. Микола оглянулся. Заметив незнакомых всадников, он пластом упал в траву.

— Шляхта, дядько, лежите! — закричал он на Карого, который, почесывая пятерней потную грудь, поднялся с травы.

— Где? — еще не опомнился Карый.

Микола поднялся на колени и силой повалил Карого. Но было уже поздно. К ним скакали всадники. Охватив кольцом хутор, они осторожно приближались к тополям, держа ружья наготове. Разглядев, что гайдамаков только двое, шляхтичи с криком навалились на Миколу и Карого, который упал на колени и умоляюще поднял над собою руки.

— Паночки, за что вы нас, мы не гайдамаки... — Карый проклинал в душе и Зализняка, который оставил его дожидаться обоза, и Миколу, а прежде всего деда Мусия, который наделил его этой старой зазубренной саблей и пистолем.

— Зачем вязать этих мерзавцев?— крикнул какой-то шляхтич. — На тополь их.

— Нужно сначала к региментарию отвести, — не согласился другой.

Завязался спор. Победили те, которые требовали повести пленных к региментарию. Миколе и Карому связали руки и прямиком через поля повели к лесу. Шляхтичи гнали коней рысью так, что не только Карый, но и Микола с трудом поспевал за ними. Несколько раз тонкая нагайка-треххвостка больно стегнула Миколины плечи и шею, а один удар рассек кончик уха. Микола старался не опережать дядьку Гаврилу, знал: если опередит, все удары будут падать на плечи Карого. Около леса они выскочили на дорогу, и всадники погнали лошадей еще быстрее. Карый стал спотыкаться. Еще немного — и упал бы, но в это время из-за кустов выбежал какой-то человек в коротком жупане и замахал руками. Всадники попридержали коней.

— Карета в болоте застряла, помогите вытащить! — крикнул он.

— Чья карета?

— Пан Езус, они не понимают! Наша, пани региментаровой. Пани к нам ехала.

Шляхтичи свернули с дороги. За кустами увидели карету. Накренившись на один бок, она стояла посреди заросшей аиром и ситнягом* речки. Забрызганный грязью кучер в завернутых выше колен штанах стоял в воде, он уже совсем выбился из сил и изверился в своих исполосованных кнутом лошадях. На козлах сидел какой-то панок; ожидая, пока вытащат из воды карету, он через окошко разговаривал с кем-то, видимо с самой госпожой.

Эконом — это был тот пан, который выбегал на дорогу, — указал пальцем:

— Колесо увязло, приподнять нужно. Вот и палка лежит, я ее под кустом нашел.

Шляхтичи сошли с коней, но ни у кого не было желания лезть в грязную взбаламученную воду.

— Хлопы нех лезут! — вдруг выкрикнул один и, радуясь своей находчивости, кинулся развязывать Миколу и Карого.

Несколько человек охотно помогли ему. Карый хотел заправить за пояс полы свиты, но какой-то шляхтич толкнул его в спину:

— Она тебе ненадолго понадобится, черти в ад и голого примут.

Микола взял палку и первым побрел по воде. Речушка, хотя и имела в ширину около двенадцати саженей, была мелка, с заболоченным илистым дном. Заднее левое колесо кареты провалилось в грязь по самую колодку. Микола подсунул под него палку, а когда попробовал нажать плечом, палка увязла в иле.

— Дайте хворосту, — попросил Микола.

Шляхтичи нарубили саблями лозы и побросали в воду. Лоза не долетала до кареты, Микола палкой подгребал ее к себе. Собирая лозу, он поглядывал на берег. Вдруг в голове его зародилась мысль о побеге. Утаптывая лозу под колесо, Микола прошептал Карому:

— Бежим! Как карета тронется — мигом в лес. Речка топкая, на конях не скоро переберутся.

— И не думай. Куда там... Проситься будем... — испуганно зашептал в ответ Карый.

— Быстрее там! — закричали с берега.

Микола снова заложил палку.

Вдвоем с Карым они приподняли колесо. Кучер дернул за вожжи, шляхтичи на берегу зашумели, заулюлюкали, даже панок на козлах наклонился вперед, зачмокал губами. Карета заскрипела и тяжело тронулась с места.

Шляхтичи закричали еще громче. Тогда Микола, бросив на воду палку, крикнул Карому:

— Бежим, дядько!

Он больше не оглядывался. В несколько прыжков был на другом берегу и мчался к лесу. Упал в какую-то лужу, вскочил и снова побежал, а когда выскочил на сухое, треснул первый выстрел. Микола кинулся налево, позади прозвучало еще с полдесятка выстрелов, только пули просвистели где-то сбоку.

Микола слышал, как взбешенно ругались шляхтичи, загоняя коней в воду, но это теперь не страшило его — он уже бежал через кусты ивняка, за которыми начинался лес.

Посреди широкого сельского майдана собралась молодежь. Играет Роман девчатам, тревожит молодые сердца песней. Черноволосый, красивый, он подмигивает то одной, то другой; не прерывая игры, лихо сбивает на затылок шапку. Весело рокочет в его руках бандура, то рассыпается смехом на все лады, то воркует двумя басами, то заливается тонко-тонко, словно семнадцатилетняя девушка. Любуются девчата буйной Романовой красотой, млеют под его взглядом. Не одна согласилась бы посидеть с ним вечер, послушать его шутливую речь, наглядеться вволю в его черные веселые очи. Однако Роман не думает об этом. Где-то там, в Медведовке, ждет его Галя, и нет в целом мире девушки лучше ее. Как ромашка полевая, красивая, нежная.

Играет Роман и не смотрит на бандуру. Он видит, как в конце улицы замаячила высокая фигура. В ней Роман узнает Зализняка. Рядом с ним — Швачка и Неживой. Роман передал бандуру соседу и пошел через майдан, все еще напевая веселую песенку:

Кум городами йде,
Кума вулицею,
Кум трясе пiтухом,
Кума курицею.

Шел не прямо, а наискось, намереваясь перехватить Зализняка. А тот вдруг неожиданно остановился, присел на корточки. Неживой и Швачка нагнулись над ним.

— В кавуны играете? — весело промолвил Роман и заглянул через голову Неживого.

Зализняк водил по песку пальцем и, поглядывая то на Неживого, то на Швачку, что-то втолковывал им.

— От Канева до Богуслава тридцать верст. Ты, Семен, напрямик пойдешь, вот так, — и Зализняк провел на дороге еще одну линию. — Мы пробудем где-нибудь возле Богуслава, пока ты подойдешь.

Максим поднялся, поправил на плечах кирею.

— И ты тут? — только теперь заметил он Романа. — По делу какому или просто так?

— Просто так.

Они зашли во двор, где остановился Зализняк, присели на завалинке. Максим вытащил трубку, а набить не успел: на улице послышался топот, брань.

— Что за нечистая сила? — обронил Максим.

В этот миг в калитку, прижав уши, вскочил Орлик. За ним, пытаясь достать коня длинной лозинкой, бежал какой-то гайдамак.

Увидев атамана, он немного растерялся и швырнул лозинку через ворота.

— Буханку украл; из сада зашел, а она на возу лежала. Мы как раз обедать собирались. Один казак подскочил к нему, а он его за рукав.

— Залез, как говорят, в чужую солому, да еще и шуршит, — пошутил Швачка.

Максим подозвал коня к себе.

— Придется тебя привязать — ворюгой стал.

— Думает, если атаманский конь, так ему все можно, — засмеялся Роман. — Глядите-ка, делает вид, будто пасется, а сам глазом косит. Ох, и хитрющий!

— Джура его разбаловал, любит хлопец лошадей. А вот и он. Ну как, Василь?

— Нет обоза. Я и на вербу взбирался — не видно.

— Обоз давно должен быть. Не иначе, случилось что-то.

— Они знают, куда ехать? — спросил Швачка.

— Знают, я земляков своих оставил у дороги.

— Кого? — повернул голову Роман.

— Миколу и Карого. Яков, возьми с полсотни хлопцев и скачи к перекрестку. С обозом, видно, не все ладно.

— Я поеду тоже, — Роман вскочил и побежал за ворота.

Через несколько минут с полсотни запорожцев Швачкиного отряда мчались по дороге на Трушовцы. На перекрестке Швачка натянул поводья, и вороной, в дорогой сбруе конь, взвившись на дыбы, остановился на месте. Гайдамаки принялись осматривать дорогу, местность поблизости. Швачка отдал Яну коня и прошел по дороге. На ней были хорошо видны следы колес многих возов.

— Сапоги нашел, — подскакал к Швачке здоровый, косая сажень в плечах, гайдамак.

Роман осмотрел большие растоптанные сапоги.

— Миколины, — встревоженно кинул он. Спешился, внимательнее вгляделся в протоптанную в ячмене дорогу, которая вела куда-то к лесу.

— Разве тут разберешь что-нибудь! Конские копыта хорошо видно. Следы от тополей ведут туда, где и сапоги нашли. Микола зачем-то к лесу пошел. А может, его погнали?

— Плохо. Обоз прямо поехал. Нам надо ехать за ним. — Швачка подозвал Яна. — Быстро к ата-

ману. Пускай вышлет сотни три на Карашин. Скажи, мы тоже туда поскакали за обозом.

— А с Миколой как? К лесу нужно ехать.

— Некогда, медлить никак нельзя.

— Миколу схватили.

— Что же нам, обоз спасать или твоего Миколу? — уже со злостью сказал Швачка, садясь на коня.

— Около обоза охрана есть.

— Нам надо выполнять атаманов приказ.

— А бросать людей без помощи...

— Ты, Роман, когда потонешь — против течения поплывешь. Бери восемь казаков и езжай. Только мигом.

...Протоптанный в ячмене след... Дорога... Снова след к реке. Остановились. В истоптанной траве виднелись наполненные водой глубокие следы колес, в стороне от них белела свежая порубка ивняка, а возле самой воды, лицом вниз, лежал какой-то человек. Роман нагнулся, смутно узнавая что-то знакомое в этой скрюченной фигуре.

— Карый, дядько Гаврило! — удивленно крикнул он, переворачивая мертвого. — Убили его. Рана над ухом. — Несколько минут вглядывался в знакомое лицо. Потом встрепенулся. — Значит, и Микола где-то тут. Нужно спешить. Вернемся, тогда похороним Карого.

Придерживаясь следа, они выехали на дорогу. Но дорога сразу расходилась — одна шла влево, к лесу, вторая спускалась с горы к Трушовцам. На ней виднелись следы копыт, оставленные небольшим отрядом.

На холме размахивала крыльями ветряная мельница, торопила к себе. Дверь ветряка была заперта. Объехали вокруг, один запорожец постучал копьем по дощатой стене. Никто не откликнулся. Очевидно, мельник засыпал зерно, а сам пошел в село.

В село въезжали шагом. Улицы были пустынны и, как показалось Роману, какие-то настороженные. Лишь в одном окне промелькнуло женское лицо и, увидев вооруженных всадников, спряталось.

— Нужно зайти в какую-нибудь хату и расспросить, — сказал широкоплечий гайдамак. — Село словно вымерло.

Последних слов никто не услышал. Из-за плетня грянул залп. Дико заржали кони, кто-то из гайдамаков выстрелил над головой, в небо.

Конь Романа рванулся в сторону и остановился около тына, пошатываясь на широко расставленных ногах. Роман понял — конь сейчас упадет. Освободив ноги из стремян, Роман прыгнул через тын, прямо в огород. И в это мгновение перед самым его лицом упал на землю перерезанный пополам пулей просяной стебель. Роман втянул голову в плечи и вслепую кинулся дальше в огород. Он пробежал несколько шагов и увидел перед собой недостроенную хату. Выстрелы гремели где-то за спиной, и от этого казалось, будто стреляют только в него.

— За стену, — услышал Роман, вскочив в прорез для дверей. Он стал за стену, оглянулся. В хате пряталось еще двое гайдамаков.

— Чего вы сидите, бежим в окно! — показал Роман на прорез в противоположной от дверей стене.

— С той стороны тоже стреляют.

Роман присел под стеной и оглядел хату. Ее, видимо, начали строить еще с осени, сруб был возведен выше окон. Но потом почему-то работу прекратили: в густой траве валялись почерневшие щепки, сложенные под стеной слеги тоже успели почернеть. В сенях на мостках, установленных на столбиках (чтобы не достали мыши), лежали две копны ржаных обмолоченных снопов.

— А где остальные казаки? — спросил Роман.

— Человека три на конях вырвались, вон еще Опанас лезет. — Гайдамак показал рукой через окно.

Роман тоже подошел к окну и осторожно выглянул из-за стены. На улице валялись убитые кони, около одного из них лежал мертвый гайдамак. Больше никого не было видно.

— Вот так попались! — сказал один из гайдамаков.

— Может, бог даст, как-нибудь выберемся, — подбодрил Роман.

— Как-то бог даст: отец хату продаст, собак накупит, никто к хате не подступит, — невесело пошутил второй гайдамак, выкладывая из торбы в шапку пули. — Не выйти живыми отсюда.

Роман хотел выглянуть в боковое окно, но второй гайдамак — он подрывал под стеной землю — предостерегающе крикнул:

— Берегись! Тут вблизи кто-то стреляет, и очень метко.

Тем временем к хате подполз еще один гайдамак. За ним по земле протянулся ржавый след — он был ранен в руку пониже локтя. Сечний — так звали гайдамака, который выкладывал заряды, — помог раненому перелезть через порог. Посадив его под стеной, он принялся перевязывать рану. Роман взял в углу сноп, проткнул его поперек, надел на него свиту. Сверху приладил шапку. Потом взял чучело снизу, поднял напротив окна. Свистнула пуля, пронизав чучело насквозь. Роман опустил куль, через несколько минут снова поднял его. Снова свистнула пуля, снова Роман спрятал куль. Так повторилось несколько раз. На четвертый раз уже никто не стрелял. Стрелок понял — его обманывают. И дальше, сколько Роман ни показывал чучело, выстрела не было. Тогда Роман снял с куля и надел на себя свиту, напялил на голову шапку и стал на корточки, готовясь подняться.

— Что ты делаешь? — оторвавшись на миг, спросил Сечний и снова продолжал наблюдать за улицей.

— Разве не видишь? Я теперь вот встану и погляжу, где сидит тот проклятый стрелок. Он подумает, что это чучело.

— Не надо, я уже яму прокопал, — сказал гайдамак снизу. — Он за колодцем сидит. Подай ружье.

— Хлопцы, сюда! Они идут! — крикнул Сечний.

— Ты лежи и смотри, чтобы отсюда не зашли, — велел Роман гайдамаку, который подкопался под стену, а сам схватил ружье и стал к окну.

— Дайте и мне что-нибудь, — попросил раненый.

Роман огляделся. Ружей было только три. Он вы-

тащил два пистолета, положил возле раненого и снова вернулся к окну.

По улице, низко нагибаясь, перебегало пятеро жолнеров. Хотя они жались к плетню, их все равно было хорошо видно.

— Ишь, выпрямились, уже и не пригибаются. Ну же, ну, поднимайте, свиньи, выше хвосты, глубоко будет морем брести, — прошептал Роман. — Стреляем?

Однако выстрелили первыми два жолнера. Стреляли они на бегу, почти не целясь, и обе пули попали в стену, далеко от окна. Роман спустил курок. Жолнер, в которого он целился, остановился и тяжело сел на землю, продолжая держать ружье перед собой. Рядом с ним упал второй, сраженный пулей Сечния. Остальные залегли под тыном и открыли огонь по окну. Теперь приходилось прятаться за стены и выглядывать осторожно, краем глаза.

— Продержаться бы еще немного, — промолвил Сечний. — Кто-то из наших убежал же, приведет помощь.

Позади них прогремел выстрел. Все трое оглянулись.

— Куда ты, Остап, стрелял? — спросил Сечний.

— Двое подсолнухами подкрадывались. Один вернулся, а другой вон лежит. Они и от сеней могут зайти. Там в срубе щель. А то и под стенами до дверей проберутся.

— Я сяду там, — раненый гайдамак перешел на новое место, сел под снопами. — Отсюда на две стороны видно. А вы двери завалите, вон бревна, доски лежат.

Это было разумно. Через несколько минут Роман и Сечний завалили дверь бревнами, кольями, досками.

Жолнеры сделали еще несколько попыток проникнуть в хату. Один раз они зашли со стороны сеней, но Роман, Сечний и раненый гайдамак выстрелами отогнали их. После этого жолнеры долго не решались приблизиться к хате. Дважды они предлагали сдаться, только гайдамаки оба раза отвечали им выстрелами.

Казалось бы, в таком укрытии можно продержаться долго. Но у гайдамаков кончался порох. Первым это обнаружил Сечний. Опрокинул свой рог, а из него ничего не посыпалось. Тряхнул им около уха, бросив под ноги, взял Романов. Да и там почти ничего не было. Только из Остаповой двойной пороховницы натрусили заряда на три.

— У тебя пороховница есть? — обратился Сечний к раненому.

Тот покачал головой и виновато опустил глаза.

— Открылась, когда огородом полз, и высыпался порох.

Наступило длительное молчание.

— Не зацепись я за тын — бежал бы в поле, — тоскливо вымолвил Остап. — Мимо меня конь без всадника проскакал... Поводья по земле тянулись... Ишь, ирод, кудою лезет! — Остап выстрелил в жолнера, промахнулся и злобно выругался. — Не выйти нам из этого тризниша.

— Смотрите, еще солдаты! — крикнул Сечний.

Все бросились к окну.

— Одежа какая-то непонятная, — промолвил Роман. — Глядите, мундиры зеленые, а у среднего по мундиру шитье серебряное.

— Братцы, так это же русские солдаты! — выкрикнул Сечний. — Средний — офицер. Только куда они идут?

— Не видишь куда — к жолнерам, — хмуро обронил Остап. — Помогать им.

— Не может быть! Я выбегу к ним, — сказал Роман и вскочил на окно.

Сечний в испуге схватил его за полу.

— Я тоже не верю, чтобы москали в нас стреляли. Только на всякий случай лучше подождать.

Офицер и двое солдат свернули за угол, где должны были быть жолнеры.

В тяжелом молчании проходили минуты. Все четверо напряженно всматривались в улочку, где исчезли солдаты. Никто не проронил ни слова. Наконец из-за угла снова появился офицер и солдаты. Офицер

на мгновение обернулся, что-то сказал в улочку. Потом поднял руку — Роману показалось, будто он погрозил пальцем, — и медленно пошел прямо к гайдамакам. Когда офицер и солдаты подошли ближе, один солдат снял с плеча карабин и помахал им. Только теперь Роман заметил: на конце штыка болтался обрывок белого платка.

Роман, Сечний и Остап, словно по уговору, разом кинулись к дверям. Разметав бревна и доски, они вышли из хаты. Только раненый гайдамак остался в дверях, держа в руке пистолет.

Офицер и солдаты были уже рядом. Они остановились, офицер с любопытством посмотрел на гайдамаков и заговорил тихим голосом:

— Мой отряд находится в этом селе. Я запрещаю в нашем присутствии вести бой. Идите, в вас стрелять никто не будет.

Роман, Сечний и Остап переглядывались, не зная, верить ли словам офицера.

— Идите, не бойтесь, — глядя большими ласковыми глазами, сказал солдат, на штыке которого висел белый платок. — Ваше благородие, разрешите, я их провожу?

Офицер кивнул головой и в сопровождении другого солдата пошел прочь.

— Пойдем отсюда, — промолвил Сечний, шагая тропинкой по меже.

Гайдамаки быстро, еще до конца не веря в свое спасение, зашагали в огород. Солдат шел сзади.

— Можете идти спокойно, жолнеры не погонятся за вами. Наш капитан сказал им, что если они попробуют возобновить бой, он прикажет перестрелять весь их отряд.

Сечний замедлил шаги и, поравнявшись с солдатом, пошел рядом.

— Кого нам благодарить? Кто вы такие?

— Русских солдат благодарите. Мы всем отрядом просили капитана заступиться за вас. Капитан у нас добрый. Мы приехали вербовать казаков в пикинерию. Остановились в селе на день и слышим — стрельба. Капитан и говорит мне: «Пойди узнай, что

там». Пришел я, взглянул — лежат за плетнем польские жолнеры, наверное конфедераты, и стреляют по хате. Спрашиваю, в кого стреляете? «Хлопы, — говорит, — там засели». Закурить у вас нету? — вдруг прервал рассказ солдат.

Они уже вышли с огородов. Под молоденькой березкой остановились. Роман вынул кисет. Солдат набил трубку, с наслаждением затянулся крепким дымом.

— Хороший табачок! Давно курил такой, еще у себя дома... Нет, брешу, когда-то один гончар угощал. В гости меня приглашал в село... Мельниковку. Не с вами он, случайно, — Неживым мне назвался?

— Неживой, Семен? — вместе воскликнули Роман и Сечний.

— Семен.

— Начальник отряда он.

Остап не слушал разговора. Он все время испуганно оглядывался. Солдат заметил это.

— Идите, я буду возвращаться. Поклон передавайте Семену, скажите, кланялся ему Василь Озеров. Если есть, дайте еще табаку на трубку.

Роман развязал кисет, но сразу же снова затянул его и протянул солдату:

— На память.

Солдат взял кисет, повертел его, но, заметив шитую шелком надпись, прочитал: «Оце тому козаченьку, що вірно любила», протянул кисет назад.

— Подарок от девушки...

Роману самому стало жаль кисета, вспомнил, с каким трудом выпросил его у Гали. Но он колебался только какой-то миг.

— Возьми, она мне еще десять подарит. Скажу — и все. — Роман говорил с такой убедительностью, что солдат согласился.

Он спрятал кисет и протянул руку.

— Прощайте, поклон не забудьте передать, памятный у нас тогда с Семеном разговор вышел, прямо вещий.

Роман хотел пожать руку и вдруг обнял Озерова, крепко поцеловал его в губы.

— Спасибо, брат, спасибо за все.

Когда гайдамаки проходили берегом мимо опрокинутого вверх дном челна, в нескольких шагах от них послышался всплеск, зашуршал камыш. Все схватились за ружья. Остап оглянулся на солдат. Те были далеко. Он хотел позвать их, но так и застыл с поднятой рукой. Из камышей, весь в грязи, в рыжей камышовой пыльце, вышел Микола.

— Ты?

— А то кто же? По голосу вас узнал. — Микола далеко в камыши забросил толстый дрюк, вытер рукавом лицо. — Слышу: бахают и бахают в селе. Думаю, меня ищут. Притаился в камышах и, как цапля, стою попеременно на одной ноге. «Ну, — мыслю, — пусть подойдет хоть один. Больше я вам не попадусь». Они послали нас с Карым карету вытаскивать. А Карый? Не видели?..

Никто не ответил. Но Микола понял и так. По лицам, по глазам. Тихо снял шапку, перекрестился на восток.

Глава четвертая

ХЛОПОТЫ ДЕДА МУСИЯ

В конце мая на место Воронина, который никак не мог справиться с хлопским мятежом, сейм назначил главным региментарием войска украинской партии коронного обозного пана Стемпковского. В партии по реестрам числилось четыре тысячи жолнеров, это и составляло почти четвертую часть всего войска короны. Однако новый главный региментарий скоро понял, как ошибались при дворе, считая, что его действительно столько. Все старшие командиры были всегда в отпуске, перепоручали командование ротмистрам; ротмистры, в свою очередь, передавали поручикам, и так до «товарищей», а то и просто до рядовых. Вместо ста двадцати хоругви * имели по тридцать, а то и того меньше жолнеров. Увидев все это, Стемпковский быстро навербовал несколько новых гусарских и панцирных хоругвей, а также навел хоть приблизительный порядок в старых. И только

тогда отправился на Подолье. Собираясь в поход, главный региментарий похвалялся покончить с мятежниками в несколько дней. Но ему пришлось раскаяться в своем хвастовстве. Восстание к тому времени уже охватило большую часть правобережья. Грозной волной пронеслось оно по Подолью, захватило Волынь, плеснулось о стены Балты и Львова. Стемпковский несколько дней гонялся по Волыни за мелкими гайдамацкими отрядами, но те, не вступая в бой, прятались по ярам и лесам. Тогда региментарий разделил свое войско на отдельные отряды и разослал их в разных направлениях. Тут его встретила еще большая неудача. Один за другим прилетали к нему на конях командиры хоругвей, рассказывая ужасы про «пшеклентых» хлопов, разбивших и рассеявших их вымуштрованные сотни. Они требовали от главного региментария собрать воедино все войско и идти прямо на Корсунь, на Зализняка. Но теперь главный региментарий даже думать об этом боялся. Он заперся в укрепленной крепости и беспрестанно слал в Варшаву письма, требуя созвать ополчение и выслать ему помощь. Проходили недели. Помощи Стемпковскому не присылали, а его отряды таяли один за другим. В бессильной злобе главный региментарий проклинал всех и вся. Исхудал, почернел. Он то вскакивал с кровати, то снова падал на подушки и, потирая на груди густые волосы, хватался за перо. Региментарий написал несколько грозных универсалов, призывая крестьян к покорности, угрожая тысячами самых страшных смертей всем тем, кто не сложит оружия и не отдастся в руки польских властей.

Один из этих универсалов попал и к Зализняку. Его откуда-то привезли запорожцы, и Данило Хрен принес универсал к атаману. Послушать универсал собралось много любопытных. Жила, один из немногих грамотеев, расправил на коленях измятый лист и медленно прочитал: «Бог, творец всего света, разделив людей по богатству, от царя и до последнего человека, каждому назначил свое место, а вам, хлопы, он повелел быть рабами, и потому он не дал вам

ничего равного с другими людьми, кроме души. Всякий, кто верует в бога, должен выполнять его святую волю; к тому же вы должны и то помнить, что для вас написаны законы, вы должны с молоком матери всосать верность и покорность панам».

— Неужели там так написано? — перегнулся через стол Швачка.

— Брехать я тебе буду! — оскорбился Жила. — На, почитай сам.

Хотя Швачка и не знал грамоты, все же наклонился еще ниже, пощупал заскорузлыми пальцами универсал.

— Все верно, — подтвердил Неживой. — Ишь, как заворачивает, сучий сын! Паршивая свинья, а глубоко роет.

— Попадись ты нам, шляхетская твоя рожа, мы заглянем в твою панскую душу, увидим, чем наделил бог тебя, скотину.

— Не мешай, пусть читает дальше, — кинул кто-то от дверей.

Пока гайдамаки разговаривали, Жила пробежал универсал и теперь читал значительно быстрее: «А вы вместо того, чтобы почитать панов своих, даже церкви божии превратили невесть во что.

Вы с бо̀льшим почтением относитесь к шинкам, нежели к церквам божиим. Вы, хлопы, жестоко мучаете бедную шляхту, невзирая на возраст. Погляди, дикое проклятое крестьянство, на этот счастливый край. Сколько разрушено имений, домов, городов, не говоря уже о церквах и костелах! Мы, шляхта, благодарим бога за своего короля, а вы, глупцы, уверяете, что вы не подданные короля и не принадлежите к этому краю».

— Принадлежали и будем принадлежать, — обводя глазами присутствующих, сказал Швачка. — А вот чьи подданные, это другое дело. От века эти земли были казацкие, украинские. Разъединила вражья шляхта наш род и хочет уверить, будто за Днепром не нашенские люди живут... Да моей кровной родни половина там проживает. Придет время, когда мы будем вместе, придет...

Максим поднялся из-за стола так стремительно, что кирея, соскользнув с его плеч, упала на скамью.

— Время то недалеко. Нам нужно только выгнать шляхту, очистить землю от этой погани. Тогда напишем в Москву, попросим объединить нас с левым берегом. Там уважат нашу просьбу. Вспомните, что старые люди рассказывают. Сколько праведной крови пролито на этой земле! Крови дедов наших — они защищали свободу! Не раз и не два становились они плечом к плечу с русскими воинами против общего врага. Татары, шведы... Одна кровь лилась. Мы как две нитки журавлиной стаи. Один у нас путь, одни земли.

— И сейчас вон сколько русских ходят в наших куренях, — подал голос Неживой.

Зализняк повернул голову в его сторону.

— Правда, немало, и даже атаманы из них есть. Позавчера принимал я посланцев от атамана Максимова, про другого атамана сами, наверное, слыхивали, про москаля Никиту, который на Бердичевщине. А донцов сколько! И другого люда с левобережья.

— Те люди сами к нам от князей да бояр бегут. Не пришли бы паны за ними! — сумрачно бросил Швачка.

Зализняк нахмурил брови.

— Подожди, Микита, ты, как ворон, каркаешь. Князей и бояр горстка, а простого люда — море. Завоюем свободу и попросим царицу уважать наши вольности; чтобы было у нас, как на Запорожье или на Дону. Тогда не страшны будут нам всякие Стемпковские.

— Порви эту погань, — показал кто-то на универсал Стемпковского.

Жила сложил бумагу вдвое и намерился изорвать ее. Но Зализняк остановил запорожца.

— Не трожь! Несите его в сотни. Пускай все читают универсал региментария. Пускай знают, за кого он принимает нас и в кого хочет превратить украинских казаков. — Зализняк взял за плечо удивленного Жилу. — Иди, Омелько, читай универсал гайдамакам.

кр...

—

Ко...
дил его р...

— Ты, пох...

— Разжире...
ное, брошу тебя д...
нибудь церковь, —...

— Вот я и хочу п...
Нужно поехать в одно...
десять-пятнадцать. Там еще н...
и оттуда никто не приезжает.

— Это из Завадовки? — вдру...

Оба, и Зализняк и Хрен, оглян...
углу, склонившись на сундук, сидел...
залез туда, когда начали читать унив...

— Был я когда-то в Завадовке, когда бат...
у чигиринского купца, могу и сейчас провести туда казаков.

— А ты, дед, с коня не упадешь? — поинтересовался Хрен.

— С доброго коня и упасть не жаль, так старые люди говорят. Я еще тебя, матери его ковинька, обскакаю. Когда бы не хвороба моя... Поясница что-то стала побаливать, как посижу долго на одном месте, так будто немеет...

— Хорошо, езжайте. Данило, возьмешь с собой с десяток хлопцев. Деду седло помягче выбери. Нет, нет, я знаю: вы еще и без седла поскачете, — успокоил он деда, который обиженно повернулся к нему. — Это так, чтобы удобнее ехать было.

— Едем, дед, — Хрен взял под руку старика. — Будешь наказным атаманом моего войска.

С Хреном, кроме деда Мусия, поехали еще шестеро запорожцев. Подъезжая к Завадовке, дед Мусий, который старался молодецки сидеть в седле, предложил:

ю

з зем-
аснули.
од пристре-

вернули в сторо-
ими цепочкой по

в саду звенела коса
. клуней тревожно кричал
р от коршуна, парящего над
усоренного утиными перьями пру-
ленивые ветви, тихо-тихо шептали
Под вербами на бревнах сиде-
и. Подъехав поближе, удивленный
что там собрались только глубокие
ки.

— Здорово, молодцы! — громко крикнул он, сдерживая коня.

Старики ответили сдержанно, а один из них, седоусый великан в старом, протертом на локтях жупане, сурово сдвинул на переносице косматые брови.

— Были когда-то и мы молодцами, грех смеяться над старыми людьми. Думаешь, как саблю нацепил, так можно и плести, что взбредет в голову. Мы в свое время тоже сабли имели, только не людей ими пугали, а волю боронили.

— Плохо, значит, боронили, когда нам снова приходится ее добывать, — кинул Хрен, слезая с коня.

Ему было немного стыдно за свою неуместную шутку, поэтому, привязывая к плетню повод, он примирительно сказал:

— Не обижайтесь на мои слова, я так, в шутку сказал. Но все же странно мне, сразу столько стариков бревна обсели.

Он и сам примостился на бревне, раскрыл перед стариками свой кисет, к которому потянулось сразу с десяток рук.

— Не совет ли какой держите?

— Да, — не спеша ответил худощавый высокий старик, разминая на ладони табак.— С пастбища возвращаемся. Ходили смотреть, где пруд копать. Вода в болотах высохла, нечем скотину поить. А вы кто же будете?

— Гайдамаки! — горделиво опираясь на саблю и едва поводя на своих сверстников глазом, ответил дед Мусий. — Приехали за вашим паном. Где он, не бежал еще?

— Эге, — протянул старик в потертом жупане, — запоздали, хлопцы! Отправили мы своего пана.

— Куда? — в один голос спросили несколько гайдамаков.

— К самому атаману Зализняку. Пускай он судит нашего лиходея. Сегодня утром забрали. Он еще со вторника у шинкаря прятался. Наши хлопцы там его и нашли. Вместе с попом их в Корсунь повезли. Заядлый униат был, долго с колокольни отстреливался. А на другом возу войта * и титаря * спровадили.

Запорожцы переглянулись.

— Почему же мы их не видели? — спросил Хрен.

— А откуда едете?

— От Зализняка.

— От Зализняка? — Теперь уже переглянулись старики.

Дед в потертом жупане подвинулся ближе к Хрену.

— Вы, может, шляхом ехали? А наши напрямки, через Карашинец... Они уже, видать, его проезжают.

Расспросив, куда ехать на Карашинец, запорожцы сели на коней.

Завадовцев они догнали по дороге от Карашинца к Корсуни. Те как раз отдыхали возле корчмы. Возы стояли в тени под деревом. На одном сидел крестьянин с суковатой палкой в руке. Увидев всадников, он кинулся было бежать, но гайдамаки перехватили его и завернули назад.

— Почему ты один? — спросил Хрен. — А где остальная стража?

— В корчме.

— Вот как вы сторожите, — вмешался дед Мусий.

Крестьянин уверился в том, что перед ним гайдамаки, и успокоился.

— Покрадет их кто, что ли? — он показал глазами на пленных, лежавших связанными на возах.— Василь!

Из корчмы выглянула голова и снова спряталась.

— Чего они боятся? Поди скажи, пускай идут сюда, — приказал Хрен.

Крестьянин пошел в корчму. Дед Мусий заметил под кустами колодец и пошел туда. Колодец был неглубокий. Вернее, это была криница с поставленным поверх срубом. Сюда из-под горы бил источник, вытекая с другой стороны нешироким ручейком. Около криницы блестели лужи воды — кто-то поил коней, выливал воду прямо под ноги. Дед перегнулся над срубом, опустил ведро. Не достав воды, нагнулся еще ниже, зачерпнул, но вдруг его правая нога поскользнулась, и дед свалился в воду вниз головой.

— Спасите! — завопил он и почувствовал, как ледяная вода железными клещами охватила его тело. Он вынырнул на поверхность, схватился за сруб, болтая в воде обеими ногами.

— Помогите!..

Еще мгновение — и несколько рук подхватили деда.

Запорожцы долго смеялись над этим происшествием, но деду было не до шуток. Он сидел на траве, выкручивал мокрые штаны и дрожал всем телом. Кто-то принес чарку горилки; дед выпил и, вытирая бороду, сказал:

— Простудная вода, прямо тебе ледяная, горло перехватило.

В Корсунь вернулись к вечеру. Возле крыльца, на котором сидел Зализняк, собралось много народу. Запорожцы развязали пленных, повели через толпу, глухо гудевшую десятками голосов. Кое-кто узнавал завадовских богатеев, из толпы раздавались гневные выкрики, брань. Пленных подвели к крыльцу. Хрен



взбежал по ступенькам, но не успел он рта раскрыть, чтобы рассказать, кто эти люди и за что их привели сюда, как на крыльцо выскочил завадовский поп и, упав Зализняку в ноги, протянул хлеб. Хрен удивленно посмотрел на попа, потом на завадовских крестьян, стоявших у крыльца.

— Кто-то из тутошних богатеев ему буханку всучил, — сказал Зализняку Хрен, — быстры ж они.

— Это вы и будете завадовцы? — обратился Зализняк к крестьянам, которые поснимали шапки, с любопытством и страхом поглядывали на атамана.

— Мы, ваша вельможность, — ответил кряжистый крестьянин.

— Почему так поздно прибыл?

— Только вчера узнал, что твоя вельможность в Корсунь вступил.

— Какая такая вельможность? Не с паном говорите. Зачем привезли своих богатеев?

— На суд твой. Очень большие это лиходеи.

Зализняк усмехнулся. И не понять было той усмешки — злой или доброй она была. В его глазах прыгали искорки. Они то гасли, почти исчезали, то вспыхивали с новой силой, придавая глазам огненно-золотистый оттенок.

— Откуда же мне знать, что это за люди. Один вот и хлеб мне поднес. Может, он хороший человек?

— Кто, ксендз? — в один голос закричали завадовцы. — Он не меньше пана нас мордовал. Опанасову дочку он погубил. Веклиных детей осиротил...

Крестьяне стали перечислять обиды, нанесенные им ксендзом. Ксендз подполз к ногам Зализняка, пытаясь поцеловать сапог. Максим поднялся и с отвращением отступил назад. Ксендз возвел молящие глаза и вдруг встретился взглядом с Василем Веснёвским — бледный, испуганный, стоял тот в дверях.

— Хлопче, проси атамана... Я больше никого пальцем не трону...

— Брешет! — послышались голоса.

— В Рось его! — крикнул Зализняк к завадовцам. — Чего смотрите? Ваш поп, вам над ним и суд вершить.

Несколько человек схватили под руки ксендза. Он порывался снова упасть перед Зализняком на колени, отбивался ногами, кусал гайдамака за руки.

— А что это за птица? — Зализняк ткнул пальцем в войта.

Допросив пленных, Максим приказал казнить всех. Их отвели на пустырь, только пана, который, услы-

шав приговор, кинулся через плетень, застрелили в огороде из пистолета.

Зализняк стоял на крыльце, пока не услышал, как на пустыре глухо прозвучали выстрелы. Ни один мускул не дрогнул на его лице, глаза смотрели спокойно. Даже Швачка взглянул на него с уважением и со скрытым страхом.

Зализняк выбил табак из трубки и пошел в дом. Зашел в светлицу, зачерпнул кружку воды, выпил и зачерпнул еще. На его лице лежала глубокая усталость, рука с кружкой чуть заметно дрожала. Вдруг он поставил кружку и шагнул в угол, где, спрятав лицо, сидел Василь. Максим поднял его голову и долгим взглядом посмотрел джуре в глаза. Шершавой ладонью, как маленькому, вытер он щеки, погладил по голове.

— Знаю, тяжело на это смотреть. А ты думаешь, мне легко?! Так надо. Не взявшись за топор, хаты не срубишь. То враги наши. Попался бы ты им в руки, думаешь, выпустили бы? Как бы не так. Видел, как войт исподлобья волком поглядывал?

Василь поднялся, вынул из посудника бутылку, открыл затычку, и в чарку забулькала горилка. Однако он не успел выпить ее. Максим ласково и в то же время решительно отвел его руку, взял чарку, выплеснул горилку прямо на пол.

— Рано тебе пить ее, да еще и то помни: только слабодушные в ней покоя ищут. Ложись лучше да отдохни, завтра рано подниматься.

Деда Мусия все больше сгибал недуг: болела поясница, из груди беспрестанно вырывался кашель; а ко всему этому еще добавилась резь в животе. Он и раньше не мог похвастать здоровьем, а теперь, после купания в колодце, болезни еще больше насели на него.

— Солнца бы мне побольше, кости погреть, — жаловался он, и Роман с Миколой под руки выводили старика на берег Роси, усаживали на траву, а сами ложились рядом.

— Чую смерть недалекую, — молвил однажды дед, подставляя под солнце спину. — Точит она уже свою косу.

— А ты знаешь, диду, как смерть вернули назад с хоругвями: «Нет мертвеца — косить пошел...», так вот и вы, диду, — деланно беззаботно сказал Роман. — Я сейчас вам расскажу, как один умирал. Это в зимовнике было. Захотел человек своего родича напугать. Снял с чердака гроб — баба его себе на смерть приготовила, — нарядился и умостился в нем, а сын тем временем побежал к родичу сказать про отцову смерть и попросить, чтобы тот пришел на ночь, потому что они, мол, боятся. Взял родич струмент сапожный — сапожник был — и пошел. Погоревал вместе со всеми, немного успокоил жену и взялся за сапоги. Тогда один за другим все вышли из хаты. Сучит сапожник дратву, вдруг — гульк, поднимается мертвец из гроба. Сапожник испугался да и хвать его колодкой по лбу. Тот так и брякнулся в гроб. Ждут родные — не бежит сапожник. Заходят потихоньку в хату. «Ничего, — спрашивают, — не было?» — «Да нет, — говорит сапожник, — пробовал было вставать покойник, так я его трахнул колодкой, он и лег снова». Они к гробу, а человек уже лег на веки вечные.

— Что-то не смешно, — промолвил дед Мусий.

— Я и не думал вас смешить, — делая нарочито серьезное лицо, сказал Роман. — Это в самом деле было. А чтобы было смешно, я расскажу вам, как жена сонного мужа в сенях на перекладине хотела повесить.

— А он ступу привязал?

— А вы откуда знаете?

— Сам тебе рассказывал.

— А-а!

Роман замолк и отвернулся. В густой пене прыгала по камням Рось, билась о каменные берега, поднимая над собой облака водяной пыли. Только тут, в заводи, над которой сидели гайдамаки, вода была спокойной, тихой, а на дне, вымытом чистой водой, блестело солнце. Роман, не отрывая взгляда,

смотрел на него. Вдруг он заметил, что к солнцу откуда-то приближаются три тени. Роман оглянулся. Берегом спускались Зализняк, Неживой и еще один гайдамак — донской казак Омелько Чуб.

— Греемся? — поздоровался Неживой и сел на камне. — Получше уже вам, диду?

— Где там, — безнадежно махнул рукой дед Мусий. — Как будто кто-то выламывает кости. Совсем я скис, не увижу, наверное, и своих.

Зализняк откинул кирею и сел рядом с Миколой.

— Увидите, диду, и скоро. Мы надумали послать вот этого казака в Медведовку. — Зализняк указал на Чуба. — Давно оттуда никаких вестей нет. Езжай, дед Мусий, с ним.

Лицо деда Мусия прояснилось. Он даже не пытался скрыть свою радость.

— Спасибо, детки! Теперь хоть и умру, так дома! Только... — дед на минутку задумался. — Как же это оно... а супостата кто бить будет?

— Поправитесь, диду, снова к нам приедете. Мы ждать будем. Дела еще хватит.

— Оно и правда. Я тогда, матери твоей ковинька, еще покажу, как надо саблю держать.

— А почему это Чуб поедет, а не кто-нибудь из наших? — поинтересовался Роман.

— Надо такого человека послать, чтобы не нашенский был. Узнать могут. Всякие люди по дороге случаются. Сегодня, диду, и выберетесь. Дадим тебе пару коней...

— Что ты, Максим! Разве я не знаю, какая в конях нужда...

— А я не знаю, какая у вас дома убогость? Котенка нечем из-за печи выманить.

— Сказал, не возьму, и баста!

Пока дед Мусий спорил с Зализняком, Неживой отвел в сторону Чуба.

— Будешь в Медведовке — зайди к моей жинке. Явдохой зовут. В Сечниевой хате живет она ныне, спросишь... — Неживой замялся. — Она тяжелая ходила... Узнаешь, как ребенок...

Неживой не успел договорить, как к Чубу подошел Роман.

— Хочу поговорить с тобой, — взял он запорожца за руку. — Отойдем немного. Попросить тебя хочу. Будешь в селе, передай поклон одной дивчине, — заговорил он, когда они отошли за камень. — Она в имении панов Калиновских живет, Галей звать, горничной служила у пана.

— Подурели вы все, что ли! — деланно сердито крикнул Чуб. — Передай да передай. Передам уж, ладно. Только бы не перепутать: у атамана Оксана, у куренного Явдоха, а у тебя как — Галя?

Роман покраснел, но, взглянув на расхохотавшихся Зализняка и Неживого, сам засмеялся. К ним присоединились дед Мусий и Чуб. Только Микола еще ниже нагнул голову, сорвал стебелек полыни, кусал его, сплевывая в траву горькую зеленую слюну.

Поздно вечером дед Мусий и Чуб подъезжали к Медведовке. Наговорившись за длинную дорогу, оба молчали. Воз тихо шуршал по песку, кренясь то на один, то на другой бок.

— Погоняй быстрее, — нетерпеливо сказал дед Мусий, когда они съехали на Писарскую гать.

— Как же погонять — песку по колодки. Вот выедем, тогда уж. — Чуб подвинулся ближе к передку, всматриваясь в притихшее село. — Тишина какая. Даже собаки не брешут. И огонька ни одного не видно. Рано у вас спать ложатся.

Они уже доехали до середины запруды, как вдруг коренной испуганно захрапел и убавил ход.

— Чего ты, воды испугался? — чмокнул губами Чуб. — Но! — он ударил коня концом вожжей.

Конь черкнул крестцом по оглобле и рванулся в сторону.

— Куда ты, опрокинешь, чертяка! Тпр-р-р! А это что?

В конце гребли он заметил какие-то темные фигуры. Казак вытащил из-под соломы пистолет и спрыгнул на дорогу.

— Кто там?

Ответом было тревожное храпение лошадей и тихий плеск реки. Чуб осторожно прошел вперед и сразу остановился. На краю дороги в немом испуге застыли двое мальчуганов. Рядом с ними стояла рябая корова. Мальчики, очевидно, хотели завести корову в кусты, но та упиралась и не хотела идти.

— Куда это вы на ночь глядя? — спросил Чуб у старшего мальчика, испуганно жавшегося к кусту.

— Мы... никуда, корова заблудилась.

Чуб подозрительно посмотрел на детей.

— Аж сюда зашла? — сказал с воза дед Мусий.— Чьи же вы будете?

— Якимовы.

— Бондаря? Это ж Максимовы племянники! — крикнул Чубу дед Мусий. — Максим и отец их браты двоюродные. Садитесь, хлопцы, на воз, это я, дед Мусий.

Старшенький, которому было лет двенадцать, с облегчением вздохнул.

— Ой, а мы так напугались! Нельзя в село. Мама нас послала, чтобы мы корову на хутор отвели. Заберут завтра.

— Кто?

— Как кто? Конфедераты.

— Какие конфедераты? — Дед Мусий спустил ноги с передка телеги.

— Те, что вчера в село вступили. Забирают все. Дядька Филона за коня забили насмерть. А у нас корова тоже с панского двора.

— Где же гайдамаки? Крепость Кончакская как?

— Выбросили их оттуда. Одних побили, другие поубегали, — хлопец потянул корову за веревку и крикнул брату: — Подгони, чего стоишь, прутом ее!

— Много в селе конфедератов? — крикнул уже вдогонку Чуб.

— Кто знает! Сот пять, наверное, будет. Как заехали на панский двор Калиновских, почитай, весь заняли.

Чуб подошел к возу.

— В село теперь ехать нельзя. Нужно возвращаться назад, рассказать обо всем атаману.

Старик не ответил. Он посмотрел вслед хлопцам, потом перевел взгляд на село.

— Атаману рассказать надо. Отпрягай пристяжного и скачи на Корсунь.

— А вы?

— Поеду потихоньку домой. Мне уже полегче. А конфедераты... Стар уже я, чтобы меня к управе волочь, да и мало кто знает, где я был. Продам хату — на мое хозяйство покупатели всегда найдутся — и перееду в братнину, в лес. Все равно пустует.

Чуб попробовал уговаривать старика, но тот не захотел и слушать. Тогда запорожец отцепил постромки, сбросил на воз хомут.

— Прощайте, диду. Хочу хлопцев за плотиной догнать, расспрошу обо всем подробнее.

Чуб пожал старику руку и через минуту пропал в темноте.

В село дед Мусий въезжал со стороны Крутого яра, глухой лесной дорогой. Повсюду было пусто, тихо, густой мрак окутал улицы. Под плетнями в кустах гнездились тени — казалось, будто это не кусты раскидали в стороны свои ветви, а уродливые чудища засели на краю дороги, распростерли руки и подстерегают добычу.

Раза два лошадь пыталась заржать, тогда дед Мусий (он шел впереди) обхватывал ее морду рукой, гладил и умоляюще шептал:

— Тише, Буланый. Глупый, сейчас дома будем.

Под горой, возле Оксаниной хаты, старик остановил коня и, кинув вожжи на тын, вошел во двор. Наклонившись к окну, постучал в стекло. В хате долго не отвечали. Наконец скрипнула дверь, и испуганный голос спросил:

— Кто?

— Я, Мусий.

— Какой Мусий?

— Кум твой, тише, ради бога.

Дверь осторожно приоткрылась, и на порог вышел в длинной полотняной сорочке Оксанин отец.

— Чего ты тут, откуда?

— Где Оксана? — неспокойно оглядываясь на коня, спросил он.

— Не знаю, из-за нее мне столько забот. Пошла из дому еще днем.

— Куда?

— А я знаю? Может, к тетке, а может, с ними. Надоумил бог принять счастьице в свою хату.

— Ты не причитай, — рассердился старик. — Рассказывай все как следует. С кем это они?

— С гайдамаками. Она уже больше недели в крепости жила. А как вчера село захватили — выбили их из крепости, они все и отправились куда-то — видно, в лес, в Дубинин, или, может, в Черный. А ко мне перед вечером конфедераты приходили. Я им говорю: «За дочку не ответчик, тем паче не родная она мне, а воспитанница. Об этом все село знает».

— Большущая свинья ты, как я вижу, — промолвил дед Мусий и пошел к коню.

Дед в белой сорочке прошаркал босыми ногами до угла хаты и остановился.

— Напрасно ты ругаешься. Думаешь, мне ее не жаль, а с другой стороны — чем мы виноваты, я или жена?

— Воды много, перееду я под вербами? — не отвечая, спросил дед Мусий.

— Переедешь, ближе только к сухой вербе держись.

Не прощаясь, дед Мусий взял коня за уздечку и свернул с дороги к берегу, где плескалась сонная речушка.

Глава пятая

ВСТРЕЧА

В Корсуни гайдамаки стояли целую неделю. За это время у Зализняка побывало с десяток ходоков от обществ ближних волостей с просьбой прибыть к ним и помочь выгнать панов. Из Канева ходоки наведывались дважды. Максим уже сам подумывал

об этом городе, его тревожило, что позади остается такой многочисленный гарнизон.

Однако больше всего беспокоила Умань, куда, как он знал, сбегались паны со всего правобережья. Мысль об Умани, раз зародившись, уже не выходила из его головы. Об этом городе, о его войске знал Максим давно. Наслушался о нем еще в Сечи. С Уманью запорожцы вели самую большую торговлю. Если и нужно было ждать откуда-нибудь удара, то только оттуда.

Однажды Зализняк поделился своими сомнениями с Неживым.

— Боюсь я, Семен, — признался он. — Шляхты там сколько, войска реестрового. Я уже многих расспрашивал об этой крепости. Там что-то замышляют.

— Значит, надо туда идти, пока они с силами не собрались.

— И я так думаю. Нам первым следует ударить. Отвага — мед пьет. Но согласятся ли остальные?

— Согласятся. Давай сегодня созовем раду, все сообща поразмыслим.

Рада проходила бурно. Одни хотели идти на Белую Церковь и Канев, другие — на Умань. Нашлись и такие, что были не прочь назад вернуться.

— Идти назад и ждать, пока придут паны и наденут на шею веревку? — возмутился Швачка. — Ни за что на свете. На Умань! Поспешим, пока там не собрались все шляхетские отряды и жолнеры не пришли, не то будет поздно. Недаром говорят: «Быстрая река берега размывает».

— Чем больше мы проходим городов и сел, тем больше у нас войска, — сказал Зализняк. — По всей Украине горят панские фольварки. Неужели мы допустим, чтобы они не догорели дотла?

— Кто об этом говорит? — снимая шапку и поглаживая потную шевелюру, пожал плечами Бурка.— Горят они и будут гореть. А нам спешить некуда, переждать надо. Шляхта уже хорошую науку получила. Да и в сенате, я думаю, люди с головами сидят, видят, до чего паны арендаторы людей довели.

Больше они не дадут так измываться, может, и совсем крепостничество отменят.

На Бурку накинулись сразу несколько человек. Спорили долго и, наконец, порешили: дойти всем вместе до Богуслава, а оттуда половина гайдамаков пойдет на Умань, а другая половина — двумя отрядами на Белую Церковь и Канев.

В это время гайдамацкое войско насчитывало около десяти тысяч человек. Оно делилось на четыре куреня, во главе которых были Неживой, Швачка, Шило и Журба. Войско имело хоругвь и восемь флагов — по два на курень.

На Фастов и Белую Церковь порешили послать курень Швачки, на Канев — Неживого.

— После того как возьмете все крепости, идите к Умани. А мы тем временем там со шляхтой расправимся. А тогда уже вместе будем по Украине казацкие порядки заводить, — сказал в заключение Зализняк. — И еще об одном хочу молвить. В войске нашем нет порядка. Надо учить гайдамаков строю, потому что не раз придется встречаться со шляхтой в чистом поле. Сегодня же пошлем запорожцев в сотни. А атаманам, которые не знают, я сам покажу.

Большую часть дороги Неживой ехал на возу или шел пешком вместе с другими гайдамаками. Уже давно отделился от него курень Швачки, свернул на разбитый Фастовский шлях. Из Богуслава с Неживым выступила только горстка людей — почти весь свой курень он оставил с Зализняком. Но уже через несколько дней след колес атаманова воза топтали сотни ног. Одни за другими вливались в войско Неживого встречные гайдамацкие отряды, приходили отдельные крестьяне. Чаще всего они присоединялись к войску после ночевки в селе. Утром вытаскивали из-под соломенной стрехи в сарае острые, клепанные нынешней весной косы и пристраивались в конце отряда. В беседах с гайдамаками Неживой старался показать себя спокойным, на первый взгляд даже безразличным ко всему. А в голове сновали тревож-

ные думы. Там, с Зализняком, все казалось проще. Они все сообща советовались, спорили, а только последнее слово всегда было за атаманом. Теперь же все приходилось решать самому. Он придирчиво, даже с подозрением оглядывал некоторые ватаги, а за двумя гайдамаками даже поручил присматривать Даниле Хрену, которого послал в войско Неживого Зализняк.

Где-то неподалеку от войска Неживого ходила большая гайдамацкая ватага Бондаренка; Семен несколько раз посылал людей отыскать ее, но посланцы через день-два возвращались и докладывали, что Бондаренка не видели. Атаман был неуловим. Он не задерживался долго на одном месте и шел всегда туда, где его меньше всего ожидали. Ватага у него была большая, рассказывали, будто в ней ходило немало и таких крестьян, которых Бондаренко заставил идти в гайдамаки силой.

Стояла жара. Тихо-тихо шелестели высокие хлеба, ветер колыхал полные колосья, напевая знакомую с детства песню полей. Широко раскинулись нивы золотой пшеницы, плескались сильными волнами, нашептывая обнищавшим селам о богатом урожае. Кому только достанется он?

— Буйные хлеба выдались, — сказал Семен. Он перегнулся с седла, сорвал колосок и положил его себе на ладонь.

— Если и дальше простоит такая погода, через месяц жать будем, — промолвил гайдамак, который ехал рядом, и дернул за веревочный повод коня, тянувшегося губами к пшенице.

Вместо седла у гайдамака лежал набитый сеном мешок, поверх него прицеплены постромки с двумя петлями на концах — стремена. На коленях гайдамак держал пучок зеленой гороховой ботвы.

— Говоришь, Канев — город не очень большой? — снова начал Неживой прерванный разговор.

— Но и немалый. Сорок церквей там!

— Вал есть, палисад?

— Валом обнесен только греческий город. Но вал невысокий. Вот зáмок весьма крепок, Королевским

называется. На горе стоит, а вокруг овраг такой, что страшно взглянуть. Только с одной стороны место ровное. Да и оттуда рвом огорожено, и частокол в три ряда.

Гайдамаки въехали в какое-то селенье. Зажатое между холмами, оно состояло только из двух улиц, которые утопали в садах. Над плетнями клонились ветвистые черешни, усыпанные спелыми ягодами; раскидистые яблони почти достигали ветвями противоположной стороны улицы. Гайдамаки останавливали коней под вишнями, подставляли шапки, рвали в них ягоды.

— Не знаешь, почему крепость Королевской называется? — спросил Неживой.

— Палаты в ней есть Станислава Понятовского, племянника короля. — Гайдамак возился с гороховой ботвой, отыскивая стручки. — А комендант в крепости злой, чистый тебе антихрист. И при нем не жолнеры, а головорезы. Он к нам на винокурню приезжал. Один человек бежал оттуда, так нам всем для острастки по двадцать палок всыпали. Двое там и кончились. А теперь, как я уже говорил, все тюрьмы обывателями позабивал, все крамолы доискивается.

Они как раз выехали из села, и гайдамак обломком прута указал на широкую долину:

— Вон уже начинается урочище Винаровка, сразу за нею — яр.

Теперь овраги тянулись один за другим. Они привели гайдамаков в город, под самый замок. Всю ночь гайдамаки простояли в лесу. Костров не разжигали, коней поить водили не к Днепру — он был на виду у крепости, а в глубь леса, где билась о корни небольшая речушка Сухой Дунаец.

Утром Неживой, Хрен и еще несколько гайдамаков вышли на опушку. Прямо перед ними виднелся замок, несколько правее — город. Он скрывался в ярах, утопая в зелени садов. Слева от крепости, ближе к Днепру, синела дубрава, а возле нее — хатки и мельницы по речке.

— Глядите, мельницы все, как одна, не мелют, — заметил какой-то гайдамак.

— Около Днепра тоже никого не видно, — добавил Хрен. — И на валу ни души, хотя дозорные должны бы быть. Тут что-то не так.

Неживой тоже долго вглядывался в крепость.

— Кто-то предупредил? Или может?..

— Сейчас я все доподлинно узнаю.

Хрен отделился от всех и пошел к крепости. Шел медленно, переваливаясь, и не прямо, а вдоль обрыва, который тянулся от леса. Когда до крепости осталось не больше сотни саженей, Хрен остановился и помахал рукой. В тот же миг из-за частокола прозвучало с десяток выстрелов. Хрен пошатнулся и покатился по склону обрыва.

— Убили! — воскликнули сразу несколько человек.

Долго стояли гайдамаки за деревьями, не зная, что делать. Они уже хотели спускаться лесом в яр, идти разыскивать труп, как вдруг из-за кустов прозвучал голос:

— Вот, нечистая мать, все штаны о колючки разорвал.

К ним подходил Хрен. Одежда на нем в нескольких местах висела клочьями, левая рука и бок были запачканы глиной, пышные русые усы раскосматились и торчали во все стороны. Хрен закинул оселедец за ухо и, отряхивая кунтуш, молвил:

— Нас тут давно с гостинцами ждали. Все как есть на валу лежат. Вот они — и не прячутся.

На валу действительно поднялись несколько жолнеров.

Посоветовавшись с гайдамаками, Неживой спустился в яр и написал коменданту крепости письмо, в котором предлагал сдаться. С письмом послали двух гайдамаков. Ждали больше часа, но посланцы не вернулись. Тогда Неживой приказал выходить из лесу. Гайдамаки стали напротив дверей крепости. В ответ на валу поднялся густой ряд ружей.

Семен написал еще одно короткое письмо. Посланцу приказал в крепость не въезжать, а подать

письмо на стену. Тот нацепил письмо на конец копья, но поехал не к стене, а к воротам. Неживой видел, как открылись ворота, как ввели за повод коня в крепость. А еще через несколько минут на валу появилось копье с головой гайдамацкого посланца. С вала до гайдамаков донесся хохот и насмешливые выкрики. Гайдамаки ответили руганью. Несколько человек, выкрикивая бранные слова, подошли совсем близко к частоколу. За ними двинулись остальные. Ближе всех подошло левое крыло гайдамацких войск, некоторые гайдамаки стояли от частокола не дальше чем в двухстах саженей. И вдруг на валу грохнули пушки, вспугнули грачей. Одному гайдамаку ядро оторвало голову, еще трое упали на землю раненые. В гайдамацком стане раздался громкий крик. Без команды повстанцы беспорядочными толпами двинулись к валу, под густой рой пуль. Тщетно Неживой метался на коне, напрасно кричал охрипшим голосом. Гайдамаки скатывались в ров, лезли на вал. Сбитые оттуда, они снова катились в ров. Часть уже не поднималась. Лестниц было всего три, у нескольких человек еще в руках были длинные жерди, но они не доставали до верха частокола. Семен соскочил с коня, пытаясь установить хоть какой-нибудь порядок в своем распыленном войске, направить осаждающих в одно место, на выступ у ворот. Но гайдамаки так же внезапно, как и начали было наступать, вдруг побежали назад, оставив под стенами более полусотни трупов.

Семен с ужасом ждал вылазки. С помощью Хрена и еще нескольких человек он собрал с полсотни гайдамаков и, наблюдая за воротами, стал отходить к лесу. К счастью, никто не преследовал отступающих. На опушке остановились. Один за другим подходили гайдамаки. Усталые, мрачные, обходили стороной атамана и становились позади, строились в батову.

— Видно, невелик гарнизон в крепости, а то бы они непременно погнались за нами, — сказал Хрен, вынимая трубку.

Семен не ответил. Он смотрел на крепость. И ему

становилось ясным — отсюда ее не возьмешь. Тем более нечего было и думать подойти к ней с других сторон.

— А, чтоб ты сгорела! — выругался сзади какой-то крестьянин. — Пустить бы тебя за дымом!

— А зачем сами начали? — молвил со злостью Хрен. — Стадом, словно скотина, поперли. В бой нужно идти строем. А вы... Сохой пахать, сено кидать — это вы еще умеете...

Неживой вздрогнул. Молнией промелькнула в голове мысль и угасла.

— Чем, как? Разве что?.. — он подозвал Хрена.— А что, если поджечь крепость? Стены у нее деревянные. Подвезем сена стогов пять, тут недалеко, — Неживой показал на берег Днепра.

Запорожец выпустил носом дым и только после этого посмотрел на луг. Снова затянулся. На какое-то мгновение глаза его скрылись в клубах дыма.

— Можно, а если и не удастся выкурить, то ослепить наверняка ослепим. Сено слежалось, от него дым густой будет.

Вскоре от Днепра потянулись возы, груженные сеном. Несколько небольших стогов зацепили веревками и целиком втащили на холм. В лесу нарубили длинных жердей, связали по нескольку и вынесли на опушку. В полдень огромный вал стал подвигаться к крепости. Оттуда открыли сильный огонь, пытались поджечь сено, но безуспешно. Оно загорелось только тогда, когда гайдамаки подкатили его под частокол и подожгли сами. Клубы сизого, почти белого дыма поползли вверх, укрыли стены. Вспыхнула одна, за ней другая башня, огонь перекинулся на какой-то хлев, оттуда на комендантский дом и его пристройки. С другой стороны огонь наступал от ворот. Когда загорелись ворота, откуда-то из-под земли послышались отчаянные жалобные крики: под воротами была тюрьма. Гайдамаки стояли перед крепостью, ожидая сигнала. Сигналом был пистолетный выстрел Неживого. Раскидывая клочья тлеющего сена, цепляясь за выступы, гайдамаки полезли на стены. Крепость превратилась в настоящий ад. Огонь

лизал пересохшее дерево строений, трещал на камышовых кровлях, клубами бил из окон и дверей. Кто-то из осаждающих разбил дверь тюрьмы, и оттуда, спасаясь от огня, выбежало больше сотни узников.

Готовясь к штурму, Неживой оставил под лесом полсотни гайдамаков во главе с Хреном. За дымом они не видели всей крепости, им была видна лишь восточная часть, с которой прыгали и катились в ров жолнеры, вылезали на противоположную сторону рва и бежали к причалу на Днепре. Гайдамаки кинулись наперерез. Жолнеров становилось все больше. Они падали в челны и лихорадочно гребли к противоположному берегу. Хрен видел, как с горы к байдаку *, около которого суетились четверо жолнеров, бежал офицер. Голубой шарф болтался у него на шее, офицер на бегу рванул его и кинул под ноги. Видя, что до байдака не добежать, он (это был комендант крепости) повернул к берегу и вскочил в небольшой, выдолбленный из дуба рыбацкий челн. Но к берегу уже подбегали гайдамаки. Заскрипел под днищем песок, сполз на воду остроносый челн. Он разрезал носом пенистые волны, три пары весел дружно опустились в голубоватую воду. С каждым их взмахом сокращалось расстояние между челном гайдамаков и маленькой лодчонкой коменданта. Комендант понял — дальше бежать некуда. Он знал: пощады ему не будет. За поясом у него торчал пистолет. Бросив весло, он выхватил пистолет и выстрелил себе в рот.

На колокольне возле Красного яра зазвонил колокол часто-часто, потом почему-то захлебнулся, ударил еще раза два и замолк. Из разбитых окон панских домов на улицу летели стулья, столы, зеркала. В воздухе вишневым цветом кружился лебединый пух из мягких перин. Трещали двери в лавках, но не выбегали на тот треск лавочники. Вместо этого они еще глубже прятались по погребам и чердакам.

Огибая толпы гайдамаков, Семен спешил к винокурне. Она стояла между двух холмов на краю города, словно нарочно спряталась от людского

глаза. Винокурня могла причинить сейчас много хлопот. Это понял Неживой. На дворе уже стояли два воза, тут и там слонялись гайдамаки, выкатывая бочонки и бочки. Некоторые уже успели напиться. Семен удивился, увидев между ними и Хрена. Присев около бочонка, запорожец саблей выковыривал затычку.

— Тебя я никак не ожидал тут узреть, — молвил Семен. — Нашел себе дело, нечего сказать, — отвернулся он от Хрена, который обиженно смотрел на него, и крикнул: — Выбирайтесь со двора, слышите, все до одного!

Неживой нашел около стены лопату, выбил окно и крикнул внутрь:

— Выходите быстро, сейчас подожгу, — он порылся в кармане, будто и в самом деле искал кресало.

— Вот у меня есть.

Неживой оглянулся. Позади него, с шапкой в одной и огнивом в другой руке, стоял какой-то крестьянин.

— Ты кто такой будешь?

— К вам я, пане атаман. Помогите! Лошаденку ваши казаки забрали.

Неживой оглядел крестьянина.

Изнуренное, изрытое морщинами лицо, вся в дырах сорочка, стоптанные постолы.

— Откуда ты?

Крестьянин назвал сельцо, которое гайдамаки миновали перед Каневом.

— Всю жизнь на нее собирал, все не мог приобрести... Снизу, как говорят, отрезал, а сверху латал. А теперь вот собрался было с деньгами, купил...

— Ты видел своего коня? Нет? Придется искать...

Последние слова Неживого прервал конский топот. Во двор, пригнувшись в низких воротах, влетел запыленный всадник. Удивленный Неживой узнал Романа. Тот уже соскочил с коня и поздоровался. Не выпуская атамановой руки, потянул его за собой.

— Весь город облетел, тебя разыскивая. Зализняк приказал идти в Медведовку. Шляхта захватила крепость. Наши все по лесам разбежались.

Роман коротко передал рассказ Чуба.

— Сегодня и выступай. Ничего не будешь передавать?

— Ты разве назад едешь?

— А как же, надо уведомить атамана. И про Канев рассказать, я уже все видел. А тогда проситься буду в Медведовку.

— Скажи атаману, выступаем немедленно. — Неживой направился к коню.

— Пане атаман, вы обещали коня... — в отчаянии кинулся за ним крестьянин. — Как я без него домой вернусь?

— Некогда уже его искать.

Неживой оглядел двор. Возле коновязи заметил коня, запряженного в глубокий, похожий на арбу воз.

— Бери этого.

Крестьянин поглядел на коня, что-то прикинул в голове.

— У меня кобыла была, с лошонком.

— Где же того батька украсть, когда нет его. Бери в придачу... Ну, взяли!

Семен схватил за ручку огромный медный котел, что валялся во дворе, и вдвоем с крестьянином понес его к возу.

В Смеле Неживой решил остановиться на день-два и разведать, что делается в Медведовке. Выслали две разведки, одну в направлении Жаботина, другую — через Замятинцы, мимо Черкасс.

Отряд отдыхал по дворам.

Семену уже было известно о пребывании в Смеле около тысячи завербованных пикинеров, и поэтому он нисколько не удивился, когда на следующий день по приезде возле двора, в котором он остановился, увидел двух солдат в зеленых мундирах. Семен поднялся из-под груши, где отдыхал на разостланной кирее, и, поздоровавшись с солдатами, пригласил садиться. Те не заставили себя долго просить. Хозяйка, увидев у атамана гостей, вынесла и поставила на кирее миску сочной черешни и положила с десяток ранних яблок-падалиц.

— Говорил я: встретимся, вот и встретились, — промолвил один из солдат, глядя в лицо Неживому.

— Кто говорил, когда? — Семен настороженно взглянул на солдата.

На мгновение в голове сверкнуло какое-то воспоминание и угасло. «Где я его встречал?» — подумал Неживой. Но за последнее время перед его глазами прошло столько людей, столько промелькнуло лиц, что никак не мог вспомнить, где он видел этого солдата.

— Где-то мы с тобой встречались, а где — не помню.

Солдат с улыбкой взглянул на него. Он брал по одной ягоде и не спеша клал в рот. Семен еще раз напряг память, но напрасно.

— Не знаю, — вздохнул он.

— Подвозил ты меня. В Черкассы с горшками ехал.

— Василь? Илья Муромец?

Озеров усмехнулся.

— А я тебя не раз вспоминал. Помнишь наш разговор?

— А как же! Разговор у нас тогда был серьезный. И ведь исполнился он немного. Ты тут зачем?

— Не немного, а как следует. Я вот и пришел продолжить его. Мы тут с командой, в пикинеры казаков вербовали... Да не удалась пикинерия. Передумали хлопцы. А мы, солдаты, тоже заодно с ними. Давно уже хотели пристать к гайдамакам, да не выпадало случая. В полк возвращаться я уже не думаю, и хлопцы тоже. Принимаешь к себе?

— Вас? А как же!.. — Неживой от радости не находил слов. Осуществлялись его надежды. Вместе с ним идут русские солдаты. Увеличивались силы, а паче того... напишет он письмо, и их земли присоединят к левому берегу, ко всей державе Российской.

«А может, Озеров пошутил?» — вдруг подумал Семен. Он начал расспрашивать, рассказал о своих намерениях. Будто не похоже на шутку. Но снова

в его голове возникла тревога, и он с некоторой настороженностью спросил Озерова:

— А начальник ваш как?

— Начальник? Ему мы еще ничего не говорили. Он человек хороший, не такой, как все другие. Странный немножко. Он уже сам догадывается обо всем. Пойдем к нему вместе.

Станкевича, который вдвоем с денщиком жил в пустом панском флигеле, застали дома. Он лежал на диване, на полу валялись две пустые бутылки, какая-то книжка, несколько листов бумаги и сломанное пополам перо. Капитан лежал в мундире, он был навеселе. Озеров отдал капитану честь и сказал, что он и атаман Неживой просят разрешения поговорить с ним. Услышав фамилию Неживого, Станкевич сел. Стал искать ощупью на диване трубку, а сам с любопытством разглядывал атамана. Хмель постепенно уходил. Капитан не нашел табаку и попросил его у Озерова. Неживой достал кисет, быстро протянул Станкевичу, который молча набил трубку.

— Слышал о таком. Может, за мной пришел? — Станкевич, не рассчитав, затянулся и закашлялся.

Семен удивленно посмотрел на капитана. Не понял: в шутку сказал он эти слова или серьезно.

Озеров решил прекратить это неприятное молчание.

— Мы, ваше благородие, пришли вам сказать вот что: солдаты не вернутся в полк. Не все, конечно, девятеро нас здесь остается, — Озеров перечислил фамилии. — Пикинеры тоже.

Станкевич молчал. Василю стало на мгновение жаль его, ведь это так просто капитану не пройдет. Озеров даже почувствовал себя немного виноватым в чем-то. Боясь, чтобы не заговорил Станкевич, он решил сказать все до конца.

— Вернуться, чтобы Кологривов запорол до смерти? Нет. Вам спасибо большое, вы один не допускали до рукоприкладства, милосердны были к солдату. Но в полку вы не вечно. И еще одно хочу сказать: мы тоже крепостные, дома плеток тоже перепробовали.

Правда, там не научились плести такие, как тут, у здешних надсмотрщиков они вчетверо, а у нас в большинстве тройчатки, а все другое без отличия. От Москвы до Кракова — беда одинакова. Вы, ваше благородие, не возвращайтесь в полк. Оставайтесь с нами.

Станкевич снова не ответил. Он тупо смотрел куда-то в окно, не замечая, что трубка наклонилась и на камзол посыпался тлеющий пепел. Неживой сдул его с камзола и растер ладонью по дивану. От прикосновения Семеновой руки Станкевич вздрогнул и, повернув голову, встретился с ним взглядом. В его глазах Семен увидел тоску, страшную, безысходную тоску, которая бывает только от никогда не затихающей боли.

— Ваше благородие, — тихо сказал Семен. — Разве вы не видите? Мы не разбойники. А вы бы помогли нам.

— Иди с ними, Озеров. Я не думаю даже словом задерживать тебя. Ты душой, сердцем чуешь, где твоя правда. Если бы я знал, где моя! Вижу и верю, не разбойники вы, — перевел Станкевич взгляд на Неживого, — за свою правду бьетесь. Идите!

— А вы?

— Я не пойду.

Ничего больше не вымолвил капитан. Но эти слова были сказаны таким голосом, что Озеров и Неживой не решились настаивать больше. Они простились и пошли из комнаты.

К вечеру вернулись оба разъезда. Разведчики доложили, что в Медведовке, в Черкассах, Чигирине, Жаботине снова лютуют конфедераты. В Медведовке стоит большой конфедератский гарнизон. Однако крепость и въезды охраняются плохо.

Возможно, раньше Неживой не отважился бы идти прямо на Медведовку. Но теперь, когда к ним присоединилось столько пикинеров и русские солдаты, он без колебаний повел свое войско туда. Повел не кружными дорогами, а широким пыльным Чумацким шляхом.

Глава шестая

НЕЖДАННАЯ ЛЮБОВЬ

— Мама, есть хочу, — дергал Явдоху за юбку мальчуган.

— Сейчас, пусть только Илько заснет. Беги погуляй немножко.

Но Илько спать не хотел. Он лежал с закрытыми глазами и, как только мать переставала качать зыбку, начинал плакать. Явдоха дергала за веревку и тихонько напевала колыбельную песенку:

Ой ну, люлі, коточок,
Не полохай діточок,
Мої дітки будуть спать,
А я буду колихать.

За песней не услыхала, как скрипнула дверь и в хату вбежала какая-то девушка.

— Добрый день, вы дома?

— Ой, как я испугалась! — вздрогнула от неожиданности Явдоха и взглянула на девушку.

Девушка была незнакомая. Явдоха очень мало знала медведовских людей, еще не прошло и двух месяцев, как Семен привез ее сюда. Да из них почти три недели она пролежала после родов. За ней ходила ее соседка, баба Орышка.

— Как звать тебя? — Явдоха внимательнее поглядела на девушку и вдруг увидела, что та чем-то сильно взволнована. — Что с тобой? — забеспокоилась она.

Сердце сжалось в предчувствии чего-то недоброго. С того времени, как в село вступили конфедераты, Явдоха жила в постоянной тревоге. «А что, если выдаст кто-нибудь? Разве они поглядят на детей?»

Девушка решилась и заговорила быстро-быстро, сбиваясь и оглядываясь на окно:

— Галей звать меня. Беда, тетушка. Конфедераты в лес идут. Туда, в Дубину, где гайдамаки. Мне только что Иван Загнийный сказал, писаря сын. Он знает. Я бы сама побежала — Иван не отпускает от себя. Я ему сейчас сказала: мол, зайду воды напиться. Вот он на тын взобрался. Скажите кому-нибудь,

тетушка, пускай туда бежит. Жолнеры плотиной Писарской проедут. Еще тропинка есть через болото. Только далеко она, за монастырем Николаевским. Челном нужно добираться, — Галя пошла к дверям.

— Челном куда? — бросилась Явдоха.

— До сенокоса. С берега видно его, стоги по нему виднеются. А там дорожка, прямо к дуплистому дубу, немного обгоревшему. Он очень приметный — большой такой, и ветви в одну сторону растут. Оттуда две тропки бегут: одна прямо, другая налево, как будто назад поворачивает. Вот по ней и надо идти. Тропинка та к лагерю протоптана, на ней где-то дозор гайдамацкий должен встретить.

Последние слова Галя говорила уже в сенях. Она задержалась в наружных дверях, вытерла концом платка губы и сказала: «Спасибо, тетушка, за воду». Пошла к перелазу. Там, поставив ногу на плетень и обмахивая сапоги камышовой метелкой, стоял Иван Загнийный. Он с подозрением глянул на Галю и взял ее за руку.

— Долго ты воду пила! Кто тут живет?

— Тетушка одна, вдова. Муж ее позапрошлый год умер.

Когда Явдоха осталась одна, ее охватило отчаяние. К кому побежать? Кому довериться? А медлить нельзя ни минуты. Не раздумывая дольше, Явдоха выхватила из колыбельки Илька, который захлебывался от плача, и выскочила из хаты. Наказав детям не выходить со двора, перешла улицу и по тропинке направилась в огород. Как только хата скрылась за подсолнухами, Явдоха переложила ребенка на правую руку и бегом бросилась по стерне. Листья подсолнухов больно хлестали ее по лицу, цеплялись за одежду, словно пытаясь преградить ей дорогу; сжатая стерня колола босые ноги, но Явдоха только крепче прижимала ребенка к груди и, прикрывая его левой рукой, быстро бежала к речке. Наконец огороды остались позади. Явдоха сбежала с горы и остановилась посреди покосов, разыскивая глазами лодку. Под ногами прогибался подлизанный водой плав *. В это время сзади раздался окрик. Явдоха скорее почувст-



вовала, чем поняла, что звали ее. Женщину охватило отчаяние. Она кинулась к воде и вдруг увидела под кустом ивняка два челна. Вскочила в один, положив Илька на охапку свежескошенной осоки, оттолкнула сначала этот, затем другой челн. Челны пошли рядом. Схватив весло, Явдоха изо всей силы уперлась им о борт пустого челна и толкнула его. Челн зачерпнул воды, качнулся, зачерпнул еще и медленно

скрылся под водой. Явдоха исступленно гребла веслом. А на берегу, выкрикивая угрозы, приказывая повернуть назад, бесновались двое людей. Не найдя лодки, один из них разделся и полез в воду, пытаясь отыскать затопленный челн. Явдоха уже не видела этого. Она доплыла до другого берега, схватила ребенка на руки и бегом бросилась через сенокос. Перед нею в траве чернели две старые колеи и тропка между ними. Они вели в лес. В голове Явдохи билась одна мысль: скорее, скорее достичь гайдамацкого лагеря. Вспугнутой птицей колотилось сердце, грудь словно что-то распирало изнутри. Вот и дуб. И вдруг Явдоха почувствовала — бежать дальше не может. Подламывались ноги, руки стали тяжелыми, будто одеревеневшими. Она пошла шагом. И снова всплыла страшная мысль: «Жолнеры, видно, уже где-то около лагеря. Добежать раньше их! Если бы не ребенок...» Она взглянула на Илька. Мальчик, накричавшись, сладко спал. И вдруг взгляд Явдохи упал на дуб, мимо которого она проходила. В старом дереве чернело дупло. Женщина пощупала рукой — дупло было мелкое, рука не углублялась в него и до локтя. «Я сразу же сюда вернусь. Тут никто не увидит». Она осторожно подняла сына и положила в дупло.

Теперь бежать стало намного легче. Небольшая тропинка то совсем пряталась среди кустов, то пролегала по корням деревьев, то сворачивала куда-то в сторону. Иногда тропка совсем терялась. Тогда Явдохе казалось, что она бежит не туда. И вдруг из-за дерева ей навстречу метнулся грозный окрик: «Стой!»

На стежке стояло двое гайдамаков. Увидев женщину, они удивленно переглянулись.

— Куда ты бежишь?

Почти после каждого слова переводя дыхание, Явдоха рассказала все. Дозорцы вскинули на плечи ружья.

— Мигом к лагерю! — крикнул один из них.

— Ребенок у меня там, в дупле остался.

Один гайдамак побежал к табору, а другой пошел с Явдохой. Шли долго, Явдоха не думала, что пробежала столько. Почти около самого дуба их догнали

еще несколько человек. Среди них Явдоха узнала Оксану, которая несколько раз заходила к ней раньше. Они вдвоем подошли к дубу. Явдоха протянула в дупло руки и вдруг отшатнулась назад.

— Нету!

Оксана бросилась к дереву, вышарила все дупло и тоже испуганно оглянулась на гайдамаков. Они стояли онемев. Вдруг один, в синей с подрезанными полями черкеске, сделал несколько шагов вперед, нагнулся. Медленно выпрямился, подошел к остальным. В протянутой руке гайдамака была новенькая конфедератка.

— Они... Сыночек мой, убили его!.. — закричала не своим голосом Явдоха и повалилась на усеянную желудями землю.

На бугорке, неподалеку от опушки, под густым кустом орешника двое дозорцев играли в карты.

— Ох, и припекает! — тасуя колоду, сказал один из них. — Пойду хоть шапку намочу.

Он поднялся, потянулся так, что затрещала под руками сорочка, и направился к копанке, сверкавшей в нескольких саженях. Вышел за куст и вдруг присел на траву.

— Нечипор, шляхта!

— Где?

— Уже посреди болота, ракитник минуют.

Второй дозорный, пригнувшись, добежал до куста и присел рядом. Отсюда все болото было видно как на ладони. Узкой стежкой, с длинными дубинками в руках, похожие на аистов, двигались вперед какие-то люди.

— Откуда ты знаешь, что это шляхта?

— Черт бы дятла узнал, когда бы не длинный нос. Видишь, как дубинками размахивают. Сразу видно — не наши люди. Да и откуда там нашим взяться? Кто-то указал им дорогу.

Оба дозорных с ужасом поняли, что прозевали врага и что теперь не успеют привести сюда гайдамаков прежде, чем конфедераты выйдут из болота на сухое место и развернутся в лесу.

— Беги в лагерь, — прошептал Нечипор.

— А ты?

— Беги, говорю тебе. За меня не бойся... Наши пускай отходят, только не на Смолянку, не то эти успеют перерезать им дорогу.

Нечипор остался один. Он размышлял недолго. Подгреб под куст привявшую траву и случайно обломанные ветки и пошел назад. Узенькая тропинка тянулась между кустами еще саженей сто. С обеих сторон рыжели страшные топи и блестели не менее опасные «окна», поросшие кувшинками и осокой. На опушке Нечипор стал за куст и вынул саблю. Над головой, перепрыгивая с ветки на ветку, попискивала синица. Она то отлетала в лес, то снова поворачивала назад, садилась на молоденькую ольху, нагибала вниз неподвижную головку, словно приглашая идти за нею.

«Гнездо где-то поблизости, вот она и уводит в сторону», — подумал Нечипор. Так он стоял еще долго. Но вот впереди что-то зашипело, плеснулось, и Нечипор увидел сквозь ветви конфедерата. Тот внимательно глядел себе под ноги, ощупывая дубинкой каждую кочку. Еще несколько осторожных шагов — и конфедерат поравнялся с кустом. Миг — сверкнула сабля, конфедерат выпустил дубинку и без стона свалился на тропку. Нечипор толкнул его в трясину и перешел дальше, за соседний куст. На этот раз шел не конфедерат, а чернобородый, похожий на цыгана человек, очевидно проводник. Этот после удара сам упал в студенистое болото, и оно под тяжестью его тела забулькало, зашипело. Нечипор снова пробежал по тропинке и встал за кустом. Третий, четвертый, пятый конфедераты без крика попадали под ударами Нечипоровой сабли. Время летело. Нечипор знал, товарищ уже добежал до лагеря. Но он знал и другое — еще два-три куста, а дальше — бугорок, на котором они только что играли в карты. Там уже не спрячешься. А впрочем, пусть и так! Все же еще несколько шляхтичей сложат головы!

После двенадцатого удара Нечипор почувствовал, как заболела в локте рука, будто ее кто-то повернул

назад. Он уже не мог поднять саблю. А из-за соседнего куста уже показалась остроносая, лисья рожа конфедератского поручика. Теперь было все равно. Гайдамаки предупреждены, а выстрел им покажет, где сейчас конфедераты. Нечипор выступил из-за куста и, приставив к груди поручика пистолет, спустил курок. Грянул выстрел.

Таран вел свой отряд на запад, через лесную чащу. Он понимал — это единственный путь, которым можно выйти из ловушки. Надо было выбраться из лесу, пересечь Чумацкий шлях и выйти к Холодному яру. Ржали кони, путаясь в кустарнике, цеплялись за деревья возы — иногда их не могли вырвать и оставляли на месте, — перекликались гайдамаки, прокладывая топорами путь коням через заросли. Оксана и еще один гайдамак вели под руки Явдоху. Она стонала, порывалась назад, туда, к дубу, в дупле которого оставила сына. Но Оксана и гайдамак крепко держали ее. Когда дошли до самой трудной части пути — нужно было перейти болото, справа, далеко позади, послышался выстрел. Таран прислушался: больше выстрелов не было. «Значит, это стрелял Нечипор, — подумал он, — конфедераты еще не вошли в лес». Когда подошли к болоту, сотник приказал рубить кустарник и мостить запруду. Гать росла быстро, все работали споро. Но у противоположного берега болото оказалось очень глубоким. Туда столкнули все возы, рубили и бросали деревья, лозу. Работа пошла еще быстрее, когда позади зазвучали редкие выстрелы. Это начал перестрелку оставленный Тараном заслон.

— Быстрее, быстрее! — торопил Таран, поглядывая в ту сторону, откуда долетала стрельба.

— Уже не тонет, можно идти! — крикнул кто-то с запруды.

Таран поднял вверх обе руки с пистолетами и одновременно спустил курки. То был знак, по которому должен был отходить заслон. Он же должен был и разрушить запруду.

Миновали болото, шли еще с полчаса. Лес чем дальше, тем становился все реже, переходил в кустарник и внезапно оборвался совсем. Таран подал знак остановиться и вышел на шлях. С ним было трое гайдамаков. Осматривались недолго. Таран уже хотел звать остальных, как вдруг откуда-то сбоку послышался топот. Не сговариваясь, все четверо зашли в кусты, присели там, следя глазами за дорогой, терявшейся между холмами.

— Едут, — над самым ухом сотника прошептал один из гайдамаков.

Из долины поднимались всадники. Всадники покачивались в седлах, и от этого казалось, будто они вылезали из ямы, поднимаясь все выше и выше.

— Раз, два, три, — считал Таран ряды. — Сколько их!

У сотника похолодело в груди. Значит, с этой стороны конфедераты тоже выставили засаду.

«Что делать?.. На что решиться? Быстрее, быстрее, — торопил он себя. — Ведь сзади тоже подходят конфедераты».

И в это мгновение гайдамак, лежавший рядом, вскочил на ноги, подбросил вверх шапку, закричал не своим голосом:

— Наши, атаман Неживой едет!

Любовь чаще всего приходит, когда о ней меньше всего думают. И как мог думать о любви Василий Озеров! Да еще сейчас. А она постучала в его сердце неожиданно и сильно. Это была его первая, несколько запоздалая любовь, пылкая, страстная до боли и сладкого замирания сердца. Встреча с «нею» произошла у атамана Неживого, и девушку видел Василь не больше десяти минут. О ней он только и узнал, что зовут ее Галей, что она сирота, бывшая горничная панов Калиновских и живет сейчас у деда с очень странным именем, псаря или доезжачего, который принял ее к себе за дочку. Больше ничего не знал о ней Василь, а расспрашивать у людей стеснялся.

Как мальчик, ходил он мимо хозяйственного двора,

а зайти в хату, где жила девушка, не отваживался. Раза два видел ее названого отца, а случай свел его совсем близко с ним. Как-то под вечер, возвращаясь от Неживого, он догнал старика. Тот шел с реки, Василь предложил помочь поднести сети. Старик охотно согласился, потом пригласил солдата порыбачить вместе. На другой день они, нацепив на шеи торбы, уже таскали по речке бредень — Василь где глубже, а дед у берега, разговаривая как давние знакомые. Василь оказался ретивым рыболовом. Он понравился старику своей понятливостью, умением не перебивать других, сам порассказал много такого, что дед Студораки слушал с охотой. С того дня Василь стал часто бывать у деда. Галя сразу заприметила, что Озеров приходит не только ради деда, но виду не подала. Ей было приятно шутить с Василем, вгонять его в краску, заставлять опускать глаза.

Василь искал встречи с Галей, а оставаясь с ней наедине, не находил слов, быстро прощался и уходил прочь. Лишь один раз они почти полдня пробыли вдвоем — плавали на лодке далеко за Николаевский монастырь. Галя была особенно весела, она беспрестанно смеялась, брызгала водой и раскачивала лодку, а один раз, отнимая у Василя весла, поскользнулась и упала ему на колени. Галина щека очутилась около самых губ Василя, ее глаза, как показалось солдату, блестели задорно и вызывающе. Вспоминая впоследствии этот случай, Василь думал, что, если бы он поцеловал ее тогда, она бы не рассердилась.

...На село опускался тихий июньский вечер. Галя сидела на траве и большим зазубренным ножом чистила рыбу. Василь примостился на завалинке напротив нее, смотрел на ее ловкие движения и, как всегда, молчал. Галя умышленно высоко подняла рыбину, изо всех сил скребла ножом, отчего рыбья чешуя падала Озерову на колени. Девушка подняла рыбину еще выше, и несколько чешуек упало Василю на щеку. Он снял их, вздохнул и, ничего не сказав, вытащил кисет. Галя тоже деланно вздохнула и, отбросив локтем за плечи косу, подняла глаза. Вдруг тихий стон вырвался из ее груди. Василь испу-

ганно кинулся, думая, что девушка порезала руку. А Галя стояла на коленях против него, опустив вниз облепленные чешуей руки, и испуганно смотрела на кисет.

— Где ты его взял? — чуть слышно спросила она.

Василь удивленно глянул на нее, потом на кисет.

— Это мой кисет... Я его вышивала.

И тут Василь понял все. Так вот кого выручил он тогда! Жениха Гали.

— Не бойся, жив он.

— Жив? — И Галины глаза вспыхнули радостными искорками. — Когда ты его видел?

— Не так давно. А кисет он мне сам подарил. Возьми, отдашь ему снова.

Василь положил на завалинку кисет и широким шагом пошел со двора. Слышал, как звала его Галя, но не оглянулся. Какая-то незнакомая, неведомая доныне горечь переполнила сердце. Он сам не знал, на кого и за что ему обижаться, не понимал, для чего оставил кисет. Одно чувствовал — вернуться назад он не может.

С тех пор как дед Мусий поселился в лесу, он редко когда наведывался в село. Путь к нему лежал не близкий, да и нечего было ходить туда. Только когда в Медведовку вступили гайдамаки, дед выбрался с лесного хутора и даже заночевал в местечке.

Все свое свободное время старик отдавал теперь пасеке. Была она у него невелика — всего шесть колод, но работы хватало. Никто не нарушал спокойствия старика, и жили они с бабой Мотрей мирно и тихо. Так мечтал он свой век доживать. Да неожиданно это спокойствие было нарушено. Началось все с того, что однажды к ним зашли напиться двое каких-то людей. На вопрос старика: «Кто вы такие?» — незнакомцы назвались гайдамаками. Через два дня они появились снова, уже не вдвоем, а вчетвером, и попросили есть. Баба Мотря насобирала огурцов, налила борща, вынесла из чулана завер-

нутый в полотно кусок желтого сала, а дед Мусий угостил чаркой и свежим медом. Гайдамаки благодарили за обед, хвалили борщ и говорили о всяких незначительных вещах. О себе же не рассказывали ничего. Когда старик спросил, почему они тут и где сейчас Неживой, гайдамаки ответили, что они не из отряда Неживого и стоят в лесу особо. В том, что они стоят где-то поблизости, дед Мусий скоро убедился сам: посещения гайдамаками его жилища стали очень частыми. Иногда они доходили только до колодца, но чаще заходили в хату.

А вокруг, и в Медведовке и в соседних селах, ширились слухи, что где-то в волости бродит ватага грабителей. У одного грабители выкрали из чулана одежду, у другого вывели корову и в сапогах перевели через болото, третьего остановили в лесу и забрали коня. Таких случаев становилось все больше и больше. Люди перестали ездить в лес, боялись на ночь бросать незапертой скотину. Неживой послал в лес несколько небольших отрядов, но они вернулись, никого не обнаружив.

Хотя деда пока никто не трогал, но и он всполошился. Ульи на ночь вносил в омшаник; ложась спать, в головах оставлял топор. Особенно напугал его случай, когда он возле колодца среди гайдамаков из этого неведомого лесного отряда узнал двух своих односельчан.

— Это они злодействуют, — сказал он бабе. — Соберутся, пограбят — и снова по домам. Потому и не видно их по нескольку дней.

— Горюшко! — всплеснула руками баба Мотря. — Они ж и нас когда-нибудь оберут. Надо рассказать в селе.

Дед Мусий задумался.

— Взять у нас нечего. Разве что коня. Отведу я его к кому-нибудь в местечко, а в субботу — на ярмарку. Для чего он нам? Купим по осени на эти деньги корову, хоть с молоком будем на зиму. А сказать бы следовало, только как же ты скажешь? Чем докажешь, что именно они грабят? Гайдамаки — и баста. На горячем их поймать нужно. Скажешь, а они,

матери его ковинька, придут ночью и кишки повыпускают.

— Правда твоя, посидим лучше тихо.

— Нет. Я все-таки их подстерегу.

В субботу с утра дед Мусий продал коня. Возвратившись с ярмарки, бросил на скамью свиту и шапку и, распутывая завязки на постолах, сказал:

— Сегодня они придут к нам за деньгами.

— Кто, гайдамаки эти? — переполошилась баба. — Что ты, мы же их всегда как гостей в своей хате принимали. Будто смирные такие хлопцы.

— Бойся не того пса, что лает, а того, что ластится. Возле пруда только что встретил двоих, прикурить просили. Один, черный тот, спрашивал, сколько я за коня взял. Видать, кто-то из них был на ярмарке.

Дед и баба в страхе ждали вечера. Когда начало смеркаться, дед вынес из чулана старое ружье и осмотрел его. Пуль не было, ружье пришлось зарядить волчьей дробью. Баба принесла из сарая железный шкворень и положила на печь.

— Деньги в ступе будут. Мы в сенях спрячемся. Входную дверь запрем, а внутреннюю завяжем, — сказал дед.

Но баба не захотела идти в сени и полезла на печь. На дворе совсем стемнело. Взошел месяц, поднялся над деревьями, заглянул в хату. Баба притаилась в углу печи, прислушиваясь к каждому шороху. На дворе было тихо, только над хатой тревожно шумела ольха. «Может, никого и не будет», — подумала баба, устраиваясь поудобнее на печке. И вдруг за окном послышался шорох. Посыпались стекла, и в окно просунулась голова в шапке.

— Клади деньги! — послышался глухой голос.

Мотря молчала.

— Клади деньги! — прозвучало громче.

Треснула рама, и в хату вскочил один из грабителей. Держа наготове пистолет, он торопливо оглядел хату и прыгнул на лежанку. Только наклонился, чтобы заглянуть за трубу, как баба, схватившись левой рукой за пистолет, правой ударила вора шквор-

нем. Она метила в голову, но промахнулась, и удар пришелся по плечу. Грабитель вскрикнул, дернул руку и невольно нажал курок. Сухо треснул выстрел. Грабитель ошалело дергал к себе уже ненужный ему пистолет, а баба тем временем била его. Сильно замахнуться было нельзя — мешал потолок, однако удары были чувствительные. Грабитель завизжал. Услышав выстрел и крик, дед Мусий развязал дверь, открыл ее и выстрелил в тот миг, когда второй грабитель как раз влезал в окно. Заряд дроби попал ему прямо в горло. Грабитель с хрипом повалился за окно. Дед закрыл дверь и дрожащими руками на ощупь стал набивать ружье. Между тем первый грабитель, выпустив пистолет, вылез в окно и бросился догонять своих товарищей, которые, подхватив убитого, бежали за ворота. Дед Мусий успел открыть дверь и послать им вдогонку еще один заряд волчьей дроби. Но уже не видел, удалось попасть или нет.

На колокольне громко звонили колокола. Не торжественно, по-праздничному, хоть и было воскресенье, а однотонно, тревожно, созывая людей на сход.

— Что такое снова случилось? — перегибаясь через тыны, спрашивали друг у друга соседи и спешили к церкви.

Вскоре церковная площадь была переполнена. Тогда на паперть вышли Неживой, дед Мусий и баба Мотря. Дед держал в руках ружье, баба — шкворень; они поклонились во все стороны, и дед шагнул на край паперти.

— Миряне, люди добрые! Страшный случай приключился с нами этой ночью.

И он рассказал про нападение грабителей на их жилище. Не успел дед закончить, как толпа загудела, крестьяне замахали сотнями кулаков.

— Покарать, покарать! Ты знаешь их? — крикнул кто-то впереди.

Дед Мусий обвел взглядом толпу и указал пальцем поверх потертых мохнатых и вылинявших шапок.

— Вон те двое. Пилип Явтухов да Иван Загнийный. А еще Шаковенко и Клещ.

Все, подчиняясь стремительному взмаху дедовой руки, повернули головы. Шляхом от управы шла толпа молодежи. Между ними в окружении девчат шагали Иван Загнийный и Пилип. Одетые в дорогие розмариновые жупаны, красные шаровары, сдвинув набекрень смушковые шапки, они перебивали друг друга, рассказывая что-то очень веселое. Девчата громко смеялись. Этот смех словно подтолкнул толпу. Несколько человек выбежали вперед и схватили Загнийного и Пилипа за руки. Неживой видел, как на том месте образовался водоворот из людских тел, глухо застучали кулаки и палки. Раздался дикий визг, на миг люди расступились, и атаман увидел, как под ударами спадает с Загнийного одежда.

— Так его!

— Это тот ученый. Вон дуки на кого детей учат, — слышались отовсюду возгласы.

Откуда-то взялся топор, поплыл над головами туда, где били грабителей. Видя, что тут ничего поделать нельзя, Неживой выхватил пистолет. Выстрел вверх как бы парализовал всех.

— Громада, остановитесь! — выкрикнул сильным голосом Семен. — Мы не звери. Судом будем судить этих ворюг. Злодеяние их страшное и всем очевидное. Тем паче, что они называют себя гайдамаками. Нет, не гайдамаки они! Мы, гайдамаки, не грабим честных людей, а защищаем их.

Толпа как завороженная слушала атамана.

— Хлопцы, отведите воров к управе, — подозвал Неживой нескольких гайдамаков. — А мы, панове громада, давайте выберем судей, которые решат дело и помогут вывести на чистую воду остальных.

Громада выбрала в суд пять человек: Неживого, деда Мусия и еще трех жителей местечка.

Для Романа встреча с Василем Озеровым была до того неожиданной, что в первые минуты он даже забыл поздороваться. Роман приехал в Медведовку

два дня тому назад. Золизняк послал его с приказом Неживому остаться в местечке и, действуя по своему усмотрению, ждать, пока он не позовет его. После первых вопросов и ответов Роман предложил Озерову пойти в корчму. Тот согласился. Но когда они дошли до корчмы, Роман вспомнил, что вчера отдал все деньги какой-то старушке, и остановился. Долго рылся в карманах, а вытряхнул всего лишь семак *.

— Больше ничего нет, — смущенно улыбнулся он.

— У меня тоже, — признался Василь. — Ничего, как-нибудь в другой раз выпьем.

Они тут же на улице еще поговорили немного, и Василь протянул руку.

— Меня ждут. Поговорим в другой раз, — и он отвел в сторону неспокойные глаза.

Роману все время казалось, будто Василь чем-то расстроен. С первых же слов он заговорил как-то равнодушно, сдержанно, пригасив этим радость встречи.

«Видно, у него какое-то горе. Или заболел, да не хочет признаваться», — подумал Роман.

А Василь шагал широкой улицей, что вела к плотине. На душе было неприятно и тяжело, к этому примешивалось ощущение обиды и гнева. Он был недоволен и собой и Романом. Себя бранил за эту встречу. А Романа — сам не знал за что. Понимал, как это глупо, но превозмочь себя не мог. «Что в этом Романе хорошего? Разговорчивый чрезмерно. До работы же такие всегда нерасторопны. Чего принесло его?» Поймав себя на такой мысли, Василь рассердился еще больше. «А в конце концов почему я должен радоваться? — подумал он. — Чем он лучше меня, и разве я не имею права на счастье?»

— Ты когда едешь назад? — спросил Романа Неживой.

— Завтра или послезавтра. Спешить некуда! Или, может, ты хочешь что-то спешное передать?

Неживой, думая о чем-то своем, не ответил. За последние дни он осунулся, побледнел, даже почер-

нел. Роман это заметил в первый же день по приезде. А теперь, присмотревшись повнимательнее, увидел на висках Неживого несколько седых волосков.

Не желая отрывать атамана от его мыслей, Роман поднялся. И тут Семен, взглянув на него, остановил:

— Уже идешь? Куда так быстро?

— Домой.

— Съезди в крепость и отдай сотнику деньги, пусть спрячет.

Неживой вытащил из ящика незавязанный мешок, на дне которого позвякивали червонцы, и протянул Роману. Тот взвесил мешок на руке и, покрутив его, сунул под локоть.

— Хватило бы на месяц погулять, — причмокнув губами, он вышел из комнаты.

На крыльце Роман встретил Хрена и еще двух незнакомых гайдамаков.

— Здорово! — Хрен так хлопнул Романа по плечу, что тот присел чуть не до помоста. — Табачок есть?

Роман положил мешок на крыльцо и вытащил пригоршню табаку.

— Когда же у тебя будет свой? Когда бы мы с тобой ни встретились, всегда просишь закурить.

— Когда? Тогда, когда свиньи в стаде пойдут, — засмеялся громко Хрен.

— Вот, вот! Тоже мне запорожец!

— На Сечи табак не садят.

Роман уже хотел идти, как из-за тына до них долетел голос:

— Хлопцы, не знаете, что это горит?

Вместе кинулись за хату. Над лесом стлался густой седой дым.

— Сенокос кто-то поджег, — присмотревшись, сказал Роман. — Останется кое-кто без сена.

В это время во двор заходил Василь Озеров. Он видел, как при его появлении от крыльца, на котором лежал серый крапивный мешок, воровато оглядываясь, метнулся низенький, с маленьким приплюснутым носом человечек и исчез за хлевом. Василь удив-

ленно посмотрел ему вслед и уже хотел окриком остановить человечка, как из-за плетня до него долетел отрывок разговора. Среди других голосов он услышал звонкий голос Романа.

Все эти несколько дней Василь избегал встречи с Романом, не захотел он видеть его и на этот раз, а повернулся и пошел на улицу.

...Вечером, когда Роман собирался идти гулять, его позвали к атаману. Неживой ждал Романа на скамье под черешней. Он, как показалось Роману, посмотрел холодно и, пригласив сесть, подвинулся на край скамьи. Роман почувствовал — атаман хочет вести важный разговор, но не знает, с чего начать, и сам помог Неживому.

— Что-то случилось? Я по тебе вижу. Сразу говори.

Семен поднялся и, взглянув Роману в лицо, резко спросил:

— Будто не знаешь? Не прикидывайся, Роман. Из гайдамаков я тебя первого узнал, побратимом считал. Не ждал от тебя такого.

Роман не знал за собой никакой вины, но от атамановых слов его обдало морозом.

— Не ведаю ничего. О чем ты?

— В мешке было триста червонцев. А отдал ты сколько? Двести сорок.

— Ты что? — Роман невольно посмотрел на Семена, не шутит ли тот. Но лицо атамана было суровое и холодное. Да и не до шуток было ему сейчас, это Роман видел.

— Сотник считал при свидетелях, а отдавал я их тебе сам. У кого крадешь, у своих?

— Да не брал я! — закричал Роман. — Понимаешь, не брал. — Он схватил Семена за руку и изо всех сил сжал ее. — Когда-то такое могло случиться и со мной. А сейчас — ни за что. Ты веришь мне? — Взглянул в глаза и с ужасом увидел — Неживой не верит.

Освободив свою руку, Семен спрятал ее за спину, вздохнул и тихо, не со злостью, а с болью сказал:

— Не ждал я такого. Езжай, никто не тронет тебя. Эх, ты!.. — атаман поднялся и пошел в хату.

— Семен! — хрипло простонал Роман.

Он хотел бежать за Неживым, убедить его, умолять, чтобы поверил, только что-то сдержало его. Обида или гнев? А может, и все вместе?

Гулять не пошел. Вернулся домой, тихонько перелез в сад и лег под кустами. Где-то за лугом пели девчата. Звонкая, задорная песня беспокойной молодости плыла над селом. Роман не слышал ее. Тупо глядел в землю, обрывал цветы-сережки. А потом вдруг прислушался и, вспомнив все, в отчаянии закрыл уши. Он не мог дальше слушать песню. Она напоминала, что где-то рядом есть счастливые люди и им нет никакого дела до Романова горя.

«Куда же девались те деньги?» — словно пробуждаясь, вдруг подумал Роман. Неужели никто не поверит, что он не брал их? А Хрен?

Роман вскочил на ноги и перепрыгнул через тын на улицу.

Хрен жил у Сечния, родича Зализняка, недалеко от Тясмина. Запорожец был во дворе. Склонившись над мельничным жерновом, что лежал у сарая, он и еще двое гайдамаков обтачивали пули. Увидев Романа и не желая вести разговор при гайдамаках, Хрен поспешил навстречу и остановил его посреди двора, не дав Роману вымолвить и слова.

— Знаю, зачем пришел. Да слушать не стану. Когда-то дурень был, поверил тебе на Сечи. Ты и тогда деньги стащил. Иди отсюда!

Низко склонив голову, Роман вышел за ворота. Весь следующий день он не появлялся на улице. Никогда не думал раньше, что придется стыдиться людей, избегать их взглядов. Роман знал: один человек поверил бы ему — Максим. Взглянул бы в глаза, сжал за плечо — и отпустил бы. «Невиновен ты», — сказал бы. Насквозь видит человеческую душу Максим, хорошо знает своих друзей. Но он далеко.

Вечером после захода солнца Роман шел берегом к панскому имению. Еще издали увидел Галю. Она стояла на пороге, сеяла через сито муку. Роман

обошел ограду и из-за хлева вышел в конец хозяйственного двора, где стояли дома для дворовых. В одном из них жил дед Студораки с Галей. Гали уже не было видно во дворе, а около хаты дед Студораки что-то тесал топором.

— Бог на помощь! — поздоровался Роман.

Дед буркнул что-то невыразительное и снова принялся за колышек. Топор был тупой и раз за разом скользил по твердому ясеню.

— Затесать? Дайте я, — протянул руку Роман.

Дед не ответил и продолжал тюкать по неподатливому дереву.

Роман потоптался на месте и несмело спросил:

— Галя дома?

— Нету. С утра еще в Ивкивцы пошла.

Роман больше ничего не спрашивал. Вышел из двора и, не разбирая дороги, побежал к берегу. Остановился против своего двора, схватился за ветку вербы и так застыл. Невыразимая боль сжимала сердце, перехватывала дыхание. Нет, дальше снести эту боль он уже не в силах. И впервые в жизни в голову закралась страшная мысль: «Зачем жить?»

Озеров и еще один солдат стояли в дозоре возле Писарской плотины. Они должны были никого не выпускать из города и не впускать: в полдень крестьяне привезли известие, что около Черного леса появилась шляхта.

Возле гати караулили по очереди. Пока один стоял на улице, другой отдыхал в крайней от плотины хате.

Хозяева хаты уже спали. Уронив на руки голову, Василь смотрел в окно. Напротив выстроились в ряд белоствольные березки, словно молоденькие девушки, стройные, кудрявые. Еще и за руки взялись. Сейчас звякнет балалайка, и кинутся они все вместе в танец, разметав по плечам пышные косы. И Галя среди них. Воспоминание это больно кольнуло Василя. Снова и снова в голове проплывали события последних дней. Беспокойство охватывало сердце сол-

дата. Сомнения и стыд угнетали его. Еще и сейчас он не знал, как ему быть. Когда Василь услышал о краже Романом гайдамацких денег, он сначала хотел пойти к Неживому и сказать, что Роман не виновен и что настоящего вора видел он, Василь. Но тогда же вынырнула и другая, злая мысль, она остановила его: «Переболеет немного душой Роман, и все, — успокаивал себя. — А может, он не очень тревожится, может, и правда ему не раз приходилось запускать в чужой карман руку. Вон и Хрен рассказывал... А Галя после этого отвернется от него навсегда...» И все же эта мысль не успокаивала.

За окном послышался топот. На мгновение топот затих, и вдруг раздался снова, отдаляясь от гати. Василь выбежал на улицу.

— Что такое? — спросил товарища, который бежал ему навстречу. — Поехал кто-то, почему ты не стрелял?

— Хлопец поскакал. Из тех, кого шляхтичи при нас окружили. Кисет он тебе подарил. Я останавливал его, но он не послушал. Не буду же я в него стрелять.

«Роман», — мелькнуло в голове Василя.

— Знаешь, куда ты его отпустил? На верную гибель. Шляхта там. Открывай ворота.

Василь бросился к сараю, где спокойно похрустывали свежим сеном кони. Отвязал своего, вывел на улицу. Не слушая товарища, вскочил в седло и дал коню шпоры. Конь недовольно фыркнул, ударил на месте копытом и поскакал.

Далеко позади осталась гать, какие-то кусты, лесок, снова кусты... «Где же он, — с ужасом думал Василь. — Куда дальше ехать?»

В это мгновение конь Василя сбежал с горы и, замедлив ход, забил ногами по песку. Впереди послышался стук копыт.

— Рома-ан! Рома-ан! Подожди, это я, Озеров, — закричал Василь, торопя коня.

Стук копыт впереди замер, и из темноты вынырнула фигура.

— Возвращайся, Роман, я все знаю... Я видел, как

кто-то брал деньги... Прости меня, друг. — Василь выпустил повод и обеими руками поймал в темноте дрожащую руку. Вокруг стояла тишина, только в болоте трещал коростель и, обнюхивая друг друга, неспокойно храпели взмыленные кони.

Глава седьмая

НА РАСПУТЬЕ

Вторую неделю, окопавшись, стоял лагерем под Звенигородкой Уманский полк. Со дня на день ждали гайдамаков: возле пушек дымились костры, как сурки, застыли на холмах дозорные — наблюдали за шляхом. Но все напрасно. И чем дальше, тем больше надоедало дозорным вглядываться в наскучивший пыльный шлях, все чаще, позевывая, переводили они взгляды на голубое небо, по которому плыли и плыли белые, кудрявые облачка. В лагере с каждым днем ослабевал боевой дух, расстраивался порядок. Тем более что никто не обращал на это внимания. Разве что полковник Обух, но его мало кто слушал, да и сам полковник не знал, как все это наладить. Никогда не приходилось ему водить в бой казаков, если не считать боями наезды на безоружных крестьян, поднимавшихся на своего пана; зато он умел приготовить казаков к парадной встрече графа, снарядить пышную охрану графского выезда или устроить в замке фейерверк. Не мог Обух разрешить и такой вопрос: что лучше — ждать гайдамаков здесь, идти вперед или возвращаться в Умань? Обух решил обо всем этом посоветоваться с Гонтой, который последние дни совсем не появлялся среди войска.

Шатер Гонты стоял на опушке леса. Когда Обух зашел туда, старший сотник сидел на разостланной попоне и завтракал чесноком и салом.

— Хлеб-соль, — коснулся шапки Обух. — Что-то ты совсем на люди не показываешься?

Гонта поднял прямые, загнутые на концах брови и откинул за ухо оселедец:

— Нечего мне там делать. Придет враг — выйду. Завтракал? Если нет — садись.

Обух посмотрел на завтрак Гонты и, втянув носом воздух, бросил куда-то в сторону:

— Как-то неудобно, когда от полковника чесноком несет. Что казаки подумают?

Но на попону сел.

— Не хочешь — не ешь, а я очень люблю чеснок с салом. Еще с детства. Я тогда его никогда досыта не наедался. — Гонта макнул чеснок в соль и смачно захрустел молодым стеблем. — Семья у отца была большая, допусти только — за неделю грядку вымотают. Бывало, отец и мать пугали нас железной бабой. Уже потом я понял, что никакой бабы не было. Просто отец надевал навыворот кожух и садился за грядкой, а мать посылала кого-нибудь из нас за чесноком.

Обух поморщился. Ему, шляхтичу, было непонятно, как может сотник, тоже шляхтич, вспоминать такое. А Гонта, отгадав полковничьи мысли, умышленно продолжал разговор:

— Не всегда у нас в хате и хлеба было вдоволь. Вчера встретил я в своем стане кобзаря. Разговорились о том, о сем, он меня и спрашивает, ведаю ли я, что такое голод?..

— Он знал, кто ты? — настороженно спросил Обух.

— Слепой он на оба глаза. Разве что хлопчик-поводырь сказал кто. Да откуда ему знать?

— И ты не взял того кобзаря под стражу?

Гонта будто не расслышал слов Обуха, глядя сквозь открытый полог шатра, рассказывал:

— Так вот, знаю ли я голод? Как не знать. И сегодня еще помню один голодный год. Мне тогда лет шесть было. Отец куда-то на заработки пошел, а в нашей хате — заплесневелого сухаря не было. Мы с соседским хлопцем Микиткой всегда вдвоем бегали. Раз сидели под тыном — весной дело было — крапиву искали молоденькую.

— Ладно, оставим это! Скажи лучше, что делать будем? Где у чертовой матери те гайдамаки,

откуда их ждать? А тут по лагерю все людишки какие-то шляются. Может, в Умань вернемся?

— Тебе виднее — ты полковник. Однако гляди, чтобы не влетело тебе от губернатора: ведь посланы мы встретить адверсора *.

— Был бы перед нами тот адверсор, а то аспид его знает, где это быдло. Пойдешь его искать, а оно где-то в ярах подстережет да и накинется всем скопом. А ты как считаешь?

— Так же, как и ты.

Видя, что от Гонты ничего не добьешься, Обух вытер о попону руки и поднялся.

— Пойду схожу на хутор. Там, знаешь, дьяковна есть, — Обух прищурил сытые глаза и прищелкнул пальцем, — как пряничек медовый. А почему ты никуда не выходишь? Спишь, наверное?

— Сплю, — согласился сотник, хотя темно-синие подковы под глазами скорее свидетельствовали о бессоннице, нежели о чрезмерном сне.

— Хотя бы поглядел, какой казаки ретрашемент * за хутором насыпают. Прямо тебе крепость. Пойдем, пройдешься со мною, а заодно и на него поглядим. Ты в этих делах разбираешься.

Обух застегнул парчовый, на китовом усе, с золотым позументом в три пальца кунтуш и вышел из шатра. Гонта тоже оделся и вышел вслед за ним. Они шагали по дороге к хутору. День стоял прохладный, пасмурный. Сухой ветер кружил по полям, вихрями налетал на хутор и, подхватывая в садах тучи мотыльков — их в этом году было почему-то очень много, — нес их над пшеницей. Гонта вырвал с корнем стебель пшеницы и показал Обуху.

— Погляди, пшеница какая густая, и налив хороший. Я проезжал весной этими краями — была реденькая-реденькая. А, вишь, закустилась.

— Я с нею никогда дела не имел. Да разве не все равно, какая она будет? Нам хватит.

— А людям?

— Кого ты людьми считаешь? Может, вот этих гайдамаков? Плетками их надо кормить, а не пшеницей.

— Очень мало они ее и так ели и поднялись потому, что есть было нечего.

Обух и Гонта остановились на краю хутора.

— Ретрашемент там, возле балки, — указал толстым коротким пальцем Обух. — Присмотри, чтобы все как следует было.

Обух свернул в улочку. Гонта задумчиво поглядел ему вслед, повернулся и пошел назад. Сделав несколько шагов, остановился. На краю дороги лежала жердь с вьющейся по ней густой фасолью. «Еще наедет кто-нибудь». Сотник поднял жердочку, воткнул ее возле тына и, оглянувшись, не видел ли кто-нибудь, быстро зашагал к лесу.

В начале июля на Украину двинулся с войском гетман Браницкий. На какое-то время в Варшаве все успокоились. А потом тревога снова охватила столицу. Долго ждали там вестей об усмирении хлопов, но их не было. Некоторые стали сомневаться, удастся ли вообще коронному гетману подавить восстание.

То, что коренные войска не в силах усмирить крестьян, первым понял сам Браницкий. После некоторых мелких неудачных столкновений осторожный гетман остановил свое войско и стал лагерем. В сенат он сообщил, что готовится собрать воедино шляхетские отряды и объединенными силами ударить по бунтовщикам. Только королю, с которым издавна был в дружбе, написал правду: войска не в состоянии одолеть гайдамаков, короне угрожает гибель, и нужно созвать общее ополчение. Это письмо не на шутку испугало короля. Как быть, где искать спасения? Поможет ли ополчение, да и каким способом можно его созвать?! Каждый шляхтич имеет свой двор, свое войско, при дворах блеск, шум, в театрах читают звонкие стихи, на банкетах гремят залпы, а позаботиться о государстве некому. Государство гибнет. Король уже не допускал к себе гонцов, которые всякий раз привозили все более тревожные вести.

Зарева гайдамацких пожаров в то время уже по-

лыхали на фоне густых волынских и закарпатских лесов. Отряды повстанцев действовали в районах Львова, Дубно и Белза. О восстании говорили уже в соседних государствах: Венгрии, Турции, Пруссии. Там усилили охрану границ, укрепляли пограничные крепости и увеличивали гарнизоны в них. С Правобережной Украины бежало панство. Кто спасался на левобережье, кто в Кракове и других надежных крепостях.

Такой надежной крепостью считали и Умань.

Каждый день туда прибывали шляхтичи. Одни ехали в гербовых каретах, запряженных шестерками, с десятками нагруженных имуществом возов позади, с поварами и горничными, но были и такие, что приезжали без седла, на взмыленных лошадях, успев спасти только жизнь да дедовскую ладанку на голой шее. Через несколько недель в город стали впускать только шляхтичей, и то после тщательного обыска. А еще через некоторое время въезд был совсем прекращен. Шляхта стала поселяться под Грековым лесом, неподалеку от крепости.

Однако как ни обыскивали всех приходящих и приезжающих, а через неделю после выхода из Умани полка ландмилиционеры поймали на базаре гайдамацкого лазутчика с грамотой. Грамоту лазутчик успел проглотить, его пытали каленым железом, жгли на спине порох, но он не сказал, кто ему передал ее и что в ней было написано. Велено было вспороть живот, однако никто не осмелился сделать это без причастия, а пока искали православного попа — в Умани не было ни одного, его привезли откуда-то из села — грамота успела набрякнуть, и разобрать в ней ничего не смогли. По Умани ходили всякие слухи, один страшнее другого. Неизвестно откуда они появлялись, кто распространял их, но они черным дымом ползли по городу, пугая обывателей. Один из них, очень похожий на правду, дошел до ушей землемера Шафранского, когда-то служившего офицером в армии Фридриха Великого, а теперь, во время общей тревоги в городе, фактически принявшего на себя все дела по обороне крепости и вербовке дворян

в войско. Слух этот привез богуславский подстароста. Он рассказал, что видел сам, как Гонта перебежал к гайдамакам и повел за собой весь полк уманских казаков. Этому слуху поверили все, тем более что из полка уже несколько дней не было никаких известий.

В Варшаву послали донесение, в сторону Звенигородки выслали разъезд из молодых дворян с приказом разузнать обо всем. Мало кто надеялся на возвращение этого разъезда. Но, к всеобщему удивлению, разъезд возвратился уже через день, да еще и не сам, а со старшим сотником Гонтой и полковником Обухом.

— Вот видите — прав я: все это навет и ложь, — говорил Младановичу и Шафранскому Ленарт, когда они втроем заперлись в кабинете губернатора. — Наши казаки верны короне и гербу графа.

— Этому Гонте давно бы следовало отрубить голову, — хмуро обронил Шафранский. — Что-то там есть. Давайте устроим ему очную ставку с тем богуславским подстаростой.

— Не вспугнуть бы его преждевременно. Держитесь с ним, как прежде...

Послали за подстаростой, но тот не явился в замок. Ждали-ждали, послали вторично — его уже не было. Искали по городу, в лагере под Грековым лесом — исчез. Тогда Младанович позвал к себе Обуха и о чем-то долго с ним беседовал. А на следующий день Обух и Гонта в присутствии трех ксендзов и наиболее выдающихся шляхтичей города вторично приняли присягу.

Пристально вглядывался во время присяги Шафранский в лицо Гонты, но оно было спокойным, холодным, и только. «Действительно, клеветали на нашего сотника», — подумал землемер.

Вечером Гонта и Обух снова выехали в свой лагерь.

— Пан сотник, где вы?

Гонта раскрыл глаза, не подавая голоса, вглядывался в темноту вокруг себя. Тихо просунул руку под подушку, нащупал кинжал.

— Я привез письмо от графа. Велено его побыстрей передать вам.

— Почему за шатром не подождал?

— Ради бога, тише, письмо тайное.

Гонта снял с колышка сумку для пуль и кремней, вынул огниво. Трут был сырой и долго не загорался, хотя искры падали целыми снопами, освещая два лица: настороженное лицо Гонты и выжидающее — незнакомого казака в шапке хорунжего с гербом графа Потоцкого.

Наконец трут задымился. Гонта ткнул его в пучок соломы и раздул огонь. Зашипел светильник.

— Почему такая спешка и таинственность?

— Дела, сотник, не ждут. Некогда сидеть, на том свете не будем торопиться, да и то если черти кочергами за плечи не станут толкать.

Гонта долго вертел конверт. Печать была какая-то незнакомая. Но как только разорвал конверт — сразу понял все. Однако виду не подал. Он прочитал письмо, свернул его вдвое, поднес к светильнику. Держал так до тех пор, пока огонь не лизнул кончики желтых от табака пальцев. Потом растер пепел и высыпал его под попону.

— Какой будет ответ?

Гонта молчал. Подперев рукой острый подбородок, он смотрел широко открытыми глазами, не видя хорунжего.

— Что же мне передать атаману?

— Ничего.

— Как ничего?

— Так.

— Пане сотник, гляди, пока надумаешь — будет поздно. Разве можно ждать в такое время? Земля горит под ногами...

— Думаешь, мне эта земля чужая?

Хорунжий всем телом подался вперед, но сотник больше ничего не сказал и вдруг погасил светильник.

— Уходи отсюда!

— Иду. Вижу — не знаешь ты еще сам, где твоя дорога; однако думаю — стоишь ты около нее.

И пойдешь по ней, с нами пойдешь. Я вскорости буду у тебя, а захочешь сам прийти — наведайся в Звенигородку, на сторону Нетягайловку, за корчмой от выгона — вторая хата, ставни с петухами. Скажи хозяину, что хочешь видеть Омелька Жилу.

Глава восьмая

ОЙ, У ПОЛІ ЖИТО

Зализняк нехотя пил квас, хлебая его из дубового корца, жевал сухую тарань, кости выплевывал далеко в кусты. Он долго сидел в тени на опрокинутом улье — с полдесятка рыбьих голов валялось у его ног.

На душе у Максима было холодно, и это уже не первый день. В придачу ко всему мутило от сладостей. Раздобыл их где-то на разбитом сахарном заводе его джура Василь. Хлопец, который сызмальства не видел ничего, кроме тюри, принес полную торбу конфет, жареных орехов, маковников, пряников.

Саженях в двадцати от Максима, не решаясь подсесть ближе к суровому атаману, седобородый сухощавый старик пасечник мастерил грабли. Возле него под кустом бузины валялись сито и веник да стоял кувшин с водой — начали роиться пчелы и надо было не прозевать рои. Старичок несколько раз взглядывал в сторону атамана и, увидев, что тот выплевывает кости уже не так ожесточенно и не так далеко, как раньше, отложил в сторону грабли и только вознамерился было подойти к Максиму, как вдруг затрещал перелаз и в сад прыгнули трое, по шапкам видно — тоже атаманы. Пасечник снова сел под куст.

К Зализняку подошли Омелько Жила, есаул Бурка и сотник Шило.

Сотник Шило, отделившись за Медведовкой со своим отрядом, долго бродил по Черкассщине и лишь недавно присоединился к войску Максима.

Завидев их, Зализняк поставил корец и поднялся навстречу.

— Видел? Передал цидульку?

— Ну и жара, сорочка солью пропиталась, — не отвечая на вопрос Максима, Жила зачерпнул квасу и припал потрескавшимися губами к выщербленному краю корца.

— Видел, спрашиваю?

— Чего ты пристаешь, попить дай, — Жила перевел дух и снова припал к корцу. — Недаром говорят, человек до тех пор добр, пока старшиной не поставяг. Сердитым ты стал. Это оттого, что на люди не выходишь. Видел и говорил. Письмо передал. — Жила допил, очистил тарань и смачно откусил большой кусок. — Прочитал он писание наше, а сказать ничего не сказал. Я трижды в их лагерь ходил: прислушивался, присматривался. Не будут казаки с нами биться, и Гонта, думается мне, тоже. Настоящий он казак, душа у него казацкая. Я ночью в его шатер пролез, другой бы крик поднял с испугу, а он хоть бы что. А ты, атаман, чего такой злой? Рожа — точно кислицу съел.

— Тошно что-то, а в животе будто черти смолу варят.

— Может, пойти к попу здешнему? У него, говорят, всякие лекарства есть, пускай даст порошок, — осторожно посоветовал Шило.

— Иди ты со своим порошком... — но Максим недоговорил.

Мимо них, покачивая полным станом, проходила молодица. Повязана по-девичьи — небольшим узлом наперед — цветастым платком, высокая, чернобровая, она привлекла внимание всех. Круто изломив брови, стрельнула в Зализняка черными, как терн, глазами и, на мгновение замедлив шаг, задержалась возле атаманов.

— Шли бы в клуню. Там такая прохлада, прямо благодать.

— Что это ты несешь в черепке? — не отрывая от молодицы взгляда, спросил Шило, покручивая рыжие, опаленные с одной стороны усы.

— Ничего, жару иду к соседке занять, загас мой в печи.

— Куда тебе еще за жаром ходить? Погляди на себя: красная, хоть прикуривай.

Молодица не ответила, только призывно повела плечами и исчезла за перелазом. От быстрой ходьбы распахнулась клетчатая плахта *, оголив стройные полные икры.

— М-да-а, — протянул Жила. — Это кто, хозяйка или дочка хозяйкина? И чего она в плахту вырядилась?

— Хозяйка, — сказал Зализняк и опустил глаза.

— Муж ее где?

— Чумакует, на Кубань поехал.

Жила кашлянул и еще выразительнее поглядел на Зализняка. Максим вспыхнул так, что густая краска проступила на загорелых щеках, и сердито посмотрел на Жилу.

— Чего вытаращился, как черт на попа? — кинул запорожец. — Оно ж...

— По себе меряешь. Я не из тех, кто в гречку скачет...

Встретив злой, но вместе с тем прямой взгляд серых Максимовых глаз, Жила промолвил успокаивающе:

— Верю, верю, да и какое нам дело? А она на тебя поглядывала. С такой кому не захотелось бы поиграть. — И круто переменил разговор: — Так вот, про Гонту и его казаков. Не будут они защищать Умань. А нам туда идти надо. Панов в ней — видимо-невидимо. Возьмем ее, и тогда весь край будет в наших руках.

— Сначала надо в Лисянке навести казацкие порядки. Панов туда тоже множество сбежалось, — сказал Зализняк.

— Крепость весьма сильная, — отозвался Шило.

— Крепость сильна, однако точно не знаю, сколько там войска. Горбачук сейчас в Лисянке, лазутчик наш, — пояснил Максим. — Он все должен разведать. — Помолчав, он снял с ветки шапку и поднялся.

— Неживой переговоры начал с русскими начальниками, только пока толку от тех переговоров еще нет. И Швачка не подает никаких вестей о себе.

— Ты уже и нос повесил? — кинул Бурка.

— Мне вешать нос нечего. А вот тебе, есаул, свой поднять нужно, понюхать вокруг. Хлопцы совсем распустились, только и слышишь: там кого-то раздели, тут ограбили; оттуда жалуются, отсюда просят. А ты будто не видишь.

— Кто поросенка украл, а у кого в ушах пищит. Грабят — при чем же тут я?

— Грабители прилипли к нам. Гайдамацким именем прикрываются. Головы надо таким снимать. Бить беспощадно таких! — решительно махнул рукой Зализняк.

— Верно говоришь, бить! Да куда же ты? — крикнул Жила. — Посиди, поразмыслим сообща.

— Вот возьмите и поразмыслите сами хоть раз, — ответил Зализняк. — А я пойду чуб подрежу... Зарос, как монастырский дьячок. Василь вон с бритвой и ножницами дожидается.

Он покрутил пальцами прядь русых мягких волос и, перехватив (уже в который раз) направленный на перелаз взгляд Жилы, громко рассмеялся:

— Что, праведник, жарку дожидаешься? Сейчас понесет. Ишь, рожа покраснела: плюнь — зашипит. Это чтоб напрасно не нападал на других. — И Максим звучно хлопнул Жилу по крутой шее.

Горбачук — наиболее доверенный лазутчик Зализняка — из Лисянки не вернулся. Туда вызвались идти Сумный с Петриком.

Двое сельских хлопчиков — Петрик знакомился везде очень быстро — проводили их далеко за могилу. Дед Сумный шагал впереди, постукивая по сухой дороге дубовой палкой, дети шли на большом расстоянии за ним. Будучи ростом поменьше своих сверстников, Петрик выглядел старше их. Может, потому, что его немного продолговатое лицо загорело, кончик носа облупился, губы обветрились. А мо-

жет, старше его делали глаза. Большие, голубые, они уже не раз наливались слезами, видя людское горе.

Мальчики расспрашивали своего нового товарища о городах, которые приходилось Петрику с дедом проходить, о том, куда они идут сейчас и вернутся ли в село. Они будут им очень рады. Петрик столько всего знает, с ним так хорошо играть.

Петрику уже не впервые хотелось рассказать мальчикам все, как есть, похвастать перед ними. Если бы они знали, куда он идет. Ходят они с дедом по Украине, меряют ногами бескрайные дороги, одно за другим проходят порабощенные печальные села. Часто заходят во вражеские крепости. Пристально вглядывается Петрик своими голубыми глазами в окружающее, рассказывает деду все, что видит. А потом дед передает это гайдамакам.

Давно позади осталось село. Давно Петрик попрощался с товарищами, уже начали болеть ноги, а дед все не собирается останавливаться на отдых. Петрик тоже не просил деда об этом, как ни хотелось ему сесть, особенно подле речки, которую миновали в полдень. Стояла жара. Раскаленное солнце медленно опускалось по небу, падало в реку, казалось, еще миг — и вода закипит. По небу плыли редкие, обожженные огненными лучами тучи, и тщетно было бы от них ждать благодатной тени.

— Скоро отдохнем, — глухо говорил дед, постукивая палкой. — Сейчас мы яром идем? Через полверсты криница должна быть. Сядем размочим сухари.

— Откуда вы знаете, диду, про криницу?

Кобзарь погладил мальчугана по голове и посветлел улыбкой:

— Знаю, сынку. Был тут когда-то.

— Еще когда были зрячим?

— Нет, слепым уже. Слушай, кажется, что-то гудит. — Старик остановился. — А ну, взгляни на дорогу.

Петрик напряг зрение, вглядываясь вперед. Сна-

чала ничего не видел, но вдруг вдали заклубилась пыль. Она быстро приближалась.

— Шляхта!

— Пошли помаленьку. Не впервые ведь встречаем. Давай только на обочину свернем.

Отряд человек из тридцати уже подъезжал к ним. Передний, в легком плаще и высокой кирасе, резко натянул поводья — гнедой конь со звездой на лбу взвился на дыбы, фыркнул пеной прямо в лицо старику. Петрик отшатнулся назад, выпустил дедову руку.

— Они, вашмосць! — норовя подъехать непослушным конем к начальнику отряда, крикнул всадник в лохматой, как у татар, шапке.

Начальник что-то сказал по-польски, и вдруг Петрик почувствовал, как колючая плеть обожгла его босые, потрескавшиеся ноги. Всадник в мохнатой шапке бросил его в седло, и отряд, вытаптывая рожь, повернул назад. Деда гнали пешком, привязав за шею веревкой к седлу.

Их привели к порожнему летнему загону — видно, крестьяне, выгнав пана, разобрали скот по домам. Петрика и деда бросили в один из хлевов и заперли за ними дверь.

Петрик не помнил, сколько времени лежал он, — пришел в себя от легкого прикосновения чьей-то руки.

— Дидусю, полезем в уголок, там сено.

— Ты не бойся, — тихо заговорил дед Сумный, когда они умостились на сене. — Будут спрашивать о чем-нибудь — говори, не знаю ничего. Деда вожу по базарам, и все. Выдал нас кто-то, видно, этот, что говорит по-нашему. Предатель он...

Проходили часы. Кобзаря и его поводыря никто не тревожил. Время в ожидании тянулось невыносимо медленно. Незаметно для себя Петрик стал дремать. Его разбудили голоса снаружи. Кто-то ударил ногой в дверь, и в хлев вошли четверо. Среди них был и тот, что в кирасе, и другой в мохнатой шапке. Некоторое время они вглядывались в сумрак — уже стало темнеть; вдруг, не говоря ни слова, на-

чальник махнул рукой. Свистнула в воздухе нагайка, тихо вскрикнул дед Сумный. Нагайка охватила плечи кобзаря, жолнер дернул его к себе, повалил деда головой вперед.

— Говори, старая шкапа, куда идешь? — сказал тот, что был в мохнатой шапке.

Петрик, который до этого времени с ужасом смотрел на шляхтичей, вскочил на ноги.

— Не бей, не дам! — Он вцепился в руку жолнера, повис на ней.

Жолнер ударом кулака свалил Петрика на землю, толкнул ногой, схватил за воротник и поднял в воздух.

— Куда вы с дедом шли?

— Не знаю, куда-то на ярмарку.

— И он брешет! — Тот, что в мохнатой шапке, подошел к Петрику и стал больно таскать его за волосы. — Скажешь правду? Как? Не знаешь ничего? Я подскажу.

— Брось его...

Один из шляхтичей скрутил Петрику назад руки, другой связал их веревкой. Хлопца кинули в угол, а сами стали допрашивать деда Сумного. Долго били старого кобзаря, но он молчал. Петрик не раз порывался подняться на ноги, и тогда его сбивали ударом сапога. Несколько раз полоснули нагайкой. Наконец начальник отряда отступил к двери.

— Не скажешь? Подожди, завтра заговоришь. Мы и так все знаем. — И к шляхтичам: — Бросьте его, нам нужно живыми их привезти.

Тот, что в мохнатой шапке, оглянулся от двери.

— Это было только так, немножко, утром возьмемся за вас как следует, взбучку зададим такую, что сразу заговорите.

Дверь закрылась, Петрик подполз к деду.

— Дидусю, вам больно?

— Ничего, сынку, мне глаза вынимали, и то вытерпел. А ты молодец, и дальше так держись. Наши выручат.

— Я ничего не скажу... Только... откуда наши о нас узнают?

— Узнают, кто-нибудь им передаст.

Петрик положил старику голову на колени и, устроившись поудобнее, попросил:

— Расскажите, дидусю, что-нибудь.

Дед стал рассказывать, как одного маленького мальчика отдали в неволю к злому татарину. Однажды, когда они ездили с послами, татарин потерял шапку с письмом султана. Мальчик не спал, он видел, как упала шапка. Проснулся татарин, глядь — шапки нет. Давай бить мальчика. «Признавайся, куда шапка девалась!» Но тот молчал...

Петрик заснул под тихий говор деда. Проснулся среди ночи, испуганно открыл глаза.

Он хотел пошевелиться, но связанные руки больно заныли.

— Тихо, Петрик, это я, дед Сумный, — услышал он над головой тихий шепот. — Часовой затих, видно, заснул. Крыша дырявая... Сынок, удирай ты к нашим. Повернись ко мне спиной, я развяжу руки.

Дед долго возился с веревкой, зубами развязывал узел.

— Вот и все. — Дед сплюнул на сено и вытер о колено губы. — Не заблудишься?

— Дидусю, а вы? Вместе давайте бежать.

— Не могу, я и так не долез бы до перекладины, а тут еще колодка на ногах.

— Я помогу...

— Не теряй времени. Гайдамаки меня спасут. Отыщешь атамана, скажешь, по дороге на Лысянку стоит отряд из войска главного региментария Стемпковского. Запомнишь, Стемпковского? И, видно, не один. Эти вот, которые нас взяли, кажется, кого-то ждут. Они не знают, где наши. Так и скажи атаману. — Дед наклонился и, отыскав Петрикову щеку, поцеловал его. — Спеши, сынок, не мешкай!

— Я, дидусю, утром вернусь с гайдамаками.

Петрик полез по стене и, схватившись руками за слегу, просунул в дырку голову. Через мгновение

он мягко соскочил по другую сторону хлева. Часовой сладко спал, прислонившись к двери.

Только на рассвете Петрик добежал до села. В потемках долго блуждал по полям, пока не набрел на гайдамацкий разъезд. Разъезд привез его к атаману. Несмотря на раннее время, Зализняка дома не нашли; бросились по соседним дворам, послали к Бурке, Шилу, но никто не мог сказать, где он. Бурка уже хотел поднимать на ноги всех, как в это время в воротах показался Зализняк, ведя на поводу мокрого Орлика.

— Где ты был, кобзарчука наши дозорные подобрали! — выкрикнул Бурка.

— Коня водил купать. Где хлопчик?

— В хате. Пойдем быстрее.

Торопясь и сбиваясь, Петрик рассказал, как они попали в руки шляхте, и передал слова деда Сумного.

Максим задумался. Высек огонь, запалил трубку, прошелся по комнате.

— Дядя Максим, — Петрик умоляюще поднял глаза, — ехать нужно.

— Может, это сам Стемпковский в Лысянку перебрался? — высказал догадку Шило.

— Об этом и я думаю. Нужно все точно разведать. Если так — отрезать их от Лысянки, а потом сразу смять. Чтобы ни один человек не ускользнул. Следует послать дозор. Бери казаков, — обратился он к Шилу, — и езжай через хутор. За лесом встанешь.

Шило вышел.

— Сейчас дозор вышлем. Я сам с ним поеду. Не потревожить бы шляхту до времени.

— Дядя, — Петрик сорвался со скамьи, — они убьют дидуся, быстрее надо скакать.

Максим прижал мальчика к себе.

— Хорошо, отдохни, все сделаем, — он погладил его по белокурой головке и крепко поцеловал в лоб.

Где-то за выгоном загудел котел, созывая гайдамаков третьей сотни.

Петрика охватило отчаяние. «Атаман не хочет

выручать деда,— подумал он.— А дидусь меня ждет, я же ему обещал приехать. Они его утром заберут с собой. Нет, я должен задержать шляхту. Совру им что-нибудь...»

Никем не замеченный, Петрик выбежал из хаты. На улице, привязанные к колышку, под тыном щипали траву два оседланных коня. Петрик подбежал к одному, отвязал поводья. Конь послушно пошел за мальчиком.

— Ты куда? — окрикнул Роман, который с рушником на плече шел от колодца.

— Атаман послал,— ответил хлопец.

Он был уже в седле. Ударил коня концом повода, конь скосил глаза и, сбиваясь с ноги, рысью пошел со двора. Петрик хлестнул лошадь второй раз, третий, припал к шее, ослабил повода.

— Это же Буркин конь. Петрик, стой! — крикнул Роман и, видя, что тот не слушает его, бросился к другому коню.

Услышав громкий стук копыт, со двора выбежали Зализняк и Бурка.

— Конь мой где? — спросил есаул.

— Хлопец поехал,— кинул в сторону Василь Веснёвский.— А на другом вслед за ним поскакал тот веселый парубок, который ездил куда-то и недавно вернулся, Романом, кажется, звать его.

Максим и Бурка переглянулись.

— Он туда поехал. Орел — не хлопец. Шило с сотней тоже уже отправляется. Василь, давай Орлика.

Через минуту Зализняк помчался полем. Быстро-быстро отбегали назад придорожные кусты, ветер трепал полы кунтуша, свистел в ушах, бил в лицо конской гривой. Позади стонала земля от тяжелого топота копыт гайдамацких коней. Топот все отдалялся. Тогда Максим немного задержал коня и подождал, пока поравнялся с ним Шило.

— Поведешь половину казаков в обход сарая слева. Дорогу на Лысянку перережьте. Справа — буерак, они туда не бросятся,— и снова пустил Орлика во всю силу его быстрых ног.

Вихрем мчался Орлик по полевой дороге. Наконец впереди замаячили две фигуры, одна ближе, другая, маленькая, как букашка, подальше. «Быстро скачет хлопчик, раз Роман до сих пор не смог его догнать», — подумал Максим.

Может быть, Роман так и не догнал бы Петрика, если бы тот сам, услышав топот, не оглянулся. Через несколько минут с ним поравнялся Роман, потом Максим.

— Вернемся? — держа за повод коня Петрика, вопросительно посмотрел на Зализняка Роман.

— Теперь уже все равно, вон сарай виднеется. Петрик, езжай сейчас же назад.

Максим выхватил саблю и, помахав ею, оглянулся назад. Шило понял и на скаку повернул налево. Отряд гайдамаков разделился на две части.

Роман снова припал к гриве. Попробовал, как идет из ножен сабля, крепче оперся в стременах. «Не видно возле кошары никого, может, выехали уже? — подумал он. — Нет, кто-то суетится, а вот и еще один».

И вдруг взгляд Романа упал налево. Выкрикивая что-то, уцепившись за седло, скакал Петрик. У Романа перехватило дыхание. Хотел крикнуть, но понял — напрасно. Дал коню шпоры, усталый конь изо всех сил рвал копытами землю. «Куда... Куда же он?!» — увидев, как Петрик поворачивает коня вдоль сарая, прошептал Роман. Он тоже дернул повод и свернул в жито. Конь замедлил бег. В этот миг от сарая прозвучало несколько выстрелов. Роман не слышал свиста пуль, только увидел, как споткнулся конь Петрика, и мальчик вылетел из седла.

«Убили?!»

Он поскакал туда и спустя мгновение увидел Петрика, который стоял в жите, испуганно глядя на убитого коня. А позади уже глухо стонали десятки копыт.

— Растопчут! — крикнул Роман и, перегнувшись с коня, подхватил мальчугана обеими руками, кинул его впереди себя на седло.

Несколько поодаль, возле хлева, не переставая, гремели выстрелы. Конь мчал Романа и Петрика прямо туда. Роман хотел свернуть в жито, и вдруг Петрик изо всех сил сжал его левую руку.

— Он! Изменник!

Роман повернул голову. В нескольких саженях от себя он увидел над тыном маленькие круглые глаза, они испуганно и зло смотрели из-под мохнатой шапки. Это длилось всего лишь мгновение. Человек в мохнатой шапке качнул головой и подбросил над тыном руку с пистолетом. Молниеносным движением, повернувшись в седле, Роман прижал мальчика к себе, прикрыл его. Треснул выстрел. Петрик невольно зажмурил глаза, а когда открыл их — страшное место осталось позади. Конь мчал их все дальше и дальше в жито.

— Куда же мы, к сараю правьте! — крикнул Петрик.

Но тут он вдруг почувствовал, как ослабели руки Романа, как выпустили его. Потом послышался тихий стон. Петрик успел схватиться за гриву, повиснуть на ней.

— Дядя, дядя Роман, что с вами?

Но Романа уже в седле не было.

...Максим вытер о колени саблю. Все было кончено. За тыном возле хлева валялись порубленные и пострелянные шляхтичи. Двое из них рассечены саблей Максима. Одного Зализняк зарубил, перелетая на коне через тын, за которым засели жолнеры, другого уже во дворе.

Гайдамаки сносили ко двору убитых товарищей. К Зализняку подъехал Шило.

— Парубка в жите убили, того, что хлопца догонял.

— Романа! — Максим почувствовал, как больно укололо возле сердца.

Несколько минут он сидел неподвижно в седле, потом медленно опустил повод Орлику на шею и слез на землю. Молча побрел в жито вслед за сотником. В голове роились какие-то отрывки мыслей, воспоминаний. После смерти отца он еще никогда

не чувствовал себя так, как сейчас. Внезапно до его слуха долетел тонкий детский плач. Максим вздрогнул и пошел быстрее. Через десяток шагов он остановился. Несколько гайдамаков, что стояли полукругом, расступились, давая место атаману. Роман лежал на спине, раскинув по земле руки, над ним, низко склонив колосья, печально шептала рожь.

Припав головой к груди Романа, горько плакал Петрик. Долго стоял Максим, всматриваясь в близкие, знакомые черты красивого лица Романа.

Сколько ночей проведено вместе в далеких татарских степях! Сколько раз приходилось делиться последней крошкой табаку, пригоршней пшена! Сколько раз отгонял Роман своими остротами невеселые Максимовы думы! И вот лежит он, балагур и шутник, и уже никогда не разомкнутся его уста для смеха, не откроются, не подмигнут веселые, с искоркой глаза. Мало кто знал, что за этими шутками и россказнями бывалого волокиты, часто грубыми, скрывалась чистая и нежная душа верного побратима, преданного друга, любящего сына; что все его россказни были выдумкой, и умер он, не коснувшись устами девичьих губ. Почти весь свой короткий век он проскитался по наймам, на Сечи, некогда ему было заниматься любощами — надо было кормить больного отца и четверых маленьких братьев и сестер. А дешевое колечко, купленное у золотаря *, которое сейчас выпало из его кармана и валялось в жите, было предназначено не какой-то вдове из Богуслава, как об этом говорил Роман, а Гале. Все это знал лишь он, Максим.

Плач Петрика оторвал Зализняка от тяжких дум.

— Возьмите хлопца, отведите в хату к диду, — тихо сказал он. — Похороним Романа вон там, под березкой.

Он поднял колечко, спрятал его в карман и, опустившись на колени, поцеловал убитого в лоб. Потом вынул из кармана красный китайчатый платок и, накрыв им лицо Романа, пошел под березу, где гайдамаки уже копали саблями могилу.

Землю носили, по старому казацкому обычаю,

шапками. Могилу насыпали высокую, печальная березка касалась ее своими ветвями. В головах поставили крест, а Максим сам прибил копье и повязал на нем платок.

В воскресенье в Медведовку пришло известие о Романовой смерти. Привез его какой-то казак, раненный при взятии Лисянки. С тех пор Василь ходил, как в тяжком тумане. Будто виноват в чем-то перед Романом, будто остался перед ним в тяжелом неоплатном долгу. Ведь он когда-то таил зло на Романа, даже... желал ему горя. Нет. Бредни все это! Давно он не сердился на него и, видит бог, не желал ему смерти. Но почему же так тяжело, так больно? Ему больно, а как же Гале? Сначала хотел пойти к ней, хоть немного утешить, но опомнился. Галя еще подумает нехорошее о нем. Нельзя идти к ней. Не увидит он ее больше, никогда не увидит.

И, словно нарочно, наперекор желанию Василя, ему пришлось встретиться с Галей. Возвращаясь из лесу, он набрел на нивку деда Студораки, выделенную ему обществом из панского поля. Галя жала траву на полосе между нивами. Василь хотел повернуть к лесу, но девушка как раз разогнулась, увидела его и подошла. Озеров так растерялся, что даже не ответил на ее приветствие.

— Я, Галя, нечаянно забрел сюда. Знаю, как тебе тяжело, мне самому... Я не умею утешать, — и замолчал.

Печально ворковала на дубе горлица, словно оплакивала кого-то, шелестел колосьями в жите ветер. Галя глядела на Василя широко раскрытыми глазами, больше удивленно, чем растерянно.

— А зачем утешать?

— Да... Тут ничем не поможешь. Только ты не думай, я не имел на него зла... Он был хороший хлопец.

— Что такое? Он убит?

Василь понял, что Галя еще ничего не знает. Понял — и растерялся вконец.

— Казак позавчера приехал... За Лисянкой... — и больше не мог вымолвить ни слова.

Негромкий стон вырвался из Галиной груди. Она выпустила серп и закрыла лицо руками. Тишина стояла вокруг, даже горлица умолкла. Только рожь плескалась мягкой волной — «хлюп, хлюп, хлюп», и колосья шелестели так тихо: «ш-ш-ш, ш-ш-ш...»

— Не дают, атаман, слово сказать, из пушек палят, — вытирая пот на крутой мясистой шее, рассказывал Шило. Он только что вернулся от Лисянского замка, куда посылал его Зализняк на переговоры.

— Ворот в крепости сколько? Двое? Они деревянные?

— Деревянные-то они деревянные, да железом крепко окованные. А над воротами бастионы с длинными ружьями. Придется на стены взбираться.

— Я стены уже осмотрел. Простреливаются висячими пушками во все стороны. Лезть на них — много людей погубить напрасно. — Максим заложил ногу за ногу, пососал пустую трубку. — Поди скажи Бурке, пускай лисянских обывателей на сход созовет.

Бурка пришел к Зализняку через час.

— Крестьяне собрались, а мещане и другие, кто там познатнее, не идут.

— Пускай хлопцы сгонят их силой. Если кто упираться будет — палками подгоните.

Ждать пришлось недолго. Через полчаса Бурка зашел во двор, крикнул в окно:

— Согнал, Максим!

Зализняк открыл окно в сад, позвал Веснёвского.

— Будешь, Василь, при мне.

Он надел широкий, с серебряной пряжкой пояс, вытер тряпкой сапоги и, расчесав гребенкой чуб, оглядел джуру. Особенно долго взгляд его задержался на разорванной поле Василевой черкески.

Василь испуганно посмотрел на Зализняка. Впервые глядел на него атаман так хмуро и недовольно. Чем прогневил он его, может, в одеже что не так?

Черкеску эту ему еще Ян принес. Вот только разорвана она немножко, и заплата на плече.

Василь искоса поглядел на заплату.

— Бес с ней, — махнул Зализняк рукой. — Клочья только позапихивай, пускай не торчат.

Он зашел в хлев, где лежало седло, вынул из кобуры пернач * и отдал Василю.

— Будешь сзади нести, да не горбись, выше держи голову.

Когда Зализняк появился на майдане, по толпе пронесся гул.

— Атаман, атаман!

— Где?

— Вон с джурой.

Василь шагал за атаманом твердо, держа на вытянутых руках пернач. Краем глаза смотрел на толпу, а в груди росла радость, гордость за себя: он не какой-нибудь простой гайдамак — он атаманов джура.

Слева и около крыльца толпились крестьяне, мещане стояли в стороне, возле тына. Максим поклонился в сторону крестьян и внимательным взглядом обвел толпу.

— Долго вы собирались, — обратился через головы к мещанам. — А вы мне как раз нужны. Мы хотели добром войти в вашу крепость. Да не выходит так. Придется ее с боем брать. Но мы не хотим губить своих людей, начнем осаду. Не знаю, сколько придется ее держать. Может, месяц, а может, и больше. Все это время нам нужно что-то есть и чем-то кормить коней. Крепость ваша, вы ее строили, наверное, кое у кого сынки и сейчас там отсиживаются. Мы потом в этом разберемся. Кормить нас должны вы. Для начала с каждого мещанского двора порешили мы собрать по триста злотых.

Обыватели стояли, ошеломленные таким приказом как громом. Потом зашевелились, подошли поближе. Послышались недовольные выкрики, ропот. Но Зализняк будто не слыхал ничего.

— По три сотни злотых — и ни на грош меньше... Однако можно обойтись и без этого. Потому



что — говорю прямо — разорение вам будет. Снарядите депутацию в замок и договоритесь, чтобы открыли ворота. Вот и все. Не то придется вам и деньги платить и камень под крепость возить, всего хватит.

Максим сошел с крыльца и пошел с площади. Он не остановился, даже головы не поднял на отчаянные крики мещан. Брови его были насуплены.



Василь за спиной не мог видеть этого. Однако он видел другое — атаман беспрестанно крутит усы. А это значило, что он доволен — дела идут хорошо.

В полдень мещане отправили депутацию в замок. Двое депутатов было от крестьян.

Перед отходом Максим пригласил их к себе и о чем-то долго разговаривал с ними.

На холме около замка собралось много гайдамаков и жителей местечка. Большинство гайдамаков имели при себе оружие, многие из них, те, что окружали атамана, были на лошадях.

Переговоры затянулись. Возле ворот — их было видно как на ладони, — где принимали депутацию, суетились какие-то люди: одни куда-то уходили, другие возвращались назад, часть из них оставалась в крепости, а вместо них приходили другие.

— Хичевский вышел, — промолвил какой-то крестьянин.

Зализняк наклонился с седла.

— А кто такой Хичевский?

— Комиссар. Главный сборщик податей. Лютый как волк. На людях ездил. Тех, кто не сдаст в срок податей, запрягал в рыдван и ехал до соседнего села. Там других впрягал. Прошлый год всю волость так объехал. Как раз перед вашим приходом к нам заявился.

Максим слушал, а сам внимательно следил за воротами. Было ясно, там не приходили к согласию; депутаты топтались на месте, мяли в руках шапки. Вот один из крестьян немного отошел в сторону и уронил шапку. То был условный знак. Мгновенно Зализняк выпрямился в седле, поднял над головой руку. Шпорами изо всех сил стиснул бока коня, тот встал на дыбы. В правой руке Максима блеснула сабля.

— Гей, к бою!

— К бою!

Этот грозный выкрик единым дыханием вырвался из сотен гайдамацких грудей, и помчались в страшном полете быстроногие кони, засверкали на солнце сабли, косы; размахивая вилами и кольями, бежали пешие гайдамаки. Грохнули со стен ружья; окутавшись дымом, качнулись висячие пушки. Шляхтичи бросились назад в крепость, схватились за цепи, чтобы закрыть ворота. Но было поздно. Сюда вихрем налетели гайдамаки. Одного, самого упрямого шляхтича, который никак не хотел выпускать из рук цепи,

Зализняк рубанул с ходу, других затоптали лошадьми.

Микола вбежал в крепость сразу же за конными сотнями. На миг остановился, не зная, куда податься. Прислушался и метнулся в ту сторону, откуда доносилась самая густая стрельба. Его обогнали какие-то всадники — промчались так близко, что едва не смяли лошадьми, и свернули за угол. Микола пробежал еще немного и, увидев перед собой стену, свернул в улочку. Между домами метались конные гайдамаки, слышались выстрелы; откуда-то потянуло горелым. Вдруг Микола услышал бряцанье. Он поднял голову: вблизи них, на крыше длинного приземистого дома, ожесточенно рубился с жолнерами донской казак Омелько Чуб. Молнией металась в руке Омелька сабля, но шляхтичей против него было трое. Омелько стоял уже на самом краю железной крыши. Микола оглянулся — около самого дома сохло на солнце несколько свежеошкуренных дубовых бревен. Схватив первое, что попало на глаза, Микола поставил его стоймя и, измерив взглядом расстояние до шляхтичей, размахнулся — бревно с грохотом шлепнулось на крышу. Один шляхтич полетел вниз головой на землю, другие испуганно оглянулись. Чуб тоже едва устоял на ногах. Опомнившись первым, он рубанул по голове ближайшего шляхтича. Третий помчался по крыше вдоль дома. Он добежал до самого конца, но там его подрезал снизу косой какой-то крестьянин. Чуб спрыгнул вниз.

— В самый раз, хлопче, подоспел, — он поднял голову и вытер пот со лба. — Только как ты такую дубину вон куда закинул?

Микола в ответ только усмехнулся.

Дальше они двинулись вместе. Возле дверей одного из домов возилось двое гайдамаков.

— Подсобите, братцы, двери отбить, — позвал один из них. — Каземат это.

Микола и Чуб подошли к железным дверям с огромным замком.

— Давайте принесем бревно и ударим вместе. Ужас как крепки, — говорил тот самый гайдамак,

который подозвал Миколу и Чуба. — Или вон лежит жернов, поднимем — и им.

Стали поднимать жернов, но он был расколот и развалился на несколько кусков. Тогда Микола поднял большой обломок, ударил им по замку и сбил его, вошел внутрь с камнем в руках. А потом отправился от одной двери к другой. Звякали замки, из темниц выбегали узники. Одни бросались к гайдамакам, благодарили, другие стремглав, словно боясь, что их могут завернуть назад, вылетали во двор. В дверях дальней темницы долго никто не появлялся. Наконец оттуда вышли двое, ведя под руки третьего, изувеченного и замученного. То был гайдамацкий лазутчик Горбачук.

Все вместе вышли во двор. Выстрелы теперь слышались только с одной стороны — это в каменном доме возле пекарни засели с десяток шляхтичей. Однако вскоре гайдамаки ворвались и туда. Шляхтичи через чердак вылезали на крышу, их сбрасывали оттуда на подставленные снизу копья. Там же, в пекарне, за мешком с мукой гайдамаки поймали комиссара Хичевского. Припомнили ему пытки, муки, разъезды по волости в карете, запряженной людьми. Крестьяне надели на Хичевского седло и, взвалив на него два мешка муки, заставили сборщика податей возить их на себе по городу.

От пекарни Микола вместе с другими гайдамаками направился в верхнюю часть города. Ожесточенное сопротивление шляхтичей возле пекарни еще больше разъярило его. Он бежал впереди толпы, держа перед собой косу на длинном держаке. Миколино сердце жаждало мести за Орысю, за отца, преждевременно загнанного в могилу ростовщиками, за вековые недоимки и нужду. В каждом шляхтиче ему виделся Стась, в каждом арендаторе и корчмаре — медведовские угнетатели. Ничто не могло его остановить. И когда за мостом, возле старой пивоварни, четверо шляхтичей, загнанные в угол между частоколом и конюшней, сделав по выстрелу, бросили оружие и умоляюще воздели к гайдамакам руки, Микола не поколебался. В его сердце не за-

кралась жалость, коса в руках не дрогнула. А когда из окна старого двухэтажного дома гайдамаки выбрасывали толстого, с длинными рыжими пейсами арендатора, Микола не остановил их, не пришел арендатору на помощь. Ме́сти! Как долго он мучился и страдал, как долго ждал этого часа. И вот он пришел. Так мстить!

Под печкой печально трещал сверчок. Он замолкал на миг, и тогда казалось, что сверчок прислушивается к чему-то, а послушав, он начинал снова: сначала осторожно, несмело, потом громче и так трещал без умолку. Опершись на подоконник открытого окна, Максим слушал монотонную песню сверчка.

Смотрел с высоты месяц, бледный, холодный, словно высеченный изо льда; вокруг него весело мерцали звезды. Большие, сверкающие, они словно так и сыпали во все стороны искры. Впрочем, в местечке все и так было видно. На базаре пылали огромные костры, стреляли снопами искр в прозрачное небо. Гайдамаки гуляли. На базар повытаскивали столы, скамьи, тут никто не мерял горилку, не считал кварт. Каждый черпал из бочек тем, что попадало под руки, и пил столько, сколько принимала душа. Одни пили весело, празднуя победу, другие заливали водкой беспокойство и страх, третьи пили просто так, чтобы забыть на время обо всем на свете. Пели без умолку одну песню за другой, но слова заглушал шум голосов, и до Максима долетали только обрывки. Но вдруг под самыми воротами зазвенели струны кобзы. Зазвенели так неожиданно, что Зализняк вздрогнул. Послышалась песня, ее повели три или четыре голоса:

Отамане наш!
Не дбаєш за нас.
Бо, бач, наше товариство,
Як розгардіяш.
Чи не сором тобі
Покидати нас...

Максим рванулся к двери. Когда он выскочил на крыльцо, песня стихла. Зализняк кинулся на ули-

цу, но на перелазе дорогу ему заступила темная фигура.

— Это ты, Максим, не спишь еще?

Зализняк узнал Жилу.

— Кто там поет?

Жила нарочно не спешил слезть с перелаза, преградив дорогу.

— Нет уже никого. Пели какие-то пьяные гайдамаки.

— Врешь, не только гайдамаки, я слышал кобзу, это Сумный песню такую придумал. Он ее и играл. Думает, ему все можно. Я не погляжу...

— Ну и не гляди, — Жила крепко взял Максима за руку. — Грозишься? Кому грозишься, деду Сумному? Да, по правде говоря, он тебя и не боится. Не нравится песня? Недаром говорится — правда глаза колет. Гайдамаки справедливо пели. Ты ж посмотри, что оно выходит: они — там, ты — тут. И не только сегодня. Сколько дней на люди уже не показываешься. Сидишь, насупился, загордился, может?

— Я загордился? Кто это тебе сказал?

— Пока что никто, а думать так уже не я один, наверное, думаю.

Максим разом почувствовал себя так, как, бывало, в детстве, перед матерью, когда она выговаривала ему за какую-нибудь провинность. Он хотел сказать что-то оскорбительное, выругаться, но почему-то смолчал. Чувствовал — Жила ждет бранных слов и ответит на них.

— Людям надо видеть тебя не только в бою. Им хочется верить, они эту веру в твоих глазах ищут. А ты мелькнул перед ними на коне и исчез. Эх, Максим! Пойдем на майдан.

— Сейчас, дай одеться, — тихо сказал Зализняк.

Через несколько минут он вышел во двор в шапке и кирее *.

— Зачем ты всегда как в метель одеваешься?

— Это ты про кирею? Привык уже.

— На сыча в ней похож. — Жила помолчал. — А я, Максим, вчера книжку одну интересную нашел.

— Какую?

— Про Хмеля, подвиги его ратные в ней описаны, жизнь. Как с казаками в походы ходил.

— Про гетмана Хмеля? Почитаешь завтра? Как бы я хотел сам эту книжку прочесть! Знаменитый казак был — гетман Хмель. — Зализняк положил руку Жиле на плечо. — А то, что ты сейчас говорил, — правда. Просто дурман нашел. Заботы, тревоги всякие обсели голову. Роман убит. Знаешь сам, не о себе пекусь.

Глава девятая

ОТРЯД НЕЖИВОГО

Неживой с нетерпением ждал вестей от Зализняка. Посланные к нему двое запорожцев почему-то задержались, и Семен уже думал, не выйти ли ему с куренем к атаману.

Но посланцы, наконец, возвратились и доложили, что атаман пока не зовет к себе. Он приказывает выгнать шляхту изо всех ближних от Чигирина и Черкасс волостей, а вместе с тем продолжать переговоры с русскими властями о принятии освобожденных от шляхты и польских комиссаров земель в Российскую державу. От Медведовки — ближе к правому берегу, к Переяславу, где находится много русских начальников, и именно через них, как казалось Зализняку, будет легче всего договориться. Еще атаман советовал обратиться к правителю правобережных церквей Мелхиседеку. Он тоже поможет в этом деле.

Получив такой наказ, Неживой решил действовать. Именно так, как Максим, думал и он. Можно бы и самим снарядить посланцев в Малорусскую коллегию, а то и к самой царице, но брало сомнение. Нелегко туда пробиться, не всему могут поверить. А когда об этом заговорят русские начальники, тогда иное дело.

Поблизости от Медведовки, в селе Галагановке, стоял гусарский полк; его командиру, полковнику Федору Чорбе, Семен и написал первое письмо. Два других письма отправил в Переяслав, одно — в полковую канцелярию, другое — игумену Мелхиседеку. Их повезли сотник Таран и Василь Озеров.

Озерова Неживой послал с тайной надеждой: это напомнит русским властям о том, что среди гайдамаков находится много русских людей и их надо взять под свою защиту. Василь долго не соглашался ехать. Он боялся, как бы не распознали в нем беглого солдата и не довелось бы ему предстать перед военным судом. От одной мысли о суде по коже пробегал неприятный холодок: Озеров помнил, как судили двух беглецов из их полка.

Однако никто не узнал бы в Василе бывшего солдата. Косу он отрезал, отпустил усы, мундир давно сменил на черкесску и широкие шаровары.

— Будешь выдавать себя за бывшего возчика из купеческого обоза или русского переселенца, — сказал Неживой. — Кафтан только подбери да пояс солдатский сними.

...Приехав в Переяслав, Таран и Озеров в тот же день отправились к Мелхиседеку, который проживал при монастыре, рядом с епископом Герсавием. Но, к большому удивлению Тарана и Озерова, их не только не допустили до мотроновского игумена, а даже и не впустили в монастырский двор. Рассерженный сотник принялся бранить вратарей — двух здоровенных послушников, так они не стали слушать его, заперли калитку.

— Что за незадача! Еще и не говорят ничего. Мы все же войдем туда, — сказал упрямо сотник, — пойдем вокруг стены. В монастыре всегда лазы есть, через которые монахи за горилкой и колбасой бегают, а бывает, что и за чем-нибудь поскоромнее.

И в самом деле, пройдя сотни две шагов, они нашли в ограде дырку. Через нее они пролезли в монастырский сад. Прошли садом, миновали какое-то строение. И вдруг остановились в удивлении. Растерянно посмотрели друг на друга.

На монастырском дворе слонялись какие-то вооруженные люди; около хлева, под навесом, отгоняя мух, громко стучали ногами по деревянному настилу с полтора десятка лошадей.

— Оказия, да и только, — прошептал Таран. — Взгляни, какая дорогая карета возле хлева стоит.

Откуда тут, в монастыре, взялись оружные люди?

Ближе других к гайдамакам стояли двое часовых около дверей одного из монастырских строений. Василь внимательно пригляделся к ним.

— Гусары, хотя форма у них какая-то странная. Похожа на дворцовую охрану. Только зачем они тут, не пойму.

...Не менее Озерова и Тарана был удивлен в тот день появлению на монастырском дворе высоких, в расшитых золотым галуном мундирах гусар и игумен Мелхиседек. В щель между занавеской он видел, как остановилась возле братских келий карета, как из нее вышел какой-то солидный сановник в голубом, подпоясанном плетеным поясом мундире, с золотыми эполетами, крестом и двумя орденами по левому борту. Приезжий не спеша огляделся, вытер платочком лоб. Тем временем к нему подбежали настоятель монастыря и еще несколько монахов. Сановник спросил о чем-то у настоятеля, и тот показал пальцем на окна дома Мелхиседека. Мелхиседек быстро надел новую рясу и, схватив какую-то книгу, сел под образа за стол. В двери, придерживая рукой дорогую саблю с темляком и кистью, уже заходил президент Малороссийской коллегии генерал-губернатор граф Румянцев.

Не подобало духовным особам склоняться перед светскими властями, ничьего гнева, кроме гнева господнего, не должны они бояться. Но так только в писании говорится. А с тех пор прошли времена, и много чего изменилось на православной Руси. Высоко в гору поднялся монарший трон и раздавил патриарший. И не духовные владыки указывают царю, а царь им. Укажи царица — и всех духовных отцов из светлейшего синода в Сибирь упекут. Что уж тогда говорить про епископов!

Оба, и Мелхиседек и Гервасий (Румянцев приказал позвать и его), чувствовали себя беспомощными. Ведь неспроста приехал начальник края, президент Малороссийской коллегии! Тот же самый гетман, только прозывается по-иному (звание гетманское от-

менила императрица Екатерина II). Мелхиседек хоть виду не подавал, а Гервасий с испугу рясу подпоясать позабыл даже. Он сидел, съежившись, и никак не мог унять свои колени, которые тряслись, как на морозе.

Румянцев поначалу расспрашивал о делах епархии, особенно на правобережье, о монастырях. Полюбопытствовал, сколько существует духовных семинарий, сколько они выпускают ежегодно попов и нет ли нужды открыть еще несколько. Он спросил, давно ли был на правом берегу Мелхиседек и как часто приезжают оттуда священники. Незаметно перешел к делу, ради которого, как понял мотроновский игумен, и приехал. Президент напомнил им о том большом огне, который разгорелся на правобережье, и осторожно намекнул, что и они, епископ и правитель церквей, имеют некоторое отношение к этому огню.

У Гервасия, который было успокоился, снова мелко задрожали колени. Мелхиседек тоже почувствовал, как у него перехватывает дыхание. Но он даже бровью не повел.

— Каждому видно: не за веру льется кровь в Польской Украине, — говорил Румянцев. — То чернь взбунтовалась против своих панов. Дело это достойно удивления и возмущения. Вчера я послал реляцию на высочайшее имя, где все подробно описал. Здесь есть над чем задуматься. Крестьяне бегут с левобережья и присоединяются к гайдамакам. С Запорожья тоже идут к ним толпы. Бунт не сегодня-завтра может переброситься и сюда да и в Великороссию, ибо и там такие же хлопы, а в последнее время даже замечается дух своеволия и непокорства в них. Вчера я получил донесение от наших войсковых команд. В местечке Козелец взбунтовались крестьяне и выпустили из-под стражи польских арестантов, врагов государства и короля. Их по этапу вели в Сибирь. Теперь они разгуливают в гайдамаках. — Румянцев расстегнул высокий, расшитый золотом воротник мундира и продолжал: — Как видите, сегодня они выпустили тех, кто замахивался на трон польского короля, завтра помогут тем, кто поднимет руку

на трон Российской империи. Нет, бесчинства эти надобно прекратить. Разбойники никого не слушают. Но я считаю, они еще не забыли господа бога. И вам следует напомнить им о каре небесной. Надо написать письмо к провославным, а также к самим гайдамакам.

В каждом слове генерал-губернатора Мелхиседек узнавал как бы повторение своих собственных мыслей. Разве не хватался он за голову, слыша, как гайдамаки берут город за городом, засекают до смерти не только католических духовников, но и панов? Нет, не только против унии они воевали — на своих повелителей подняли руки. Сколько раз проклинал в душе Мелхиседек то время, когда пригласил Зализняка в свой монастырь.

— Ваша светлость, — Мелхиседек наклонился и открыл в столе ящик, — я уже отослал пергамент правобережному духовенству, а вот письмо, адресованное посполитым.

Румянцев взял письмо, повернулся к свету и не спеша стал читать: «Молю вас, чтобы ни единая душа к своевольникам не приставала. Более терпели, еще потерпите. Не присоединяйтесь к гайдамакам, ибо и бога прогневите и никто за вас не будет стоять, кровь же и обиды никогда никому не простятся. А ежели кто из безумства своего к ним согласится, то такого чуждайтесь и между себя такого не допускайте. Щедротами божьими молю вас и прошу — терпите и соседей своих учите, чтобы по глупости кто не отважился на злое. Пускай весь свет знает, что вы не гайдамаки, не разбойники и чужую кровь не проливаете». Румянцев сложил письмо. По его лицу скользнула довольная усмешка.

— Зализняку еще напишите. Я слышал, будто вы с ним знакомы. Только не угрожайте поначалу, а уговаривайте.

...Через четверть часа Мелхиседек и Гервасий провожали губернатора к карете, приниженно кланялись, осторожно пожимая его тонкую, в перстнях руку. Когда Румянцев уже ступил на подножку, к карете подбежал гусарский капитан, начальник охраны.

— Ваша светлость, только что задержали двух подозрительных людей. Нашли пистолеты и письмо какое-то в шапке. Видно, издалека эти люди. Не признаются ни в чем, говорят, что расскажут только игумену правобережному. Будто бы по церковным делам прибыли. А для чего же тогда оружие? И за углом стояли.

— Приведите их.

Через минуту перед губернатором уже стояли Таран и Озеров.

— Вы кто такие будете? — прищурив глаза, спросил Румянцев. — Не с правого берега?

Василь уже знал, кто перед ним. В первую минуту он обрадовался такому случаю: сейчас они с Тараном расскажут все самому генерал-губернатору. Но что-то удержало его, то ли неожиданный вопрос, то ли несколько суровый тон генерала.

— Оттуда, пан генерал, — ответил Таран.

— Может, гайдамаки?

Теперь Василь уже был уверен, что не следует говорить, кто они такие. Годы службы научили его различать малейшие оттенки в голосе начальства, разгадывать их. Может, губернатор чем-то разгневан, может, он не знает хорошо, кто такие гайдамаки и чего они добиваются. Только как не признаться — письмо находится в руках гусарского начальника, его могут прочесть, и будет еще хуже.

Опережая Тарана, Василь сказал:

— Были в гайдамаках, а теперь отреклись от них. Приехали просить разрешения поселиться на левобережье. А письмо наш бывший атаман передал. Не знаем, что в нем.

Услышав русскую речь, Румянцев удивленно взглянул на Озерова.

— Ты как попал на правобережье?

— Переселенец я с Дона, ходил с обозом под Черкассы, там женился, мать, сестру туда забрал.

— А письмо их преосвященству везли, — добавил Таран.

— Отпустите их, — кивнул Румянцев капитану,

и к Мелхиседеку: — Вот вам и оказия написать гайдамацкому атаману. — Он еще раз попрощался с монахами и сел в карету.

Вечером того же дня Румянцев написал «реляцию в иностранных дел канцелярию». В ней снова доказывал, что гайдамаки уже принесли немало зла вельможным людям на правобережье и что угроза гайдаматчины нависает над всей Малороссией и даже над Великороссией. В конце реляции отвечал на вопрос коллегии, причастен ли к гайдамакам правитель правобережных церквей игумен Мелхиседек. Игумен Мелхиседек к гайдаматчине не причастен, это человек умный, преданный русскому престолу и может принести ему немалую пользу.

Одно за другим проезжал Неживой со своим войском пригорюнившиеся села. За две недели он выгнал шляхту не только из Черкасской и Чигиринской, но и из нескольких соседних волостей. Рассылая во все стороны отряды, сам шел с пешими гайдамаками. Войско его за это время значительно выросло.

Однако с переговорами дело мало подвигалось вперед. Мелхиседек ответил на письмо, но совсем не так, как того ждал Семен. Он умолял сложить оружие и, положившись на бога, отдаться в руки польских властей, просить у них прощения. Семен об этом письме не сказал никому, а отослал его Зализняку. Из полковой переяславской канцелярии не ответили ничего. От полковника Чорбы получил ответ — письмо было страшно путаным, словно бы писал его не офицер, а хитрый малограмотный волостной писарь.

Все же Неживой не впадал в отчаяние.

— Конечно, поначалу никто прямо не ответит. Тут подумать надо, спросить совета у старших начальников, — размышлял он.

Ему хотелось лично встретиться с русскими военачальниками, но такого случая долго не выпадало. Произошло это не скоро и совсем неожиданно.

В середине июля отряд подошел к городу Кры-

лову, около которого стоял русский полк. В Крылов вступили ночью.

В местечке было тихо, только изредка где-нибудь во дворе залает собака. Все собаки оказались поотвязанными. Когда гайдамаки подходили к воротам, они бросались куда-то за хату или в огород. Гайдамаки забегали в высокие панские и купеческие дома, но они были пусты. Даже челядь куда-то исчезла. Тогда Семен решил зайти в бедняцкий двор и там узнать обо всем.

Испуганный хозяин очень долго отпирал дверь, а когда открыл, притворился, будто только что поднялся с постели. Это был старый лысый еврей. На вопрос Семена, куда девались крыловские и другие сбежавшиеся сюда богачи, хозяин ответил, что все они бежали за речку. Крылов стоял на русской границе и делился на две части: Крылов польский и Крылов русский. Семену было непонятно, как могли русские военачальники пропустить на свою сторону беглых шляхтичей и дать им прибежище.

— А ты почему не убежал? — спросил Неживой хозяина хаты.

— Мне что? Я бедный еврей, подручный часовщика... Чего мне прятаться?.. Не успел я... — пробормотал тот и растерялся совсем.

Дождавшись рассвета, Неживой отправил в русскую часть города посланца, которому поручил просить русских командиров, чтобы они выдали гайдамакам шляхту. Еще посланец должен был договориться о свидании атамана Неживого со старшим русским военным начальником.

Посланец вскоре вернулся. Офицер, который принимал посланца — кто он и в каком чине, посланец не знал, — сказал, что с ним он говорить не будет, а хочет по всем пунктам иметь разговор с атаманом. Встреча должна состояться на плотине.

А еще больше Неживого удивила сама встреча. На плотину он вышел один и медленно пошел на другую сторону. Дойдя до половины плотины, остановился. Путь ему преградила свежеотесанная жердь, положенная на две вбитые в землю рогатки. По щепкам,

по свежепритоптанной земле Семен понял, что все это сделано только что. Размышлять долго не пришлось. На другом конце плотины появилось три фигуры: одна впереди, две другие позади. Ровным шагом они приближались к Неживому: то были офицер и два солдата. Офицер остановился около жерди и, козырнув, холодно представился:

— Поручик Манвелов, — и застыл выжидая.

Странно это было Семену, он едва сдерживал улыбку.

— Я гайдамацкий куренной, Неживым зовусь. Мне бы поговорить со старшим военным начальником.

— Их превосходительство принять не могут. Я им все передам, для того и нахожусь здесь.

Холодный тон поручика, его прищуренные глаза раздражали Неживого. Язык не поворачивался говорить слова, приготовленные по дороге. Семен смотрел на поручиковы руки в белых перчатках, на красивые, начищенные до зеркального блеска сапоги и, не зная, какой ему теперь вести разговор, молчал. Офицер, чуть откинув голову назад, обвел выразительным взглядом большие руки Семена, присыпанную пылью одежду, неуклюжие сапоги и тоже молчал. Неживой понял — поручик нарочно так подчеркнуто посмотрел на его одежду и руки. Семен нахмурился.

— Вы пропустили на свою сторону беглецов из Крылова польского. Этого вы не должны были делать, и мы просим выдать их нам, — решительно заговорил он.

— Там не только польские шляхтичи.

— Я знаю, есть там всякие паны. Только все они с правой стороны, издевались как раз над нашими людьми. У вас находится такой пан, как Лымаренко, он из моего села. Не выдать его нам вы не можете.

— Мы дали приют обиженным людям. Эти люди — богатые дворяне и купцы. А вот кто вы — это нам неизвестно.

Неживой скользнул взглядом мимо поручика и встретился глазами с одним из солдат. Тот печально повел глазами и опустил их.

Неживой понял: ему не удастся договориться с офицером. Не сосновая жердь разделяла их, а высокая стена! И вдруг ему захотелось выругать этого надутого, самоуверенного панка, сорвать на нем свою злость. Но Семен через силу сдержал себя и, пытаясь говорить любезно, произнес:

— Может, вы передадите вашему командиру, и он все же согласится поговорить со мной.

— Сколько можно повторять — их превосходительство вас не примет. Надеяться на выдачу людей, которых мы взяли под свою защиту, — тоже напрасно. И взять с этих людей, — поручик усмехнулся, — вам уже нечего.

— Все пошло вам на хабар?

Лицо офицера покрылось бурыми пятнами. Он моргал глазами, заикался и не находил слов, а потом взорвался:

— Как смеешь, хам, злодейское отродье, подожди, наденут тебе на шею веревку...

Семен больше не мог сдержать гнева.

— Уходи, поганец, прочь отсюда, да побыстрее! А не то турну только — за десятыми воротами залаешь. Иди же, чего глаза вытаращил!

Семен схватил жердь и махнул ею перед самым носом офицера. Тот испуганно попятился, едва не оступился с плотины, оглянулся назад. В это время Семен швырнул жердь, она ударилась о воду, обдав брызгами поручика. Тот от неожиданности вскрикнул и бросился бежать. Солдаты сдержанно засмеялись. Один из них кивнул Неживому головой. Придерживая руками сабли, они побежали за офицером.

...Беззаботно вела себя охрана Кончакской крепости. Сначала около ворот по ночам стояли трое часовых, потом — двое, а еще через несколько дней — один. И тот, заперев ворота, укладывался спать. Почти каждый вечер добрая половина гайдамаков шла гулять в местечко, а часть оставалась там и на ночь.

Поэтому-то отряду Калиновского так легко удалось попасть в крепость. Еще днем туда проник один из его лазутчиков, он перекинул через стену веревку.

По ней пробрались еще двое. Втроем они зарезали сонного часового и открыли ворота.

С вечера шел дождь. Большие капли стучали по железной крыше флигеля, в котором жила Оксана, временами они сливались в однообразный гул. Под этот гул Оксана и заснула. Проснулась от какого-то грохота. Сначала подумала — гром. Села на кровать, прислушалась. Нет, это не гром. Оксана ясно различала грохот выстрелов. Она вскочила с кровати.

За окнами — темень; казалось, она прилипла к мокрым стеклам. Снова выстрел. И уже совсем близко. Было ясно — неведомый враг ворвался в крепость. Оксана в растерянности остановилась посреди комнаты. Что делать? Вдруг она услышала, как заскрипели старые ступеньки крыльца, застучали шаги. Вспомнив, что забыла вечером накинуть крючок, она бросилась к дверям, но не успела. Двери открылись, и на пороге появилась темная фигура. Фигура стояла на месте, видимо не решаясь сразу войти в комнату. Скорее ощутив, нежели разглядев врага, Оксана испуганно вскрикнула и изо всех сил ударила пришельца в грудь. Тот упал на крыльцо. Девушка, мгновенно прикрыв дверь, накинула крючок. Она металась по комнате, разыскивая, чем бы подпереть дверь. Под руки попались неизвестно кем принесенные сюда ружейные козлы. Она схватила их, подсунула один конец под ножку стола, другим подперла дверь, а по ней уже били прикладами. Оксана сняла со стены дамасскую саблю — подарок Максима — и вынула из ножен.

Зазвенело стекло. Девушка метнулась к окну и с силой ударила саблей в темное пятно за окном. Раздался отчаянный крик. Оксана сама от неожиданности и ужаса едва не выронила саблю из рук. А потом сжала рукоять и словно окаменела. Из этого состояния ее вывел удар бревном в дверь, он потряс весь домик. Двери разлетелись в щепки, и в комнату ворвались несколько конфедератов. Оксана успела отскочить в угол, защититься от первого удара. Во тьме сверкающей лентой мелькнула над головой сабля, звякнула сталь. Отбив удар, девушка

сама рубанула от левого плеча, но сабля скользнула по металлическому наплечнику конфедерата и едва не выпала из рук. Тогда Оксана, как и около окна, ударила саблей перед собой. Один из конфедератов со стоном отступил к стене. И тут под ноги девушки кто-то опрокинул стул. Она упала на колено, хотела подняться, но на нее навалились сразу несколько человек, скрутили ей руки.

— Девушка! — только теперь разглядел какой-то конфедерат.

— Там разберемся, тащите во двор.

Двое шляхтичей хотели поднять Оксану, и тут сильное сотрясение отбросило их к стене. Флигель содрогнулся, затрещал и осел на левую сторону. По его крыше градом застучали камни, щепки. Это летели обломки Кончакской крепости.

Ее взорвал на воздух один из гайдамаков, сечевой побратим Максима, запорожец Корней. Когда шляхта овладела почти всей крепостью, ему удалось пробраться в пороховой погреб. Запорожец долго и безуспешно стучал огнивом — трут никак не хотел загораться. А по ступенькам уже бряцали ножнами сабель конфедераты. Тогда Корней разбил о помост бочку с порохом и, шепча молитву, стал высекать огонь прямо на порох. Порох попался сырой, искры падали на него, шипели и гасли. Шляхтичи были уже за спиной; Корней поспешно ударил еще несколько раз по кремню и в отчаянии поднялся, чтобы саблей встретить врага. Но тут в его голове сверкнула догадка: Корней вытащил из-за пояса пистолет и, наставив его над кучей пороха, спустил курок. Последнее, что он услышал, был звук выстрела. А в последующий миг страшный грохот разбудил ночную тишину: рухнули тяжелые своды крепости, спрятав под каменными глыбами останки славного запорожца.

Калиновский — он не был в крепости во время ее штурма и разрушения, — оставшись с небольшим отрядом, побоялся ждать утра в Медведовке и приказал возвращаться в лес. Своим жолнерам он не

сказал ничего, но про себя твердо решил оставить отряд и быстрее бежать куда-то дальше, в Польшу, или под защиту какой-нибудь сильной крепости — Умани, Белой Церкви. Достаточно он натерпелся страхов, достаточно наскитался по лесным чащам.

Остатки отряда собирались около Писарской гати. Калиновский со своим помощником ждал за речкой. Только помощнику, знакомому еще по коллегиуму шляхтичу, Калиновский мог высказать свои сомнения. Они сидели вдвоем под вербой. Только поговорить не успели. К ним подъехало трое конфедератов. Один из них держал поперек седла девушку. Это была Оксана. Калиновский узнал ее. На его бледном лице заиграла злорадная усмешка. Вот на ком он отомстит. Запомнит его Зализняк!

Страшную кару придумал шляхтич.

Двое жолнеров взяли Оксану за руки и распяли на веревках поперек плотины, между двумя вербами.

Оксана еще не понимала, что хотят делать с нею шляхтичи. Она видела, как Калиновский что-то приказал одному из жолнеров, и тот поскакал на другой конец плотины. Через минуту оттуда выехали остатки отряда. Увидев, как шляхтичи все сильнее пришпоривают коней, Оксана поняла все. Девушка не кричала, не плакала, хотя сердце сжимал ледяной холод. Вот прямо на нее мчатся десятки лошадей. Оксана рванулась изо всех сил, но веревка сильно врезалась в ее руки. Страшные запененные морды были уже в нескольких шагах от нее.

— Максим! — что было силы крикнула она, и ее крик испуганной чайкой метнулся низко над водой, разбудив сонные камыши.

Конь переднего всадника ошалело шарахнулся в сторону, ударился о веревку, и шляхтич через голову полетел в речку. Последнее, что успела увидеть Оксана, — перед самым лицом лошадиная морда с широко разорванным уздечкой ртом и выпученные от ужаса глаза всадника над нею.

Глава десятая

ШТУРМ

В первых числах июля Уманский полк и отряды милиции других городов, присоединившихся к нему, перешли от Звенигородки к селу Соколовке и преградили путь, по которому, согласно донесению лазутчиков, должны были идти гайдамаки.

На этот раз лазутчики сказали правду. Не прошло и двух дней, как к Соколовке с другой стороны подошли отряды колиев, как называли в этих краях гайдамаков за их оружие: длинные, заостренные колья. Оба войска стояли на месте. Ни те, ни другие не начинали боя. И гайдамаки и надворные казаки ходили в село за горилкой, за харчами, некоторые наведывались на посиделки, и ни одного столкновения между ними не было, хотя встречались они не раз. Обух пробовал запретить своим казакам эти «хождения», только из этого ничего не получилось. Полковник забеспокоился не на шутку. Обратился за советом к своему помощнику полковнику Магнушевскому, бывшему ловчему графа Потоцкого. А тот посоветовал такое, что даже Обух удивился: Магнушевский предлагал устроить засаду и вырубить всех, кто будет возвращаться из села.

— Ты знаешь, к чему это приведет? — широко раскрыл глаза Обух. — К похоронам. Нашим с тобой похоронам. Да в такую засаду и идти никто не захочет. Нам нужно бежать в Умань.

— Прошу прощения у пана, как это бежать? От кого? От этих пшеклентых хлопов? Этого быдла? — Магнушевский громко захохотал.

— Ой, пан ловчий, не знаете вы этих хлопов, не приходилось вам с ними дело иметь. Жили вы при дворе и видели их только за спинками кресел да по конюшням. А они бывают злы и даже отважны.

— Мы либо вернемся в Умань с победой, либо не вернемся туда совсем!

— Лучше живой хорунжий, нежели мертый сотник, — вздохнул Обух.

В эту ночь ему не спалось. Впервые в жизни Обу-

ха мучила бессонница. Он переворачивался с боку на бок, ложился на спину, пробовал даже прикрыть голову одеялом, но веки будто кто подрезал, они никак не хотели закрываться. Именно тогда ему пришла мысль проверить дозоры. Он оделся и вышел из шатра. На дороге никого не было. Обух прошел немного в направлении села, свернул под тополя, где стоял обоз. Сторожевого он не встретил и там. Под возами, разбросавшись на примятой траве, беззаботно спали казаки. Полковнику сделалось жутко. Он отыскал шатер полкового обозного и откинул полог. У самого входа торчали чьи-то ноги. Обух дернул спящего за ногу, тот от неожиданности всхрапнул, отдернул ногу.

— Кого там нечистый носит?

— Это я, полковник. Почему нигде стражи не видно?

— Стражи? А ее давно никто не ставит. Старший сотник приказал снять.

Обух больше ни о чем не расспрашивал. Он бросился к шатру Магнушевского — разбудил полковника и рассказал о том, что узнал.

— Теперь понятно все: измена! — поспешно одеваясь, закричал Магнушевский. — Убить его надо, вот и все. И немедля.

— Сонного?

Магнушевский задумался.

— Правда, не по-рыцарски это. Однако не до рыцарства теперь. И кто там будет знать — сонного или какого убили. Дозоры нужно немедля выставить и установить пароль.

Обух вышел вслед за Магнушевским.

— А если он не один в шатре или не спит? Мы ни о чем не догадывались, а он, видимо, обо всем позаботился. Впрочем... Иди, иди, я за тобой!

Оба остановились. Неподалеку от них белел шатер Гонты. Магнушевский долго вглядывался во тьму, притворялся, что проверяет пистолет. Ему показалось, будто на фоне белого шатра чернеет какая-то тень. Вот она шевельнулась, снова шевельнулась, застыла.

— Оно и впрямь не к лицу на сонного нападать. Да, может, еще и измены никакой нет. Пойдем назад, подождем.

Разошлись по шатрам и до самого утра оба не спали. После восхода солнца Обух и Магнушевский пошли к Гонте. Старший сотник, казалось, ждал их. Он стоял возле шатра и курил трубку.

— Пан сотник, мы пришли по важному делу, — стараясь говорить твердо, сказал Обух. — Зачем это ты снял стражу? Лагерь врага совсем близко от нас. Это похоже на измену.

Гонта даже бровью не повел.

— Думаете, гайдамаки нападут ночью на лагерь?

— А как же иначе?

— Казаки на казаков ночью не нападают.

— Быдло это, а не казаки! — запальчиво выкрикнул Обух. — А о том не подумал, что гайдамаки могут прийти к нам сманивать казаков? Наверное, не один уже побывал тут. Наши казаки весьма легко поддаются уговорам.

— Может, и так. Значит, весьма плохи порядки у наших казаков, если они так легко поддаются на уговоры. Гайдамаки не боятся пускать в свой лагерь надворных казаков, а мы боимся. Я умышленно снял охрану. Правда без нее дорогу найдет.

Обух ошеломленно посмотрел на Гонту.

— Выходит, ты тоже за них?

Гонта поднял голову, неожиданно выпрямился, взглянул прямо в глаза полковнику.

— Да. Меня тоже тревожит судьба Украины.

— Это измена! — воскликнул Магнушевский.

— Измена? Кому измена? Нет, я доныне изменял своей Украине, своему народу. Отныне довольно! Слышите, довольно! Так и скажите вашему Потоцкому и Младановичу.

Уловив едва заметное движение руки Магнушевского, Гонта повел плечами в его сторону.

— Саблей, полковник, хочешь померяться? Давай, — и стремительно обнажил саблю.

Только полковники, видно, не имели никакого желания меряться саблями с Гонтой. Будто по уговору,

они разом повернулись к нему спинами и со всех ног пустились к своим шатрам. Обух бежал впереди, Магнушевский за ним. Он и сейчас держал голову высоко, но ногами перебирал часто и быстро, словно индюк в танце.

Гонта выслал вперед казаков и сам выехал в гайдамацкий лагерь.

По дороге его снова полонили невеселые думы. Неприятной представлялась сотнику встреча с гайдамацким атаманом. Тот либо будет лебезить перед ним, либо примет чванливо — вероятно, он о себе высокого мнения. Победа и слава, наверное, вступили хмелем в его буйную голову.

С такими опасениями въехал Гонта в рощу, где разместился гайдамацкий стан. Гайдамаки с любопытством провожали его глазами, но никто не остановил, ни о чем не расспрашивал. Гонта пытался как можно лучше рассмотреть гайдамаков. Пристальным, несколько придирчивым взглядом он окидывал их оружие, одежду, лошадей. Намеренно не расспрашивал, куда ехать, ехал наобум. Наконец возле одного костра придержал поводья и спросил, как найти атамана. Высокий худой кашевар помешал в котле и указал ложкой.

— Вот он под березкой.

Сотник направил коня в ту сторону, куда указал кашевар. Среди кучи людей Гонта узнал и своих казаков.

— А вот и он сам. — С разостланного под березкой ковра поднялся высокий, стриженный в кружок казак и, не ожидая, пока сотник слезет с коня, протянул ему руку:

— Здорово, пане сотнику! Сердечно рад твоему приезду!

Гонта посмотрел казаку в глаза, и сразу ему показалось, что этот казак одним взмахом руки снял с его плеч какую-то большую тяжесть. В этом громком «А вот...», в этом теплом взгляде лучистых серых глаз было столько искренности, радости и простоты,

что Гонта сам не заметил, как с силой опустил руку Зализняку на плечо:

— Здорово, атаман! Спасибо на добром слове!

Приближался день святого Яна, но в Умани, впервые за все годы, никто не готовился к празднику. Не бегали под окнами панских хором со щетками и черепками в руках служанки, не разносились по улицам запахи свежих печений и лакомств. Тревога и страх окутали город. Быстро, будто спасаясь от кого-то, пробегали по улицам отдельные казаки, жолнеры катили на вал бочки с порохом и пулями, на площади землемер Шафранский разбивал на отряды мещан, указывая каждому отряду место на стене. Шафранский руководил всей обороной. Он созвал в ополчение не только купцов и шляхтичей, но даже учеников базилианской школы и лавочников. Именно им, а не надворным казакам поручил он охрану северной башни и стены, к ней прилегавшей. Казаков в городе осталось больше пятисот. Кроме двух уманских сотен, тут находилась большая часть лисянской милиции, а также богуславской и других городов. После перехода на сторону гайдамаков Уманского полка во главе со старшим сотником Шафранский мало доверял им. Поэтому даже места не указал для них, и они толкались без дела.

На рассвете девятого июня гусарский дозор донес о приближении к городу большого войска. В городе была объявлена тревога. С самого утра на стенах толпились горожане и жолнеры. Врага долго не было. Гусары сначала гоняли со стены детей, потом им это надоело, и они, присев возле пушек, принялись за кувшины с вином, принесенные услужливыми госпожами и барышнями, да за вкусные пироги.

Младанович, Шафранский и Ленарт разместились на башне комендантского замка. Палило жгучее июньское солнце. Шел одиннадцатый час дня.

— У меня уже голова болит от этой проклятой жары, совсем она меня доконала, — заявил

Ленарт, в который уже раз поливая водой из фарфорового чайника платочек и смачивая виски. — Чувствую — по спине ручьи бегут.

— Снимите мундир — сразу легче станет, — посоветовал Шафранский, не отрывая от глаз подзорную трубу.

Он был в легкой шелковой рубахе, подпоясанной тонким ремнем, и в такой же легкой шляпе с петушиным пером за отворотом.

— Может, никаких гайдамаков нет. Просто пригрезилось дозорным гусарам, — попробовал успокоить себя и других Младанович. — Или то не гайдамаки, а казаки наши в крепость возвращаются. Мы уже не один раз слышали ложь. Ведь старшины хотя бы должны приехать, Магнушевский, Обух...

— Тот хорунжий говорит, будто они киевским шляхом отъехали.

— Господа, поздно спорить. Сейчас все увидим. Вон всадники.

— Где? — вскочили вместе Младанович и Ленарт.

— Пыль видите?

— Не вижу, где она?

— Да вон же.

Младанович тоже поднес к глазам подзорную трубу. Ленарт топтался сзади, не решаясь попросить трубу, он прикрывал ладонью глаза, впиваясь взглядом в сероватые тучи пыли на дороге. Отведя на миг усталые глаза, он испуганно крикнул:

— Взгляните, вон из лесу выехали! Эти еще ближе.

Шафранский и Младанович сразу перевели трубы.

— Наши казаки надворные! — крикнул губернатор. — И Гонта с ними. Белый конь — его. Едет к тем.

Теперь уже и Ленарт видел, как от Уманского полка отъехал верховой и поскакал к другому войску. Оттуда тоже отделилась черная точка, стала приближаться ему навстречу.

— С атаманом разбойничьим здоровается, — опустил вниз трубу Шафранский. Он помял в кулаке реденькую козлиную бородку и повернулся к Ленар-

ту. — Пойдемте, пан поручик, наше место сейчас там, — он показал на стену, где в немом молчании застыли гусары и горожане.

Младанович остался один. Он тоже было направился за Шафранским, даже сделал несколько шагов по ступенькам, но так и не сошел вниз.

«Что я там буду делать? — подумал он. — Лучше отсюда буду наблюдать; успокоюсь, а тогда пойду подбодрю войско».

Когда он возвратился на прежнее место, его глазам открылась новая картина. Гайдамаки лавиной мчались на лагерь под Грековым лесом, в котором собрались шляхтичи и все иные беглецы, не поместившиеся в городе. Губернатор нервно прикусил губу. Он понимал, что через минуту от лагеря не останется ничего. Разве сможет он устоять перед той лавиной?

— А потом там (губернатор имел в виду Варшаву) обвинят меня, что не смог защитить от черни, допустил до уничтожения, — забывшись, шептал Младанович. — А что я могу поделать, что?

Лагерь окутался дымом. Это защитники сделали залп из ружей и пушек. Несколько верховых упали, но другие скакали дальше. Еще залп — уже реже; и вдруг сильный — он долетел даже сюда, на башню,— крик сотряс степь.

— Рафаил, где ты? Что это такое? — послышался голос снизу.

Младанович раскрыл глаза, оглянулся. По ступенькам поднималась жена.

— Возвращайся назад, не надо тебе сюда, — поспешил ей навстречу губернатор. — Вероника, а ты куда? — преградил он дорогу дочке. — В костел идите. Все идите в костел, молитесь богу о нашем спасении.

...Перед самым заходом солнца гайдамаки пошли на штурм крепости. Плотными рядами, с лестницами, жердями в руках, они подошли ко рву и стали перелезать через него. По ним ударили из пушек, ружей, мушкетов, пистолетов. Большинство защитников были плохими стрелками, и первый залп причинил мало

вреда наступающим. Однако неслыханной силы грохот и десятка два трупов несколько нарушили их ряды. Одни продолжали катиться вниз и карабкаться по склону на другую сторону рва, другие остановились. Тем временем на стенах снова успели зарядить пушки. Второй залп погнал наступающих назад, в поле. Только сотня запорожцев во главе с Жилой добралась до самых ворот главного въезда. Но именно там Шафранский еще днем поставил наибольшее количество пушек. Словно пытаясь опередить друг друга, надрывно гудели пушки, посылая картечь в сечевиков. Те, видя, что остались одни, не выдержали, отступили назад.

— Бегут хлопы. Победа! — закричал Ленарт, вырываясь на самый край стены и размахивая саблей. — Виват!

— Виват! — подхватили сотни голосов.

— Взяли, пся крев, мы еще не то вам покажем, вонючие хлопы! Отчего это мы не видим ваших рож, а только спины? — неслось вдогонку запорожцам.

Шляхтичи, может, впервые в жизни обнимались с купцами, гусары с лавочниками, арендаторами, с базилианами. Какой-то приказчик, заложив в рот пальцы, пытался свистнуть, но у него ничего не выходило. Тогда он схватил медную кружку, в которой кто-то приносил воду, и затарабанил по ней кулаком, не жалея пальцев. В одном месте около стены осталась стоять лестница. Ее увидели двое учеников базилианской школы. Лестница не доставала до верха, но они привязали веревку и спустились вниз. Под стеной, склонив голову на руки, стонал раненый гайдамак. Увидев базилиан, трое запорожцев из отряда Жилы обернулись и сняли с плеч ружья. Хотя их пули не долетели до базилиан, те с ловкостью кошек бросились наверх. Один из них все же успел ранить кинжалом гайдамака в живот. Жолнеры выстрелили по запорожцам из пушки, и те рассыпались во все стороны. Теперь к лестнице бросились несколько человек, но Шафранский не пустил их.

Гайдамаки в этот день больше не повторяли атаки. Кое-кто высказывал мнение, что их больше со-

всем не будет — побоятся идти вторично на штурм крепости. Другие отрицали это.

Сам Младанович склонялся к мнению тех, которые говорили, что гайдамаки пойдут прочь от города. И все же, как он ни тешил себя такой надеждой, заснуть не мог всю ночь. Только перед самым утром задремал, а впрочем, и тогда тяжелые видения не оставляли его. Снилось, будто гайдамаки поймали гусара, посланного ночью к гетману, сделали подкоп в самый комендантский замок. Проснулся от чьего-то назойливого голоса:

— Рафаил, вставай, к тебе пришли.

Младанович открыл глаза. Над ним склонилась жена.

— Кто пришел?

— Ленарт и управляющий. Чем-то очень взволнованы, тебя хотят видеть.

Губернатор вскочил. Одеваться не надо было — он спал одетый.

— Пусть войдут сюда.

— Пан губернатор, беда, — с порога испуганно заговорил поручик. — Почти все казаки перебежали к разбойникам. Человек десять старшин только и остались.

— И слуги из замка тоже, — скороговоркой добавил управляющий.

Младанович удивленно и вместе испуганно поглядел на них.

— Как убежали?

— Через палисад *, ночью. Кто бы подумал? Если бы после поражения такое произошло, было бы совсем неудивительно — испугались, а то ведь победа на нашей стороне.

— Это еще не все, — прервал эконома Ленарт, — источник сух. Они перекрыли его за Бабанкой. Теперь в городе нет ни капли воды. Это ничьих больше, кроме Гонтиных, рук дело. Что делать будем?

Младанович почувствовал, как по телу побежали мурашки, как похолодело в животе. Казалось, будто туда попала льдина.

— Не знаю, сейчас увидим, — бормотал он. — Надо Шафранского найти.

— Он возле Лысой горы.

Губернатор на минуту забежал в комнату жены, где сидели перепуганные женщины, вызвал жену и, пытаясь говорить по возможности спокойнее, негромко сказал:

— Идите в костел. — И еще тише, сжимая женину руку: — На случай чего — не выходите оттуда совсем. В церкви никто не осмелится вас тронуть.

Недалеко от Лысой горы на чьем-то огороде работала кучка людей. Несколько человек копалось в яме, другие оттаскивали в сторону землю ведрами, затаптывая большую грядку прибитого дождями к земле лука. Навстречу Младановичу вышел перепачканный глиной Шафранский.

— Колодец копаем, — сказал он, — хотя и выбрали самое низкое место, а долго придется ковырять, вода тут далеко. Не случайно в городе ни одного колодца нет. Надо же было кому-то на холмах город закладывать.

Младанович хотел сам осмотреть место, где начали копать колодец, но со стены послышались удары колокола.

— Наверное, враг снова готовится к приступу. Эй, бросай лопаты, все на стены! — крикнул Шафранский и первый выскочил на улицу.

После второй неудачной попытки Зализняк приказал поставить в поле пушки и палить по крепости, чтобы сделать в стене пролом. Пороху было маловато, поэтому стреляли только из больших пушек. В ответ заговорили все пушки крепости. Над стенами клубился белый дым — казалось, будто там загорелись скирды сена.

Ядра целыми роями жужжали над головами гайдамацких пушкарей, ломали станки на пушках, калечили людей. Чтобы хоть немного защититься от убийственного огня, пушкари отвезли пушки немного назад, налево, за песчаный бугор.

В полдень посмотреть на стрельбу приехали Зализняк и Гонта.

— Не сделали пролом? — спросил Зализняк, опираясь на колесо поломанной пушки, задравшей свой толстый нос высоко вверх.

— Слабоваты у нас пушки. Тут бы единорогов несколько поставить, — отозвался усатый пушкарь.

Над головами просвистело ядро, подняло тучу пыли позади, неподалеку от Василя Веснёвского, который держал коней. Кони испуганно захрапели, потянув за собой хлопца.

— Отъезжай под осины! — крикнул Максим. Он прикрылся шапкой от солнца и долго вглядывался в крепость.

— То ли не попадают, то ли не долетают ядра? Так нет же.

Было видно, как в одном месте со стены посыпалась щебенка, очевидно, ядро чиркнуло и отскочило в сторону. Еще выстрел. Это ядро, не долетев, упало в ров. А вон другое ударило около самого зубца башни. Максиму вспомнилось, как стреляли они в Запорожье по кирпичному гуляй-городку, построенному их руками. Их, молодых пушкарей, обучал тогда сам главный обозный.

Зализняк, не оборачиваясь, поманил пальцем Гонту и обозного.

— Зря порох палим. Так можно и целый год стрелять. Пушки косо поставили и ядра отскакивают от стен. Пороху сколько осталось?

Голос обозного заглушил пушечный выстрел, но Максим понял его ответ по качанию головы.

— Придется-таки через стену лезть.

— Я вот над чем голову ломаю, — сказал Гонта. — С южной стороны крепости есть такое место, где нет стены. Правда, там нужно вверх вскарабкаться, и вал весьма высок, а все же если б попробовать подрубить там палисад? Давай проскочим туда.

Приказав обозному прекратить стрельбу, Зализняк и Гонта отправились к рощице, где ждал их Василь с лошадьми.

Рубить палисад было послано около пятисот гай-

ся в пенистых волнах разбушевавшегося моря, а они пытаются захлестнуть его, спрятать в прозрачных глубинах. Но вот он в последний раз качнулся на месте, расплескал сизые тучки и залил, осветил все неживым светом: и сонный лес, и шумливый гайдамацкий лагерь на опушке, и старенькую хату лесника на берегу сонной реки. Река засветлела, заиграла бледной радугой, а возле островка за покосившейся мельницей, где старые вербы низко склонились над водой, спустив в нее свои длинные косы, заблестела таинственно, как бы угрожая скрытой под зеркальной поверхностью глубиной. Ближе, на самый берег, надвинулись кусты, словно пытались добросить до воды и свои тени. Лес стоял молчаливый. Но вдруг ударил, рассыпался по лесу громкий звук — защелкал соловей. Даже тени, казалось, встрепенулись от этого внезапного пения. Соловей встряхнул тишину, разбудил ее громким эхом, и, отбившись от березняка, эхо пошло гулять по чаще. Соловей пел у самой хаты. Даже свет, падавший из окна на куст, не пугал его.

В хате за столом сидело четверо: Зализняк, Гонта, Жила и Василь Веснёвский. Ужинали. На стол подавала согнутая, высушенная недугом жена лесника. Жила порезал большим ножом хлеб, положил перед каждым по нескольку ломтей.

— Атаману самый большой кусок, милость его надеюсь к себе привлечь, — промолвил запорожец, хитро подмигивая Василю.

— Не мешай, дай послушать, — недовольно кинул Зализняк.

— Нашел кого слушать! У нас на Сечи их столько было!.. Около одного нашего куреня не меньше сотни в пении упражнялись. Спать не давали. Побегал я с палкой по кустам.

Взглянул на Зализняка Жила и замолк. Ближе подвинулся к окну, опустил голову. Глаза его чуть сузились, по худощавому лицу блуждала веселая усмешка. Всем своим видом запорожец будто говорил: «Ишь, заливается. Знает, что это я так, в шутку на него наговаривал. Люблю разбойника».

Вдруг соловьиная песня оборвалась. Во дворе послышался лошадиный топот.

— Василь, поди погляди, кто там,— сказал Зализняк и взялся за ложку.

Василь вскоре вернулся с высоким, одетым в красные казацкие шаровары и белую, подпоясанную широким чересом свиту гайдамаком. Гайдамак в дверях снял шапку, перекрестился на образа, прошел к столу.

— Ты атаман? — сразу узнал Зализняка, хотя, наверное, видел его впервые. — От Неживого я.

— От Неживого? Это хорошо,— обрадовался Максим. — А я жду не дождусь от него вестей. Садись к столу, рассказывай, как там.

Гайдамак посмотрел на стол, где вкусно дымился борщ, но почему-то покачал головой и сел в сторонке на скамью.

— У нас все будто бы хорошо. Ходили мы, как ты указал, по Чигиринщине и Черкассщине. До Крылова дошли, там дальше русское войско стоит. Атаман попробовал переговорить с начальником, да не вышло. Не то начальник не захотел, не то не допустили до него, этого я не знаю. Еще говорил атаман, ездили наши в Переяслав. Там тоже будто бы ничего не получилось. Игумен письмо прислал, вот оно у меня в шапке. Дайте нож подкладку распороть, — взял у Гонты нож, склонился над шапкой. — А так все хорошо. Шляхтой и униатами и не пахнет. Войска у нас теперь на два куреня. И каждый день приходят новые. Атаман спрашивает, как быть дальше?

Максим взял письмо, передал Гонте. Подвинул ближе светильник. Гонта негромко прочитал Мелхиседеково послание гайдамакам.

Максим слушал не перебивая.

— Вот как, пан игумен, — словно про себя сказал он, когда Гонта закончил чтение. — Уже испугался. Панов стало жалко... Хотел и веру сберечь и панов не затронуть. А мы не хотим их. Сами веру защищать будем, а панов и всякую иную шляхту вконец порубим. До копыта! Бог видел наши кривды, видит и на-

шу правду. Не во гневе он: за святое, правое дело кровь льем.

Зализняк замолк. Молчали и остальные. Посланец мял в руках шапку, внимательно разглядывая ее, словно искал на ней какое-то не примеченное раньше место, он только изредка бросал короткие взгляды на Максима и снова прятал глаза.

— Ты, наверное, не ужинал, — отозвался Максим. — Бери ложку. Чарку выпей. Не гляди, что в кварте на донышке осталось. Еще есть. У нас этого дива сколько хочешь... Что еще передавал Неживой? В Медведовке как?

— В местечко шляхта было ворвалась. Крепость Кончакскую взяли. Крепость кто-то из наших взорвал вместе со шляхтой. — Гайдамак перевел дыхание и совсем тихо закончил: — Оксану Черемшину замучила шляхта.

Тихо стало в хате. Никто не проронил ни слова. Тяжело молчал Максим. Мелко дрожала в его руке и стучала о стол ложка. Глаза его сделались большими, будто он смотрел на что-то и не мог охватить своим взором. Наконец он прижал ложку к столу, положил ее.

— Больше ничего не говорил Неживой?

— Ничего, атаман.

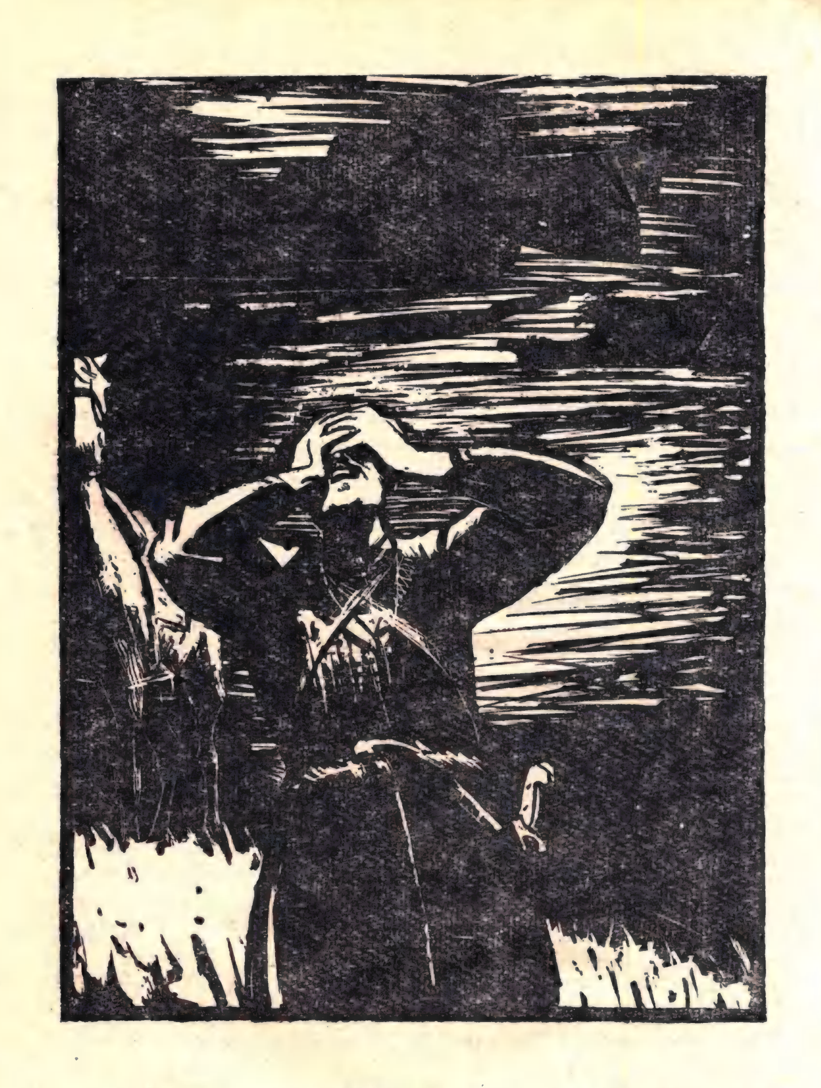
— Идти Неживому к нам пока что нечего. Я так думаю. — Зализняк посмотрел на Гонту и Жилу. — Мы об этом договаривались, когда расходились на три шляха. Нужно иметь за спиной надежный тыл. Да и не оставим же мы земли, откуда шляхту повыгоняли. Вот еще Умань возьмем. А там, даст бог, Белую Церковь.

— Остается Радомысл... — промолвил Гонта.

— Под Радомыслом Бондаренко с войском. Пошлем помощь. И тогда все Киевское воеводство будет в наших руках.

— Сначала надо взять эти города...

— Возьмем! — стукнул изо всех сил кулаком по столу Зализняк, даже миски и чарки подскочили. — Ты не спеши уезжать, — обратился он к посланцу. — Устрой его, Василь, на ночь. Вы почему не едите?



— Я уже один полмиски выел, невмоготу больше, — промолвил Жила и отодвинул от себя ложку.

— Какой там полмиски! Ешь! И вы тоже. А я в лагерь наведаюсь. Голова что-то болит, верно накурился лишку.

Максим вышел из хаты, прошел к конюшне. Оседлал Орлика, вывел за ворота, сел в седло и пустил коня по лесной дороге. Не помнил, долго ли ехал так. Низко согнувшись в седле, Зализняк не почувствовал, как Орлик сошел на самый край дороги, как стегают по лицу ветки. В голове сновали обрывки воспоминаний, не задерживаясь долго, исчезали, расплывались, как марево; на их месте появлялись другие, иногда совсем посторонние и причудливые. Даже лица Оксаны, такого родного и близкого, он не мог ясно представить. Видел ее глаза в час прощания, полные слез, полные любви и тоски.

Погруженный в свои думы, Максим даже не заметил, как кончился, отступил назад лес, и перед ним, залитое лунным светом, раскинулось поле. Тишина стояла в поле, торжественная, загадочная. Глухо стучали по дороге копыта. Крикнул дважды перепел и смолк. У самого уха прожужжал жук и упал коню на шею. Орлик недовольно фыркнул, завертел головой. И снова мерный стук копыт, нависшее над землей звездное небо. Орлик остановился на перекрестке. Максим легонько толкнул его каблуком. Конь пошел прямо, по нескошенному лугу. Через некоторое время остановился. Максим долго сидел неподвижно. Потом медленно слез на землю. И вдруг содрогнулся, словно от холода, упал в густую траву и, закрыв лицо руками, глухо зарыдал. Орлик немного постоял над ним, потом легонько коснулся губами Максимовой шеи, но тот не ответил. Орлик встряхнул головой и отошел прочь, пощипывая траву.

...Максим удивленно озирался вокруг. Незнакомый луг, какой-то кустарник. Над кустарником уже высоко поднялось солнце. Повернул голову в другую сторону — в долине пасся Орлик. Зализняк припомнил все. Вытер лицо росой, поднялся и пошел к коню, который призывно заржал на его приближение. Закинув Орлику намокший в росе повод, пошел искать копанку — она была невдалеке, между двумя кустами ивняка. Около копанки на бугорке грелась под солнцем небольшая змея. Заметив Максима, она быстро скользнула с бугорка, пошелестела в траву. Легким

свистом Зализняк подозвал Орлика. Копанка была глубокой, и лошадь не могла дотянуться до воды. Максим стал на колени, разгреб руками старые листья, зачерпнул воды шапкой, поднес Орлику. Напоив его, поправил подпруги и вскочил в седло. Вскоре доехал до села и остановился возле корчмы.

Несмотря на ранний час, в корчме уже сидело четыре человека. Трое из них были из надворной охраны — хорунжий и двое казаков, четвертый — взлохмаченный парубок в заплатанных домотканых штанах и серой потертой свите.

Зализняк кинул на прилавок несколько серебряных монет и крикнул шинкарю:

— Кварту горилки. И кислого чего-нибудь. Квас есть?

— Нет, есть капустный рассол.

— Неси рассол.

Максим тяжело опустился на скамью. Казаки и парубок продолжали прерванную приходом Зализняка игру. Хорунжий скручивал в кольцо кожаный ремень и клал его на стол. Парубок брал шило, тыкал перед собой, пытаясь попасть в середину кольца. Но хорунжий каждый раз успевал дернуть за другой конец ремешка, и шило оказывалось сбоку. Казаки громко хохотали.

— Довольно, пан хорунжий, — попросил хлопец.

— У нас, хлопче, так не водится. Взялся играть — играй.

— Я же не брался. И денег уже нет. Ей-богу! Мне шинкарю нечем за ночлег заплатить.

— Врет. Поищите, хлопцы.

Казаки схватили парнишку за руки, один пощупал карманы.

— И вправду нет. Два шеляга осталось.

— Еще раз сыграем. Целься!

— Чем я заплачу?..

Вошел шинкарь и поставил перед Максимом рассол. Цедил горилку, а сам не сводил с Максима глаз.

— Как называется ваше село? — обратился Зализняк к надворникам.

Хорунжий и казаки переглянулись.

— Забыл, как свое село называется?

— Громы, — негромко сказал паренек.

— А дорога на Греков лес далеко отсюда?

— Нет, вот сразу за корчмой. Лес из-за хаты видно.

— Ой, что это! — вдруг испуганно вскрикнул шинкарь, когда Максим снова повернулся к нему. — Зализняк! — Он отступил за бочку и попятился к прилавку. Хотел проскочить в дверь, но Максим быстро выпрямился и стегнул его нагайкой вдоль спины.

— Куда? Доносить? Погуляй тут, пока не выеду. А это тебе, хлопче, — Максим вынул из кармана несколько талеров, протянул пареньку. — Ты как тут очутился?

— На заработки шел. Ночевал в корчме. Они пришли, вытащили шило и ремень и заставили играть... А ты... в самом деле Зализняк?

— Зализняк.

Испуганно дрожал в углу на тоненьких ножках шинкарь, подтягивая то правой, то левой рукой штаны. Настороженно поднялись казаки.

Максим хотел подвинуть кружку, но, заметив скрытый взмах руки хорунжего, повернулся. Положил руку на саблю.

— Ну?!

Ничего больше не сказал Зализняк. Но такой грозный был этот окрик, так суров взгляд, что хорунжий застыл на месте.

Зализняк выпил рассол, вытер ладонью усы и направился к двери.

— Дядьку, дядьку атамане, — сорвался с места хлопец. — И я с вами.

— Ты? Что же, пойдем.

Они вышли на улицу.

— А на чем я поеду? — в отчаянии спросил хлопец, увидев возле крыльца атаманова коня. — Я же не угонюсь.

— Позади сядешь. Подожди. Это чьи кони возле сарая, надворников этих? Бери коня хорунжего.

— А если они догонят?

— Не догонят.

— А выскочат из хаты да стрельнут?

— Забоялся? Тогда не нужно ехать со мною.

Максим стал отвязывать коня.

— Стойте, дядечку, я придумал, как быть. Дверь подопру. — Он схватил под тыном дубинку и, засунув один конец между трухлявыми ступеньками крыльца, другой подставил под щеколду. — Теперь скоро не выскочат. — Ловко отвязал коня и помчался догонять Зализняка.

Полтора дня копали колодец, и все напрасно. На глубине сорока саженей лопаты застучали о камень. Попробовали копать в одну сторону, в другую — всюду было то же самое. Крепкая гранитная скала загородила каменной грудью путь к воде. Копать в другом месте никто не согласился: сколько на это пойдет времени, а там, наверное, снова будет такая же скала. Шафранский мял в руках сухой песок, бранил мещан. Опираясь на лопаты, те молча бросали хмурые взгляды на черную, похожую на звериную пасть яму. Никто из них не думал трогаться с места. Шафранский швырнул под ноги аршин и пошел прочь. Он сам мало верил в возможность докопаться до воды, но не сидеть же сложа руки? Теперь оставалось надеяться на помощь. Откуда ее ждать и когда она придет?

А развязка приближалась неминуемо и быстро. Гайдамаки теперь не оставляли в покое крепость ни на минуту. Вот уже больше двадцати часов осажденные должны были вести огонь. Шафранский сам спускался в пороховые погреба и видел, что при такой стрельбе пороху и ядер хватит не больше как на полдня. Пороховых погребов в замке было раз в десять меньше, чем винных. Землемер так и сказал губернатору:

— Если бы мы имели пороху столько, сколько вина, мы могли бы сидеть в осаде хоть и до следующего праздника святого Яна.

Осажденных мучила жажда. Воды нигде не было, и мещане стали пить наливки и вино. Шафранский

собственными глазами видел, как во время атаки со стены упало трое пьяных солдат. Пьяные валялись всюду — под заборами, возле деревьев, бродили из лавки в лавку, горланя срамные песни.

В городе все больше росла тревога. Уже отслужили несколько молебнов, дважды прошел крестный ход с чудотворной иконой. Никогда еще так искренне не воздевал руки, обращаясь к богу, епископ, умоляя простить грехи. Отчаяние достигло предела утром двенадцатого июня, когда начался новый штурм.

Перед этим ночью к гайдамакам бежала часть солдат и все арестанты — кто-то убил часового и открыл двери кордегардии. Теперь гайдамаки уже несли с собой длинные лестницы, сделанные в лесу. Осажденные опрокидывали гайдамаков вместе с лестницами, сбивали камнями, обваривали кипящей смолой, но гайдамаки лезли и лезли на стены, цепляясь за каждый выступ, за каждую колодку в палисаде. Особенно часто гремели выстрелы на левой крайней башне восточной стены. Бой там длился почти час. На южной стене было еще хуже. В разгаре боя из-за домов выскочило с полсотни уманских крестьян с топорами и косами в руках, бросилось на помощь гайдамакам. Если бы не гусары, которых как раз вел на южную сторону Ленарт, гайдамаки непременно бы прорвались в город.

После боя Младанович, Шафранский и Ленарт собрались в губернаторском доме. Поручик нервно шагал по комнате, заложив обе руки в карманы мундира.

— Нужно оставить мысль о дальнейшей обороне, — говорил он. — Палисад проломлен в двух местах. Пороху нет. Я не могу больше ручаться за своих гусар. Еще одна атака — и конец. Гайдамаки уничтожат нас всех.

— За ваших гусар я тоже не ручаюсь, — въедливо произнес Шафранский, — торговцы вели бой смелее, чем они. Возьмите себя в руки, поручик. Нам нужно продержаться хотя бы до завтра, пока не подойдет помощь.

— Помощь? Откуда? Кому мы нужны? Думаете, Белявский или Стемпковский придут на помощь? Они сами попрятались от гайдамаков, как лисы от гончих. Хоть на стену взберись да кричи на все поле — никто не придет. Нужно начать переговоры. Я думаю, мы сможем договориться с Гонтой.

— А мне кажется, поручик, вам нужно лечь и выспаться.

Младанович не вмешивался в спор. Глубоко погрузившись в кресло, он, казалось, даже не слышал спора. Но вот он шевельнул рукой и поднял голову:

— Не будем спорить, пан Шафранский. Поручик говорит правильно. У нас уже нет сил для борьбы. Но нам еще, возможно, удастся о чем-то договориться. Нужно позаботиться о спасении женщин и детей.

— Сначала надо думать о короне и воинской чести, а потом уже о женщинах и детях!—резко выкрикнул Шафранский.

Младанович устало махнул рукой.

— Думайте уж вы о воинской чести. Хорошо, что ваша жена в Лодзи осталась. Мы сейчас выедем за ворота и вызовем на переговоры Гонту.

— Идите, а я не пойду.

Так они и вышли, ни о чем не договорившись между собой. Шафранский, хотя и сказал, что не пойдет, все же пошел, когда Младанович и Ленарт исчезли за воротами. То ли его гнало любопытство, то ли он боялся, чтобы губернатор и Ленарт не сделали какой-нибудь оплошности, но он догнал их. Вслед за ними за ворота стали выходить шляхтичи и солдаты. Их становилось все больше, они заполняли место перед воротами, подвигая передних дальше и дальше.

Все трое — Младанович, Ленарт и Шафранский — молчали. Они видели, как к гайдамацкому лагерю подъехал их посланец, как немного погодя оттуда выехала группа верховых и поскакала к ним. На поднятой над головой сабле переднего

всадника трепетал на ветру белый платок. В этом всаднике Младанович узнал Гонту.

«Какой будет эта встреча? — думал он. — Сконфузится сотник? Или, напротив, будет спесивиться, станет угрожать, попытается унизить, как это часто делается по неписаным законам разговора с побежденными?»

Гонта глаз не опускал, но и ничем не пытался подчеркнуть свое положение победителя. Вел себя сдержанно, с достоинством. Младанович даже удивился, встретив спокойный взгляд темных глаз Гонты.

«Как только может он смотреть в глаза после того, как перешел на сторону грабителей? Что толкнуло его на это? Погоня за богатством, за воинскими почестями?» Эти и подобные вопросы мучили Младановича. Он не сдержался, чтобы не обратиться с ними к Гонте. Но тот нахмурил брови и сурово оборвал губернатора:

— Я приехал не за тем, чтобы оправдываться перед вами.

— Пан сотник, еще не поздно, вы сможете вернуться: взвесили ли вы, на что идете? Мы попросим короля, он милостив, простит.

— Я все давно обдумал и взвесил. Давайте говорить о том, для чего мы тут съехались. Я считаю, что вы позвали меня для переговоров. Вот наши условия...

Шафранский прервал его:

— Как смеешь! Ты должен выслушать сначала наши.

Гонта густо покраснел. Сдерживая гнев, только крепче сжал губы.

— Хорошо, я слушаю.

Младанович молчал, не зная, с чего начать. Только теперь он пожалел, что они ни о чем заранее между собой не договорились.

— Мы даем денежный выкуп, и вы отходите от города, — первым выскочил Шафранский.

— Легкие пушки... — заговорил Младанович, но Шафранский перебил его:

— Никаких пушек. Еще дадим немного вина, муки.

— Денег давать не будем, — вмешался Ленарт.

Гонта оборвал всех разом:

— Вы вышли торговаться или посмеяться над нами? Вы совсем забыли, что перед вами стоят посланцы от войска противника.

— Предатель не может быть ничьим посланцем.

Гонта едва удержался, чтобы не выругаться, и продолжал выкладывать свои предложения:

— Вы сдаете все оружие, ядра, порох и пули. Должны также выдать следующих шляхтичей и арендаторов: управляющего Скаржинского, панов Калиновского, Думковских...

— Ты думаешь, безумец, что говоришь? — воскликнул Шафранский.

Из толпы, где слышали весь разговор, тоже послышалась брань. Младанович хотел что-то сказать, но его слова потонули в громких выкриках:

— Продажный хлоп!

— Убирайся отсюда!

Гонта подобрал поводья, не спуская взгляда с толпы.

— Я уеду, а вы впоследствии пожалеете.

— Лайдак, бандит! — слышалось оттуда. — Бей его!

Внезапно Гонта молниеносным движением дернул поводья и рванул лошадь в сторону. Пуля свистнула над самым ухом. Он видел, как выхватил пистолет Шафранский, намереваясь выстрелить. Обнажив саблю, к Шафранскому кинулся один из запорожцев, сопровождавших Гонту. Землемер успел уклониться от сабли, выстрелил сечевику в голову. Казак упал на гриву, и испуганный конь помчал его в поле.

Уже первый выстрел был для гайдамаков сигналом к атаке. До этого они стояли на краю леса и ждали окончания переговоров. Степь всколыхнулась от топота сотен копыт, тысяч ног.

Над головами гайдамаков взметнулся грозный клич:

— Или добыть, или дома не быть!

Засуетились на стене шляхтичи. Сильнее задымили фитили, осажденные ближе к краю пододвинули колоды и котлы со смолой.

Возле ворот образовалась свалка. Все, кто вышел в поле, пытались как можно быстрее вскочить в крепость. От этого в воротах люди сбивали друг друга с ног, давили тех, кто упал на землю, толкались, хватались за плечи и полы и поэтому топтались на месте. Гонта со своими казаками, ворвавшись в этот поток, плыл вместе с ним, чтобы не дать закрыть ворота.

А гайдамаки были уже рядом. Стража, несмотря на то, что за стеной осталось столько своих, хотела закрыть ворота. Только ей это не удалось, ее оттеснили, смяли.

Часть гайдамаков кинулась к воротам, другие полезли на вал. Смертоносная картечь уже не могла остановить их.

Прорываясь в ворота, Зализняк слышал, как громкое казацкое «Слава!» уже звучало где-то над его головой. Перепуганная шляхта бросала оружие и бежала в центр города к гельде*. Неподалеку от ворот метнулись вверх высокие огненные языки зарева; в воздухе затрепетали крылышками белые комочки голубей.

Орлик вихрем мчал Зализняка по встревоженным улицам города. Послушный каждому, чуть заметному движению повода, Орлик прыгал через плетни и заборы, высекал на мостовой искры, сворачивал в переулки, затем снова выравнивал бег. Из-за заборов гремели выстрелы, из окон бросали камни, стулья, ящики, посуду.

В просвете между двух домов промелькнули тополя, каменные ворота над ними. Еще поворот — Орлик фыркнул, рванулся в сторону, обходя распластанный труп крестьянина с топором в руке. Максим увидел, что по улице убегает четверо шляхтичей. Завидев Зализняка, двое из них остановились, выстрелили. Пули пролетели где-то высоко над ним. Максим пригнулся к гриве, занес над головой саб-

лю. Но шляхтичи не захотели принять бой. Двое из них, кинув оружие, прыгнули через ограду в сад. Из тех двух, которые не стреляли, один побежал направо и исчез в воротах, другой, высокий шляхтич в голубой шелковой сорочке, на мгновение задержался. Он крикнул что-то тем, которые удирали, они даже не обернулись. Тогда он побежал тоже и через минуту скрылся в калитке, которая виднелась в конце улочки. Максим соскочил с коня и погнался за этим шляхтичем. Он не знал, кто это, но по одежде было видно — это кто-то из начальства крепости. Заслышав позади топот, Максим оглянулся: за ним, немного отстав, бежали двое гайдамаков. Зализняк не ошибся. От него убегал Шафранский. Землемер глянул назад и увидел только Зализняка. Он хотел остановиться, но страх, который неведомо почему напал на бывшего офицера армии Фридриха, загнал его в губернаторский дом. В нем было пусто, челядь еще ночью бежала к гайдамакам, губернаторша укрылась с детьми в костеле. Шафранский слышал шаги позади себя и, подгоняемый ими, бежал по ступенькам на башню. Эхо, как казалось Шафранскому, еще никогда так громко не отбивалось под этими сводами. Только оказавшись наверху, он понял, в какую ловушку забежал сам. Ведь можно было повернуть к танцевальному залу или в альков и там закрыть дверь на крючок или выскочить в окно. Землемер посмотрел вниз: в нескольких саженях от него находилась толстая ветка березы. Но до нее не дотянуться. Он оглянулся и вдруг осознал, что есть спасение — ведь у него в руках сабля. Чего он испугался? Еще не все потеряно. Он недурной фехтовальщик, нужно приготовиться к поединку.

Буйная казацкая удаль горячей волной захлестнула Максима. Один раз в сознании сверкнуло, словно молния: «Нужно скакать к своим. Ведь бой еще не кончен...» Но мысль эта так же быстро угасла: «Там Гонта. И я... быстро».

Сабли со скрежетом скрестились в воздухе. Внизу, на лестнице, топтались гайдамаки, но вход им

загораживала широкая спина атамана. Первый удар Шафранский отбил легко. Пытаясь загнать противника в дальний узкий угол, он перешел в наступление и наносил короткие быстрые удары. Только Зализняк не отступал ни на шаг. Шафранскому сначала показалось, что ему вот-вот удастся ударить противника в правое плечо. Он напрягал все силы, чаще сыпал удары, но всякий раз его сабля натыкалась на саблю Зализняка. Шафранский попробовал применить свой, выработанный им когда-то давно хитрый прием. Выбрав момент, он будто нечаянно откинул руку с саблей вниз, к самому полу, и поморщился. Противник должен был непременно воспользоваться удобным моментом, податься вперед. Тогда можно упасть на правое колено, уклоняясь от удара, и молниеносно сделать глубокий выпад, попадая саблей, словно шпагой, в живот. Но Зализняк не пошел на эту хитрость. Он не подался вперед, а замахнулся, чтобы ударить Шафранского по руке, и тот едва успел отдернуть руку. Землемер снова растерялся.

— Иезус-Мария, смилуйся надо мной, — чуть слышно шептал он синими губами.

Сделал еще одну попытку обмануть Зализняка. Близко от южной стены, откуда два дня тому назад они с Младановичем и Ленартом наблюдали за приближением гайдамацкого войска, стояли стол и несколько стульев. Туда шаг за шагом стал отступать Шафранский. Поравнявшись со столом, он что было силы толкнул его ногой на Зализняка. А тот, очевидно, ждал этого и успел отскочить в сторону. Теперь Шафранский оказался прижатым к невысокому каменному барьеру. Видя, что ему не под силу отбивать сильные удары Зализняка, он в отчаянии огляделся в поисках спасения. В тот же миг Максим ловко рубанул его саблей по голове.

Вытирая на ходу об обитые бархатом перила лестницы саблю, Максим выбежал на улицу. Вскочив на коня, поскакал к гельде *. В ней уже хозяйничали гайдамаки. Гонта сидел под стенами лавки и вершил суд. Кинув поводья Орлику на шею, За-

лизняк взошел на крыльцо и сел рядом с Гонтой на перила.

— Губернатора поймали, — негромко сказал Гонта.

— Где он?

— Я просил его выдать бумаги и кассу — отказался. Выкрикивал оскорбительные слова. Гайдамаков оскорблял. Убили его.

— Туда и дорога, — Максим вынул кисет и закурил. На его лице отразилась страшная усталость.

В последнее время, после известия о смерти Оксаны, он исхудал, почернел. Никто бы не сказал, что ему нет и тридцати, — он выглядел пожилым человеком. Увеличилось число морщин, они солнечными лучами расходились по его лицу от уголков глаз, а под глазами легли широкие круги, и от этого казалось, будто они глубоко запали.

Максим ни с кем не говорил про смерть Оксаны, ни с кем не делился своим горем. Знал — ничто уже не сможет унять его боли, ничто, даже месть.

— Детей губернатора я велел отпустить... — начал снова Гонта, но Зализняк остановил его:

— Много наших полегло возле гельды?

— Нет, не очень. Уманские крестьяне помогли. Осажденных же почти всех уложили. — Гонта наклонился ближе к Зализняку. — Знаешь, Максим, немножко страшно становится. Я только что хотел заступиться за управляющего Скаржинского, тихий такой был себе человек. А кто-то из толпы выстрелил из пистолета, убил его... Католиков заставляют креститься. Уже и попа достали, повели в Михайловскую церковь.

— Они нас тоже не жалели. Еще вчера раненых дорезывали. — Максимовы руки сжались в кулаки. — Думаю, если бы добрым был этот Скаржинский, не стреляли бы в него. Наши люди добро помнят! А за веру христианскую униаты как пытали?! Бороды в клочья рвали, за ноги подвешивали. Нет им пощады! Нет прощения! — Максим поднялся на ноги и выкрикнул в толпу: — Бей, хлопцы, шляхту! Бей униатов!

Напротив, возле длинного амбара, хозяйничал Микола. Посбивал на дверях замки, выкатывал по одному под навес десятипудовые кадовбы* с зерном. Делил Микола хлеб на едоков. Зерно крестьяне насыпали в мешки, он взвешивал его на безмене, держа безмен на весу в протянутой железной руке. Когда кто-либо просыпал пшеницу на землю, молча указывал глазами, заставлял убирать хлеб — он мозолями пахнет. Смерив взглядом маленькую юркую старушонку, которая суетилась возле двух мешков, не зная, как доставить их домой, Микола придержал за узду буланого коня, бросив хозяину, который собирался уезжать:

— Подвези!

Не ожидая согласия, один за другим, словно это были подушки, побросал на воз мешки; схватил в охапку старушонку и посадил поверх мешков под веселый хохот толпы. И сам чуть улыбнулся доброй, почти детской улыбкой.

Наступил вечер. Еще дымились головнями остатки панских хором, а на базарной площади перед гельдой вспыхивали гайдамацкие светильники — костры, еще большие, чем когда-то в Лисянке. Глухо стучали о днища бочек топоры. Звенели золотые и серебряные родовые шляхетские кубки, звучали цимбалы. В длинной, до пят, кирее, в низко надвинутой на лоб шапке между столами ходил Зализняк. Рядом с ним шагал Гонта. К ним тянулись десятки рук с кубками и корцами, знакомые и незнакомые гайдамаки останавливали атамана, упрашивая, а чаще почти требуя выпить. Максим останавливался, пил и снова шел между плотными рядами гайдамаков.

Гайдамаки не вспоминали о сегодняшнем дне. Казалось, не смертельный бой закончили они, а какую-то трудную большую работу, и сели после нее поужинать.

На краю площади Максим остановился. То ли от хмеля, то ли от бессонных ночей и тяжких дум

шумело в голове, перед глазами плыли зеленые круги. Он повернулся к Гонте, показал на гайдамаков рукой:

— Смотри, все они сегодня встречались с глазу на глаз со смертью. А до этого гакой жизнью жили, которая страшнее смерти: голод, нагайки, неволя. Все они видели. Все терпели. И вот сейчас... Недаром сказано: тверда Русь — все перенесет. Гляди, вот исчезает ночь, за нею настанет день. А там снова походы, бои. А с ними, может, и плен, пытки. Все они знают это, знают — и не боятся. Может ли сравниться с нашим какое-либо другое войско, будь то сама королевская гвардия! — Максим прошел несколько шагов, переступил через труп шляхтича с рассеченной головой, свернул под тополь и снова остановился. — Накипело... Так накипело — дальше некуда. Лучше смерть, чем такая жизнь. — Он нагнулся, запалил от головешки трубку. Помолчал. — Разговорился я... Ты не удивляйся, это со мною не часто бывает. Оставайся, а я пойду.

— Куда?

— Так, пройдусь по полям. Ты любишь степь? Я — очень. Свыкся с нею. Еще лошадей люблю. Будь здоров.

Максим пожал руку Гонты и широким шагом пошел через базар. А позади звенели цимбалы, тонко-тонко, захлебываясь, наигрывали знакомую издавна песенку. Ее так любила Оксана:

Ой, пішла б я на музики,
Коб дав батько п'ятака,
Закрутила б я навіки
Молодого казака.

Глава одиннадцатая

РАЗГРОМ

Два дня в Умани не утихал гомон. Два дня пылали в центре города двух- и трехэтажные дома. А на третий перед ратушей собралась многотысячная толпа гайдамаков, наймитов пивоварен, ману-

фактур и окрестных крестьян. Все они сошлись на выборы гетмана. Только одно имя выкрикивали тысячи голосов, одного человека желали иметь гетманом — Максима Зализняка. И когда взошел он на крыльцо, воздух сотрясся и вздрогнул от пушечных и ружейных залпов, стаями птиц взлетели над головами шапки, лесом взвились ружья, косы, пятиаршинные копья.

— Слава гетману Зализняку! Слава батьку Максиму! — звучало над городом.

Уманским полковником был выбран Иван Гонта. В тот же день Максим послал двух казаков поздравить полковниками Неживого и Швачку. Неживой в это время находился в Голте, Швачка — где-то на Белоцерковщине. Перед этим он овладел Фастовом и с отрядом в тысячу человек подступил к Белой Церкви. Но взять ее не смог — его отбили сильным пушечным огнем. Он отошел к селу Блошинцы и остановился там, выжидая подходящего момента.

Свое войско Зализняк расположил не в Умани, а в Грековом лесу. Сколачивал отряды и отсылал их на Брацлавщину, Подолье и Полесье. В городе остался только небольшой гарнизон во главе с сотником Власенком. Вокруг лагеря понаделали засеки, на дороге поставили небольшой частокол из кольев. На краю поляны, под ветвистым дубом, Василь Веснёвский с несколькими гайдамаками построил два шатра — один для Зализняка, второй — для Гонты. Но эти шатры часто стояли порожними: и Зализняк и Гонта редко когда приезжали. Почти все время атаманы были в разъездах, спать ложились там, где заставала ночь.

Однажды Гонта возвращался из дальней волости в поздний час, когда Малый Воз* уже опрокинулся низко над самым лесом. В лесу догорали последние костры. Только недалеко от его шатра кто-то подбрасывал в костер сухую листву, и она вспыхивала ярко, но ненадолго. Видно, не хватило собранного с вечера валежника на долгий разговор. Неслышно ступая в темноте, Гонта шел мимо костра,

и вдруг будто зацепился о невидимую веревку. Чьи-то вязкие, липкие слова упали под ноги, ошеломили его. Полковник прислонился к сосне.

— Пропади оно пропадом, — тянул тонкий голос, — мне в башке лишняя дырка не нужна. За ту дырку в чей-то карман золотой упадет.

— В чей же? — послышался голос, густой, насмешливый.

— В атаманский. Думаешь, для чего они деньги в один казан ссыпают? Чтобы потом тот казан о пень, на равные части и — фьють в Польшу. Прошем бардзо, сами шляхтичи.

Словно горячий тонкий нож вошел в Гонтино сердце. Пусть бы тот нож направила вражеская рука. Ведь панцирь, в который заковал он сердце, — это вера в них, в их правду. Он потерял ее давно-давно, еще тогда, когда вынес из хаты казака Мамая и повесил на его место портрет благодетеля — Потоцкого. Теперь казак Мамай снова возвратился в отчий дом. Так думал он до сего дня. А выходит, он сам выдумал эту правду. И теперь...

Перед глазами вырвался из костра яркий сноп искр. Гонта смежил веки и снова открыл их. Нет, и впрямь искры. Кто-то шагнул через костер.

— Брешешь, собака, — раздался тот же голос, что спрашивал, но уже не насмешливый, а грозный. — Не ради корысти они. Гонта сам растоптал свое богатство. Ради правды, ради всех нас... Его душу золотом не засыплешь, она как гора. Это твою душонку можно схоронить под горстью золотых. Лизал панские блюда и их ложь слизал. И сейчас воруешь. Дай черес!

— Не твой он.

— Мой, наш!

Костер потух. Во тьме послышалось сопение, что-то затрещало, жалобно зазвенело золото.

— Мое! — прорезал ночь дикий, голодный крик.

— Твое! Подавись им, собака! С землей съешь!

Гонта слышал, как тяжело затопало несколько

пар сапог, утаптывая вокруг костра землю, где было рассыпано золото.

Под этот топот он и пошел к себе.

После совета Гонта предложил Зализняку разбить волости на сотни. Максим согласился. Еще раньше, выезжая из городов, Максим оставлял в них атаманов, передавал в их руки всю власть. Теперь ездили с Гонтой по ближним, занятым гайдамаками волостям, устанавливая всюду казацкие порядки, раздавали панскую землю, создавали вооруженные отряды по селам.

Никто не осмеливался больше поднимать над крестьянской головой меч, никто не собирал золотых с политой его потом земли. Еще никогда не держали небольшие крестьянские тока на своих черных, выстроганных лопатами спинах такого количества маленьких копен, никогда не наполнялись латаные мешки таким отборным зерном. Именно поэтому, в какое бы село ни приезжали Зализняк и Гонта, везде они были желанными гостями. И чем меньше в хате были окна и ниже нависала стреха, а на ней виднелось больше заплат, тем приветливее встречали их там. Снова вспомнилась людям старая песня, которую сложили очень давно и пели еще во времена Хмельнитчины. Родившись вторично, зазвучала она от Днепра до Буга над широкими украинскими полями:

Та не буде лучче,
Та не буде краще,
Як у нас на Вкраїні.
Та немає пана,
Та немає ляха,
Немає унії

Впервые за долгое время улыбался Максим. Казалось, даже морщин стало меньше на лбу и возле глаз.

Но рана, причиненная смертью Оксаны, не зарубцовывалась. Часто, словно наяву, видел он Оксану во сне: стройная, высокая, она ласково смотрела на него своими карими глазами, а полные, алые, будто

смоченные калиновым соком, губы шептали нежно-нежно: «Вот и дождалась я тебя, Максимочку. Почему ж ты не подходишь, ну, обними меня».

Максиму рассказывали, что Оксана вместе с другими гайдамаками пряталась в лесу, стояла в дозорах, пробивалась с ружьем через болота, но он почему-то не мог ее представить такой отважной, а только кроткой, улыбающейся, в красном цветастом платке на плечах. Лишь один раз приснилась она заплаканной. Опустившись на скамью, на ту самую, под вишенкой, где они сидели всегда, она жалобно простонала: «Болит у меня, Максимочку, в груди. Конь наступил копытом, болит».

Максим проснулся в холодном поту и до утра бродил по лесу. Лишь на заре вернулся он снова в шатер, измученный упал на кирею. Лежал долго и был рад, когда в шатер, зацепившись шапкой о верхний край полога, вошел сотник Власенко.

— Здоров будь, атаман, — прогудел он таким басом, словно весь век прожил на колокольне. — Собирайся в город, гости к тебе прибыли.

— Кто такие?

— Татары, посланцы какие-то. Говорил им: «Езжайте, нехристи, со мною в лес». Не хотят, боятся леса, как заяц бубна...

...Зализняк принимал татар вдвоем с Гонтой в небольшом купеческом доме, расположенном в предместье Умани. В светлицу их вошли трое. Низенький татарин с хитрым взглядом выступил вперед и, скрестив руки на груди, низко поклонился.

— Да пошлет аллах тебе, великий гетман (при этих словах Максим легонько толкнул Гонту коленом и прошептал: «Ишь, уже все пронюхали»), много лет жизни и доброго здоровья! Я посол каймакана * и приехал к пану гетману из Балты.

Дальше татарин повел речь о любви к гайдамакам, которую носят в своих сердцах каймакан и его приближенные, и о городе Балте, сколько там проживает православных, как расцветает торговля и как там всем хорошо живется.

Долго слушал его Максим, долго ждал, когда та-

тарин заговорит о деле, ради которого приехал. Но речи посла конца не было. Она тянулась, не прерываясь, нудно, словно дождь в осенние дни. Наконец терпение Максима лопнуло.

— Говори, зачем приехал.

— Один аллах ведает, как рады мы видеть тебя гетманом. Наши обозы издавна ходили по этим местам, а в последние годы трудно было торговать тут. Неслыханные пошлины установили губернии, только на одном ввозе через Рось арендатор переправы брал по три кувшина горилки с бочки и по три связки тарани с воза. А сейчас случилась еще большая беда. Не могут свободно ездить купеческие обозы по земле Речи Посполитой, шляхетские войска забирают их. И управы искать негде. Открой, наисветлейший гетман, свое сердце, и пускай часть твоей доброты прольется на нас. Позволь нашим обозам проходить через твои земли.

Максим внимательно слушал татарина. Когда тот кончил, он прищурил глаза и сказал медленно:

— Прикрутило? Прибирают конфедераты к рукам ваши обозы... Некуда проехать? Знаю, так вам и надо... Плели с ними разные козни против нас и доплелись. Приходилось и мне видеть ваши бунчуки впереди конфедератских залог. Скажи, это так? И сейчас еще есть.

Гонта наклонился к Зализняку:

— Может, все же пропустим? Для нас же лучше.

Зализняк кивнул головой и снова повернулся к посланцу:

— Так оно было. Но мы не злопамятные. Вот и пан полковник просит за вас. Я сам жил в Очакове, и сейчас хотелось бы мне видеть ордынцев доброжелательными соседями, так и передайте каймакану. Что же касается торговли, то она к военным делам не относится. Ездите. Да в дальнейшем будьте осторожнее. Идите, я скажу писарю, пусть напишет охранную грамоту.

Когда татары вышли, Зализняк усмехнулся:

— Ишь, добрые какие, хоть к больному месту прикладывай! Знаю я их. Завтра Жилу с несколь-

кими сотнями пошлем в Балту, дела там весьма плохи. Хитрые татары! А обозы их пропустим, и если что-то не так, не в нашу сторону повернется — прижмем их.

— Знаешь, это немного...

— Не благородно?

Гонта утвердительно кивнул головой.

— Брось ты его к чертям, это благородство. Не до него сейчас. Нужно сначала панов выгнать!

— Ты считаешь, их удастся выгнать?

— А разве нет? — удивленно поднял брови Зализняк. — Чего ж ты тогда к нам перешел?

— Разве всегда идут к тем, за кем видят победу? Ты не подумай только, что я сейчас жалею или боюсь чего-нибудь. А шляхту одолеть нелегко. Соберут они войска, наймут солдат. Варшава, что там ни говори! А за нею еще и другие державы стоят. Я же шел туда, куда меня вело сердце.

Зализняк вплотную придвинулся к Гонте.

— Варшава, говоришь. А что, если б нам самим на Варшаву ударить?! Собрать отряды. Ого, сколько их! Ты погляди — вся Украина горит.

— За них Пруссия, Австрия...

— Мы тоже не сироты на этой земле. У нас родичи ближе есть. Русские люди! Ведь испокон веков мы в беде друг другу помогали. Давно следует по-настоящему объединиться. Люди одни, кровь одна. До каких пор мы будем надвое делиться? Наши атаманы давно переговоры ведут. Мы уже послали письмо киевскому губернатору, а теперь в самый Петербург напишем.

Гонта поднялся и подошел к окну.

— Люди-то одни, это правда. В Польше тоже не только шляхта живет. А вишь, как получилось! И в Петербурге царица есть, есть бояре. Как они на все это посмотрят?.. Если бы так, как мы хотим... А поразмыслить: как же могут они иначе смотреть? Тем паче люди образованные, умные. Самый момент левый берег с правым сцепить.

Зализняк подошел к Гонте.

— Это так. Им должно быть дальше видно, чем простым людям... Куда ты загляделся?

Максим выглянул в окно. В соседнем дворе молодица гладила платок. Ей помогал мальчик в длинной, до колен, сорочке, подпоясанной кромкой. Они держали платок растянутым, раскатывая в нем разогретое круглое гало *.

— У меня такой дома остался, — указал глазами Гонта на мальчика. — Да девчушек четыре. Красивые все — в отца. — И, довольный своей шуткой, засмеялся: — Ты женат?

— Нет, была девушка... Ты, кажется, еще не был дома с тех пор, как перешел к нам? — перевел разговор Зализняк. — До Россошек далеко ли отсюда?

— Напрямик верст пятнадцать-двадцать.

— К вечеру вернемся? Поедем вдвоем. Принимаешь гостя?

Зализняк позвал Василя и велел готовить коней.

Восстание нарастало. Грозовой тучей катилось оно по Украине. А туча та из горя и гнева народного соткана: рокочет она громами-призывами, сверкает карающими молниями. Выпав ливнем возле Умани, туча поплыла дальше, все разрастаясь. От нее отделялись и расходились в стороны меньшие тучки, а вместо них приплывали новые и новые. А громы гремели все сильнее, а молнии летели дальше и дальше. Туча уже покрыла не только Киевщину, Черкасщину, Брацлавщину, но и Волынь, Галицию, сеяла мелкой изморосью на Белзчине и в Подкарпатье. Там на горные дороги выходили с кремневыми ружьями и топорцами опришки, останавливали обозы, которые везли шляхте оружие и провиант. Опасными стали для купцов те дороги, опасными и страшными. И не только горные дороги. Уже не везде по Львовщине и по Краковщине помещики спали в комнатах. Они предпочитали ложиться где-нибудь во флигеле или в бане, откуда можно было бы вырваться в поле. В Польше было неспокойно. Слухи о гайдамаках перелетели через границу и помчались

в Пруссию, Венгрию, Молдавию и дальше за море, в Турцию. Крестьяне ловили те слухи на базарах и на улицах, письма о восстании везли в конвертах курьеры королям, князьям, помещикам.

На ярмарках и на улицах люди стали собираться в кучки, шептались между собой. Сновали по гуртам переодетые доносчики, волновалась по замкам и фольваркам знать. Правители приказали усилить стражу на границах, написали польскому королю и русской царице, чтобы не медлили, собирали как можно больше войска и гасили этот огонь, пока он не перекинулся дальше — в Россию и Польшу. Они слали свои советы, предлагали помощь, требовали решительных действий.

У Гонты пробыли три дня. Максим на это время пытался отогнать тяжкие думы: с утра шел на речку и оставался там до полудня — купался, катался на лодке, а однажды даже помог россошским мальчуганам устроить облаву на вертлявых нырков, которых десятка с полтора плавало в заливе. Остаток дня проводил Зализняк в саду, где уже начинали розоветь яблоки, а кусты смородины краснели, словно вымытые багрянцем. С Гонтой за эти дни никаких разговоров о делах не вели. Только раз... Было это под вечер. Максим, примостившись на высокой, как осокорь, вишне за омшаником, лакомился сладкими ягодами, когда на перелазе показался с косою в руке Гонта.

— Вот ты где, а я думал, снова на речку подался. Переходи вон на ту вишню, возле тына. Ягоды на ней уж очень хороши.

— Пускай завтра. На сегодня довольно.

Максим слез.

Гонта бросил косу и сел на краю омшаника, где лежали Максимовы сапоги с наброшенными на голенища полотняными онучами, небольшой кривой нож и новенькая ложка с ручкой в виде рыбьего хвоста.

— Хороша. Сам?

— Сам. А ты бы вырезал?

— Когда-то пробовал. Такую бы нет.

— Хочешь — возьми. Возьми. Не большой цены память, зато сам делал.

Гонта еще раз осмотрел ложку и засунул ее за голенище.

— Скажи, Иван... Этот хутор твой издавна?

— Хутор... Мне его в награду Потоцкий дал. Ты не думай обо мне, будто я посполитых * обдирал. В надворниках весь век прослужил. А отец мой из бедных казаков был, с левобережья, четвертый сын у своего отца, то есть деда моего. Все сыновья были женаты. В хате всем бабка заправляла. И злая была — страх! Обо всем этом я узнал позже, подслушал, как мать соседке рассказывала. Невесток свекруха, как батрачек, гоняла. Одну старшую не трогала — из богатого рода происходила. Немного придурковатая была, счет только до пяти знала, зато богатая. Больше всего моей матери доставалось. Меньшая невестка! И за стол нельзя сесть — подает от печи, только что через чужие плечи успеет ухватить ложкой, то и ее. И выходить свекровь никуда не давала, даже спать не разрешала с мужем. Чтобы детей, значит, не было. На скамье они возле посудной полки спали. А старуха ляжет на полу и стучит ногами по скамье — не ложись... Батько мой долго молчал, а однажды не выдержал — да и скажи слово наперекор. Бабка к нему. Схватила за чуб и давай трясти. Он оттолкнул ее. Она тогда на улицу, косы раскошматила, лицо себе поцарапала. Судил старшина. Чем бы кончилось? Ты же знаешь, как судят за избиение родителей; да писарь надоумил отца упасть перед старшиной бабке в ноги и просить. Простил старшина. С тех пор батько с матерью не захотели жить на отчей усадьбе и отправились на правобережье.

Гонта вынул кисет, набил люльку. Не спеша потер об полу трут, ударил дважды огнивом; от трута потянулся пахучий дымок, защекотал ноздри.

Впервые за все время он так много рассказал о себе. Ни с кем полковник не делился воспомина-

ниями своего детства. Говорить с Зализняком было легко и приятно. Гонта ловил себя на мысли, что ему приятно не столько разговаривать с Максимом, сколько слушать его самого, а то и просто сидеть рядом, думать. Что-то было в том Зализняке особенное, он будто притягивал, привлекал к себе. Взгляд ли был у него такой, или просто влекла его человеческая искренность и проникновенность. Этого Гонта не мог сказать. Одно чувствовал сердцем: Максим большой правды человек. Правильно он сделал, присоединившись к Зализняку.

— А знаешь, как начинать из ничего? Пока расстараешься на хату — полжизни пройдет. Я уже помню... Хата у нас была неогороженная; ни тебе сарая, ни хлева, да и скотины не было; без погреба жили, с квашеным в хате теснились. Еще помню, на огороде верба стояла дуплистая. В ней сычи водились. Ночью так страшно кричали.

Гонта замолчал, ковырял каблуком землю. Молчал и Зализняк. Он видел нежелание Гонты продолжать рассказ и спросил:

— Сад этот ты насадил?

— Только этот ряд, а возле клуни — нет. Старинные там яблони и груши. — Гонта поднялся, попробовал на палец косу. — Хочу траву выкосить. Вишь, какая повырастала.

Зализняк поднялся, и разом на лице его отразилось колебание.

— Иван, — произнес он негромко, — хочу тебя спросить. Только не будешь смеяться?

Гонта удивленно и в то же время несколько настороженно взглянул на Зализняка.

— Если смешное — вдвоем посмеемся. А так, ни с того ни с сего, чего ж смеяться?

— Видишь, как оно выходит. Все бумаги ты за меня подписываешь. И читаешь мне... Темный, неграмотный я. Давно хотел... да стыдно как-то.

— Грамоте хочешь выучиться?

— Хотя бы немножко. На первых порах хоть расписываться... Только пускай никто про это не ведает. Или ты?..

— Отчего же, — поспешил Гонта. И на минуту задумался. — Я с охотой. Только знаешь — не легко это.

— Знаю. Видел, когда бывал у дьячка. Ты тоже со мной не очень. Три пота из меня выгоняй... Я жилистый, выдержу.

— Тогда сегодня и начнем. Вечером в моей светелке засядем. Затягивай пояс потуже: я из тебя не три, а все сто потов выгоню, — улыбнулся Гонта и взялся за косу.

Гонта докосил до плетня, начал делать закос обратно, как вдруг его кто-то тихонько окликнул. Гонта оглянулся. За плетнем стояли двое нищих. Высокий, молодой, и пониже, старый, с длинной седой бородой.

— В хату идите, — махнул полковник рукой.

— А мы... Разговор у нас есть, — вкрадчиво сказал седобородый, наклонясь к плетню. — Привет привезли пану старшему сотнику.

— Привет? От кого бы это? — Гонта приклонил косу к вишне.

— От того, кто питал к тебе наибольшее доверие. Кто одарил тебя. И в чье сердце ты влил много горечи. Но сердце то незлобиво. Оно прощает тебе все. А если окажешь услугу, то на тебя прольются щедроты, доселе тобой невиданные.

Гонта в недоумении уставился на нищих. Что это, шутка? Или и впрямь его хотят купить?

— Пламя это, — нищий показал рукой на Умань, — уже начинает затухать. И ты подумай, пока не сгорел на нем, как мотыль на огне. Только безумец может верить в победу.

«От кого они? — старался разгадать Гонта. — Выдают себя за посланцев Потоцкого. Но, конечно, послал их или Стемпковский, или Браницкий».

— Войска у короля много. А мало будет, Австрия, Пруссия на помощь придут. От Умани до Варшавы веревку из мужицкой кожи протянут...

Об Австрии и Пруссии он говорил то же самое, что Гонта вчера Зализняку. Гонта вспомнил вчераш-

ний разговор и повел плечами, будто от холода. Но нет, пусть он и не верит в победу, но ей, может и неосуществимой, отдаст свою жизнь. Он отдаст ее Украине, ее людям, ее свободе.

— Этот огонь проглотит Варшаву, а встанут за нее Австрия и Пруссия — испепелит и их. А мне страшиться нечего.

— Значит, так?! — В голосе седобородого послышалась угроза. — Не страшишься за себя... Но выводок-то у тебя большой...

Гонта вздрогнул.

— Что? — хрустнул под его руками плетень. — Кто послал вас, иезуиты?

— Мы старцы дорожные, сами по себе ходим, — заговорил старший, стараясь освободить полу свиты из Гонтиной руки.

Но тот не отпускал.

— Брешете!

Гонта нажал на плетень, и он пошатнулся. В то же мгновение младший лазутчик ребром руки ударил полковника по руке. Гонта выпустил старшего и, перешагнув через плетень, схватил за грудь молодого.

— Хлопцы! — кликнул он во двор. — Сюда!

Молодой рванулся, и оба они упали на поваленный плетень. Лазутчик успел вынуть нож, но Гонта изо всех сил стиснул его руки, и тот не смог с силой всадить нож. Скользнул только острием по спине и распорол одежду. Наконец все же лазутчику удалось высвободить руку, но на нее тут же наступил чей-то большой сапог. Над ними стоял Зализняк.

Гонта поднялся.

Лазутчик лежал, распластавшись на земле, испуганно вытаращив глаза. Второго двое гайдамаков вели с огорода.

— Отведите их в погреб, — сказал Гонта и подумал: «Жену и детей нужно перевезти в город».

В штаб корпуса, кроме генералов, были приглашены лишь высшие офицеры: командиры бригад и

полков. Среди них только Кологривов имел чин поручика. Но он был вызван тоже, как командир третьего гусарского полка. Для чего их собрали, Кологривов не успел узнать, он немного запоздал. Пока он разделся и разыскал знакомых офицеров, обе половинки двери, что вела в кабинет командира, раскрылись, и молодой секунд-майор пригласил входить. Кречетников поздоровался с каждым отдельно, указал на стулья. Он долго перебирал на столе какие-то бумаги, недовольно хмурился — видно, не находя ту, что была ему нужна, — и сухо покашливал. Потом высморкался в шелковый платок и заговорил скрипучим голосом:

— Господа офицеры, как вам уже известно, в этом крае, в Польской Украине, произошли большие беспорядки. Крестьяне подняли бунт, перестали слушать своих господ. А это противно всем законам. Вы знаете, как опасно, если бы такой бунт произошел в Великороссии. — Кречетников обвел взглядом присутствующих, понизил голос и стал говорить менее официально: — Граф Румянцев прислал мне вчера письмо, под его защиту бежал от бунтовщиков князь Иосиф Потоцкий. Страшные вещи рассказывает князь. Гайдамаки убивают всех дворян, начальников. Этот бунт может переброситься и в Великороссию, он нарушает спокойствие всей нашей империи. — Генерал снова повысил голос. — Бунтовщики угрожают командам, которые дают убежище польским дворянам. Среди гайдамаков есть наши солдаты. Позор, господа! Нам стало известно, что солдаты роты капитана Сухотина Ряжского пехотного полка вместе с бунтовщиками ограбили поместье помещика Ковалевского; к бунтовщикам также присоединился и один из эскадронов донских казаков; какой-то бандурист (слово «бандурист» Кречетников прочитал по бумажке, лежавшей перед ним) — есть тут такие бродячие музыканты — навел их на дворянское поместье близ Чигирина. К бунтовщикам примкнул обер-офицер Марьянович. А несколько дней тому назад нам стало известно, что посланный с командой для вербовки солдат в пики-

нерию Черного гусарского полка капитан Станкевич тоже изменил присяге.

Кречетников замолк и кивком головы подозвал к себе штабного офицера. Тот вынул из ящика заранее развернутую карту и положил перед генералом. Кречетников некоторое время молча смотрел в нее и, ткнув куда-то пальцем, негромко, словно самому себе, проговорил:

— Сейчас он находится вот тут, в местечке Смела. Уже послали схватить его. — Кречетников откинулся в кресле и положил руки на стол. — Нами получен ордонанс, по которому надлежит совершить военные экзерциции по отношению к гайдамакам. На просьбу графа Румянцева уже послан под Белую Церковь против атамана Швачки полковник Протасев. Приказы о выступлении против гайдамаков направлены полковнику Чорбе и бригадиру Черткову. Нам также велено договориться с кошевым Запорожской Сечи и с Елисанской ордой, чтобы они не пускали бандитов на свои земли. А главное — надо рассеять шайку атамана Зализняка, именуемого чернью гетманом, и схватить его, а также бунтовщика Гонту. Мы долго думали, кто сделает это. Прискорбно, господа, но мы не можем доверить это всем военным командам. Солдаты тоже могут примкнуть к бунтовщикам. Военные экзерциции против Зализняка проведут как наиболее надежные третий гусарский и Каргопольский карабинерский полки. Они почти полностью состоят из верховых донских казаков, людей надежных и российскому престолу преданных. Э-э... — Какое-то мгновение Кречетников держал рот открытым, очевидно пытаясь вспомнить что-то, но, так и не припомнив, снова откашлялся: — Теперь, господа офицеры, вы знаете, как вам поступать, когда близко от расположения вверенных вам полков появятся гайдамаки. Думаю, это всем понятно. — Кречетников поднял голову, впился взглядом в молодого подполковника, командира Рязанского полка, который сидел, полуоткрыв рот.

— Точно так, ваше сиятельство, — ответил тот, — мы им такого зададим, что не только у них, но и

у наших мужиков навсегда отпадет охота бунтовать.

Кречетников не ответил на эти слова, а, кивнув головой, промолвил:

— Можете идти. Андрей Петрович и Георгий Степанович, останьтесь.

Когда офицеры вышли, Кречетников, приказав Гурьеву и Кологривову подождать его, на некоторое время оставил их.

— Много у Зализняка войска? — обратился Кологривов к Гурьеву.

Тот пожал плечами:

— Не знаю, генерал скажет.

— А как вам Станкевич? Такое пятно на всех офицеров корпуса! Разве я не говорил о нем раньше? И все знали: книжки всякие, в карты не играл. Давно его нужно было к отставке вынудить.

Гурьев ничего не ответил, только скривил в загадочную усмешку полные красивые губы и прищурил глаза. Странные они были у него. Заискивающие, масляные и вместе с тем холодные и жестокие.

— Говорят, эти бандиты награбили множество золота, на возах в бочках его возят!

Гурьев не успел ответить, так как в комнату, потирая руки, вошел Кречетников. Он уселся в глубокое удобное кресло, подвинул к себе карту, несколько бумаг и жестом пригласил Гурьева и Кологривова сесть поближе.

— Поговорим подробнее о ваших действиях. Но сначала прочтите грамоту ее величества императрицы. Я уже приказал переписать ее, вы возьмете с собой по нескольку копий. Однако оглашать ее лучше тогда, когда мы разобьем основные силы гайдамаков. Пусть они ничего не знают. Теперь читайте.

«Божьей милостью, мы, Екатерина II, императрица и самодержица всероссийская. Мы вынуждены с крайней печалью слышать, что единоверцы наши, вместо того чтобы приносить всевышнему хвалу, начали творить беспорядки, особливо крестьяне, отбросив необходимое послушание как начальству, так и своим помещикам, затеяли в разных местах убий-

ства и иные богопротивные насилия. Мы приказали неотложно всем нашим начальникам войск, кои находятся как в Польше, так и на ее границах, чтобы они приложили все старания для ловли и искоренения этих разбойников и их сообщников, чтобы они могли быть преданы нужной каре...» Так писала Екатерина II, императрица всероссийская, «покровительница всего православного люда», издававшая книги и журналы, в которых призывала «любить ближних и паче всего поселян», посылала письма великому просветителю Вольтеру с коварной болтовней о равенстве людей на земле, всепрощении, облегчении бедствий народа.

Гурьев разместил свой полк на опушке леса, неподалеку от гайдамацкого лагеря. Каждый день он приезжал к Зализняку и Гонте, несколько раз принимал атаманов у себя. Полковник говорил, что его прислали в помощь гайдамакам, что вскоре подойдет еще один полк и они вместе выступят против конфедератов; а сам все ходил по гайдамацкому стану, намечая, где поставить заслоны, откуда лучше ворваться в лагерь. Все предусмотрел, обо всем позаботился, даже о веревках для связывания пленных гайдамаков. Их накупили в уманской бечевнице и привезли на двух возах.

Гурьеву не терпелось одному напасть на гайдамацкий лагерь, но его удерживал страх. Страх и осторожность. Видел он — нелегко будет одолеть гайдамаков, даже если захватить их внезапно, со сна, как он и рассчитывал. Особенно беспокоил Гурьева атаман. Ему стало казаться, что Зализняк начинает обо всем догадываться и, может, уже готовит ему западню.

Как-то он в окружении нескольких офицеров сидел с Зализняком возле его шатра. Атаман разговаривал с офицерами, показывал им запорожское оружие. Гурьев сначала прислушивался к разговору, а потом прислонился к сосне и незаметно для себя замечтался. В его представлении вырисовывался орден на широкой синей ленте, пышный банкет, пере-

вод в столицу... Подумал о Зализняке: вот он лежит перед ним, связанный, с колодками на ногах... В это мгновение атаман нагнулся к полковнику и что-то спросил. Гурьев повернул голову, и первое, что бросилось в глаза, — нож в руке атамана. Гурьев внезапно вздрогнул и отшатнулся в сторону. Но сразу же овладел собой, по его лицу расплылась льстивая улыбка.

— Пан гетман о чем-то спрашивает?

Наконец под Умань прибыл со своим полком Кологривов. Первым из гайдамаков, кто узнал об этом, был Гонта. Он сразу же поспешил к Зализняку.

— Правду говорил Гурьев, — возбужденно заговорил Гонта. — Пришли гусары. Значит, позаботилась императрица о нас. Теперь нам никто не страшен.

На следующий день Гурьев и Кологривов давали банкет в честь гайдамацких атаманов. Неподалеку от опушки, под раскидистой сосной со сломанной бурей верхушкой, стоял огромный белый шатер. Рядом с ним белели несколько шатров поменьше, за ними — кухни на возах, коновязь. При входе в главный шатер застыли на страже два карабинера — в парадных, до колен кафтанах с медными пуговицами, в белых гетрах и черных с белой оторочкой шляпах. В руках они держали карабины, на поясах у них короткие сабли, через плечо — кожаные сумки с начищенными до блеска медными двуглавыми орлами. Когда Зализняк и Гонта проходили в шатер, оба карабинера, словно по команде, откинули руки и, быстро перехватив ружья, взяли «на караул». Возбужденные и радостные, сидели среди офицеров оба атамана. Где-то за шатром флейтисты бодро играли марш. Гурьев сидел напротив Зализняка, вкрадчиво улыбался, махал вилкой в такт марша.

Офицеры, чего не заметил ни Зализняк, ни Гонта, пили мало. Так им было приказано перед банкетом. Уже наступил первый час ночи, а еще никто из них (чего не случалось никогда) не был пьяным.

Зализняк тоже пил мало, но Гонта не пропускал ни одного тоста. Он уже заметно охмелел. Гонта почувствовал это сам и решил выйти освежиться. Отставив бокал, он поискал глазами шапку. В это мгновение Гурьев громко кашлянул. В шатер вскочили человек десять гусар и окружили атаманов. Максим только тогда опомнился, когда несколько карабинов черными стволами нацелились ему в грудь. Ничего не понимая, Зализняк взглянул на Гурьева и Кологривова. Он даже подумал, не шутка ли это. Вдруг за шатром хлопнуло несколько выстрелов, послышалась ругань, которую заглушил громкий выкрик:

— Беги, атаман, измена!

— Ни с места! — угрожающе закричал Гурьев. — Вяжите их!

Поняв, что сопротивляться бесполезно, ни Гонта, ни Зализняк не оборонялись.

— Я хотел бы знать, что это должно значить? — спросил Максим. — Полковник, так не шутят.

— Какой я тебе «полковник», мужицкое отродье?! — завизжал Гурьев. — Не знаешь, как нужно обращаться к господину? Так я научу. — И он изнеженной рукой со всего размаха ударил Зализняка по лицу.

Микола проснулся от выстрелов, сбросил с головы свиту, — он привык спать, укрывшись с головой, — и вскочил на ноги. Вокруг трещала беспорядочная ружейная стрельба, где-то гремели пушки, глухим стоном отзываясь в лесных чащах. Эхо гуляло среди густого леса, и было трудно понять, где именно стреляли пушки. Микола прислушался. На какой-то миг ему показалось, будто стреляли от засек. И вдруг грохот послышался совсем с другой стороны.

Среди кустов метались гайдамаки, на Миколино «Что случилось?» никто не ответил. Только один крикнул на бегу: «Спасайся, они уже тут», — и исчез за деревьями. Микола хотел бежать к засекам, но внезапно огоньки выстрелов засверкали совсем близ-

ко. Не раздумывая, Микола свернул налево и наскочил на какие-то телеги. То был гайдамацкий обоз. Споткнувшись о дышло, он едва не разбил голову о пень, хотел бежать дальше, и вдруг перед ним вынырнули из тьмы три фигуры. Короткий треск — пуля вгрызлась в дерево около его плеча. Вспышка на мгновение осветила три доломана со шнурками поперек груди, и Микола распознал стреляющих — это были царские гусары. Тогда он, пригнувшись, кинулся за телеги. Те трое, очевидно рассчитывая перехватить его, побежали на другую сторону воза. Микола сделал два шага и присел на корточки. Перед его глазами мелькнули темные пятна ног, исчезли, снова появились возле переднего колеса, застыли там. Молниеносно в голове пронеслась мысль. Он уперся руками в телегу и, расправив плечи, толкнул воз. Тот с грохотом опрокинулся куда-то во тьму. Страшный, похожий на визг стон послышался оттуда.

Микола большими шагами, спотыкаясь о корни и перескакивая через ямы, помчался лесом. Колючие ветви больно хлестали лицо, хватали за ноги и одежду. В одном месте он так запутался в чаще, что едва выбрался из нее. А когда вылез, дальше бежать не хватило сил. Усталый, сел он на землю, прижался щекой к шершавой коре молодого дуба. Закрыл глаза и вдруг вздрогнул, как от холода.

«Что это я?.. Шкуру свою берегу... Может, удастся кому-нибудь помочь. Нужно спасать товарищей». И хотя выстрелы слышались уже совсем редко, что свидетельствовало о конце боя, он поднялся и тяжело пошел им навстречу. Прошлогодние листья мягко шуршали под ногами.

Глава двенадцатая

В ЛАПАХ ПАЛАЧЕЙ

В начале июля полковник Протасев разбил под Белой Церковью Швачку, а Чорба обманом схватил Неживого, заманив его к себе в Галагановку.

Когда польские шляхтичи узнали об оказанной им русскими помещиками помощи, шляхетские отряды, словно стаи голодных волков, бросились по гайдамацким следам. Кровью оросились эти дороги. Черную, нечеловеческую расправу творила шляхта. Даже начальника края гетмана Браницкого и того ужаснула жестокость шляхтичей. Сотни их полезли к гетману с советами, какие тягчайшие пытки применить к пойманным гайдамакам. Резать пленных на куски, сжигать живьем, подвешивать за ребра на крюках, напускать на них голодных борзых псов — такие и подобные советы подавали степенные паны и нежные пани. Браницкий написал королю, что нельзя убивать столько людей только за то, что им нечем было кормиться. Побаиваясь, что обезлюднеет край, он советовал отправить захваченных гайдамаков на работы, наказав их перед этим розгами. Кроме того, Браницкий требовал создания судовой комиссии, чтобы прекратить самосуд, при котором зачастую убивали совсем непричастных к гайдаматчине людей.

Король разрешил создать такую комиссию, назначив председателем ее коронного обозного пана Стемпковского, и повелел рубить руку каждому десятому, заподозренному в гайдаматчине.

Зализняк и Гонта длительное время оставались в лагере у Гурьева. Уже в ночь ареста Гурьев собственноручно избил Гонту, который требовал объяснить причину ареста. На следующий день он устроил перед шатром экзекуцию: Зализняку и Гонте дали по триста ударов палками. Потом заковали ноги и бросили узников в тесные ямы, выкопанные на опушке. Почти ежедневно Гурьев и Кологривов устраивали Зализняку и Гонте допросы. Они пытались узнать, из какого числа отрядов состояло гайдамацкое войско, где эти отряды, кто ими командует. Не давали им уснуть и мысли о драгоценностях, якобы припрятанных атаманами. Об этих драгоценностях по дороге от Бердичева до Умани столько было разговоров между гусарами и карабинерами! Гурьев и Кологривов сами перерыли все возы, приказали пе-

рекопать землю на том месте, где стоял шатер Зализняка, разрушили дом, в котором когда-то проживал Гонта. Но ни золота, ни дорогих вещей нигде не было, как не было и дорогих альтембасов* и китаек *, о которых ходили среди гусар слухи. И чем меньше оставалось надежд найти драгоценности, тем лютее издевались озверевшие старшины над бедняцкими атаманами. А Зализняк и Гонта отказались отвечать на вопросы. Только однажды, когда Гурьев, допрашивая Зализняка, неосторожно нагнулся над ним, чтобы полоснуть нагайкой по шее, Максим изо всех сил обеими ногами ударил его в грудь и громко выругался. Гурьев отлетел на несколько саженей и плюхнулся под ноги карабинерам.

Через неделю в Умань прибыл сам Кречетников. Он поселился в губернаторском доме и, отыскав детей Младановича, временно забрал их к себе. Роль сиротского покровителя пришлась ему по вкусу, и разыгрывал он ее не хуже актера: он ездил с ними по знакомым, приставил к ним гувернантку, покупал подарки.

В среде офицеров еще больше заговорили о добром сердце «отца командира».

Кречетников пожелал лично допросить пленных атаманов. Гурьев хотел привезти их к генералу в город, но тот поехал сам, захватив с собой дочь губернатора Веронику.

— Я знаю, как нужно говорить с этими разбойниками, — сказал генерал. — Увидите, полковник, какой будет успех. У этого Гонты есть жена, дети?

— Так точно, ваше превосходительство, есть жена, четверо дочерей и сын. Жену и девочек арестовали, сын сбежал.

Губернатор взял под руку Веронику и пошел в старенький солдатский шатер, где в это время пребывал Гонта. Вероника сначала даже не узнала старщего сотника: он был весь в синяках, ссадинах, от одежды (синих суконных шаровар и люстриновой черкески) остались одни лохмотья. Гонта лежал на земле. Услышав шаги, он поднял голову, посмотрел

на вошедших тяжелым, усталым взглядом и снова опустил ее. Кречетников долго ждал, надеясь, что Гонта сейчас поднимется, но тот, казалось, не замечал их. Генерал кусал губы, тонкая ореховая палка дрожала в его руке. Забыв о своем намерении говорить с Гонтой ласково, Кречетников больно ткнул его палкой в голову.

— Чего лежишь? Не видишь, кто пришел? Посмотри на ту, кого ты оставил сиротой... — зашипел он сквозь зубы.

— Идите вы вместе с нею ко всем чертям! — не поворачивая головы, ответил Гонта.

Кречетников замахнулся палкой, но нечаянно зацепил Веронику. Та вскрикнула и испуганно отступила назад. Генерал оглянулся и, густо покраснев, опустил палку. Он крякнул с досады и быстро вышел из шатра, едва не сбив с ног Кологривова, который с двумя гусарами при входе стоял наготове.

В тот же день Гонту и большую часть гайдамаков передали польской судебной комиссии, а Зализняка и других русских подданных отправили в Киев, где над ними началось следствие. Там Максиму довелось встретиться со многими гайдамаками из тех, которые пошли не на Умань, а по другим дорогам. Одного за другим их проводили мимо него, чтобы на очной ставке еще раз подтвердить причастность к гайдамачеству.

Это произошло через неделю после перевода Максима в киевскую тюрьму. Следствие вел низенький полковник с приплюснутым, маленьким носом цвета зеленой сливы и хитрыми маленькими глазками, быстро бегавшими по бумаге. Справа от него сидел его помощник, слева, за отдельным столиком, писарь, в прошлом полковой поп, который должен был записывать показания.

Максим стоял у стены между двумя солдатами с оголенными саблями. От стола полковника Зализняка отделяла шеренга солдат из шести человек.

Внешне Максим производил впечатление спокойного человека, но никто не знал, как он тяжело переживает, как жжет у него в груди, как стынет сердце от ужасного оскорбления, неутешного горя, непоправимого несчастья. Почему так случилось? Почему суждено так бессмысленно попасть в лапы врага? Ненадолго улыбнулась воля. Зализняк боялся, что кое-кто из гайдамаков будет отрекаться от своих друзей, унижаться и ему придется болеть душой за их позор. В груди все трепетало, будто до предела натянули там невидимые струны.

Вот следователь направил свой взгляд на дверь. Невидимые струны с огромной силой звучали, вот-вот разорвутся.

— Швачка!

На какое-то время у Максима отлегло от сердца. Этот просить не будет. Звеня кандалами, порог переступил Микита Швачка. Босой, одежда клочьями свисает с плеч. И все же это не делало его жалким. Напротив, вид Швачки гневный, грозный. Максим невольно подался ему навстречу, но острые лезвия сабель скрестились перед ним.

— Знаешь его? — указал полковник Зализняку на Швачку.

— Знаю.

— Кто он?

— Мой побратим.

— Кто, кто? — переспросил следователь.

— Брат по войску, — промолвил Максим.

Полковник кивнул головой: мол, все понятно. Но писарь поднял глаза и вопросительно поглядел на него.

— Как писать?

— Так и пиши. Обвиняемый Швачка в гайдамачестве сознался. Главный атаман, именуемый Зализняком, назвал его братом по войску, сиречь побратимом. Выведите подсудимого.

Швачка подобрал кандалы и пошел из комнаты. В двери на мгновение остановился, повернул голову и широко, ободряюще улыбнулся Зализняку. Впервые Максим видел на лице Швачки такую улыбку.

Сердце заныло от жалости и вместе от радости, гордости за такого побратима.

— Неживой!

Снова зазвенели кандалы; помощник наклонился к следователю и что-то сказал ему. Полковник кивнул головой в знак согласия. Задав те же вопросы, что и Швачке, и получив такой же ответ, следователь, однако, не отпустил Неживого, а приказал ему остаться. По бокам Семена тоже стали солдаты с оголенными саблями.

Допрос продолжался.

— Омелько Чуб!..

— Иван Бондаренко!..

— Максим Москаль!..

— Артем Кудеяр!..

— Омелько Жила!..

И против каждого, после слов «в участии в гайдамачестве сознался», судебный писарь, бывший поп, добавлял слова. «Брат Зализняка по войску, альбо побратим».

При имени Данилы Хрена полковник, что-то вспомнив, подвинул к себе кучу бумаг и, заглянув в одну из них, спросил Зализняка:

— На Запорожье был реестровым казаком?

— Нет, я не реестровый, а самозбройный...

— Василь Озеров!

Ввели Василя. Максим взглянул и покачал головой. Этого человека, русого, с широкими бровями, он никогда не видел.

— Не знаю я его.

— А ты? — обратился полковник к Неживому.

Семен посмотрел на Озерова, и в голове его мелькнула мысль: «Ведь Озерова взяли только вчера, и про него никто из следователей еще ничего не знает, это его первый допрос. Можно попробовать спасти его».

— Я его тоже впервые вижу.

Василь широко раскрыл глаза. Страшно сделалось ему. В самое трудное для него время, когда приходится терпеть оскорбления и пытки от врагов,

свои от него тоже отказываются! Он ждал от них поддержки, теплого взгляда, ободряющих слов...

— Семен! — воскликнул он. — Побойся бога!

Полковник сурово сверкнул глазами на Неживого.

— Значит, вы знаете друг друга?

— Нет. То есть он меня знает. Я хотел сказать... Силой мы взяли нескольких солдат. И его с ними. Он бежал дважды, стреляли в него...

— Как ты можешь говорить такое, Семен!? — в голосе Озерова послышалась такая боль, что Неживой не выдержал.

— Василь, друг, крепись! — искренне воскликнул он.

— Встретились, дружки, — ехидно усмехнулся полковник, а писарь, не ожидая, пока тот продиктует ему, напротив фамилии Озерова написал: «Брат Зализняка по войску, альбо побратим».

Не дослушав до конца ответа Максима, полковник подвинул к себе зеленую, с черными прожилками папку — предыдущий допрос Зализняка, произведенный Гурьевым и Кологривовым, — и стал рыться в бумагах. Отыскав какой-то лист, он прочитал его до половины и поднял голову. Уже было и раскрыл рот, чтобы что-то сказать, как вдруг вскочил, словно его кольнули раскаленным железом, ударился обеими ногами об пол и замер. В комнату медленно, усталой походкой вошел киевский генерал-губернатор Воейков. Взмахом руки он остановил полковника и подошел к столу. Один из помощников следователя метнулся к двери, вдвоем с дежурным штык-юнкером они внесли громоздкое кресло и поставили около стола. Воейков грузно опустился в него, и только тогда поднял взгляд на Зализняка. Дела читать не стал: про ход допросов ему каждый вечер докладывал полковник. Постучал пальцами по ручкам кресла, посадил взглядом следователя, его помощников и снова обратил на Зализняка глубоко спрятанные под выцветшими бровями глаза.

— Так вот ты какой, самозванец!

Уголки Максимовых губ чуть заметно передернулись. Максим откинул со лба прядь русых, липких от пота волос, переступил с ноги на ногу — на полу глухо зазвенели кандалы. Он чувствовал, как его разбирает смех. Пытался сдержать себя и не смог, улыбнулся.

— Вот такой.

И до того непринужденной была та улыбка, так естественно и просто прозвучал этот ответ, что губернатор в первую минуту растерялся. Он чувствовал тонко скрытую издевку и все же не знал, что сделать.

«Крикнуть на него? Заставить молчать? Но он же ничего такого не сказал. Может, никто не заметил? А отчего же тот солдат сжал губы?»

Воейкова охватило огромное желание вскочить, ударить по лицу этого разбойничьего атамана, отправить в карцер солдата и кричать, кричать на всех: на Зализняка, на часового, на следователя, его помощников. Но он сдержался. Вытащил табакерку, поднес к носу.

— Ты будешь только отвечать на вопросы.

— Я и отвечаю.

— Сколько у тебя было войска?

— Не знал я ему счету. Много. Как былин в степи. По всей Украине разошлись ватаги...

— Сколько сотен после взятия Умани насчитывал ты?

— Шестнадцать. Да людей в них было не по сто. В какой двести, в какой триста, а в какой и того больше.

— Для чего людей бунтовал? Чего хотел ты?

— Воли. Хотели мы восстановить казацкие порядки, унию разрушить и панов уничтожить.

— А разве тебе на Сечи не было воли? Разве там не казацкие порядки?

— Сечь... Это еще не вся Украина. Да и воли там не много осталось. — Максим прищурил глаза. — Разве это не вы по Ореле крепостей понаставляли, форпостами и окопами Сечь окружили? И очу-

тилась та воля в подземелье. А мытные рогатки? А поселение Новой Сербии?

— Замолчи, самозванец!..

Но Максима уже нельзя было остановить.

— Не самозванец я. Меня выбрали казаки, простые люди. Они мне перначи * привезли, они вручили их.

— Куда девал те перначи? И где все награбленное тобою?

— Не грабил я. Было немного... у панов люди отобрали. Офицеров своих потрусите, у них осело.

Воейков откинулся на спинку кресла. «Пускай говорит, больше скажет сам, меньше с ним будет хлопот».

— Кто из священнослужителей благословлял тебя на войну и кто правил молебен в Мотроновском монастыре?

Максим покачал головой.

— Этого не скажу.

— А может, скажешь? — негромко, но с ударением спросил Воейков.

— Угрожаешь? Напрасно...

Воейков не стал настаивать. Чего Зализняк не хотел говорить по доброй воле, он не говорил и под пытками. Уже убедились в этом. Пытаться вырвать что-то из него сейчас — только унизить себя перед следователями и солдатами.

— Для чего ты посылал людей к татарам? Хотел призвать их на помощь?

— Это бусурманов на помощь? Ни за что на свете. Сами они послов слали.

— А под Балту кого из атаманов посылал?

Максим снова покачал головой.

— Про людей говорить не буду. И не спрашивайте, — он прислонился к стене, ожидая дальнейших вопросов.

Но Воейков ничего больше не спрашивал. Некоторое время он сидел неподвижно, потом медленно поднялся и, кивнув следователю головой, вышел из комнаты.

Следствие тянулось почти месяц. Несколько раз приходил генерал-губернатор Воейков. Вызывали новых свидетелей, в шкафах вырастали груды бумаг. Заключенных ежедневно подвергали пыткам. Делали это не столько за их прошлые провинности, сколько за то, что их товарищи на воле не прекращали восстания. Гайдамацкие отряды уже после ареста Зализняка и Гонты взяли Балту, Палиево озеро, они действовали всюду, где только были леса. А еще карали узников за бегство пятидесяти гайдамаков. Это произошло ночью, в грозу. Кто-то из часовых солдат открыл дверь одной из камер, и гайдамаки через кабинет смотрителя тюрьмы выбрались на тюремный двор, оттуда по дереву на вал и на улицу. Среди них были Хрен, Чуб, Кудеяр.

В начале августа состоялся суд. Кроме заключенных и членов судебной комиссии, в зале присутствовали лишь конвоиры. Зализняк и Неживой сидели на передней скамье. Максим почти не слушал того, что читали судьи. Он смотрел не на них, а в окно, где пышно цвело во всей своей красе чудесное лето. Оно влекло к себе, туда, на волю, за серые проржавленные решетки. За окном светило солнце. На какое-то время белобокие кудрявые облачка закрыли его, но несколько лучей все же пробились, и казалось, будто длинные сверкающие лезвия прокололи тучки, вонзились в землю где-то далеко за городом. Почему-то вспомнилось село, лес над Тясмином. Но не летний — осенний. Роняет он, роняет желтый лист, и шумит, шумит. Тишина в нем и какая-то чарующая таинственность. В такую пору встретил он в лесу Оксану. Только не ту шаловливую Оксанку, что пасла на берегу ручья овец, а иную, чернобровую лесную красавицу; встретил, впервые возвратившись с Запорожья.

...Максим так задумался, что очнулся только тогда, когда часовой офицер толкнул его под руку:

— Встать!

Председатель судебной комиссии генерал-губернатор Воейков прочитал указ императрицы, а также двадцать первый пункт уложения Алексея Михайло-

вича «О бунтах на царя и воевод». После этого приземистый полковник, тот, что вел следствие, начал читать приговор. Первым был назван Зализняк.

«В силу вышеописанных высочайшего ее императорского величества рескрипта также уложения пунктом воинских артикулов учинить следующее: как из проведенного в Киевской губернской канцелярии следствия явно выявлено...» Дальше шло перечисление «злодейств» Зализняка. Их было записано очень много, и место это полковник читал очень быстро. В конце он снова повысил голос и, медленно выговаривая каждое слово, закончил:

«Зализняка, яко главного нарушителя пограничной тишины, колесовать, живого положить на колесо. Но вместо оного, отмененного, ныне не применяемого, самоважнейше бить кнутом, дать сто пятьдесят ударов и, вырезав ему ноздри и поставив на лбу и щеках указанные знаки, отправить в Нерчинск в каторжную работу навечно».

Максим ничем не проявил волнения. Только при словах «вырезать ему ноздри» на его щеках проступили пятна.

Когда полковник кончил читать приговор, он опустился на скамью и, сжав кулаки, прошептал:

— У меня еще руки будут целы!

Не слышно больше смеха на Украине, не поют вечерами хлопцы, не кружатся в танцах девчата. Некому больше играть им на кобзе, потому что сидят кобзари в темницах, ждут кары. А которые остались, прячутся с остатками гайдамацких войск в дремучих лесах, жмутся в долгие холодные вечера к кострам, тревожат печальными песнями израненные сердца. Вытоптала шляхта лошадьми цветники у хат, под смех и глумление повырубила саблями красную калину под окнами. Грустно-грустно воют по ночам на пепелищах при свете луны собаки, да серыми тенями скачут в обгоревшие трубы бездомные коты. А шляхта не утихала. Каждого хоть немножко заподозренного в гайдамачестве крестьянина

ждала страшная кара: сотнями сажали их на колы, вешали, резали им ноздри, били нагайками. Больше всего людей было казнено возле местечка Кодня, в котором заседала судебная комиссия. Недобрую славу получило это небольшое местечко. Долго-долго страшным проклятием звучали по Украине слова: «Чтоб тебя Кодня не миновала». За короткое время там отрубили головы семистам гайдамакам.

В Кодне же судили и Гонту. Неслыханную, нечеловеческую кару придумала для него озверелая шляхта. Пытки должны были происходить четырнадцать дней. В первые восемь дней палач должен был снимать полосы кожи со спины, потом отрубить нос, уши, на одиннадцатый день — ноги, на двенадцатый — руки, на тринадцатый — вырвать сердце и только на четырнадцатый отрубить голову. И уже мертвого четвертовать, а части тела поразвешивать над воротами четырнадцати городов.

...Последняя ночь. Гонта лежал на земле около полога шатра. Полог развернулся, и сквозь отверстие был виден кусок неба с большими белыми звездами на нем. Гонта долго вглядывался в них. Ему казалось, будто они то отдалялись, меркли, то снова приближались и тогда дрожали, словно слезы. Над самым краем отверстия повис опечаленный месяц, как будто заглядывал в шатер. А вокруг тишина немая, глухие шаги часового офицера.

В дальнем углу шатра лежал какой-то парубок-поляк. Его положили сюда по приказу Стемпковского, «чтобы пану полковнику не было скучно». Стемпковский считал, что хлопец будет плакать, метаться в отчаянии и тем отравит последнюю ночь Гонты, расстроит его вконец. Но Стемпковский ошибся. Хлопец лежал тихо. Только изредка шевелился и глубоко вздыхал. Он не мешал Гонте думать. Вся жизнь проплывала перед глазами полковника. Картины детства сменялись воспоминаниями со времен парубкованья, потом служба в надворном войске, и снова он видел себя босоногим мальчуганом в длинной сорочке с веревочным кнутом в руках. Иногда он так глубоко задумывался, что даже забывал, где

находится. Но внезапно налетал ветер, полог ударял по шатру, шуршал, и видения отлетали. Полковник не боялся смерти, но такие муки! Только бы побороть боль, только бы не показать врагам страха. О, он знал — для шляхтичей не будет большего удовольствия, как увидеть на его лице испуг, услышать из его уст слова мольбы.

Из дальнего угла, где лежал связанный парубок, послышался приглушенный стон.

Гонта оторвался от своих мыслей.

— Это ты, хлопче? Кто ты такой?

— Как кто? Гайдамак. Джура Швачки. Яном прозываюсь.

— А мне казалось, будто я тебя где-то видел. Словно бы у Зализняка.

— Нет, у Швачки я был. А-а! — громко воскликнул хлопец и сразу снизил голос. — То вы моего брата видели — Василя, он на меня очень похож.

— Может. А где он?

— Бежал, мне один казак рассказывал, — радостно зашептал Ян, — нету его тута. В Причерноморье подался.

Наступило длительное молчание. Вдруг хлопец тяжело вздохнул и глухо, будто выжимая слова из глубины груди, спросил:

— Дядя, дядя Гонта, а вам страшно умирать?

— Страшно, хлопче. Да и как же иначе? Не станет, к примеру, меня завтра. А солнце так же взойдет, как всходило. Люди так же будут ходить, птички будут петь, погожему дню радоваться... У меня на осокоре гнездо аисты свили. Аистенки из него такие смешные выглядывали. Как они учились летать: вылезет на край гнезда, встанет и машет крылышками...

Ян слушал, и ему казалось, что Гонта улыбается. Он через силу поднялся на локте и поглядел на полковника. Действительно, на губах у Гонты блуждала задумчивая улыбка. Месяц светил полковнику прямо в лицо, и оно казалось бледным, даже прозрачным. Только прямые, чуть загнутые брови выде-

лялись на нем да вокруг рта залегли темные тени от усов.

А Гонта продолжал:

— Полетят они в теплые края и снова вернутся. А я уже их не увижу. Люблю я жизнь. Хорошо жить на свете. Смерть? Страшна она. Однако бояться ее нечего. Недаром мы умираем. Вспомнят нас когда-то люди. Все вспомнят. Немалую памятку мы о себе оставляем. Послужит она другим наукой. Припомнят внуки дедов своих, и кровь в них закипит. А я верю: будет когда-то на земле счастливая жизнь. Ни войн, ни панов, ни подпанков... Они, они людей истязали. Из-за них жизни нет.

— Пан Гонта, при такой ненависти к панам как же вы жили с ними столько лет?

— Не знаю... Как тебе сказать... Заплутался было я. Видел все, а сам на себя туман напускал, обманывал себя. Это, мол, только так кажется. Испокон веков все это было, и сытые и голодные... А потом вижу: нет сил терпеть. Совесть замучила. Не имел я от нее покоя. Не мог я больше смотреть, как паны людей мучат... — Гонта заскрежетал зубами.

— Может, веревки сильно трут, я ослаблю, — возле Гонты присел на корточки караульный офицер.

Полковник удивленно взглянул на него и покачал головой.

— Нет, не нужно, — и отвернулся.

Но поручик не уходил. Он посмотрел в глубь шатра, минуту поколебался и поспешно зашептал:

— Пан полковник, завтра со всем земным у вас будет покончено. Был у вас пояс с бриллиантами и золотом, все об этом говорят. Я бедный офицер. — Поручик снова посмотрел в глубь шатра и огляделся вокруг. — Скажите, где он, и я облегчу ваши страдания.

Волна гнева густой пеленой застлала на миг Гонте глаза. Офицер хочет заработать на чужой смерти! Гонта знал этого шляхтича, не был он бедным. А может, его подослал сам Стемпковский? Не

дождутся! Полковник, сдерживая гнев, притворно вздохнул и тихо промолвил:

— Завтра, в час кары, я скажу, где он.

...День выдался жаркий, солнечный. Стемпковский и еще несколько высших чинов, знатных шляхтичей спрятались в тени дикой груши, все другие стояли под жгучими лучами солнца. Поглядеть на Гонтину смерть сошлись сотни богачей. Они кучами толпились против двух вкопанных в землю столбов, курили, пили привезенный ловким лавочником квас на льду, делились новостями. Но вот резко затрубили валторны, глухо ударили барабаны.

— Ведут, ведут!

— Где он?

— Передний, с оселедцем.

— Теперь вижу. Ух, глупые, нечестивые хлопы!

— Мало того, что нечестивые, еще и трусоваты. Увидите, как он сейчас будет ползать на коленях.

— Глядите, матка боска, он смеется!

Стемпковский тоже увидел улыбку на губах Гонты и зло поморщился.

— Он сейчас не так посмеется, — прошептал соседу, седому усатому полковнику.

Гонту за руки и ноги распяли между столбами. С полсотни гайдамаков пригнали сюда, чтобы они посмотрели на муки атамана.

Стемпковский подал знак рукой. Палач ловко закатил выше локтя рукав, в лучах солнца сверкнуло острое лезвие бритвы и упало на Гонтину спину. Еще раз, еще. Стемпковский следил за лицом Гонты, но на нем, как и прежде, застыла улыбка.

Поручик, который просил у Гонты пояс, стоял в переднем ряду толпы. Он делал шаг за шагом и, сам того не замечая, очутился возле самых столбов. Его глаза умоляюще смотрели на Гонту. В это время палач в последний раз взмахнул бритвой и сквозь стиснутые губы выжал:

— Готово.

Гонта смотрел перед собой глазами, полными слез. Но это не были слезы отчаяния, это были слезы боли. Гонтины глаза смотрели не бессмысленно,

а остро и гневно. Никто не успел опомниться, как он огромным напряжением мышц выдернул из петли левую руку и, выхватив из рук палача полоску кожи, швырнул ее поручику в лицо.

— Вот мой пояс с золотом! — Он повернул голову к Стемпковскому. — Слушай, пес шелудивый, ты говорил, что мне больно будет. Соврал ты, как всегда. А вот тебе и вам всем, глупая шляхта, еще больно будет. Думаете, схватили Гонту, на этом и конец? Берегитесь, прийдет и на вас, нелюдей, кара! Хлопцы, не бойтесь! — крикнул он гайдамакам. — Смейтесь над ними, плюйте им в глаза...

— Возьмите его, держите! — не помня себя, завизжал Стемпковский.

Какой-то шляхтич схватил комок земли и кинулся к Гонте, чтобы заткнуть рот. Но Гонта сильным ударом свободной руки сбил его с ног, а сам продолжал говорить. Он замолк только тогда, когда кто-то ударил его прикладом по голове. Гонта потерял сознание. Его забрали и понесли с места пытки.

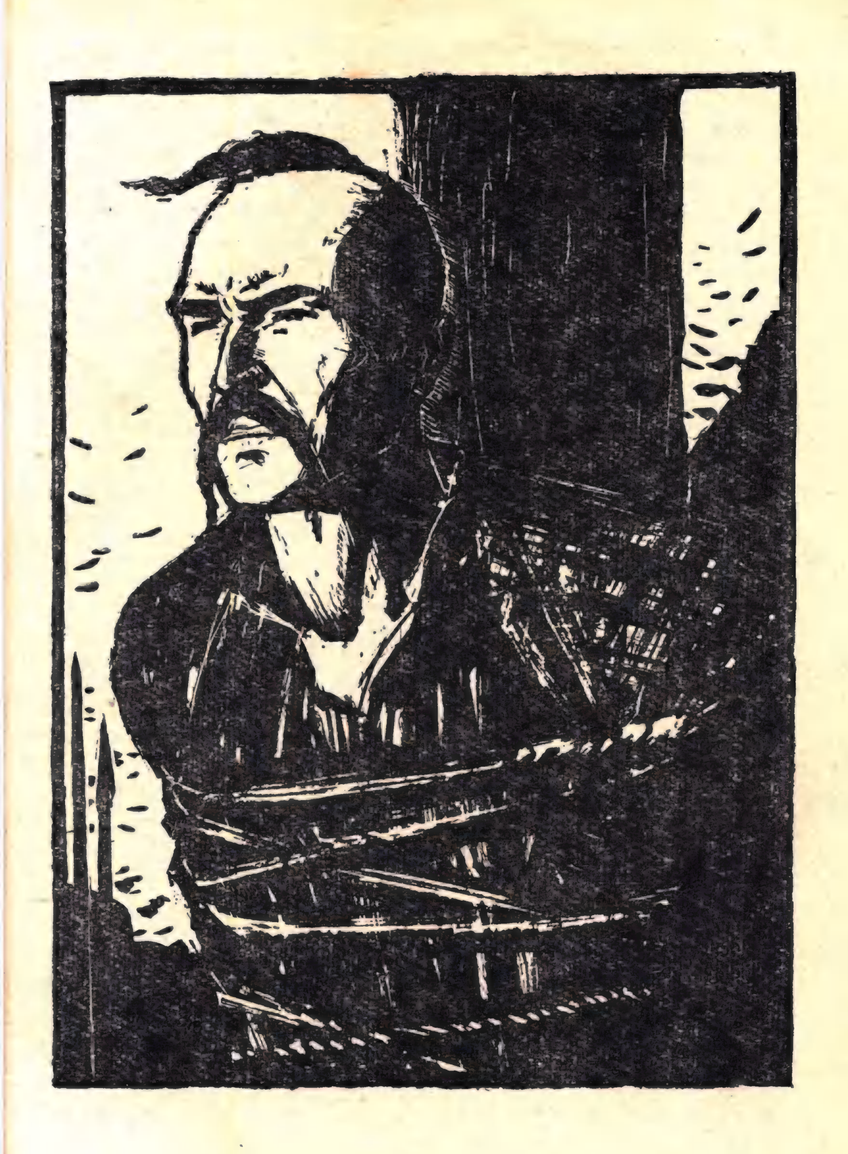
На следующий день повторилось то же самое. Еще никто никогда не держал себя с таким мужеством, как гайдамацкий полковник Иван Гонта. Под конец второго дня пыток один из часовых бросил саблю и, закрыв лицо руками, побежал в поле.

А на третий — сам Стемпковский стоял далеко от места казни. Сюда уже не долетали колючие Гонтины слова. Отсюда уже не было видно его острых, как лезвия гайдамацких ножей, глаз.

Но пытки больше не продолжались. Приехал гетман Браницкий и приказал казнить Гонту. Гонта умер так же мужественно, как и принимал муки.

С запада надвигалась темно-сизая туча. Она медленно ползла по небу, ее оборванные края тяжело свисали вниз, к самой земле. Казалось, она вот-вот зацепится длинными грязными косами за верхушку одинокого дерева, что маячило на горизонте.

И конвоиры и арестанты ускорили шаг.



— Взгляни, как темнеет. Видно, не дойдем сегодня до острога, — сказал Жила Зализняку, который шел с ним в паре. — Вишь, вон и чины забегали. Косолапый мотается, как блоха в ширинке. Не остановимся ли прямо в поле?

— Когда б такое случилось. Только леший его знает, сколько до того острога. Может, он вот-вот выткнется. Спросить бы кого...

Максим споткнулся и, сморщившись от боли, сдвинул наручник на левой руке. Кисть руки оголилась, открыв сплошную красную рану с черными пятнами полузасохших струпьев.

Жила оглянулся. Неподалеку от него шло двое конвоиров. Но он знал — их лучше не спрашивать. Он бросил взгляд вперед и увидел, что навстречу идет еще один конвоир.

— Бородатый в хвост прет. Этого можно спросить. Эй, ваше благородие, до острожка далеко? — крикнул Жила конвоиру, когда тот поравнялся с ним.

— Верст восемь. Шевелись, шевелись!

Остальные конвоиры тоже стали подгонять арестантов.

— Если сегодня заночуем в поле или где-нибудь в селе — будем бежать, — прошептал Максим.

— Места незнакомые. Чтобы не было, как возле Ахтырки. Переловят по одному, — отозвался Жила.

— Всех не переловят. Тогда тоже многие бежали. А тут еще ночь-матушка, поле. Когда казак в поле, тогда он на воле. Я вторично живым в руки не дамся. Лучше смерть. Ты что-то молчишь, может, боишься?

Жила покачал головой.

— Ты меня знаешь. Хлопцев нужно загодя предупредить. У кого второй напильник?

— Кажется, у Озерова. А туча какая, погляди. Как вороново крыло. Не снеговая ли, вот и ветер холодный. Смотри, начальник свернул. Наверное, к тому хуторку поворачиваем, — пристально поглядел вперед Зализняк.

— Верно. Это совсем неплохо, — промолвил Жи-

ла и, прикрываясь от ветра рукавом, крикнул: — Василь, кресало у тебя?

— ...ме-е-ня, — послышалось в нескольких шагах впереди. — А что, на табачок разжился?

— Разжился. На всех хватит. Так и передай передним. А кресало приготовь. Эх, и курнем же!

ЭПИЛОГ

Дед Мусий уже давно отбазарил, но домой не спешил. Попросив знакомого хуторянина приглядеть за возом, он пошел по майдану посмотреть на товары, а вместе и послушать новости. Долго толкался между людьми, но, как на грех, знакомые не попадались. Незнакомые же на разговоры были не очень охочи. Не те времена настали. За одно неосторожное слово в темнице можно оказаться. Попасть туда легко, а попробуй выбраться! За последние три года сколько людей забрали. Много ходит по базару на первый взгляд веселых, охотно болтающих людей. С виду будто бы свой брат, посполитый, в порванной свите, постолах, а то и совсем босой, выспросит все, а потом вытащит свисток и засвистит в него. Как собаки на звук рожка, со всех сторон так и посыплются на тот свист переодетые тайные чины. Сейчас их особенно много. Будто бы на Дону казачья беднота подняла бунт против царя, атаман Пугач своих людей повсюду разослал, вот и ловят их.

Говорят, был когда-то этот Пугач на Украине, знался с запорожцами и гайдамаками. Знать, недаром святили гайдамаки ножи. Далеко увидели их отблеск, на самом Дону.

Дед уже думал возвращаться назад, как вспомнил, что забыл купить соль. Пробрался за палатку, туда, где стоял обоз астраханского купца, остановился перед возами, поглядывая, как бы обойти их. Вдруг рядом с возом послышались голоса. Дед Мусий прислушался.

— Кто ж тебя держит? На Яик-реку рукой подать.

— За это нашего брата на кобылу кладут.

— Всех русских людей да казаков донских, и запорожских, и яицких на кобылу не положишь.

Один из голосов показался деду Мусию знакомым. Он хотел нагнуться, но тут вдруг из-за полудрабка высунулось бородатое лицо и пара настороженных глаз неприветливо поглядела на него. В первую минуту деду Мусию это лицо показалось очень знакомым. Присмотрелся пристальнее — нет, этого человека в полуоблезлой, когда-то серой казацкой шапке он видит впервые.

Из-под воза выглянула и вторая голова, очевидно возницы из купеческого обоза.

— Тебе чего?

Дед не стал дожидаться, пока его угостят люшнею, и заспешил от воза, позабыв даже про соль.

«Значит, правда, что русские казаки на царицу и бояр бунт подняли. Где ж эта Яик-река? За Доном?» — думал дед Мусий, направляясь к своему возу.

— Что нового слыхал? — спросил хуторянин, капая из бутылки сквозь проколотую швайкой в затычке дыру постное масло на притрушенную солью краюху хлеба.

— Ничего. Я и не ходил никуда. Постоял, посмотрел, да и назад. Гей, серый, вставай!

Волы неторопливо шагали по дороге, мерно покачивалась под возом мазница, поскрипывало на бугорках дышло. Дед Мусий шел позади воза и в задумчивости смотрел, как двумя волнами сбегает за колесами в колее песок. Дед никогда не садился на воз; даже когда ехал порожняком, за лагункой дегтя, и то оба конца делал пешком, разве что когда очень уж уставал, брался за люшню. Но в последний год дед почувствовал, что ходить столько уже не может. Старость крепко ухватила его рукой за полы, пригнула к земле, покрыла желтизной сморщенное лицо.

Начинался сосновый бор. Воз затарахтел по корням, протянувшим свои жилистые руки через дорогу, потом снова под колесами заскрипел песок. В лицо повеяло густым запахом смолы.

«Рано я стал поддаваться, — думал дед Мусий.— И кто в этом виноват? Вечные нехватки. Весь век так: в мельницу несешь невеяное, в квашню сыплешь несеяное. А паче всего — неволя, панская работа. Дед мой в восемьдесят лет десять пудов на спину забрасывал...»

Дед Мусий поднял голову и от неожиданности вздрогнул. На обочине дороги, пропуская волов, стоял какой-то человек. Дед присмотрелся внимательнее, узнал в нем того самого незнакомого в полуоблезлой казачьей шапке, который выглядывал из-под воза.

— Подвезешь, диду?

Старику хотелось сказать: «Здоровый, и пешком дойдешь», но сдержался. «Всякие люди есть. Одному скажешь — промолчит. А иной по затылку заедет, и на старость не поглядит».

— Садись, — неохотно сказал дед. — Только не знаю, куда тебе, человече. Я в лес еду.

Человек на воз не сел, а пошел рядом.

— А зачем, диду, в лес едешь?

— Живу там.

— Выходит, тебя не потревожили за гайдаматчину?

— Что ты плетешь, какую гайдаматчину? — испуганно пробормотал дед. — Побойся бога.

— Значит, и ты, диду, не узнал меня? А сколько мы вместе с атаманом Неживым гостили у тебя. Еще когда-то я тебе диких уток настрелял.

— Омелько? — недоверчиво посмотрел дед Мусий. — Он. Я, матери его ковинька, всю дорогу думал, где слышал этот голос?

— Омелько и есть. Вот что борода делает, жаль только — рыжая, как у поповой кобылы хвост, — усмехнулся Чуб и, помолчав, серьезно добавил: — Я тебя, диду, сразу узнал. Видно, доля тебя мне послала. Буду говорить прямо, может, я и так напрасно сюда забрел. Скажи: из наших кто-нибудь в волости есть? Я не один, с хлопцами.

— А где они?

— Да там, меня дожидаются, — уклончиво ответил Чуб. — Так как же, есть?

Услышав такой ответ, дед Мусий тоже насторожился. «Может, повыспросить у меня хочет, — размышлял он. — Бес его знает, где он ходил и кому сейчас служит».

— Не знаю, может, и есть кто. Нигде я не бываю.

Чуб остановился. Дед Мусий тпрукнул на волов и тоже остановился.

— Что ж, поезжай тогда, диду, я сам в село наведаюсь. Не рад ты, неприветливо принимаешь. И в гости даже не позвал. Скажи хоть, как живешь теперь?

— Живу... При дочке и зяте. Они тоже в лес перебрались. Заходи в гости. А кого тебе в селе надобно?

— Всех, кто есть из наших. Слышал, может, атаман Пугачев на Дону казаков поднял? Призывает всех бедных людей добывать себе вольности. Вот мы и идем туда, я и еще десяток хлопцев. Трое вместе со мною в гайдамаках ходили. И за Дунай вместе бежали. Думал, может, еще кто пристанет. Охотнее гуртом, и идти безопаснее.

— Вон как. — Дед помолчал. — Оно правда, в гурте и каша вкуснее. А ты за Дунай махал? Или, может, служишь на кого?

— Вон ты, диду, о чем! Разве бы мне простил кто-нибудь гайдамачество? Плохо ты обо мне думаешь. Ну, это твое дело. Бывай!

— Подожди, Омелько!

— Некогда мне ждать.

— Вот еще мне беда. Вели медведя к меду — уши оторвали, тянули от меда — оборвали хвост. Так и у нас выходит. Не решился я поначалу: никому не верь, такие теперь времена настали. Езжай со мной.

— Зачем?

— Поехали, говорю. В лесу, неподалеку от моего двора, хлопцы прячутся. Я сведу тебя с ними.

— Это другой разговор.

Всю дорогу они рассказывали друг другу о своей жизни. По приезде домой дед подозвал зятя и послал его куда-то в лес, а сам пошел задавать корм на ночь скотине. Чуб остался во дворе. Он видел, как из кустов вышли семеро людей. От деда Мусия он уже знал, кто скрывался в лесу.

Увидев давнишних товарищей, Омелько не выдержал, бегом кинулся навстречу. Крепко-крепко, как с родными братьями, обнялся с Миколой, Хреном и остальными гайдамаками. Потом все уселись на колоде под хатой, и поплыла длинная беседа.

Когда дед управился со скотом, он тоже подсел к ним. Гайдамаки закуривали уже по второй трубке. Не перебивая речи Чуба, Микола нагнулся к деду Мусию:

— Слышали, диду, Омелько рассказывает, будто Максим на Дону.

— Максим? Откуда бы ему там взяться?

— Как откуда? Думаешь, как заковали его паны, так и все? Нет таких кандалов, которых бы не разбил Максим. Верю: он там. Люди напрасно говорить не станут.

Дед Мусий кивнул головой.

— Правда, орлиный клекот из-под туч слышно. А ты-то теперь как?

— Да уж не пойду снова на панов спину гнуть. На мертвых на них только могу глядеть. Да и что толку сидеть тут в лесу? С Чубом иду. Вместе волю будем добывать. Добудем ее там, так и тут она будет.

Чуб стал собираться.

— Мне пора. Я хлопцам сказал, что сегодня вернусь. Значит, ждем вас завтра в камышах за монастырем.

Чуб попрощался и пошел. Дед Мусий проводил его за ворота и вернулся назад. Гайдамаки тихо советовались.

— Идите, хлопцы, заберите из куреня, что у кого есть, и приходите в хату, — сказал дед Мусий. — Повечеряем, по чарке выпьем. Спать в хлеву ляжете. Я буду сторожить и подниму на рассвете.

Всю ночь не смежил глаз дед Мусий, оберегал гайдамаков. Грустно-грустно было у него на душе. Тяжелые воспоминания заполнили седую голову. Но у него и мысли не было удерживать гайдамаков, отговаривать их. Так и просидел он до утра на колоде, выкуривая трубку за трубкой. А когда взошла утренняя заря, разбудил гайдамаков, проводил их далеко, за самый байрак, где расходились две лесные дороги. Около молодого ветвистого клена все остановились. Там и попрощались. Последним подошел к деду Микола.

— Иди, сынок! Пусть счастье будет с тобой во всех твоих делах. Я бы и сам пошел. Лета мои... — Дед смахнул непрошеную слезу. — Справедливо ты говорил вчера про волю. Тяжело ее добывать. Ой, как тяжело! Но верю — добудут ее когда-то люди.

Микола в последний раз обнял деда и побежал догонять товарищей.



СЛОВАРЬ НЕПОНЯТНЫХ СЛОВ

Ага — старшина, начальник у татар, турок.
Адверсор — противник.
Аир — болотное растение.
Альтембас — род парчи.
Аргатал — работник, наемник.

Байдак — большое речное судно.
Бакун — сорт табака.
Бокун — отгороженное место в церкви для старшины.

Ваган — продолговатая деревянная миска для еды, вроде деревянного корытца.
Волока — завязка.
Войт — сельский староста.

Гайдук — солдат надворной стражи.
Гало — круглый стеклянный шар, который служил утюгом.
Гельда — укрепление в центре города.
Гузырь — место, где завязывается мешок.

Джура — казацкий слуга-товарищ, оруженосец в походах и битвах.
Диссидент — раскольник, отступник
Довбешка — молоток деревянный, ступа.
Довбиш — литаврщик.
Дойда — охотничья собака.
Дука — богатей.
Дуля — кукиш.
Дядина — жена дяди.
Жлукто — род кадки, выдолбленной из цельного дерева для бучения белья, полотна.

Запаска — женская одежда, кусок шерстяной ткани, заменяющий юбку.

Зимовник — селение; зимнее жилище запорожца за пределами Сечи.
Золотарь — золотых дел мастер, ювелир.

Инсигатор — церковный титул в католической церкви.

Кавун — арбуз.

Кадовб — плетенная из соломы большая кадка для зерна.
Каймакан — начальник санджака (округа) у татар.

Канчук — плеть, кнут.
Карбованец — рубль.
Карнавка — кружка для сбора церковных денег.
Кашник — горшок для каши.
Кирея — длинная суконная одежда, подобие плаща.
«На кирею встать» — казацкая дуэль с близкого расстояния — на концах разостланной киреи.
Китайка — ткань.
Клейноды — атрибуты власти, регалии.
Ключ — несколько деревень или хуторов, составляющих одну общину или одно имение.
Кобеняк — род мужской верхней одежды типа бурки, с капюшоном.
Кош — Запорожская Сечь.
Копа — 50 копеек.
Куль — вымолоченный сноп.

Лайдак — ругательство: мерзавец, подлец, негодяй, прохвост, прощелыга.
Луг («Казак из Луга».) — Луг, Великий Луг — так называлась у Запорожцев низменность по левой стороне Днепра ниже острова Хортицы.

Макотра — большой глиняный горшок для хранения муки, масла.
Макуха — жмыхи, выжимки; избой.
Малый Воз — созвездие Малой Медведицы.

Налыгач — веревка, связывающая рога волу или корове.
Низовик — казак, выходец из низовья; запорожский казак с низовьев Днепра.
Нукер — телохранитель.

Официал — служащий.
Очипок — головной убор замужней женщины, вроде чепца.
Паланка — небольшое укрепление, обнесенное частоколом.
Палисад — забор, ограда из тычин; военный палисад состоит из сплошного частокола.
Панщина — барщина.

Пернач — булава, в которой вместо шара ряд металлических дощечек, расположенных вокруг стержня (называющихся перами); знак власти полковника.

Плав — небольшой островок, образовавшийся из камыша и других растений.

Плахта — женская одежда вместо юбки: кусок толстой шерстяной ткани в виде длинного четвероугольника, сшивается с другим таким же куском; на половине плахта перегибается и обертывается вокруг талии.

Посполитый — крестьянин.

Пригребица — вход в помещение гончарни; передняя часть погреба; свод под ступеньками.

«Пугу! Пугу!» — «Казак из Луга» — казацкий пароль.

Пьятро — полки у горшечника, на которые ставится готовая посуда.

Реент — регент.

Ретрашемент — земляные укрепления.

Рядно — толстая пеньковая ткань, род плотной и толстой дерюги; род простыни или одеяла из такой ткани.

Семак — семь копеек.

Сенатус консилиум — заседание Сената.

Ситняг — болотное растение.

«Строго горлом» — покарать на смерть.

Титарь — ктитор, церковный староста.

Тузулук — уха; соляной раствор для рыбы.

Универсал — послание короля сейму в старой Польше.

Фигура — сооружение из 20 бочек, поставленных одна на другую.

Хоругвь — известный отряд войск; знамя.

Червонная Русь — так называли Галицию в старину.

Шеляг — старинная мелкая монета.

Ясырь — добыча, состоящая из пленных.

Ятка — балаган, палатка на базаре, на ярмарке.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

После знаменитой Переяславской Рады Россия и Украина вели продолжительные войны с Польшей, которая не хотела мириться с потерей украинских земель.

В 1667 году между Россией и Польшей был заключен так называемый Андрусовский договор, по которому Украина делилась на две части: Левобережная отходила к России, Правобережная (исключая Киев) — к Польше. Больше ста лет (до второго и третьего раздела Польши) Днепр оставался границей разделенного на две части единого народа.

Украинские земли по правой стороне Днепра оказались в руках польских магнатов. Непосильное бремя панщины упало на плечи украинского крестьянства. Его хищнически эксплуатировали польские и украинские феодалы, арендаторы имений и шинков, сборщики податей и судейские чины. Нищета прочно поселилась в крестьянской хате. Отбывая панщину, которая иногда достигала шести дней в неделю, крестьянин был еще обязан платить подати. Он платил за сбор грибов и ягод в лесу, за переезд через мост, за помол зерна, за окна в избе, — и не платил разве только за воздух.

Наряду с усилением социального гнета усиливался и гнет национальный. Украинский народ насильственно приводили к унии, православная церковь оказалась под запретом.

Но гнев народный не угасал никогда.

Доведенные до отчаяния, крестьяне восставали против своих поработителей, на протяжении почти всего XVIII столетия польским панам то и дело приходилось гасить одно восстание за другим. Борясь за освобождение от крепостнического и национального гнета, украинские крестьяне вместе с тем боролись за воссоединение с русским народом.

Повстанцы на Правобережье назывались гайдамаками. Особенно яркими были гайдамацкие восстания в 1734 году, 1750 году. Огонь восстания катился по Киевщине, Брацлавщине, Подолии, Галиции, перехлестывая даже через высокие Карпаты. И долго-долго звучали в песнях перехожих певцов — кобзарей имена гайдамацких ватажков Верлана, Гната Голого, отважного опришка (так назывались в Галиции гайдамаки) Олексы Довбуша.

Самым значительным из гайдамацких восстаний было восстание 1763 года, известное в истории под названием Колиивщина. Его возглавляли славные сыны украинского народа Максим Зализняк и Иван Гонта. Восстание охватило всю Правобережную Украину, докатилось до Карпатских гор. Польская шляхта, разбитая гайдамаками в нескольких сражениях, обратилась за помощью к русскому правительству. Восстание было потоплено в крови народа. Но отблески Колиивщины еще долго пугали панов, и то там, то здесь вновь и вновь вспыхивали гайдамацкие огни.

О событиях Колиивщины и рассказывается в романе Ю. Мушкетика «Гайдамаки».

